

ISSN 0130-7673

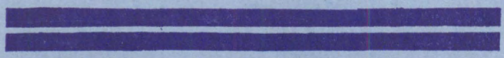
ЖО В Ы И М И Р

111

ЖО В Ы И
М И Р

1983

11



1983



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 11

Ноябрь, 1983 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Из лирики	3
ВИКТОР БОКОВ — Новые стихи	5
ЛЕОНИД ВЫШЕСЛАВСКИЙ — Из книги «Близкая звезда», стихи	8
ВЛАДИМИР АМЛИНСКИЙ — Ремесло, роман. Окончание	11
АРОН ВЕРГЕЛИС — Из книги «Волшебство», стихи. Перевела с еврейского Юнна Мориц	37
ВЛАДИМИР КАРПОВ — Полководец, документальная повесть	101
ПУБЛИЦИСТИКА	
ГЕОРГИЙ ШАХНАЗАРОВ — Реализм и новаторство	191
В МИРЕ НАУКИ	
АРКАДИЙ УДАЛЬЦОВ — В поисках энергии	201
ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ — Звездные электростанции	214
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
В. ФРИДКИН — Неожиданная находка	225
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ВАЛЕРИЙ ОСИПОВ — Воспитание Тюменью	232

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Алла Марченко. «Соразмерно пространству своего изумления».	
Б. Рувин. Утренний свет.	
Руслан Киреев. Эффект отсутствия.	
Александр Каменский. С чем рифмуется сад.	
<i>Политика и наука</i>	
Валентина Елисева. Возвращение.	249
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Ксения Бродер.— Татьяна Тэсс. Друзья моей души. ♦	
Владимир Кочетов.— Исаак Фридберг. Компромисс. Маленький роман. ♦	
Петр Вегин.— Даниил Долинский. И небо, и земля. Стихи и поэма. ♦	
Вл. Борщук ов.— История литературы ГДР. ♦	
И. Брайнин.— И. И. Титов. «...С этой деревней знаком лично».	
Очерки истории села Алакаевка	268
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

ИЗ ЛИРИКИ

Пианист

Отвергая хулу и навет,
Жизнь во всех проявлениях
Сам к роялю прикован навек —
Пальцы лишь продолжение

Подавая к вниманию знак,
В зал заполненный входит
Как над полем густой березняк —
Пальцев гибкая клавиатура.

славишь, натура.
клавиш.

Вокзал

Под стеклянным гулким
Сбившиеся голоса.
С каждым днем и с каждым
Глуше эта полоса.
В этом мире нереальном,
Близко или вдалеке,

Объявленья на вокзальном
Непонятном языке.
Но по странному наитью
Люди всё это опять,
Словно связанные нитью,
Умудряются понять.

сводом
ГОДОМ

* * *

Как определяют без затей
Мореходы путь по звездам,
Так живет потребность у детей
Прижиматься к взрослым.

В детском доме все же нет родни.
Одиночества громада.
Дети — что ни сделаешь — одни.
Остальное — все как надо.

Мальчик безнадежно угасал
От тоски великой, не от боли.

Был помочь не в силах персонал,
Чем бы ни кололи.
Нянечка за совесть, не за страх
На руках пять дней его носила,
И в него буквально на глазах
Из нее переливалась сила.
Ну а мы действительно родня,
И такие наступили сроки,
Что от внучки маленькой —
Каждый день перетекают токи.

в меня

Больничный роман

Промытый ливнем день
Высокая голубизна.
Больница. Время посещений.
И кто-то смотрит из окна.

И к ним выходят их больные,
Задумчивы и смущены.
Их лица бледные, родные
Улыбками освещены.

На каждой крашеной скамейке
Так умирительно, хоть плачь,
Сидят по две и три семейки
Со сверточками передач.

Но в этом слабом слитном гаме
Мне пара странная видна:
Она в халате, он в пижаме,
И с ними рядом тишина.

весенний.

Судьбою пойманы с поличным
У рокового рубежа,

Гуляют в скверике больничном,
Друг друга за руки держа.

* * *

Сострадание проявите!
Он отчаянно всякий раз
Задышался опять при виде
Бегло встреченных губ и глаз.

Словно прежде, ни в чем не
В суматохе летящих дней,

От волнения заикаясь,
Обратиться пытался к ней.

Это странное заиканье
В час негаданных в жизни
встреч,
Как короткое замыканье,
Затрудняло внезапно речь.

* * *

От ранней подруги своей
Для позднего брака
Ушел. Захотелось детей,
Которые благо.

И сызнова — только
У каждого доля своя,
Судьба или сила.
И новая эта семья
Его оглушила.

Углы комнатенки
И все-таки всякая жизнь
Чужая — потемки.

Седой. Как мальчишка, одет.
С коляскою — в гору.
И виднс. что это не дед,
По скучному взору.

* * *

Чтоб не согнули веточку
Грозные ветры ранние,
Вы прикрепили девочку
К колышку воспитания.

Тоненькую былиночку,
Собственную кровиночку,
Равно — принцессу ль,
Золушку —
К выструганному колышку.

После работы

Опустело поле сонное.
Вечереет и она
Толькс-только с третьей
соткою
Управляется одна.

Рядом дочь ее внебрачная
На далекий смотрит плес,
Мелкорослая. невзрачная,
Дорогая ей до слез.

День Победы — время самое,
Чтоб картошку им сажать.
Над налитой ливнем ямою
Долго руки моет мать.

Затихает птичья сутолока,
И в холодный этот час
Лес глубокий. полный сумрака,
Как всегда, тревожит нас.

Из читательского письма

... Был трижды ранен но,
по счастью,
Легко, — и вышло каждый раз
Что ни в санчасти. ни в хозчасти
Не задержался лишний час.

Потом контузило некстати,
Как говорится, в свой черед,
Покантовался в медсанбате,
Позаикался — и вперде!..

Примета

Оказала милость
Путникам ты —
Приостановилась:
Ведро пустые.

А другая — с полным,
Щедрым ведром...
Мы вас позже вспомним
Тоже добром.

ВИКТОР БОКОВ

★

НОВЫЕ СТИХИ

* * *

Над Северной Двиною синева
Такая, что не выразят слова,
Тут нужен Врубель, или Ромадин,
Или еще какой творец картин.

Я подымаю чашу синевы,
Да так, что кепка наземь с головы,
Надел опять, опять она в траву,
Я не землянин больше, я плыву!

Я невесом, я легче облаков,
И ветерочек ласковый с боков,
Меня он тихо гладит по плечу:
«Привет, старик! Что делаешь?» «Лечу!»

Звенит бездонный синий небосвод
Над Северной Двиною, над Москвой,
Над всей Сибирью и над всей страной
Натянутой на гусельки струной.

А под ногами шмель на клеверах.
Так осторожно ножки шевелят
Цветок, в котором музыка и мед,
Земля родная, милый небосвод.

* * *

Не губите реченьку,
Милые, не надо!
Не мутите к вечеру,
Не гоните стадо.

Вы не мойте в реченьке
Кузова с мазутом,
Через эту реченьку
Я хожу разутым.

Донышко песчаное,
Камешки цветные.

Я на дне нечаянно
Встретил твое имя.

Имя на колечике,
А кольцо заветное.
Вот какую реченька
Ценностью заведует!

Вода в речке чистая,
Кольца тонкорунны,
Реченька речистая,
Просто говорунья.

Пастораль

Липы зацветают,
Ласточки летают.

Почему все это?
Потому что лето.

Рожь стоит в наливе,
Я стою в малине,
Рядом под ногами,
Кузовок с грибами.

Лес такой озонный,
А ручей стозвонный,

Где-то две кукушки
Стали петь частушки.

Вышел лось-красавец,
Уши врозь расставил.
Почему все это?
Потому что лето.

* * *

В мире притихшем
Капанье капель.
Всхлипы детишек,
Выкрики: — К папе!

В мире оглохшем,
Загнанном в стены,
Старая лошадь
Вздыхает над сеном.

Снится ей труд
И пути полевые,

Тесный хомут
И оглобли прямые.

В мире дремотном,
В двориках, в хатах.
Всё на ремонте,
Все отдыхает!

В старой квашне
Подымается тесто.
Свежие дрожжи
Трудятся честно!

* * *

Ложись брусничина,
По гусам.
Преувеличенно
Я рад лесам.

Травую росною
С хмельком в руке,
Как близкий родственник,
Иду к реке.

Стоит под лилией
Голавль тайком,

С моей фамилией
Он знаком.

Водой качаема
Семья осок,
Неомрачаемо
Мой день высок.

Он звонче бубна,
Пиров и тризн,
Он мгоготрубно
Славит жизнь!

Лука

Долота, дрели и рубанки,
Пришедшие издалека!..
А где же плотничьи рубахи
И фартуки твои, Лука?

Три топора — как три начала,
Как три строительных главы.
С них некогда щепка слетала
На изумрудный шелк травы.

Лежат теперь они в сарае,
Как будто их прогнали прочь,
И так гомятся и хворают,
Когда хозяину невмочь.

Зовут его и утешают:
— Вставай Лука! Бери топор!
Да ты здоров! — ему
внушают.—
Иди-ка в сад, чини забор!

Не может он. Не шевельнется
Его рабочая рука.
Сидит и про себя смеется,
Вздыхает: что же ты, Лука?

Тоскуют дрели и долота
Без приложенья сильных рук
И терпеливо ждут кого-то.
Спроси: уж не тебя ли, внук?!

* * *

Бессмертие — материя, которая,
Надежно память родины храня,

Горит над городами и просторами
Мемориальной вечностью огня.

Седая мать, а ты все так же держишься!
Твои морщины — фронтовые рвы.
Так велика печаль, но сила нежности
Хранит святую гордость головы.

Горючею слезой поминовения
Закапаны цветы с родных лугов.
Не уходи! Побудь еще мгновение
И попечалься за других сынов.

Огонь — как вспышка боя рукопашного!
Все кажется, что он заговорит
И голосом солдата, храбро павшего,
Тебе надежду в жизни подарит.

* *
* *

На Вычегде, на Печоре,
На Пинеге, на Двине
Солнце задорной девчонкой
Бросалось в объятия ко мне.

Грело меня, ласкало,
Гладило по волосам,
Клюквы мне всклень насыпало
По расписным тесам.

Рыжую руку совало
В крышу на сеновал,

Солнышко интересовалось:
— Ты еще не вставал?

Милый, вот тебе шанежки,
Вот тебе, милый, морошка,
Я для тебя, душа моя,
Семги достало немножко.

Солнышко, красное чельшко,
Мы одного роду-племени.
Дай золотое мне перышко
Как всесоюзную премию!

ЛЕОНИД ВЫШЕСЛАВСКИЙ

★

ИЗ КНИГИ «БЛИЗКАЯ ЗВЕЗДА»

Космический день

В восточных легендах время отведенное на долгую жизнь, называется космическим днем.

Клубилось небо в тяжких тучах
когда вставала для меня
на черноморских рыжих кручах
заря космического дня.
Морские пепельные дали,
расторженные огнем,
свинцовым блеском отливали
и светоносным янтарем.
Оттуда волны шли к безлюдью
приморских выжженных степей
и разбивались белой грудью
о груды якорных цепей.
Вставало утро в дымке ранней
в глухих раскатах тишины,
и мысли о моем призванье
мне были солнцем внушены.
Я ставил дерзостные цели,
но был разрыв неотвратим

меж тем, что есть на самом деле,
и устремлением моим.
Блуждая по степям родимым
или по торным тропам книг,
я часто был легкоранимым,
невольно ранившим других.
Когда неистовые грозы
кромсали броневой металл,
костер зеленый верболоза
меня на стуже согревал.
Готов пройти по жизни снова,
как годы ни были б круты,
стремясь раскрыть вещей основу
и тайну женской доброты.
Едва заметной легкой чернью
мою дорогу оттеня,
струится свежестью вечерней
заря космического дня.

Утренний луч

Что это всплыло над поляною
рассветной стыни вопреки?
Да это снова солнце глянуло
в затон извилистой реки!
Река течет переливается,
все та же и уже не та.
в ее струях переплетается
и глубина и высота.
Ее ничем не удержишь — где уж там! —
она проворно как всегда,
в кустарник прячется, как девушка,
зардевшаяся от стыда...

Что это вспыхнувшими гранями
блестит хотя еще темно?
Да это будущее глянуло
в мое раскрытое окно!
Везде его лучи и полосы,
оно присутствует во всем,

мне свежим ветром гладит волосы,
во взоре светится моем.
В душе любую червоточину,
любую кочку на пути
от глаз его сосредоточенных
не утаить, не отвести...

Восходит солнце

Оно опять над гущей сада
встает, и тянется за ним
необозримая громада
отполыхавших лет и зим.

Они давно ему на плечи
легли, а все-таки оно
грядущим больше,
чем прошедшим,
поныне отягощено.

В любой листок,
в любую малость
всему бездушному назло
веками солнце изливалось,
но пламенем не изошло.

Какие новые рассветы
вспойт оно своим огнем?

Неисчерпаемы, несметны
запасы будущего в нем.

Маршал и скрипка

Памяти М. Н. Тухачевского.

В предельном предвоенном напряженье
настроенная чутко как струна,
начальнику своих вооружений
вверялась доверительно страна.
Он тоже, напряженный до предела,
на страже государственного дела
почти не знал ни отдыха, ни сна.

Лишь в самые заветные минуты,
уйти пытаясь от забот своих,
из досок бука — пиленых и гнутых —
сам делал скрипки и играл на них.
Оружие и музыка. Как можно
трудиться деловито и тревожно
среди несовместимостей таких?!

Прижав к щеке певучий трепет бука
и помня рокот воинской грубы,
он, может быть, в скрипичных скорбных звуках
расслышал голос собственной судьбы.
И людям безошибочно и честно
определил достоинство труда:
«Оружие в конце концов исчезнет,
а скрипка не умолкнет никогда».

Красота

Красота спасет мир.
Ф Достоевский.

В отпылавшее небо бегут провода,
и, мерцая, как пламя свечи,
за окошком моим задрожала звезда,
что светила над Доном в ночи.
И в морозной дали возникает село,
нету, может, невзрачнее сел, —

там под кровом убогим
и свет и тепло
я в недобрую пору нашел.
Ну а с вами,
саперы, стрелки, пушкари,
подавлялись усталость и страх,
и, бывало, о вас
от зари до зари
я и в прозе писал и в стихах.
На привалах раскладывал
с вами костры,
шел по склонам лесистых высот.
Вы и есть
выразители той красоты,
что планету спасла
и спасет.

Письмо из Москвы

Тобой за счастье почиталось,
что он, как мне, тебе знаком;
тебе и снилось и мечталось
жить только в городе таком.
Хочу, чтоб снова оглядела
ты эти улицы со мной,
чтоб надышалась до предела
и новизной и стариной.
Неисчислимых окон соты...
Табун машин... И — тишина...
В подножье у громад высотных
цёрковка дум своих полна.
Калины красной полнокровье,

дворы с некошеной травой...
В самой Москве есть
Подмосковье —
душа России полевой.
Бежит подветренная роща
вдоль напоенных зноем плит;
во всю Ивановскую площадь
в Кремле история гремит.
И розовеют предков лики,
и зорями венчает сам
свою главу Иван Великий,
их возвращая небесам.



ВЛАДИМИР АМЛИНСКИЙ

★

РЕМЕСЛО*

Роман

В шесть часов утра меня разбудил голос Левитана, загремевший из невыключенного радиоприемника, бронзовый голос важных сообщений, парадов, собраний и манифестаций, в недавнем прошлом сводок Совинформбюро, голос, от которого ждешь чего-то необычайно грозного или, наоборот, торжественного. На этот раз он просто возвестил начало нового дня и начал перечислять последние события в стране и за рубежом.

К счастью, он не разбудил Нору. Я метнулся к приемнику, вырубил его. Снова стало сонно и тихо. Связь с событиями в мире оборвалась, а Нора во сне заворочалась и чуть застонала. Я накрыл ее сползшим на пол одеялом, подоткнув его с боков...

Первый раз в жизни я проснулся рядом с женщиной.

Я увидел ее как бы в первый раз — бледное, тревожное даже во сне лицо с легкой синевой под глазами, с арочными линиями густых, но тщательно выщипанных по моде бровей.

Сейчас она виделась мне больным ребенком, может быть, сестрой. Странно было: только что прошла эта короткая ночь, переполненная нежностью, страстью, смущением, борьбой, полнейшей свободой и странной скованностью, а сейчас не было ни разочарования, ни отчуждения, только какая-то жалость к ней, а может быть, и к себе, оттого, что все дальнейшее было неясным, запутанным, оттого, что я чувствовал какую-то новую связанность с ней и зависимость от нее... Все это ворочалось внутри меня живым острым комком, поднимавшимся к горлу и запиравшим дыхание.

Босиком, стараясь ее не разбудить, я прошелся по комнате, которая тоже как бы изменилась с ее присутствием, и подошел к окну.

Ровный, ухоженный газон постпредского сада, напоминающий маленькое футбольное поле, наливался краской, зеленел на глазах. Да и само здание в прозрачном, струящемся воздухе казалось золотистым и как бы взлетающим вверх.

Я почти всегда вставал с трудом, редко начинал день легко и счастливо, не сразу вращал в него, а как бы преодолевал зябкую, неживую полосу.

Сейчас же я с неожиданной полнотой и остротой счастья ощутил начало дня. Я как бы увидел себя со стороны, с высоты какого-то другого возраста, мне неизвестного, и подумал о том, что вот это утро часто буду вспоминать, оно останется для меня навсегда — может быть, до конца жизни. Впрочем, тогда этот самый конец жизни представлялся мне таким далеким от сегодняшнего утра, как это сегодняшнее утро, скажем, от дня восстания Спартака.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

Убежденность в бесконечности жизни...

И оттого так четко и с поразившей меня новизной я чувствовал надышанное сонное тепло комнаты, пробивающуюся в форточку све-жесть летнего, настоявшегося за ночь на запыленной, но живой листве бедных городских рощиц утра, ясность и чистоту начавшегося дня, желтовато светящуюся барочную колоннаду графского дома с вывеской постоянного представительства.

Все это вдруг связалось в одну цепь давно известных, но как бы впервые открытых мной предметов, явлений, а началом этого голубого, сверкающего, будто тронутого киноварью потока была девушка, свернувшаяся под моим одеялом, спящая на моем диване.

Я не мог допустить, что она проснется, встанет, уйдет и больше мы не увидимся. Лезли всякие мелкие, будничные мысли: надо или не надо ехать в Институт, что сказать Борьке, когда я его встречу. Все эти ничтожные мыслишки, изгнать которые я не смог, но как бы засунул куда-то в подвал своего сознания, не могли ни омрачить, ни испортить сегодняшнее утро.

Пустая утроба стоявшего в углу комнаты холодильника время от времени издавала короткий глубокий звук, урчала, напоминала о том, что в доме нет еды. Но было рано, и все магазины города были еще закрыты.

Я подошел к дивану и тихо лег рядом с Норой. Я обнял ее, поцеловал в закрытые глаза.

— Не надо,— сонно сказала она.— Уже, наверное, поздно и пора идти.

— Никуда ты не пойдешь,— твердо сказал я.

Что еще было в те предосенние дни?

Участие в ее судьбе... Постоянное ее присутствие... Желание ее защитить. Я даже добрался до администратора, до того самого типа.

Вот я стою перед ним. Он представлялся мне по ее рассказам плюгавым, лысым, вертким,— такими обычно изображают театральных администраторов. На самом же деле он высок, плечист, кудряв, наряден, и только улыбочка у него ироническая и чуть наглая, вот она-то и дает мне толчок, опору, она стартовая площадка моей ненависти, моего наказания. Какого?

Избить его я не могу при всем желании. Я щупл, низкоросл по сравнению с ним. Когда я вошел в его кабинет, он сидел за столом, и я увидел его мощную кисть, толстые пальцы, поросшие волосами, зажавшие авторучку. Авторучка в этой здоровой ручище казалась спичкой. Достаточно таким рычагам заработать и...

Тем не менее благородная ярость переполняет меня. «Негодяй, сукин сын, проходимец, вас надо выгнать из театра, я вас опозорю, вы ответите»,— мысленно говорю я, но на самом деле молчание, тишина, и он с высокомерным ожиданием смотрит на меня.

«Что вам надо, если хотите контрамарку, пожалуйста»,— это я тоже мысленно слышу, а точнее готов слышать, но этого он не производит.

Он будто и не замечает меня, пишет и пишет, сжимая своими клешнями тоненькую шариковую спичку.

— Я брат Норы.

— Какой еще Нсры?

— А вы забыли?

— Что-то не помню.

— Той самой, из Келасури, из Абхазии, той, которой вы обещали...

— Обещал, да, кажется, но, кажется, не получилось.

Он отвечал, не глядя на меня.

— Вы негодяй,— прямо ему в лоб выстреливаю я.

Он смотрит на меня, тарачит удивленно небольшие желтые глаза.

— Вы что, делаете вид, что не понимаете?— говорю я.

Он продолжает писать и так же спокойно, негромко, не подымая глаз, говорит:

— Ваша сестра не вправе на меня обижаться. Я ничего плохого ей не сделал.

— Сукин сын,— задыхаясь, кричу я.— Воспользоваться положением, наобещать, шантажировать...

— Но ведь я ничем, кажется, не воспользовался до конца, и никаких, я полагаю, претензий у вас ко мне не может быть,— с поражающим меня спокойствием говорит он.— Ваша сестра, извините, запуганная провинциалочка. Вы же, очевидно, психопат. Вот так.

— Как интересно видеть живого мерзавца,— говорю я громко.

— Ну и смотрите на здоровье,— так же спокойно, не повышая тона, не вставая, говорит он.— Только выйдите на всякий случай. Работать мешаете.

Я стою в растерянности. Вроде бы я сказал все, что надо, а он не реагирует и даже на драку не идет. Впрочем, если дело дойдет до драки...

На углу его стола стоит пузырек с чернилами, взвинчивая себя, я думаю: вот сейчас возьму и брошу в него... Но тут же успокаиваюсь — черт с ним, с этим негодяем, долг исполнен. во всяком случае.

Я осматриваюсь по сторонам. Висят афиши, я механически обращаю внимание на то, что они выполнены в одной манере, будто все спектакли на одно лицо. Хотя, кажется, спектакли этого театра идут всегда с аншлагом. Я не был в нем ни разу. Афиши яркие, но без выдумки, иллюстративные, я бы сделал совершенно иные.

— Что, заинтересовались? Могу контрамарочку дать на два лица, Вам с сестрой.

— У вас бездарные афиши и плохой театр.

С этими словами я покидаю кабинет администратора.

Взад и вперед исхоженная нами осенняя Москва, особенно часто шли мы мимо Библиотеки имени Ленина, по мосту, на набережную, потом на Ордынку.

Чистые пруды и Ордынка — вот два места, где прошло мое московское детство. Я рассказывал Норе историю этой улицы, в то время я был очень увлечен старой Москвой, мне хотелось написать цикл акварелей «Москва ушедшая». И я смотрел в архивах старые чертежи, пожелтевшие рисунки: Ордынская местность, в которой жили тягловые люди, время от времени они должны были возить в Золотую Орду поклажу, а в лучших домах проживали послы Золотой Орды. Потом здесь возникла Ордынская слобода, или Варлаамовская, по церкви святого Варлаама Хотынского... Может быть, где-то здесь, недалеко от церкви Преображения господня молодой опричник преследовал красавицу, жену купца Калашникова.

И казалось, что мы с Норой тоже оттуда, я только не мог определить наше сословие, я говорил, что она грузинская княжна, невеста как попавшая в Москву, а она называла меня мелким купчиком, особенно после того, как я затаскивал ее в кафе, в шашлычные. Она отказывалась от княжеского титула, она видела себя монашенкой.

— Монашенки не целуются в скверах,— говорил я ей.

— Я грешница с душой монашенки,— смеясь, отвечала она.

И опять вспомнился «Великий постриг»,— та тоже была живая и целовалась, наверно, перед тем как уйти...

Это был месяц совершенно безмятежный и счастливый. Борьку я так и не встретил, он уехал в деревню, родители еще месяц должны были находиться в экспедиции, и она пока жила у меня. А что дальше? Дальше посмотрим. То, что за пределами месяца, казалось, еще далеко. И нечего всматриваться в завтрашний день. Завтрашний день размыт и неясен, но все же хорош. Август все жарче, все меньше тени в московских садиках и скверах. Все время чувствуешь свои го-

родские пересохшие губы. Подставляешь к ним выщербленный стакан с газировкой и в последнем глотке приторного сиропного питья ощущаешь горечь...

То, что сделало нас с Борькой почти врагами, то, что развело, разделило нас на несколько лет, потом примирило, сблизило. Вслух, в разговоре, мы всего один или два раза вспоминали о ней. Но оба совершенно отчетливо чувствовали ее незримое присутствие. Зримое присутствие столкнуло нас когда-то, ближайших друзей, незримое объединило навсегда.

И едва я входил в его квартиру, где правила его новая жена (почему-то я все считал ее новой, хотя она уже много лет была с ним), я безотчетно, долго смотрел на рисунок в углу. Зачем мне нужен был этот рисунок? Все уже давно переменилось в жизни. Я не думал, плох он или хорош, хотя он был удивительно точен и легок, нарочито не закончен, а может быть, и не нарочито...

Я чувствовал в нем силу остановившегося времени.

Я уже давно привык к ее отсутствию, вся моя жизнь, долгие годы шли без нее. Легче, светлей было бы думать, что она солнечно растворилась в небе, но нет, она была в земле, под серой мраморной плитой с уже несколько потемневшим барельефом, который Борька выбивал днем и ночью.

Пригнувшийся к земле, исступленный, заросший, он, казалось, вот-вот рухнет и не поднимется никогда. Но он не рухнул.

И все же физическая реальность ее исчезновения была не до конца постижима. Казалось, уехала надолго, на годы, навсегда, но где-то есть, живет, существует. Жена же Борькина думала, очевидно, что Нора действительно до сих пор жива, и, как радар, безошибочно перехватывала мой осторожный взгляд на рисунок, взгляд Борьки на меня. Она охраняла и защищала сегодняшнее от вчерашнего.

Есть мы с Борькой, есть жена, есть ее бессмысленная ревность есть Борькин рисунок.

Нет Норы...

Но это еще не скоро. Еще несколько лет одним клубком катиться нам всем по земле.

Я решил сделать ее портрет.

Портрет давался очень трудно. Если бы я поставил цель нарисовать портрет незнакомой женщины, если бы я писал с натурщицы, было бы гораздо легче.

Чувства было слишком много, оно теснило, распирало и потому мешало. Может быть, труднее всего писать «свой» материал. Личное владеет тобою, и исчезает необходимая отстраненность.

Я все время приглядывался к ней. Она шутила:

— Ты что, меня в первый раз видишь?

— Да, в первый,— отвечал я.

Но именно того, какой я ее увидел в первый раз, именно этого я не мог вспомнить. А необходимо было только это. Все свои поздние чувства надо было забыть, убрать. Нужна была острота первого взгляда, отчуждение от натуры.

Я много раз его переписывал, переделывал. Я делал другой портрет, уже по сл е... Но тот, первый, сохранился. Недавно я взял его и посмотрел, будто на чужую работу. Мне было даже неважно, как исполнено. Был важен лишь облик...

Она сидела за столом склонившись, в сиреневой кофточке, с голыми загорелыми руками, со счастливыми, тихими, медовыми глазами. Ни облачка, ни тени предчувствия...

Каждый вечер мы ходили куда-нибудь в кино, просмотрели все стоящие и нестоящие фильмы, их, впрочем, тогда выпускалось немало, таскались по молодежным кафе, входившим в моду. Молодые

поэты читали там свои стихи, микрофоны, как правило, не работали или их не было, и напряженные голоса поэтов раскалывались на отдельные звуки и фразы, прорывавшиеся сквозь гул толпы, как ни в чем не бывало попивавшей вино и поедавшей мороженое.

Чужеродны были эти поэты здесь, с бледными, серьезными лицами, среди других, распаренных, красных, блаженно-рассредоточенных.

«Нет, никогда не буду выставляться ни в каких кафе», — решил я для себя, хотя никто и не предлагал мне выставляться.

Под этот разнородный и чужой гул мы продолжали с Норой свой долгий, постоянный диалог. Мы бесконечно спорили, хотя, казалось, наши взгляды были схожи, и мы сверяли их друг с другом и уточняли, словно раз и навсегда, именно в этот месяц нам надо выработать единую, общую линию жизни.

Сосуды наших жизненных впечатлений стали как бы сообщающимися, все, что было увидено, прочитано, пережито, надо было сию же секунду передать другому.

Мы знали теперь все друг о друге, да и не только друг о друге — о наших близких, о наших родителях.

Только о своем отце Нора почему-то умалчивала, так же, как там, у нее дома, умалчивала ее мать. Но однажды Нора рассказала мне и об отце.

Отец ее, немец-коммунист, судя по ее словам, всю войну жил здесь, в России. Какую работу он вел, я так и не понял, да и Нора не знала. Ясно только, что он принимал участие в нашей общей борьбе против фашизма. Первая его жена была немка, антифашистка, она погибла совсем молодой, еще в тридцатые годы.

В конце войны, уже в мае сорок пятого, ему предложили отправиться в Германию, и мать, взяв с собой маленькую крикливую Нору, поехала за ним в Берлин по разоренным дорогам Европы. Они прожили там несколько, судя по словам Норы, трудных лет. Я не понимал, что было самым мучительным: то ли ее мать не могла там, то ли не могла с ним... Видимо, у них были какие-то сложные отношения, о которых Норе не хотелось говорить. Впрочем, Нора очень часто повторяла, что мать очень любила отца, но он целиком был занят своей деятельностью, его никогда не было дома, и мать мучилась в одиночестве в полуразрушенном чужом городе.

Время от времени мать возвращалась назад, домой, и после этих возвращений ехать в Германию было особенно тяжело. Мать отказывалась принимать там все: и еду, и климат, и людей. Еда была постная, климат сырой, люди чужие.

Но главное было в чем-то другом...

Норе запомнились лишь бессонные ночи в поездах, таможенники, солдаты, пограничники и запомнился пригород Берлина, в котором они жили: в первый приезд ржавый и разрушенный, во второй — очищенный, с одинаковыми аккуратными домами, с разноцветными наличниками на окнах, со свежей черепицей новеньких крыш. Еще ей запомнилась гулкая пустая кирха, куда забрела; старуха тщательно мыла полы, тускло светился орган, его трубы показались ей позолоченными газырями.

Старуха спросила ее о чем-то по-немецки, а девочка растерянно сказала:

— Не понимаю.

И старуха что-то долго говорила, глядя на нее незрячими открытыми глазами. Говорила долго и жарко, будто что-то пыталась объяснить, а что — Нора не поняла. Озлобления не было в том, чтоговорила эта слепая старуха, так Норе показалось, во всяком случае.

Еще в один приезд город увиделся ей рафинадно-белым и розово-пряничным. Он был умыт, вычищен, похож на декорацию. В кондитерской продавались удивительные пирожные: мышки с глянцево-чер-

ными спинками. Мышки таяли во рту. Большой, грузный отец с ноздреватым носом, не вынимавший изо рта трубки, что-то рассказывал; слова словно цедились. Ей было странно, как можно говорить, держа в зубах трубку. Ей хотелось любить своего отца, да и мышки, которыми он угощал, были такие вкусные, но, уехав на родину, она всякий раз отвыкала от него и потом привыкала с трудом. Она чуть-чуть боялась его. Он называл ее «майне тохтер» и с гордостью показывал знакомым свою дочь. Она чувствовала, что он очень гордится ею. И еще она понимала, что он видный человек в этом городе, все почтительно здоровались с ним, а некоторые смотрели с неприязнью и страхом, но здоровались еще более почтительно.

Вот и все, что она помнит: музыка из сверкающего автомата, мороженое, сладкий морс, отец с трубкой, а потом вдруг белое запрокинутое лицо отца, длинная процессия, мать, сжимающая ее теплыми мокрыми руками, то молчащая, то рыдающая, толпа, музыка и наконец тишина, и очистившаяся от цветов черная лодка с отцом опускается в бездну...

Когда они отъезжали от этого огороженного забором здания, где навсегда остался отец, она смотрела на плоскую, серую трубу с будто привязанным к ней жидким клубком дыма.

Больше ни она, ни мать не были в Германии.

Мать часто вспоминала отца, кручинилась о нем, будто и впрямь жила с ним счастливо и безмятежно.

Однажды она, непривычно оживленная, сказала, что у Норы, оказывается, есть в Германии братик. Недавно он прислал письмо, возможно, ему хочется посмотреть на свою сводную сестру...

— И ты не ответила ему? — спросил я ее.

— Нет. Все собиралась, но так и не ответила. Ведь все равно он мне чужой человек.

— Странно. Я бы ради этого поехал в Германию или нашел бы его и вызвал сюда.

— Да, мне тоже хотелось, но я не знала, что ему написать. Все откладывала, откладывала, да так и не решилась.

Я мысленно представлял себе ее брата и думал о том, как не похожи ее судьба и ее родители, те города, в которых она росла, на мою судьбу, на моих отца и мать, на мои города.

И вот наши такие непохожие судьбы встретились, неожиданно пересеклись, и ничто не разделяет нас. И не разделит никогда.

«Никогда» было обещанием вечной близости, нераздельности с нею, а теперь превратилось в побитую снегом и дождем плиту с барельефом, ее именем и двумя близкими по времени датами.

Родители мои вскоре должны были приехать, и я тратил все свои дни на поиски комнаты, которую Нора могла бы снять. Я со страхом думал, что в один прекрасный момент ей надоеет это бездомье, она махнет рукой на все и отправится домой, к матери. Наконец удалось снять угол у пожилой женщины, машинистки.

От самого этого слова «угол» пахло сиротством, прошлым веком, жизнью бедной провинциалочки при господах... Да еще эти то длинные, то короткие очереди, сухой, нервный треск машинки.

И каждый вечер, как только темнели рябые мостовые Москвы, мы искали прибежища во всех ее парках, скверах и зеленых островах.

Фили, Краснопресненский, ЦПКиО, Измайлово, Сокольники...

Снобам нынешнего поколения это может показаться странным, смешным: действительно, что может быть пошлее хождения в подобные места? Я же и мои сверстники любили их не только за тьму и относительное уединение: дети города, мы искали и находили там сень дубрав, ручьи и поляны.

Правда, эти поляны были усеяны бутылочными осколками, которые сверкали словно окаменевшие, застывшие слезы — след какой-то забубенной исчезнувшей жизни,

Иногда Нора брала с собой учебники (она решила теперь поступать в медицинский), а я рисовал на картоне черно-белые пейзажики или фигурки движущихся людей,— меня всегда интересовали элементы человеческого движения, мне казалось, что характер человека в первом своем слое открывается именно в движении, в походке.

Я не понимал, как она относится ко мне, любит ли она меня? Она была ласкова, нежна, иногда чуть снисходительна, иногда она называла меня «мальчик». Это ее «мальчик» пронзало меня нежностью, лаской, но порой в этом слове виделся и другой смысл, словно указывающий на какую-то мою слабость, неспособность ее защитить, даже приютить. Мальчик мог сопровождать, занимать, не более.

Словно на горячем, беспечном бегу наткнулся я на опущенный шагбаум. Все. Дороги дальше нет. Перспектива бесперспективна.

Но об этом я старался не думать.

Буквально каждый тот день и вечер я помню и сейчас. И все они сливаются в один сплошной праздник.

И даже эти долгие сидения на скамейках, ожидание темноты, ненависть к мелькающим белым рубашкам или светлеющим во тьме платьям, и наконец пауза, тишина, пустота, никого, и мы как бешеные бросаемся в объятия друг другу, словно годы ждали этого момента.

Умом я понимал: со стороны объятия на пошлых скамейках глупы, бесстыдны, но мне плевать было на это. «Со стороны» не существовало для меня, я знал: может, это и высоко звучит, но я чист как никогда.

Двойственная сущность любви: разрыв между рождающимся в горних высях чувством и его плотским воплощением; эта остро ранящая, особенно в юности, несовместимость не только уходила, наоборот, возникало чувство полностью поглощающей, новой и абсолютной близости.

Слово «близость», обычно обозначающее отношения мужчин и женщин, было ни при чем.

Другое. Наверное, не близость, а просто одно целое.

И каждый раз я целовал ее будто в последний раз, и после солнечного, слепого взлета была пустота, ноющая, раздирающая грудь боль; сухой запах земли, терпкий дух чабреца, дыхание разлуки. Откуда, почему?

Может быть, груз первой в жизни настоящей любви был чрезмерно тяжел? Может, и так... Но что-то еще мучило. Странное ощущение, что счастье огромно, но досталось как-то уж слишком легко, случайно, без боя: да ро м и ни за что. И потому — на время.

Но пока рано об этом. Пока мы сидим в Сокольниках, во вновь открытой стекляшке шашлычной, дожидаясь, пока одновременно рассеянно и судорожно, по какой-то ему одному ведомой орбите официант дойдет до нас. И вот наконец дождались, получили неопрятную, медицинского вида колбу с табачного цвета кислым вином и несколько кусков горячего, тянущегося, как каучук, полусырого мяса. Как проголодавшиеся звери, мы рвали его молча, сосредоточенно.

Вдруг мимо нас прошел степенный, сосредоточенный Сашка, а за ним Борька...

Все-таки мы не могли не встретиться. Москва огромна и тесна.

Борька похудел, осунулся,— вернувшись из деревни, он отравился в какой-то столовке, да так, что угодил в больницу.

Я несколько раз навещал его. Тема его болезни была для меня спасением.

— Ну как ты там?

— Нормально, у других еще хуже.

Так мы перешучивались, и как действительно мог я ему, больному, рассказывать о том, что происходит, как мог я, чтоб в этих дурацких желудочно-кишечных беседах прозвучало святое для меня имя.

Да и как мог я вообще кому-нибудь рассказать о нас с ней.

Его южный, легкий флирт с ней — или как там это назвать — увлечение? — теперь, после всего нашего, московского, казался игрой, чепухой давних, безответственных, напрочь ушедших времен... Теперь свою жизнь я делил на «до нее» и «при ней», как историки делят эпохи.

Конечно, следовало бы сказать ему, что она здесь, но все как-то не получалось. Да и почему, кстати, я должен ему докладывать? Кто она ему? Кто он ей? Никто. А мне она — все.

И все же когда встретились, стало жарко, противно, нехорошо. Не то чтобы ложь или предательство, но первая моя в отношениях с ним неискренность.

Он посмотрел с изумлением, автоматически перепроверил вторым взглядом, не ошибся ли, и, удостоверившись, что все так и есть, усмехнулся. Трудное, вынужденное движение лицевых мускулов, улыбка, тяжелая, как вес, который необходимо взять, рвануть на помосте, прежде чем начать разговор.

— Однако это интересно.— Он сильно окал всегда, когда волновался.. Помолчав, добавил, глядя на Нору посветлевшими почти до белизны глазами:— И давно это вы... здесь... в наших северных краях?

Лицо ее выражало какую-то умственную работу, мне показалось, она шевелит губами, добросовестно подсчитывая:

— Ровно два месяца.

Он еле заметно помрачнел. Два месяца — это было много: ее неожиданное, как снег на голову, появление в Москве, ее случайную встречу со мной еще можно было понять: он в больнице, не нашла его, нашла друга... В таком случае все было бы нормально. Тогда можно было бы все переиграть, снова взять инициативу, но два месяца — это много.

Чудак, он еще не знал, какие два месяца.

Он скрытно, незаметно (но я-то все замечал) следил за каждым моим жестом, словом, за каждым обращением к ней.

И опять ему было непонятно: ушел поезд или нет.

А понятно стало на следующий день в Институте. Он в упор, без всяких прелюдий, как-то по-мужицки грубо спросил:

— Ты что, спутался с ней?

Я ответил твердо. Будто камень, вылетевший из его глотки, с силой втолкнул ему обратно:

— Не смей. Мы любим друг друга.

Хотел сказать: «Я люблю ее». Но сказалось само: «Мы любим друг друга».

Теперь, я знал, это навсегда разъединит нас с Борькой. На каком-то этапе мы все — я, она, он — были частью единого целого. Теперь все изменилось. Мы разделились: я и она — одно, он — другое. На другой стороне, на другом берегу. Сначала был маленький ручеек, перешагнуть его ничего не стоило, но — не шагало. Стояли на месте. А он все ширился между нами, и все холоднее, глубже становилась эта вода.

Вокзалы, ухающая музыка,— тогда эта музыка громыкала над перронами, заглушая напутствия, пожелания, плачи. Со времен войны это осталось — музыка на вокзалах.

Я отсчитывал дни и часы до ее отъезда. Что ж, не привыкать было прощаться и встречать...

«Едем мы, друзья, в дальние края...» — это даже не песня, это гимн целого поколения. Сначала товарняки и эшелоны войны, эвакуации, разлук, сортировочные станции, откуда поезда выползали медленно, как гусеницы, иногда под кружащимся и примеривающимся немецким самолетом. Потом, в начале пятидесятых, другое. Стройотряды, студенческие отряды — слово «отряд» уже потеряло свой военный, боевой окрас.

Отряды двигались в Казахстан, на целину. Все мы, или почти все, прошли через это. Все поколение. Целина сделала нас взрослыми, заставила — вдали от дома — взглянуть на многое иными глазами, проинвестировать переоценку ценностей.

Палаточные городки вошли в жизнь навсегда. Они были святы для нас. Может быть, поэтому я так не люблю бойких туристских песен с «романтикой», я всегда считал, что их писали люди, ездившие только по курортным маршрутам. Любование чужой неустроенностью, воспевание этой неустроенности, всякого рода фальшивые мечтания чаще всего свойственны людям, удобно устроившимся и крепко оседлым.

Надо сказать, что и в Институте была традиция хождения за тридевять земель ради жизненного материала. Несомненно, это многое давало: большое видится на расстоянии... Но всякий раз, отправляясь осваивать новый пласт, мы забывали, что у каждого есть свое, изначальное, ему только, может быть, до конца известное, но почему-то считалось признаком плохого тона писать свою улицу или свой районный городок, а требовалось непременно что-то географически удаленное — там именно должен был высветиться современник.

Да, новые города, новые люди много дали нам, особенно в юности. Потом мы почувствовали потребность выбрать что-то важное для себя из всего этого калейдоскопа, не прикасаться к новым темам перстами, легкими, как сон, а вжиться в одну. Освоить — до конца — свой город, свой поселок, свою дорогу. Впечатления нельзя брать напрокат.

Тяжелее гнать из себя, из своих недр, из своего жизненного опыта. А езда в незнаемое тоже не всегда плодотворна. Не превращается ли она постепенно ездой в заемное? Да и бессрочная командировка — с бесконечной сменой мест, с мельтешением приездов и отъездов — вдруг становится поперек подлинной, выстраданной жизни, и ты чувствуешь какую-то новую необходимость, а может быть, и старую, командировки в самого себя, в свое, в свой, выстраданный судьбой материал, понимаешь, что самые зрелые краски добываются оттуда. Из такого и вырастает твоя картина.

Аккуратно, мастеровито сработанные портреты, грамотные композиционно, с контрастирующим или подчеркивающим фоном — как часто они не согласованы с внутренним миром портретируемого.

Внутренний мир — что это такое? Горняк смотрит с необыкновенной зоркостью, он привык так смотреть в полутьме, но зоркость его подсказана тебе торопливостью твоего ума и сердца. Это не горняк, а изображение горняка.

Способ изображения не твой, он взят бессознательно у кого-то, не у одного даже, а у многих, он старый, но вместе с тем новехонький, точнее кисть новехонькая, она жесткая, будто еще не купалась в краске, не останавливалась, не шлепала в отчаянии по безмолвному холсту, оставляя розовые кровавистые пузыри.

«Любите живопись, поэты, лишь ей, единственной, дано души изменчивой приметы переносить на полотно...»

А как ее поймать, эту душу изменчивую, в мелькающих командировках?

Впрочем, и не в командировках дело, а в том, чему не научишь.

И я вспоминаю прочитанные когда-то в юности слова старого художника. С наивной простотой он раскрывает свою тайну: берите, пользуйтесь, вот мой секрет, он так прост. «Вместо того, чтобы писать голову на фоне банальной стены какого-нибудь убогого жилища, я пишу бесконечное, я делаю простой голубой фон, наиболее богатый, наиболее интенсивный, какой я только в состоянии дать, и благодаря этому простому сочетанию освещенная белокурая голова на насыщенном голубом фоне приобретает таинственный характер, как звезда среди темной лазури».

И в который уже раз ты выходишь из Русского музея или Эрмитажа подавленный, с сознанием, что все уже было, что все уже сказано, — и что своего ты можешь добавить? И нужно ли?

Из-за этих неразрешимых вопросов мне хотелось уйти во что-то более конкретное, может быть, даже подчиненное чужому замыслу. Я робел перед живописью, хотя мечтал о ней и все время к ней возвращался. Но я сознательно убегал в книжную графику, хотя она была ох как нелегка.

Сашка же был прирожденным профессионалом, ему давалась и графика и живопись, — тут не было и намек на скоропись, торопливость, дешевку, он работал добротнo — иногда настолько, что улету-чивалась фантазия.

Борька же никогда не робел перед живописью. Он очень редко говорил о себе, о своих работах, но как никто другой знал себе цену. Мне казалось, в нем было самоощущение сильного дара, может быть, даже гениальности.

Вероятно, такое самоощущение необходимо истинному таланту, чтобы он еще выше поднялся.

Борька работал скрытно, долго, не выставлялся — не только потому, что не предлагали, но и потому, что не хотел. Может быть, он ждал своей выставки.

Почему он ушел в преподаватели — именно тогда, когда каждый из нас уже пробивался в люди, становился в какой-то мере известен? От неудач? Да ведь и неудач-то не было. Было определенное непонимание, неприятие, но все ждали от него, даже те, кто говорил, что он заkis, выдохся или бог знает что еще, — даже они не от кого-нибудь, а именно от него ждали.

Многим казалось, что, уйдя в интернат преподавателем живописи, он протестует против всеядности некоторых ловких выпускников нашей альма-матер — «клиентов», как мы их с иронией называли.

Не думаю. Ему нравилось это дело, в нем неожиданно проявилось терпение, способность объяснять, желание показывать, открывать. Но была еще одна причина, вполне понятная, бытовая. Борька занимался одной живописью, она шла медленно, к тому же у него бывали перерывы, когда он совершенно не мог работать, а подрабатывать не умел, да и не любил; выходит, преподавательство было для него еще и средством к существованию.

Долгое время после того, что случилось с Норой, он никого из нас не хотел видеть, жил в своем городке анахоретом, работал тяжело, судорожно, потом дела его неожиданно поправились, его заметили в городе, он вроде пошел... До того момента, когда на слишком многое замахнулся. Замыслы были мощные, но организатор он был никудышный.

После этого он долгое время тяжело болел, лечился, в доме у него на столе беспорядочно валялись разноцветные горошины лекарств, коробики с пугающими незнакомыми названиями.

Вот в эти дни, еще до того как он женился, я впервые встретил в его доме маленького, худющего мальчика, мучительно заикающегося, Егора, Егорку...

Но до этого еще были годы и годы.

День ее отъезда. Проводница, бегло глянув на билет, так же бегло, механически спросила:

— Вы провожающий?

— Да, провожающий, — угрюмо и так же механически ответил я.

Что же это происходило? Какие-то люди, протискивающиеся с бесконечными чемоданами, вжали нас в стену вагона, шли мимо нас, мне даже казалось, что сквозь нас.

Потом начали бубнить проводники, прогоняя провожающих. Чьи-то крики, пьяные мужики, тащившие пиво, пожилые меланхоличные

носильщики, неторопливо толкавшие свои коляски, будто без них поезд не уйдет, все вдруг уменьшилось и затихло. Я словно со стороны увидел огромный желтоватый аквариум вокзала, замкнувший это быстрое, суетливое, но по-муравьиному целенаправленное движение.

Явью же было сухое, мрачное, как этот серый бетон подъездных путей, сознание: отъезд... Значит, я остаюсь без нее.

Еще какая-нибудь минута — и все. Но если успокоиться, ведь не в чужую сторону уходил поезд, а на наш родной юг. И это ведь ненадолго, конечно же, ненадолго. Скоро я буду ее встречать.

Гортанные, громкие голоса южан успокаивали, придавали всему ощущение временности, обыденности, незначительной бытовой перемены, перемещения в пространстве, притупляли, скрашивали разлуку; да, все было спокойно, но в воздухе вокзала, под его сводами, в его гулком и одновременно спертном дыхании вдруг возник каменный, пыльный, режущий глаза и рот ветер, предчувствие потери. И разговор, будто и не чувствуешь ничего:

— Когда? Когда?

— Пиши.

— Да, да.

— Мужчина в купе. Может, поменяться?

— Какая разница! Я грузинка, я их не боюсь.

— Я буду ждать, ждать.

— Да, и я... Я постараюсь скоро.

О чем еще? Ни о чем. Мы расставались, влюбленные, и вдруг я с остротой, почти с ужасом понял: чужие.

Да, там, в парке, в лесу, на поляне, друг перед другом, один на один мы были неразрывны, смеженные, как крылья, оторвать нас друг от друга было, казалось, невозможно, смертельно — для каждого. Но здесь, перед поездом, на тесном, затоптанном перроне, на этой ничейной полосе, перед тем новым, что так неожиданно надвинулось, что называлось безобидно «отъезд», но означало разлуку,— перед этим мы чувствовали себя беспомощными, беззащитными, это не объединяло, а страшным образом разъединяло нас, и все слова, которые хотелось сказать, вдруг испарились, исчезли, а те, что говорились, были вязкие, бесцветные, такие же чужие, как этот вокзал.

Может, просто мы не умели тогда прощаться?

— Маме привет, если помнит меня.

— Напомню... Какой стыд, снова возвращаюсь ни с чем...

— Ерунда. В следующем году поступишь в медицинский.

— Это же долго — в следующем!

— Да, долго... Ну все, иди в купе, а то сейчас тронется.

Самое обидное, что она послушалась... Вот это меня больше всего удивило. Я думал, она будет стоять в тамбуре до конца, будет свисать с уже поднятой, захлопнутой подножки.

Она послушно пошла, я видел за стеклами ее мелькающий профиль. Вагоны стронулись, двинулись с места. Как незначительно, мало было это движение, и я шел рядом с вагоном и высматривал ее в окнах. И все быстрее, быстрее. И вот уже загрохотало, понесло.

Орлиный клекот грузинских слов, машущие руки, и вдруг из мелькания белых пятен чужих лиц — совершенно отчетливо ее лицо, прильнувшее к стеклу, улыбающееся.

Ушел с комком в горле. И одновременно с неожиданным чувством — не то чтобы облегчения, скорее освобождения.

Пустота освобождения.

Теперь я каждый месяц ходил на Кировскую, на Главпочтамт, ждал ее писем. Даже не знаю, почему договорились, что будет писать на Главпочтамт; скрывать мне было нечего, никто в мои письма не лез, но получить письмо на Главпочтамте — это совсем не то, что получить

дома. Здесь происходил своего рода ритуал: приход, стояние у окошка, тасовка колоды, высматривание своей карты...

«Да, есть, покажите документ». Протягиваешь студенческий билет, забираешь свое письмо, свою добычу.

И впрямь как с добычей уходишь в сторону, подальше от людей, раздираешь ногтями кожуру, достаешь сердцевину... Какая там сердцевина, чаще всего один листок, холодный, гладкий, всегда с каким-нибудь рисунчком, штемпельком в уголке. И всегда без обращения, будто она забыла мое имя, а такие слова, как «милый», «дорогой» и прочее, никогда ею не писались, они, значит, были для нее возможны лишь при личном общении.

О чем она писала в своих письмах? Это была, в сущности, краткая информация: о погоде, о делах, вернее, не столько о делах, сколько о намерениях. В отличие от моих откровенных, полных всяческих признаний писем (сколько я себя ни сдерживал, ни засушивал, все равно прорывалось) ее были нейтральные, лишь в подробном описании погоды сквозил намек на чувство. Дескать, в городе сыро, идут дожди или скучно, грустно и она все время вспоминает Москву. Но заметьте, что именно Москву, а не мою улицу, не мой дом и не меня самого.

О чем еще она писала? Что вместе с матерью была на могиле дяди Арчила, что личные дела матери неясны, раньше она вроде собиралась замуж, теперь все, кажется, распалось. Что один раз приезжал Московский театр транспорта, она пошла, но ей не понравилось. Да и вообще она излечилась теперь от этой детской болезни. Театр явно не ее судьба, и она твердо решила поступать в этом году в медицинский.

В конце она никогда не писала «целую», а всегда что-нибудь в таком роде: «скучаю» или «жду». Сухо, но все-таки хоть что-то обещающее.

Почерк у нее был ученический, как в прописях по чистописанию, но в тонких, стройных буковках, чуть-чуть наклоненных вправо, читалось мне что-то большее, отличное от конкретного смысла слов.

И еще мне казалось, высветить дух, притушить земную оболочку. Это совершенно самостоятельна и независима, никто из нас не скован даже самыми малыми обязательствами... Чего-то она боялась. Может быть, возвращения в Москву, может быть, повторения того, что было. Да я и сам понимал: повторения быть не может. Может быть только движение вперед, какой-то поворот в судьбе.

Всю зиму я рисовал ее портрет, тот, который начал с природы, в комнате.

Начало было лихое, броское, казалось, я угадал всю систему портрета с самого начала, точно нашел манеру. Но ничего подобного. Когда она уехала, я посмотрел и понял, что делаю совершенно не то.

Я изменил замысел. Теперь менее всего меня интересовала передача ее настроения и выражения ее лица; мне хотелось сделать что-то близкое по манере к средневековому портрету: сохранив сходство, верность натуре, высветить дух, притушить земную оболочку. Это было очень трудно. Земное вылезало на первый план, какие-то отдельные детали, штрихи, подробности, а надо было, я чувствовал, соединить реальное и ирреальное, но я не способен был воспринимать форму так гармонично, как те мастера, которым я пытался подражать. И потому, с одной стороны, получалась фотографичность, похожесть, с другой — что-то манерное, романтическое.

Подспудно меня тянул «Великий постриг», я ощущал в Норе какую-то скрытую трагедию, она мне казалась монашенкой, но если бы я передал это впрямую, то вышло бы театрально и искусственно: почему монашенка, откуда монашенка?

Я понимал, чего я хочу, но это очень трудно мне давалось. Может быть, потому, что я слишком хорошо ее знал. Не было необходи-

мой удаленности, чтобы увидеть характер целиком. Меня тянуло к средневековому, трагическому, а получалось нечто бытовое, современное. Этакий «Портрет студентки». Я старался уйти от этого, пытался определить что-то важное в ней, одновременно соединимое и несоединимое: старомодное воспитание, мучительную ответственность за каждый свой шаг и рядом — неожиданная решительность, порыв. Вот это я чувствовал в ней. Но этого еще было мало, что-то еще надо было найти, то, что словами не выразишь, да и не надо выражать, а если можно выразить, то только кистью. Но как?

А вокруг шли споры середины пятидесятых: магия двадцатых годов, внезапные открытия русского авангарда. Многие в нем поражало остротой, изобретательностью, новой выразительностью, другое казалось фокусом, ребусом. Но прямо сказать, что это чистый фокус, даже не фокус, а просто обман, было неудобно. Надо отдать должное Борьке, он никогда ни к чему не приноравливался. И все, что казалось ему от лукавого, упрямо, несмотря на любые аргументы, называл галиматьей.

Хотелось знать многое, все, чтобы найти самого себя.

Тогда же появились у меня и новые привязанности, я торчал часами в Третьяковке, где наверху в маленькой комнате была экспозиция «Мира искусств». Эти запоздалые романтики, такие чудеса они делали в книжной графике! Иллюстрации Лансере к «Хаджи-Мурату», его же удивительные по тонкости и настроению яснополянские акварели, черно-белые листы Добужинского «Петербург», чувство прошлого, переход в сегодня, ожидание перемен — вот что такое их книжная графика, такая старая и такая сегодняшняя.

Смотреть, пропускать через себя, отталкиваться и плыть самому.

Репродукции фаюмских портретов. «Смуглая молодая женщина». Середина или вторая половина XI века.

Большие глаза, прикрытый темными густыми волосами лоб, себрюнная нитка на высокой шее. Смотрит сосредоточенно, с нежной печалью мимо тебя. Художник безымянен, девушка — тоже. Старинная техника, восковые краски, живое лицо. Интересно, сколько ей жить, этой фаюмской девушке? Тогда ведь жили мало.

Чем-то она определенно напоминает Нору. Впрочем, многое тогда мне напоминало Нору.

И я снова возвращался к своему портрету. Что делать с ним? Может, тоже поразить новизной, придумать шарнирную композицию, со смещенными пропорциями, с невероятными глазами на чешуйчатых стрекозиных крыльшках, чтобы остановились и задумались... И назвать ← «Нора».

Наверное, я бы сумел..

Как счастливо было в детстве: листок картона, цветные карандаши, танки, самолеты, тигры и львы — все сильное, грозное, способное загрызть или задавить.

Почему именно в детстве мы так любим силу? Потому, очевидно, что малы и беззащитны. В детстве любим сладкое и все сильное.

С Борькой мы виделись, внешне все было как и прежде, только самое главное исчезло: дружба.

Мы подружились с ним сразу, с первой встречи, у нас не было даже периода приятельства: познакомились и, похоже, с первого дня побратались. А теперь — назад, теперь мы просто знакомые, приятели, разговариваем по делу, ни звонков, ни прогулок.

Но вот случилось мне встретить его в Русском музее...

Приехали мы порознь; я даже не знал, что и он в Ленинграде.

Я опустошенно ходил из зала в зал, скользя глазами по таким знакомым, как если бы они принадлежали моим родственникам, лицам, с разной высоты глядевшим на меня со стен. Какие-то экскурсанты, иностранцы, школьники с учителями... И охватывает тебя вдруг та

необыкновенная усталость, какую чувствуешь только в музее. Ноги словно чугунные, хочется передохнуть, сесть, а может быть, даже лечь на пол, окинув взглядом все эти замечательные застывшие лица, все эти удивительные и где-то далеко шумящие боры и рощи, лечь на холодный пол в сознании счастья и полного бессилия.

Но так не принято в музеях, тут и присесть-то негде — старички сидят на диванчиках.

Удивительное одиночество, знакомое только тем, кто много раз ходил по одним и тем же залам, охватило меня.

И вдруг я увидел Борьку Никитина. Точнее, я увидел спину Борьки Никитина. Он неподвижно, сосредоточенно стоял перед какой-то картиной.

Интересно, что он там высматривает? Вот так стоит, любуется, а потом будет бранить изо всех сил. Бывает с ним в последнее время такое.

Я подошел поближе, глянул сбоку.

Он стоял у федотовского портрета Н. П. Жданович. Девушка у фортепьяно.

Смотрел он очень пристально, неотвязно, голубые с расширенными зрачками глаза как бы высохли. Портрет был прекрасный, но что-то еще интересовало его. И вдруг неожиданная догадка все поставила на место. Эта девушка, отвернувшая лицо от фортепьяно и чуть вскользь, потупив глаза, смотрящая в сторону, определенно напоминала Нору.

Это было уже не отдаленное и лишь моим настроением, желанием вызванное сходство с фаюмской девушкой. Нет, это было реальное, физическое сходство, как будто бы Н. П. Жданович была родная сестра Нору.

Борька посмотрел на меня, я на него. Мы сошлись, пожали друг другу руки, и я сказал нарочито небрежно, с ухмылочкой, будто мы оба участники какого-то сговора:

— Хороша... А?

Он глянул еще раз на картину как бы для окончательного решения и, помолчав, сказал:

— Шея, пожалуй, слишком лебединая. А так портрет отличный.

И я понял с некоторым облегчением: мы видели разное, думали о разном. Просто в то время я видел и хотел видеть только одно. А он видел все, он разглядывал все портреты и все картины. Я не знаю, искал ли он ее лицо в чужих, как я, думал ли о ней так же неотвязно... Я почему-то был уверен, что тогда — нет.

Мы шли с ним по вечернему Питеру. Заглянули в модное тогда кафе «Норд», ели несказанные воздушные двухэтажные пирожные и, как фраера, запивали ликером в игрушечных рюмочках. О Норе ни слова.

Что-то в наших отношениях вновь затеплилось, ожило.

Помню еще, что в тот день мы были в Петропавловской церкви, усыпальнице русских царей. Молча обходили нарядные, монументальные саркофаги из цинка и серебра, скрывающие от света комки праха, славу и позор России.

Ходили по огромной Петропавловке, мне было интересно найти камеру, в которой по думскому делу сидел мой дед, но так и не нашел.

— Хочешь припасть к своим истокам? — спросил Борька.

— Да, хочу, а ты?

— А я хочу узнать, в какой такой земле лежит мой отец. Ведь ни фамилии, ни даты. Без вести...

Мы еще долго бродили по Питеру, разговаривали. Борька говорил: когда работаешь, надо забыть обо всем, что было до тебя. Надо закрыть уши и глаза, есть только свое состояние и то, что тебе надо передать, тот предмет и та мысль, и нельзя ни на кого оглядываться,

лучше самому открыть Америку, чем старательно повторить открытую. Он говорил, что все на курсе, даже не только на курсе — в Институте, все почти вторичны, что оригинальных талантов, пусть хоть и небольших, но подлинных, он у нас еще не встречал.

Мы замерзли, почувствовали свою бездомность в чужом городе, хотя у каждого из нас было где ночевать.

Пошли ко мне, точнее, к моему другу, у которого я квартировал. Я показал Борьке несколько набросков к портрету Норы, которые взял сюда. Он их смотрел очень внимательно и ничего не сказал... Меня это даже обидело.

Потом, через много лет, он признался, что ему понравилось, что он даже не ожидал, что я так смогу. И еще в тот вечер он и сам решил ее нарисовать. Когда-нибудь попозже.

Вот так, попозже, он и сделал этот рисунок, что висит на стене. Чем она была занята в тот момент, когда он ее рисовал? Ведь не просто же позировала, у нее уже было много дел, забот. Там, в другой ее жизни, мне неизвестной... Может быть, она склонилась над шитьем? Хотя глаза не опущены, а только едва потуплены.

Преддипломную практику мы проходили в целинных совхозах Акмолинской, ныне Целиноградской, области. Не только рисунком занимались. Дистраивали, оформляли Дом молодежи, столарничали, плотничали, старались сделать его праздничным, не похожим на стандартные клубы.

Борька даже придумал проект совхозной пивной, именно пивной, он хотел придать этому слову иной смысл: своего рода место встреч, сельский паб, а не какая-то забегаловка. Все там должно было быть простым, скромным, опрятным, столы и табуреты из неотесанного дерева (тогда это не стало еще повсеместной модой). Идея Борькина понравилась нашим руководителям, те рассказали о ней в районе, она обсуждалась всерьез и в серьезных инстанциях. И дело прогресса победило. Проект в принципе приняли, правда, под названием «Сельское молодежное кафе»... Так Борька проявил и свой дар художника-оформителя.

Надо сказать, что это не была дежурная практика. На этот раз руководителем был наш Мастер, мы вместе работали. И не только работали. Он помогал понять, почувствовать живой, на глазах меняющийся облик земли, иногда противящейся преобразению, но все же неумолимо обновляющейся.

Так разнообразно и не похоже было здесь все на прежде виденное: прижимистые, крепкие обособленные домишки старого Акмолинска, а рядом разрытая земля сплошные улицы серых, как мыши, палаток, улицы фундаментов, а затем, через год, новые здесь и кажущиеся огромными посреди ровной сплошной степи сверкающие на солнце здания из стекла, бетона, металла.

Уже к концу практики получил телеграмму из Москвы. Телеграмма коротенькая, буквально три слова. «Я в Москве. Нора». И в конце, как награда, ни разу не употребленное ею в письмах: «Целую».

Я стал советоваться с друзьями. Сашка мне сказал: «Поезжай, мы тебя прикроем как-нибудь. Все-таки телеграмма, может, что дома случилось». А Борька, присутствующий при этом, посоветовал: «Подожди немного, где-нибудь за недельку до конца уедешь, иначе поведешь Мастера».

Причина для немедленного отъезда была веская — любовь, но Борька был прав, едва ли меня правильно поймут некоторые товарищи. Атмосфера была такова, что возвращение с целины, даже вынужденное, воспринималось как дезертирство. Чем-то оно действительно напоминало дезертирство с фронта.

И потому я был со всеми до конца, до последнего звонка. И меня встречали так же, как и всех: музыкой на вокзале, громкими маршами, объятиями и крепкими рукопожатиями.

Мое возвращение в Москву совпало с моим днем рождения. Я позвонил ей и попросил прийти пораньше, до прихода друзей. А уж потом, когда они придут, мы будем веселиться все вместе. В конце концов все старые счета уже закрыты.

И вот я в своей комнате, от которой уже отвык за три месяца, она кажется более тесной, как всегда, когда возвращаешься с далеких просторов; да и все более тесное, уменьшившееся: дворик, трехэтажный домик постпредства, скверик, сверкающий осенней медью, облетевшие голые тополя.

Я сходил в магазин на Кировской, где всегда была хорошая ветчина, розовая, прохладная колбаса с аккуратными полянками жира. Купил несколько бутылок желто-лимонной старки и ждал, ждал ее.

В комнате прибрано, скромная, но вкусная снедь сияет на столе между бутылок, каждый звук, каждый шорох кажется мне звонком, я все время вскакиваю, попутно смотрю на себя в зеркало и на этот раз даже нравлюсь себе: аккуратная, приятно уменьшившаяся после стрижки голова, красноватый целинный загар на гладко выбритых щеках... Ничего, кажется, все в порядке. Таким не стыдно предстать перед ней.

А ее все нет. Я постепенно начинаю нервничать, жалею, что затеял этот день рождения, лучше бы просто встретился с ней один на один.

Достаю ее портрет. Смотрю на него, будто не я писал. Мне хочется показать его ей, но я еще не знаю, не решил...

Выражение молодого самодовольства, с которым я гляделся в зеркало, слетает, когда я смотрю на свою работу. Я уже давно ее не видел, стояла за шкафом завернутая в простыню, а сейчас, перед ее приходом, зачем-то достал. При еще ярком солнечном свете цвета показались слишком форсированными. В сумраке ее лицо должно было светиться, но сейчас оно слишком торжественно блестело, а глаза показались традиционно иконописными и чересчур напряженными.

Пожалуй, наклон головы, поворот, неожиданность ракурса — все это, если не придираться, было неплохо, но все равно оказалось много ниже того, что я ожидал увидеть. И подогревая свое разочарование, расширяя ту вначале небольшую трещинку между замыслом и воплощением, я произнес самое для меня противное слово, которое мог бы услышать из чужих уст: «Мило, довольно милая работа». Порвать, порезать, сжечь! Но нет, я не чувствовал той решимости и того самоотвержения, великим было легче, они легче резали, легче сжигали, потому что, наверное, и делали легче, они были гениальнее, они и не так пытели, не так упрямятствовали, потому и не так дорожили своими опусами.

Конечно, все это было еще и оттого, что она не шла. Не так уж плох был портрет... Конечно, он не закончен. Еще работать и работать, но, оценивая трезво, я предпочитал будущую удачу... Но сейчас меня злили ее опоздание, нервность моего ожидания, неуверенность в ней, а потому злил и портрет. А как я все благостно представлял себе: вот она придет, мы прильнем друг к другу, скажем какие-то слова, а может, и слов никаких, и вот я достану и покажу ей то, над чем бился почти год.

Я бросил портрет на диван; показалось, что треснула рамка, которую я специально выстругивал, сбивал, чтобы она увидела все как полагалось, не голый холст, а портрет.

Бросил, и тут же стало жалко портрета, жалко своей работы.

В этот момент — звонок.

Нарочито охлаждая себя, замедленно, как бы нехотя, уже заранее решив, что это не она, небрежно и независимо посвистывая, иду открывать.

В проеме приоткрытой двери — она. В красном коротком платье, загорелые великолепные ноги в красных же босоножках, а уж потом только, подняв глаза, вижу ее лицо.

Оно сдержанно сияет — повзрослевшее, загорелое, не родное и привычное, как тогда, а новое и слишком красивое — слишком красивое для этого тусклого коридора с пыльными шкафами, для этих приоткрытых дверей, для углого коммунального быта, для меня, для моего жалкого портрета. Я чувствую какую-то странную робость перед ней, перед ее новизной, перед женской завершенностью, зрелой нарядностью ее одеяния. Я осторожно держу ее за руку, пытаюсь вести за собой, но она идет сама, свободно, не стесняясь, совсем не скрывая того, что хорошо помнит дорогу.

Она уверенно открывает дверь, входит в просторную комнату, вдруг ставшую заскорузлой каморкой, какой-то кургузой, плохонькой рамкой для ее торжествующего лица.

Она прохаживается по комнате, смотрит в широко открытое окно (как она тогда смотрела, босоногая, худенькая, почему-то жалкая и такая близкая мне), она садится на диван, и опять я вижу ее колени, тоже совершенно отчужденные от меня, — элемент завершенной женской формы, мне уже не принадлежащей, — и, повернувшись, обращает свой взор на валяющийся рядом с ней на диване портретик с действительно треснувшей в одном месте рамкой.

Она смотрит на него, а потом на меня с удивлением:

— Это я?

— Нет. Это Н. П. Жданович.

— Какая еще Жданович?

— Обыкновенная Жданович. Надежда Павловна, скажем. Ничего бабка?

Она несколько теряется и говорит:

— Очень даже ничего. Я почему-то подумала, что это я. Вот дура.

— Скажешь тоже, ты! Это репродукция с работы известного художника. Такое нам задание дали. Сделать репродукцию.

— А... — говорит она разочарованно. — А я думала, ты сам так научился рисовать.

— Скажешь, сам. Чтобы так рисовать, нужны десятилетия, годы труда и учебы. Ты старухой станешь, когда я научусь так рисовать.

Странное начало... Присутствие ее мне кажется нереальным, и особенно нереальным то, что можно дотронуться до нее, обнять.

Успокаиваясь, я нарочито медленно заворачиваю в простыню портрет, отношу его, ставлю туда, куда и положено: в расщелину между стеной и шкафом.

И дежурные, мятые какие-то слова, словно все другие забыл:

— Ну что, ну как?

— Ничего, вот поступила, можешь поздравить.

— Поздравляю.

— И я тебя поздравляю.

— А меня-то с чем?

— Ты что, забыл, что ли? У тебя же день рождения. У меня для тебя подарок есть.

— Давай поедим, выпьем, ты же голодная. — А самому все же интересно, какой подарок. Подарок от нее — это что-нибудь да значит. — Откуда ты знаешь, что у меня день рождения?

— Ты как-то обмолвился, а я запомнила.

— Значит, еще помнишь кое-что?

И, изменив нашему странному ладу и тону, она вдруг говорит тихо, с какой-то удивившей меня серьезной простотой:

— Конечно, помню. Все помню.

Она достает из сумки маленький аккуратный сверток, разворачивает. Вижу белый, наверное, слоновой кости, с серебряными готическими буквами мундштук.

— Это мундштук моего отца. Вот, я тебе его дарю.

Единственная вещь, что осталась у меня от нее,— этот мундштук.

— Спасибо, спасибо. Тут уж и впрямь: и подарок дорог и честь дорога.

— Ладно, хватит об этом. Просто мне хотелось, чтобы это было у тебя. Чтобы ты курил и вспоминал обо мне.

Ага, вот она, немецкая сентиментальность...

Сидим на диване, очень хочется ее обнять, но я почему-то долго не решаюсь. Да что такое, что со мной происходит, что вообще случилось? Я обнимаю и целую ее, но она высвобождается и вдруг спрашивает:

— А можно, я еще посмотрю этот портрет? Эту, как ее, Надежду Жданович?

— Нет, не надо. Надежда очень смущается, когда ее так пристально рассматривают... А ты что же, совсем не соскучилась?

— С чего это ты решил?.. Для тебя соскучиться — это только... А я теперь на все стала смотреть по-другому.

Я не стал уточнять, не стал развивать эту тему. Мне показалось, что смогу лучше развеять новую систему ее взглядов, если не буду доводить ее рассуждения до логического конца.

— Ведь мне уже двадцать один год, три года я мыкалась, а теперь, на старости лет, поступила... Вот за это и давай выпьем.

Мы выпили. Чокнулись. Все как полагается. Прошло еще минут десять—пятнадцать. Мне показалось, что она становится той, какой была, что эта непонятная мне новизна стирается, уходит. Теперь все было как прежде, как и должно было быть. Я приблизил к себе ее голову, уложенную точь-в-точь как у Надежды Жданович, и стал целовать ее.

Не вовремя, слишком скоро раздалась звонки: пришли ребята.

Вновь мы собрались в прежнем составе, но переговаривались сковадно, словно бы осматриваясь, приглядывая друг к другу... Ничего вроде бы и не произошло, все те же и все то же, а неуловимые изменения, внесенные небольшим, но все же значимым временем, не видны, они внутри каждого из нас.

Но выпивка делала свое дело сглаживания конфликтов и сближения людей. Включили музыку, разогрелись, покраснелись, разговорились. Пошли вопросы: ну как ты, ну что ты?

Вопросы, естественно, были обращены к Норе. Мы-то друг о друге все знали.

Потом стали танцевать. Бурный рок — три кавалера и одна партнерша. Каждый бросал ее как умел... Но я поймал себя на том, что смотрю, как она танцует с Борькой. Почему-то поставили тихую пластинку, танго, и мне стало неприятно, что ее рука послушно лежит на его плече... А с другой стороны, как же еще танцевать?

Вообще Борька был тих и немногословен, посматривал исподлобья. Я знал, что эта мрачность не от неприязни, а скорее от сосредоточенности на какой-то одной мысли.

На чем он был сосредоточен тогда, бог его знает...

И был еще один момент... Далеко за полночь все заспешили, чтобы успеть на метро.

И она тоже, вот что меня удивило. Я был уверен, что она останется. Можно было, конечно, для отвода глаз выйти вместе, проводить их до метро, ну а дальше якобы разбежаться по сторонам, а на самом

деле вернуться пересекающими друг друга переулочками, подняться на пятый этаж, проскользнуть (впрочем, чего уж скользить?) темным коридором и очутиться в моей — в нашей — комнате.

Она стала собираться, я отозвал ее и то ли спросил, то ли попросил:

— Останешься?

Она дотронулась до моей щеки ладонью, что-то в этом движении, в этом жесте было снисходительное:

— Нет, сегодня не останусь.

Все собрались, двинулись к дверям, а я еще не знал, пойду или нет, мне не понравилось, что она уходила, что в первый наш вечер не осталась.

Тут Сашка совершенно уж невпопад ляпнул:

— А ты сиди, куда тебе. Мы ее проводим.

Будто его наняли.

Я еще подумал о том, что и себе и ей покажусь жалким, если зашпешу, пойду провожать, будто не уверен в чем-то...

И вот так, ощущая что-то непонятное, какую-то несообразность, блик отчуждения, я все-таки шел к метро, отдельно почему-то от нее, будто она такая же для меня, как для каждого из них.

Дошли до метро «Кировская». Оно закрывалось. Все-таки милиционер пожалел, пропустил. И они все втроем вошли в открывшиеся на секунду двери. Вошли — и словно канули в подземелье.

И дальше все было не так, как я ожидал. Какие-то обстоятельства возникали, мешали, разгораживали, я пробивался сквозь них, как сквозь колючую проволоку.

Вначале Нора заболела, простудилась, я ей звонил каждый день, слушал ее больной, обесцвеченный голос, говорить вроде было не о чем, телефонный аппарат окончательно забивал, уничтожал все наше, важное для обоих... Пустые, незначащие разговоры, топтание на одном месте.

Мне хотелось прийти к ней, принести лекарств, апельсинов, лимонов, обогреть ее, но, по ее словам, приходиться было неудобно, теперь она снимала комнату у какой-то знакомой своей матери, пожилой грузинки.

Пожилая грузинка аллергически не воспринимала молодых людей, их визитов, посещений, даже звонки она с трудом выносила.

Так три недели мы не виделись. Но вот наконец она выздоровела. Я думал, встреча наша после этой вынужденной паузы будет счастливой. Ничего подобного. Мы просидели на скамейках Суворовского бульвара час, она все время кашляла, мне даже казалось, преувеличенно громко (нерастратенное актерское дарование). Говорила, как плохо она переносит московский климат (это было что-то новое, раньше ей было плохо там, на юге), как трудно ей в институте.

Она превращалась в этакий экзотический цветок, яркий, капризный, на глазах осыпающий лепестки.

Мы поехали на Выставку, в чайхану. Горячий зеленый чай отогрел Нору, она перестала кашлять, как-то подобрела и погрустнела, была нежна со мной, гладила мою руку, но я все время чувствовал в ней какое-то отчуждение. И что-то слишком уж часто она стала говорить о своем одиночестве в Москве... Это особенно больно царапало. Она одинока, будто меня и нет. Будто я не сижу рядом.

Я ее провожал, мы подошли к дому, где на втором этаже светилось окно строгой хозяйки. Нора остановилась. Ей явно не хотелось туда. Мы снова и снова ходили взад и вперед по Рождественскому бульвару, молчали.

Было часа два ночи, когда мы вернулись к ее подъезду, она протянула мне руку, я приготовился пожать ее — обычное рукопожатие, никаких нежностей, своего рода протест против ее сознательного от-

даления от меня,— и вдруг она приблизила меня к себе, я увидел ее глаза, ей хотелось плакать, но она сдерживалась, она быстро поцеловала меня — так, будто прощалась, и оттолкнула. Будто прощалась — вот что я запомнил... А может, другое. Может, просила прощения. За что?

Я говорил себе и ей: «Мне ничего не нужно, только твое присутствие в моей жизни, постоянное, каждодневное, только твое присутствие, больше ничего».

Но что значит — присутствие? Звонки, гулянья по бульварам? Раз-два в месяц, когда родителей нет, приход ко мне? Я понимал, что так тоже невозможно. Но что я ей мог предложить, к чему был готов?

Как-то раз она зашла ко мне домой, опять все было хорошо, и она была своя, простая, без фокусов, и в этот день, пожалуй единственный во второй ее приезд, я испытал с ней всю полноту счастья и умиротворения.

Потом она снова исчезла. Теперь уже причина была другая: институт. Нечеловеческие нагрузки, невероятные задания, анатомия, морги, бог знает что... Можно было подумать, что она не в Первом медицинском учится, а в какой-то академии.

С другой стороны, она способна к преувеличению, но не ко лжи, и потому я понимал, что действительно она много занимается, что существует еще какая-то зависимость от той женщины, у которой она живет, все это было понятно... Но каждый раз наши встречи срывались, что-то пробуксовывало, исчез тот стремительный, поглотивший нас обоих в прошлом году темп, в котором ни паузы, ни отсрочки были немислимы.

Наконец мы договорились твердо и окончательно. Она придет, и мы поговорим с ней.

Она пришла точно, почти минута в минуту, ее точность даже испугала меня.

И опять, как тогда, зачехленный портретик, к которому я совершенно потерял интерес, бутылка вина, новенькая пластинка, магнито-блестящая под иглой проигрывателя.

Вяло пила чай, от вина отказалась; прокручивалась, проигрывалась пластинка, звук был сильный, свежий, но казалось, что она крутится вхолостую, не поднимая, не заворачивая, а просто механически производя сложный, тщательно соркестрованный звук, плывущий мимо глухих огрубевших ушей.

Я пил один, быстро хмелея, самоожесточаясь. Сочтя, что выпил достаточно, я обнял ее, стал как-то нарочито грубо целовать, был нетерпелив, настойчив, а она и не отвечала мне и не сопротивлялась.

Во всем этом было что-то оскорбительное, словно я был ей чужой; она то противилась, то готова была уступить, словно безропотно выполняла какой-то долг.

Неясное подозрение родилось во мне, еще не оформившееся, слабое, готовое рассыпаться при первом же звуке. Бледнея, еще не веря, что скажет твердо, окончательно, безоговорочно «нет» и тем самым даст мне возможность дышать, любить ее, надеяться на продолжение, я словно во тьме брел, словно свет погас, и только она одна могла его включить: одно движение, одно твердое, как щелчок, слово и все станет на свои места.

— Но мы же договорились друг другу только правду, только правду, — повторял я, сам чувствуя свою жалкость, но это было неважно сейчас, важен был только ее ответ, причем именно тот, на который я рассчитывал, несущий надежду.

Мое учащенное сердцебиение, тихий мой, неожиданно вкрадчивый голос:

— Ну скажи, скажи.

И сказала тихо, пересохшими губами, без голоса:

— Ничего не было... Не было... Но...

— Что — но?.. Ну скажи, скажи...

— Я, наверное, выйду замуж.

— Поздравляю,— грубовато, как бы с иронией говорю я и не слышу себя, а вижу только ее остановившиеся губы. И не слыша себя, не видя ее, тем же шутовским тоном добавляю: — За кого же?

— Ну, ты узнаешь, узнаешь.

— Нет, сейчас, я хочу знать. Кто он?

— Зачем тебе это?.. Я не могу больше жить, на каждом шагу ощущая бесприютность и одиночество. Тебя по-настоящему не волнует моя судьба. Я ведь много думала. Ты не любишь меня.

— Наступление — лучшая защита,— неожиданно успокаиваясь, говорю я.— Ты сама не веришь в то, что говоришь, да и зачем тебе аргументы, ты лучше скажи кто. Ну чего ты боишься? — И вдруг дикая мысль приходит мне в голову:— Администратор, что ли?

Она изумленно усмехнулась.

— Ну так кто же? Ну не тяни. Кто, я спрашиваю.

Я приблизился к ней, увидел совсем рядом ее темные глаза, глядевшие участливо и отчужденно, будто из дальней какой-то дали.

— Хорошо. Я скажу тебе... Никитин.

Что она еще говорила, когда я молча провожал ее до метро? Вспоминается примерно такое: «Да, я люблю тебя и его... Но это же нельзя, это же несоединимо... Нужен выбор».

Помню, меня тогда особенно поразило это слово «выбор», жесткое короткое слово.

И еще она говорила обо мне: сначала хорошее, как она меня любила всю зиму, как читала и перечитывала мои письма, как ждала своего возвращения в Москву (все в прошедшем времени), потом еще что-то, объяснительное: «В нем есть решимость, а в тебе только настроение, он готов разделить со мной жизнь, а ты?..»

Зачем она это говорила? Она ведь даже и не смотрела на меня, не интересовалась, слышу я или не слышу... Да ей и неважно это было, ей важно было объяснить. Кому? Себе, конечно. Она убеждала, уговаривала себя. Она еще не была в себе уверена.

Все это было так странно и страшно своей новизной, своей новой реальностью. Может, еще что-то можно переиграть, переломить, ведь есть же такое понятие: бороться? Надо бороться, бороться за нее. Но как бороться и что это такое, если раскаленный ком в глотке ничего не дает сказать.

А ей хочется, чтобы было красиво, чтобы было как надо. Она хочет попроситься со мной достойно. Она гладит мою руку, говорит, что никогда не забудет меня, что я такой...

Я отталкиваю ее и хрипло бормочу что-то длинное, скверное, оскорбительное.

Я ожидал пощечины, ожидал, что она убежит. Ничего подобного. Она, плача, шла за мною, болезненно морщась от моей ругани и все время повторяя жалостно: «Ну что ты, ну что ты...»

Я все ускорял шаг, уходил вперед и наконец окончательно оторвался от нее у перехода через Садовое кольцо (сейчас я думаю, что зря так убежал, может, еще бы все переломилось, еще был шанс, потому что тогда она действительно еще любила меня). Помню, я пошел на красный свет, мостовая вначале была пустынна, дождинки подпрыгивали и отскакивали от нее, потом издали быстро стала накатывать московская ночная стая с волчьими глазищами фар, готовая мгновенно смять, снести, смести тебя со своего пути.

«Ну и пусть... ну и пусть... теперь все равно».

Не сбили — видимо, я автоматически все-таки ориентировался в этих городских джунглях.

Это был самый гнусный и тяжелый момент в моей жизни. Потом, через ряд лет, я узнал, что есть бездны пострашнее, что бывают моменты...

А тогда теплая ночь, чернота, дождь, машины, бесформенно летящие, обдающие сухим жаром, почти задевающие, равнодушные и слабый вызов всему: «Ну сбивайте, гады, валите, что же вы?..»

Пельмени тают, журчит разговор, звенят стаканы, кажется, все это уже было когда-то, какой-то длинный поезд громыкает и мчится, а я стою между вагонами, там, где серая гармошка перехода над угрюмыми буферами.

Что это такое, куда он идет, в каких тоннелях исчезает, проносится грохоча, с погашенным светом?

Лица, дома, пристанционные здания, магазины, солнечный свет, мелкий густой дождь, обрывки разговоров, обрывки мыслей, погашенные окурки...

В детстве это непонятно, в юности неинтересно. потом — еще отдаленно, но уже страшновато, в старости уже близко, но несколько неопределенно — приговор вынесен, но кем-то еще не подписан.

Начало и конец. Конец. The end. Финал. И кажется, все это неправда, этого не будет со мною.

Но иногда странное, прямо-таки физически осязаемое ощущение: издали, из незнакомой тебе, несуществующей высоты смотрят на тебя те, которых тебе не увидеть... Мы знаем: они были. Они знают: мы есть...

После окончания Института весь курс направили на Рыбинскую ГЭС: там выделили средства на создание музея и галереи портретов передовых рабочих, на оформление общежитий и так далее.

Жили мы в Рыбинске. Лето, широкая Волга, дождь, двухэтажная гостиница-дебаркадер, здание речного вокзала.

Тоска. Ребята пошли на танцы в местный парк... И я пошел. Деться некуда.

Там же и Борька со своей женой Норой, она зачем-то поехала с ним. Еще бы, тут где-то недалеко его родина. Медовый месяц на родине. Делаю вид, что не замечаю. Слеп. В упор не вижу.

Мелодии здесь на танцплощадке допотопные, чуть ли не «Мишка, Мишка, где твоя улыбка...», но есть и новейшие: «Вьюга смешала землю с небом».

Ухожу с танцплощадки, напиваюсь тупо в буфетике среди подгулявших командированных речников, каких-то разговорчивых девиц.

В гостиницу не пускают. Поздно. Я кричу, бью кулаком в дверь. Кто то открывает, видно, вахтер, орет на меня, я несусь на него, получаю удар, падаю.

Потом какая-то возня. Кто-то быстро слетает с лестницы, насккивает на вахтера, сквозь сумрак вижу, вернее, догадываюсь: Борька Никитин.

И действительно, надо мною, распростертым, Борька Никитин. Бормочет, успокаивает:

— Ну че ты, ну че ты? Че раздухарился?.. Вставай.

Откуда он взялся здесь, зачем?

— Пошел ты... Пошли вы все.

— Ну че ты?.. Ну че ты, Юрка, Юрк?..

Почему-то меня возмущает, что он меня так зовет.

— Я тебе не Юрка. Я тебе... — И что-то ору злобное, бессмысленное, а он застегивает на мне рубашку, тащит меня.

После этого инцидента наши дипломатические отношения восстановились, во всяком случае, мы стали кивать друг другу. С ней, к счастью, не приходилось встречаться. Она жила где-то в деревне и редко попадалась на глаза.

Связующим звеном между нами был Сашка. Он был и мой и Борькин, но больше он был свой. Он был нашим привычным спутником, нашей тенью, он знал о нас все, мы же о нем — маловато. Виной тому не его скрытность, а, пожалуй, наша незаинтересованность.

Он был доброжелательным, спокойным, никогда не повышал голоса, редко ругался, поэтому, может быть, его и не считали в Институте примечательной личностью.

А между тем рисовал он крепко, у него был как бы врожденный профессионализм, но не было чудинки, он не умел, а может, не хотел себя подать, вокруг него не было никаких историй. А в нашей среде хуже всего быть таким спокойным и хорошим. Из одной добротности славы себе не добудешь. К тому же он всех старался помирить.

Вот и нас с Борькой. Помню, мне он говорил:

— Протяни ему руку, будь выше, вам же всю жизнь придется вместе.

А я отвечал решительно:

— Да пошел он...

Так же, выясняется, он подходил и к Борьке:

— Будь выше...

Да, рисовал он крепко, работал серьезно. И, что называется, всегда был самим собой.

А может, как раз и нельзя быть самим собой—с самого начала? Возможно, надо шархаться и впадать в крайности, чтобы потом стать самим собой?.. Впрочем, кто это знает.

В субботу мы сговорились пойти на рыбалку с ночевкой. Как когда-то ходили в Воронежской области, втроем.

Но пришло вдруг в голову, что Борька может взять с собой Нору.

— Как ты думаешь,— спросил я Сашку,— она поедет?

— Думаю, нет.

— Почему? Они же как нитка с иголкой. Куда иголка, туда и нитка,— сказал я звонко, с каким-то странно веселящим меня бессмысленным нахальством.

— Она беременна,— тихо сказал Сашка. И добавил: — Уже ведь заметно...

Мастер на пару недель отпустил меня, дал даже задание: посмотреть состояние районных и городских краеведческих музеев и написать отчет.

— Там ты такие работы можешь найти, что ахнешь... По сути, эти волжские хранилища еще не исследованы. Может, тебе повезет, ты увидишь забытых художников Коренева, Тарханова, Мыльниковых... Ты узнаешь русский художественный восемнадцатый и девятнадцатый век не в главном его течении, а в притоках, не столичный, а губернский. Да и удивительных людей встретишь, энтузиастов, хранителей старины.

То ли он что-то почувствовал в моем состоянии, то ли что-то знал, но решил, что мне надо пожить отдельной от всех жизнью.

С его легкой руки я прошел верхней и средней Волгой, поработал на этюдах, побывал в музеях Горького, Саратова, потом вернулся в Ярославль.

Там и познакомился я с Акундиновым.

Человек, видимо, нездоровый, мучительно подавляющий сухой кашель, как бы без возраста, с красным склеротическим румянцем, островками горевшим на желтом лице. Я не знал его должности, знал только, что он реставратор, но служит в местном управлении культуры.

Сначала тихо, будто голос потерял, потом распался, уже включив звук, рассказывает:

— В пятидесятые годы десятки полотен сгнили, погибли. Некоторые сохранились, но краска сошла, ткань обветшала, попробуй определи кто. Много я ходил по селам, Вишняков например. Год за годом собирали, приводили в порядок. Но сколько погибло, сколько недосмотрели! Да, после войны люди другим были заняты...

Водил меня по тихому, чистому залу, где кроме нас — только сонная, одна на весь музей, дежурная.

Тишина, ясный свет, скрип половиц, покой и словно бы дух тепла из печки, и кажется: все это уже было со мной, много-много лет назад я уже ходил здесь и видел, встречал — живых, а не на картинах — этих ясноглазых детей, они с любопытством поглядывали на меня, застенчиво улыбались, о чем-то хотели спросить. Дом был просторный, вот так же пахнувший сухим нагретым деревом, воском, вишневым вареньем. «Дети Темирниных».

Дети Темирниных голубоглазые, шустрые; любопытство к прищельцу, ко всему новому и одновременно скромность и что-то болезненно-скорбное, иноческое в глазах, уже от будущих разочарований и потерь.

Вот оно, такое обнаженное, открытое в своей простоте искусство, да и искусство ли, не знаю. Может, просто лицо выразило в сей миг главную свою радость, единственную свою печаль. Лицо светящееся и уплывающее в дальнюю даль; там гаснут, затихают шаги на скрипучих, чисто выскобленных лестницах; прадеды, прабабки наши... Куда они спешат по узенькой крутой лестнице? Спустятся скоро, уже сгорбленные, с выцветшими глазами, пройдут по тихим комнатам с небольшими окнами, где пахнет шерстью, вишней, сыростью только что вымытых полов, пройдут и скроются, и не услышу, не увижу, не узнаю, где был их последний шаг, какая болезнь уложила их, да и болезнь ли...

Голос то возвышается, то гаснет. О художниках этих я ничего не знаю, даже имена впервые услышал от Мастера: Тарханов, Коренев, Мыльников, Колендас.

Старый энтузиаст, реставратор, что с ним? Туберкулез, может быть? Откуда этот кашель, это восковое, с густым, неестественным румянцем лицо?

Вечером я у него дома. Сидим на кухне, говорит он.

Новое искусство он не любит, не приемлет. Живопись, скульптура кончаются для него XIX веком, ну а дальше все от лукавого... Боюсь даже спросить о моих любимых Добужинском, Сомове, Бенуа, еще неизвестно, как и на них посмотрит. Ну а когда речь заходит о новейших, о западных мастерах, глаза наливаются, горят негодованием.

Я не возражаю, слушаю. Я благодарен ему за день, который он мне посвятил за то, что открыл тех, о ком я лишь слышал.

Да и как совмещаются в одном человеке удивительное понимание прекрасного и категоричность, отрицание всего, что ему неблизко и непонятно?

Он громит бытовиков, «фотографов», парадных портретистов. Согласен, согласен... Потом принимается за импрессионистов, за Кошку, Гросса, Кандинского, Пикассо...

Чаще всего с его языка слетает слово «муть». Это как бы самое любимое его определение: муть, муть.

Не знаю. Я то согласен с ним, то решительно не согласен. И чем яростнее он в своих оценках, тем я спокойнее; чистый запах бедной, опрятной квартирки, чистый свет, тепло, вино согревает, никуда не хочется уходить.

И спорить я не могу, многого я не знаю, только догадываюсь, а ему надо выговориться. А я молод, я еще успею...

— Вы рисовали? — спрашиваю.

— Да нет, немного... Так, начинал. Однажды Грабарю понравилось.

— А Грабарь вам?

— Так, неплохо, добротнo, приятно для глаза, но свет хоть и радостный, да поддельный, а вот у Ивана Тарханова, которого ты сегодня видел, не поддельный.

Я неожиданно говорю ему:

— Знаете, я написал портрет. Хотите, покажу?

Он смотрит с недобрým отчуждением.

— Небось тоже с фокусами, с квадратами вместо глаз.

— Нет.

— Все равно...

Он замолкает и наливает мне в кружку чай — густой, почти черный. Я пью обжигаясь.

— Тебе что, плохо, что ли? — спрашивает с некоторой умиротворенностью. — Вот и пей чаек.

— Нет, хорошо, — тихо говорю я и не могу шевельнуться.

— Это настоящий чифирь. От всех болезней, он меня не раз спасал. Пей, полегчает, а то что-то ты бледный... Да не бойся, полегчает, браток.

И так хорошо, успокаивающе он сказал «браток», и вся его непримиримость и ярость куда-то делись, и он пристально так смотрел на меня, с такой заботливостью и тревогой, будто был мне родственник, может, даже отец.

Потом он провожал меня до гостиницы, уговаривал остаться у себя, да мне не хотелось стеснять его.

Мы шли по тенистым улицам, по старым булыжным мостовым. Вокруг теплая и свежая ночь, какая случается только в молодом лете. И все она, казалось, приняла и утишила: и споры, и крики, и ярость, и непонимание, и, самое главное, одиночество.

Потому что молча шли, вдвоем, со старым незнакомым человеком.

«Портрет незнакомoго художника». А художники бывают ведь не только неизвестные, но и незнакомые... Вот этих, сегодняшних, я ведь не знал.

— Что ты там бормочешь? Слабаки вы все.

— Да с чего вы взяли, я еще столько же могу.

— Экий могучий. Сейчас все слабые... Скоро уже твоя гостиница.

И действительно, скоро неопределенный, смягченный какой-то блеск воды, и неподалеку двухэтажный Дом колхозника, где я квартирую.

Подходим к дверям, он заботливо держит меня под локоток, будто я и на самом деле набрался...

— Тебя проводить до комнаты? А то ведь не пустят в таком виде.

— Да нет... Кто меня не пустит? Пусть только посмеют. Я-то в полном порядке.

И все-таки он идет вместе со мной по длинному коридору, мимо бдительной администраторши, вводит меня в мой утлый холодный номер, зажигает свет и почти сажает на кровать.

Сквозь туман я чувствую, что ему не хочется уходить, не хочется в свою пустую квартиру, а хочется, возможно, еще поговорить со мной... Да что со мной говорить, если меня прямо так и валит в кровать.

Я еще помню, что он протянул мне руку и она у него была легкая, будто гипсовая. Гипсовое пожатие.

— Утром приходи... Угощу своим чаем. Сразу всю муть снимет. А днем пойдем в музей. Я тебе еще кое-что покажу.

— Ладно... Я приду с утра.

Мне почему-то представилось, что один, ночью, в музее хожу по скрипучим лестницам, по блестящим в сумраке полам и засыпаю под светлыми взглядами мальчиков Темирниных.

Он ушел, а я заснул одетый, и мне что-то снилось все время, какой-то стог сена, то светящийся, то исчезающий во тьме. Зачем мне этот стог? Но нужен почему-то, а ноги исколоты, их будто нет, но надо идти.

Постепенно все растворяется, исчезает — и стог, и небо, и ступени, и движение, — и тайна и явь сна как бы переливаются в ничто, в пустоту...

Резкий стук в дверь.

Я слышу, но не могу встать.

И голос, такой же резкий, даже грубый:

— К телефону, срочно! Вниз, к администратору.

Поднимаюсь, в комнате темно, иду на ощупь... Тепло сна выходит из меня, и я чувствую режущий грудь холодок. Зачем этот звонок? Кто мне может сюда звонить? Почему к администратору?

Внизу горит свет. Женщина-администратор с какой-то суетливой услужливостью протягивает мне трубку.

— Это я, ты слышишь?!

— Кто «я»? — Я узнаю Сашкин голос, но как бы инстинктивно стараюсь все перевести на другую скорость, переспрашиваю снова: — Это Сашка?

Он не отвечает. Он только говорит каким-то слишком высоким голосом:

— Несчастье. Нора умерла.

— Кто?.. Как?..

— Нора. Несчастный случай.

— Что такое? Что такое?

Я уже не слушаю его, но слышу все, что он говорит, даже его дыхание между фразами.

— Преждевременные роды. Понимаешь?

— Да.

— Она тяжелое подняла. А в доме никого, понимаешь?

— Понимаю...

— И от потери крови...

Я молчу, я еще ничего не понимаю, но уже верю.

— Приезжай в Москву. Ты приедешь? Мы отправим ее на родину.

— Да.

Услужливая администраторша, чьи-то лица, на стене репродукция «Охотников на привале», светает, все уже видно, и петухи кричат, зовут.

И стога нет... Не доползти, не добраться. Никогда... Никогда. Это впервые так ясно никогда. А как же ребенок?.. Борькин ребенок. Тоже с ней? И как же все — моя любовь, и ревность, и молодость моя — тоже с ней?.. И портрет. И тайный смысл всей моей нынешней жизни: доказать ей. А что доказывать? И кому — теперь?

Не нужно. Бессмысленно... Отпадает.

Какое-то железное, канцелярское слово, выражение чужой, недоступной, ненавистной воли. Отпадает!

Через несколько лет мы сидели с Борисом на веранде второго этажа в кафе на Чистых прудах.

Раскинулся вокруг район, или, точнее, местность, каждый метр которой исхожен вдоль и поперек, обточен нашими ногами, все эти

улучки и переулки: Жуковского, Фурманный, Чаплыгина, Харитоньевский, Лабковский, Покровка, Армянский.

Желтел массивный купол церкви в Потаповском, блеснул новенький отреставрированный крест, и словно бы слышался мне тихий покойный благовест.

Странное чувство покоя, остановившегося времени, примирения со всем.

Борьку я уже давно не видел, почти полгода он сидел в своей «вотчине», а сейчас вот приехал по каким-то делам. Но о делах он говорить не любит, все делает втихомолку, сам. А что делает, я толком не знаю. В последние годы он стал по характеру кустарем-одиночкой и мало говорит о своей работе, то ли из суеверия, то ли потому, что считает: о работе вообще нечего говорить, надо ее делать.

Лето было в разгаре, и город поэтому казался опустевшим: все на дачах, или на курортах, или еще где.

Когда-то такое вот обезлюдевшее московское лето имело надо мной особую власть; все стремились за город, на воздух, а мой воздух был здесь, мне нравились пустынные вечерние улочки, бульвары, особое обаяние летней Москвы.

Теперь эта власть московского лета поубавилась, и я тоже стремился нырнуть куда-нибудь в пятницу или в субботу, чтобы через день-два возвратиться в бензиновое пекло разрастающегося города.

Что-то происходит с нами, и ведь не только оттого, что разрастается город, становится похожим на все другие города — с гигантскими пространствами, плотно заставленными коробками разнотипных и однотипных домов.

Нет, осталась ведь сердцевина Москвы, эти же Чистые пруды, цепи переулочков и тупики, прелесть зеленых дворов, неожиданных двухэтажных домиков, все переживших и все, возможно, забывших.

Все это есть, не исчезла для нас их тайна, но прикосновение большее — слишком много нашего тут было, навсегда осталось, но другие лица, другие мужчины и женщины ходят здесь, их лица незнакомы, они молоды и рослы, они и не похожи на нас и чем-то похожи, хотя бы тем, что их тоже тянет сюда, в коловращение этих узких переулков.

«Переулочек, переул, горло петелькой затянул...»

Нет, не затянул, уже прошло, освободило...

Таков закон развития. Закон-то он закон, да только трудно с ним согласиться. Я пытаюсь увидеть все прежним взглядом, в отдельные минуты удается, но все же проще и тверже стали очертания этих домов, ущелья дворики с пробензиновыми тополями. Выгорело, сузились пространства, изменилась и скрытая жизнь его, столь сильно волновавшая, недавним участником которой и сам был. Я, а не кто-то другой, шел именно здесь, по Машкову переулку, ныне улица Чаплыгина, к себе, в темноту коммунальной квартиры. Шел не один. С Норой...

Так и сидим мы с Борькой, ни о чем существенном не говоря... Что-то он мне рассказывает о своих учениках, и как он организовал художественный класс в интернате, и что мне неплохо бы там побывать, но я не очень-то слушаю.

Мы с ним видимся не очень часто, но все же достаточно регулярно, и разные у нас бывают встречи и разговоры, и почти никогда мы не говорим о ней, но вот сегодня мы оказались на таком клочке земли, который во всем моем городе, во всем мире с наибольшей полнотой и силой связывал меня с тем, относил меня к тому.

Почему мы с ним никогда не говорили о ней? Ведь столько уже прошло, и столько нового было. Что это, мужская гордость, нежелание перейти какую-то черту, границу? Страх перед прошлым?

Но уж какие там границы, все границы давно перейдены...

Я поднял грязноватую рюмку и, посмотрев на нее, хриловато сказал:

— Давай помянем.

Не чокаясь, молча выпили до дна. Он посмотрел мимо меня и вверх, словно хотел там что-то разглядеть, и странно соединился и перешел несколько размытый бело-голубой свет неба в чуть потускневший, но еще очень голубой цвет его глаз.

— Удивительно,— сказал он.— Я не могу ее забыть, а вспомнить тоже не всегда могу. Иногда совершенно отчетливо вижу лицо, иногда силу, а не вспоминается. А ты помнишь? — Он не стал дожидаться моего ответа, ему, возможно, и не нужен был ответ, ему необходимо было продолжить эту давно и мучительно сидящую в нем, очевидно, не выговоренную до конца очень простую мысль.— Будто и не было никогда. Столик, пруд, стаканы, люди. Мы как ни в чем не бывало. А она где? Что это такое? Ты это понимаешь? Я вижу, ты понимаешь. Как там, с точки зрения материализма?.. У тебя ведь на все есть ответ.— Он увидел какой-то мой жест, словно бы протестующий, и продолжал, отмахнувшись: — Жизнь продолжается... Замечательные какие слова. Мне их все время твердили. Конечно, продолжается. Какие могут быть вопросы? Ты женился, сына родил. Я вдовец, в бобылях хожу. Но тоже, верно, устроюсь. Так ведь? Устроюсь и я. Хорошее какое словечко — «устроиться». Но почему я без нее живу, как это я сумел? Ведь, казалось, ни дня не выдержу, каждое окно звало, тянуло: а ну давай, не робей! Так и уговаривало шмякнуться мешком с разбитыми костями. Ничего, устоял: жизнь продолжается... Ну и ты, наверное, поговорил месяц-другой и занялся иллюстрациями к Гончарову. Так, что ли?

— Хватит, Борька. Не смей.

— Да не обижайся ты. Не о нас речь. Я знаю, ты меня долго ненавидел. По-твоему, я увел ее у тебя. А я презирал тебя за то, что ты пытался подправить, переломить судьбу. Она мне была предназначена богом, а ты замахнулся на нее.

— Не надо, то ли ты пьян, но не те слова говоришь. Еще кое-что вспомни. Вспомни, в метро после моего дня рождения... Как ты обрадовался, что меня не будет...

Я говорил и чувствовал, что вот-вот потеряю самообладание и начнется бессмысленное, тяжкое выяснение того, что и выяснить невозможно, и что наши с ним отношения (единственных двух людей, с нею связанных) опять поломаются, теперь уже навсегда.

И он почувствовал это. И сказал морщась, глядя на меня потемневшими неподвижными глазами:

— Да, ты прав. нечего нам счеты сводить... Все счеты судьбой сведены. Знаю, и ты страдал... Я все это так говорю. Я понимаю тебя даже больше, чем ты думаешь... Это я не тебе, а себе говорю. А знаешь почему? А потому что все время кажется мне, будто я что-то недоглядел, недосмотрел. потому и случилось с нею... А с тобой, ну что ж нам теперь? Один раз мы уже с тобой крепко разломались. А сейчас — верно, не стоит. Теперь мы одни остались. Остальным — нет до нее дела.

— Еще мать, Беата.

— Да, еще мать... Нелавно получил письмо. Хочу туда съездить.— Он пристально посмотрел на меня.— Ты что, тоже хочешь? — И тут же сам себе ответил: — А может, тебе и не надо. У тебя другая жизнь, а у меня другой нет. поэтому я все в прошлом и копаюсь за прошлое держусь... Помнишь наш первый вечер? Я уже тогда был уверен, что она мне судьбой послана... И я прямо так и бухнул ей. Я и слов-то таких не знал, но как-то само сказалося. А она сначала захохотала, а потом посмотрела, перестала смеяться, замолчала, поняла, что говорю правду. И поверила. Клянусь тебе, поверила... Ну а уж

потом... Только можешь мне объяснить, за что ей так? Может, мы в чем-то виноваты?

— Да и мы не виноваты.

— Не оправдывайся. Ты не знаешь. И я не знаю... Чувствую, что надо жить иначе, а не умею, что вся работа, работенка наша недостойна...

— Чего недостойна?

— Того, что мы ей обещали.

— А что мы ей обещали?

— А то... Много обещали, да не смогли. Сам все понимаешь, не притворяйся. Давай-ка еще закажем.

— Хватит тебе.

— Нет, я хочу. Сейчас хорошо, уже легче... А где портрет ее?

— Какой?

— Тот, что ты рисовал у себя в комнате — с натуры. Да ты ведь и показывал его мне. Забыл?.. Ты его закончил?

— Нет.

— И я не закончил... А точнее даже, и не начинал. Вот рисунок при ее жизни сделал.

Он долго рылся в папке, уже нетвердыми, неточными руками достал лист картона.

Черным по белому фону, незавершенно и одновременно завершено, одной стремительно летящей, нигде не прерывающейся линией было обозначено, намечено, схвачено в какой-то неясный для меня миг ее лицо... Миг чего? Чем она занималась в это время? Глаза были несколько скошены вниз, но вместе с тем глядели на тебя. И несмотря на этот чуть-чуть потупленный взгляд, лицо было радостное, солнечное.

Я давно уже не видел свой старый портрет и не знаю, что было сильнее: он или этот Борькин набросок. Впрочем, что значит сильнее? Просто на его рисунке она была иной: яснее, счастливее. Такой ясной я ее никогда не видел.

И снова, как в первый наш день в Институте, когда он вошел в буфет со своими портретами, я восхитился Борькой. И снова ничего не сказал. Нет, не ревновал я теперь. Конечно, этот набросок был сильнее моего тяжеловесного портрета. Но какая разница? Не было теперь соревнования, сведения счетов, все они давно закрыты раз и навсегда... Все можно поделить. Только память не делится.

Я молчал, говорить не хотелось. Этот рисунок не для оценок писался. Я это хорошо понимал.

— Ты только не потеряй... Ты ведь можешь... Лучше мне дай. Я сохраняю.

— Ошибаешься. Потерять это я не могу. Не должен. Это мое... И я повешу дома, у себя дома, понимаешь? Ведь будет же у меня когда-нибудь дом.

— Да, понимаю.

Именно этот рисунок в тонкой деревянной рамочке висел теперь на стене.

Новая жена стирала с нее пыль. Что делать, так уж жизнь устроена, пылятся все: и вещи, и книги, и портреты, и кожа, и волосы. Не пылятся лишь те, кого нет с нами, кого защищает земля, кто сам стал землею.

А все остальное пылится. Поэтому жене приходится осторожно касаться рамочки, вытирая пыль, и смотреть каждодневно в эти очерченные легким, летящим штрихом счастливые глаза.

Институт остался позади, давней начальной станцией, дороги шли вперед, поезда то набирали скорость, то снижали ее, некоторые так и стояли на каких-то разездах, а Институт светил из тьмы дале-

кими огоньками, которые со временем казались все теплей и ярче...

Это не была ностальгия по юности.

Ведь сколько ругали тесные, неудобные коммунальные мастерские Института, вечную нехватку всего, даже красок, а сейчас, при наличии более или менее сносных мастерских (правда, далеко не у каждого), те видятся средоточием уюта, вместительным неистребимых надежд, очагами дружества.

А как схватывались и тогда друг с другом, как боролись за лидерство, то не веря в себя, то втайне никого, кроме себя, не признавая, да и какое интересное времечко выпало нам.

Но, может быть, потому, что до некоторых истин нам приходилось докапываться самим,— до тех, что ныне общеизвестны и расписаны в учебниках,— может, от этого доморощенные наши открытия потрясали, а иногда и озаряли нас неожиданностью и новизной.

Те самые молодые художники, что пугали и удивляли публику невиданными сочетаниями цветов, странными фигурами, кого никто не принимал всерьез, вдруг «пошли», да так, как никто и не ожидал.

А дело было простое. Никакой, конечно, художественной ценности их работы не представляли, но они нашли себе применение в сугубо прикладных целях, и некоторые наши «новаторы» теперь готовили эскизы для обоев, декоративных тканей и прочего.

Да и вообще все прикладное шло в ход; ремесло, то самое, о котором в первый наш институтский день говорил Мастер, поднималось в цене, требовалось. А то, чем занимался я, чем занимался Борька, требовалось не всегда, в отдельных случаях.

По-разному жили наши ребята, одни оказывались в каких-то далеких, преимущественно сибирских городах, рисовали и лепили тех, кто жил и работал рядом, другие ездили в Среднюю Азию, жгучими красками создавали панно для колхозных клубов... Были и хорошие панно и неплохие портреты.

Другие писали что-то свое, не ведомое никому, годами, иногда о них забывали все, но они по-прежнему разрабатывали одну и ту же тему, точно только она и была им ведома в жизни, так и глохли с ней или неожиданно прорывались. И тогда все говорили: вот видите, он был верен себе.

Я же ничего не мог сделать со своей природой. Я рисовал то, что видел, так или иначе понятая реальность диктовала мне образ, а не образ рождал не ведомую никому реальность.

«Ты слишком лиричен,— говорили мне некоторые друзья,— сегодня надо работать жестче и остраниней».

Борька же вообще не показывал в то время своих работ. Первый, самый зрелый из нас в пору ученичества, он приобрел вдруг репутацию чуть ли не консерватора.

Наш постаревший Мастер покачивал головой: «Какие начитанные, какие нагладевшиеся, всюду были, ~~из~~ все глянули... И все есть, одного только нет: своего взгляда. Но, к счастью, не у всех...»

Однажды, когда Борька исчез надолго, Мастер поехал к нему... Вернувшись, он сказал, что Борькино настроение и состояние ему не понравились, а работа, которую он делает, наоборот.

— Очень живая работка.

По его шкале это была довольно высокая оценка. Но что это за «работка», он нам не сказал.

— Увидите.— говорит.— никуда он от вас ее не спрячет.

Но Борька прятал. То ли не считал законченной, то ли просто не хотел. Кто его поймет?

Визит Мастера неожиданно поднял Борькины акции. Мастер побывав у городского начальства объяснил, какой талантливый и перспективный художник находится здесь, у них под боком, и не используется в полной мере, отчего была бы взаимная польза и городу и художнику.

К словам этим, видно, прислушались. Предложили Борьке показать свои работы, выставиться, но он отказался. Объяснил, что все у него еще не закончено, что у него действительно есть работы, но он не может спешить и к выставке внутренне не готов.

Ему предложили тогда работу, правда, не совсем по специальности, но это не смутило его, и он согласился оформить интерьеры перестроенного рабочего Дома культуры.

Это было большое, старое, двадцатых годов здание конструктивистского типа, острыми и голыми своими линиями выделявшееся среди небольших домов горбатой городской окраины. Заказ был серьезный, крупный, солидный договор... Некоторые удивлялись, что Борька за это взялся, другие говорили: «Жить-то надо, понятное дело», но я был убежден: Борька видел в этой работе другой интерес.

Я же ходил по журналам, по издательствам, получал заказы на иллюстрирование каких-то быстро и незаметно мелькавших рассказов и повестей. К тем же книгам, которые мне хотелось бы оформить, не подпускали. Там был свой порядок и свой круг.

Я стал делать иллюстрации просто так, для себя. Я брал вещи из классики, которые любил и которые перечитывал всякий раз с ощущением новизны и откровения. Потом показал их Мастеру. Он смотрел внимательно, долго, сделал два-три точных замечания по композиции, по второму плану.

Возвращая мне работу, он сказал:

— Неплохо... Может быть, даже хорошо. Но ты делаешь одну ошибку. У тебя что-то смещается во временах, какая-то незаметная подмена, я даже не могу ее объяснить. Ты создаешь тот антураж, а пишешь сегодняшних людей. Я бы посоветовал тебе отойти от этого, отойти сейчас от иллюстраций вообще и написать свое.

— А что свое?

— Ну, что-то пережитое именно тобой, скажем, любовь. У тебя ведь была любовь, вот ее и пиши.

Я замолчал, не зная, что ему ответить.

— Это очень трудно, наверное, невозможно... Она была... ну, не такая, как у других.

— Что это значит? — Он увидел и понял, что говорить об этом я не хочу. — Я и не прошу тебя объяснять на словах... Слава богу, что не такая. Вот и напиши ее. А может, и не ее вовсе. Но что-то самое главное, что ты пережил... Ведь что-то же ты пережил!

Я посмотрел на него. Мне казалось, он чуть-чуть дразнит меня, как бы ненароком, случайно задевает больные места.

— Что ты усмехаешься так сардонически? Тебе повезло. Ты еще сравнительно молод. У тебя осталось еще две попытки из трех возможных. Готовься ко второй.

Вторая попытка? Мне казалось, что жизнь даст мне еще десяток возможностей, но Мастер вычислил, что их всего три... Может быть, ему виднее. Может, он уже отстрелял все три свои, не осталось ни одной, зато теперь он обрел дар понимания чужих судеб...

Я входил, как бы втрамбовывался в ритм городской суеты, в поиск задания, заработка. Поняв закономерность этого ритма, я стал частью его. Теперь я работал быстрее, не мучаясь так, как прежде, я уже накопил навык, приобрел технику, меня принимали как профессионала, а я все чувствовал себя учеником.

Пришла полоса удач: оформленная мною книга получила приз, предложений стало больше, и ощущение шаткости, незащищенности профессиональной и материальной стало исчезать. Я писал, рисовал, пробовал себя в разном: акварели, пейзажи... Много ездил, с каким-то новым интересом к людям, к земле, к жизни. Я не ловил конъюнктуру журнальных заданий, не спешил предлагать свои работы выставкам.

Но по-прежнему больше всего тянуло к портрету. Хотелось найти непритязательную, простую форму, в которой обнажилось бы нутро, а чужое увиделось бы как свое.

Но дух человеческий не постигается на бегу. Да и в самой методике общения была какая-то фальшь: сначала разговор с начальством, листочек со списком тех, кого нужно, желательно нарисовать, потом отбор из них, причем чисто поверхностный, случайный.

Однажды во время очередной поездки по Сибири я попал на похороны тракториста. Меня поразила черно-белая толпа на первом кладбище в поселке,— там все было первое: первое общежитие, первый отряд, первая столовая, первый тоннель, сквозь который шла дальше на восток железная дорога. И вот первая могила со звездочкой, тайга, хмурые люди, первая потеря. А вроде бы предполагалось, что народ здесь молодой и умирать не собирается, не должен.

Крохотный квадрат земли, огороженный новенькой латунно-блестящей оградой... А вдали — высящиеся краны, морозный дым из труб, заиндевелитие вездеходы, жилые вагончики, рядом с ними пестрое белье на веревках... Начало пути, начало жизни.

Что я увидел в этой смерти? Случайность? Катастрофу? Жертву? Подвиг освоения?.. Конечно, и подвиг. Но что-то и еще, не поддающееся анализу и пониманию. Хрупкую грань между бытием и небытием, тайну жизни и смерти.

Вот это и хотелось мне выразить черным цветом на белом фоне — черная ворона над белым снегом.

Я писал быстро, радостно и вместе с тем мучительно. Писалось как бы само.

Среди всего, что я привез из этой поездки, из всего вороха набросков, зарисовок, этюдов, акварелей — эта работа одна казалась мне стоящей.

Я отобрал кое-что, разложил перед Мастером веером. Он цепко скользнул взглядом, отложил одну работу, потом другую, прищурившись (всегда мне казалось, что он смотрит чуть-чуть брезгливо) смотрел на третью.

Наконец он увидел. И, даже разругавшись, сказал, вернее, не сказал, а ткнул пальцем, — жест слился со звуком:

— Вот эта.

Я стал убирать все остальное. Теперь эта одна лежала перед ним. Он сказал, сдерживая удивление:

— Не ожидал... Довольно сильно.

Впервые я услышал от него слово «сильно». Для ученика это был высший балл, я и Сашка не удостоились его за все эти годы ни разу. Борька же — дважды.

Но дело не в оценке. Готовилась выставка, и я отобрал ряд работ, в том числе и эту. Причем она у меня шла как главная, основная и называлась «Красная звездочка», с подзаголовком в скобках: «Ангарск. Похороны тракториста». Я объяснял устроителям, что если это и трагедия, то оптимистическая, что смерть — неизбежность. Да и фон, казалось мне, был написан мужественно, лица людей, небо, вдали первые дома.

Взяли все работы. Кроме этой.

Как быть? Выставляться или нет?

Сашка сказал:

— Выставись в конце концов. Сначала надо проложить дорогу, наработать имя, потом уж диктовать свои условия.

Это было разумно. Но...

Я пошел на междугородную, заказал разговор с Борькой, через несколько часов дозвонился до него. Он сказал: «Приезжай».

С ним одним мне хотелось и говорить и советоваться.

Осенний, словно ветром обдающий душу пейзаж Подмосковья свободно открывался: обнаженно распаханые поля, красные — я мысленно слышал их жестяное шуршанье — листья на оголившихся деревьях...

Вы скажете: «Мрачно...» Пожалуй, нет. Пожалуй, что-то другое, но только не мрак. Печаль отшумевшей летней жизни, память о ней, ее ощутимый след в забитых фанерных ларьках, заколоченных домиках, опустевших дачных участках. И не ощущение конца, а наоборот, ощущение близкой перемены, обещание зимы с ее светом, с белым мехом снегов, с радостью спокойного зимнего солнца.

Я чувствовал этот переход, незаметное впадение осени в зиму, и было тревожно от собственных молчаливых дум о будущем, о работе, о жизни, от лежащих в тонкой картонной папке рисунков, хороших или плохих — самому неясно, от предстоящей встречи с другом, с которым накрепко, быть может навсегда, объединяет не только настоящее или будущее, но и прошлое...

Странное дело. Еще в самые молодые свои годы я физически ощущал время, эту непонятную горечь, когда будущее, которое ждешь, незаметно для тебя становится прошлым; физическое ощущение времени, его движения через всю твою жизнь... Хотелось что-то главное запомнить в его лете, но главное претворялось в повседневность, обманывало, ускользало, виделось промежутком между тем, что ушло, и тем, что еще будет.

Только в детстве я мыслила время как бесконечность, навсегда принадлежавшую мне.

Дорога с редкими остановками, — этот поезд напоминал экспресс, — мягкие сиденья, чистота, тишина, ничего от прежних долгих поездов, от электричек послевоенной поры. Но память все держала, все относилась — туда, к тем послевоенным дорогам, к тем дребезжащим шумным электричкам.

И вот на каком-то полустанке ввалилась компания с баяном, рыдающие, но одновременно счастливые голоса громко, нестройно запели, мелькнула стриженная голова мальчика, которого провожали в армию.

Все это и будоражило и успокаивало, в дороге мне никогда не хотелось спать, она не укачивала, не затормаживала меня, а наоборот, обостряла зрение и слух.

Впрочем, я знал ее краткость, это когда вы только собираетесь в путь, кажется, что он будет бесконечным, и потому обдумываете, какое чтиво взять, чтобы он незаметней пролетел. Но вот что самое удивительное: он и без этого пролетает незаметно.

На самом деле конечный пункт всегда ближе, чем нам казалось.

За вокзальной площадью, за двух-трехэтажными домами, на петляющей булыжной мостовой я встретил Борьку.

Обветренное красное лицо его просияло голубыми глазами. Встретились мы сейчас радостно, даже обнялись.

Мы молча шли, ветер нес запах гари, Борька ни о чем меня не спрашивал, я его тоже. Какие-то люди здоровались с нами, он приветливо и даже, мне почудилось, не без важности им отвечал; это было что-то новое, раньше он то ли чурался людей, то ли мало кого знал, а может, и не хотел знать, а теперь он вроде был своим человеком в этом городе.

Мы прошли мимо деревянного двухэтажного домика, где он жил до сих пор, я хотел было спросить, куда он меня ведет, но вовремя сдержался, промолчал и оставил ему возможность преподнести мне сюрприз.

По дороге зашли в магазинчик, напоминавший сельпо подбором товаров и запахом (в одном углу стояли бутылки с вином, в другом — насосы для велосипедов, а запах был какой-то странный, колбасно-

гуталиновый). В Борькином портфеле было теперь все необходимое для теплой и дружественной встречи.

А встречи наши, как своего рода шахматная партия, состояли из трех стадий. Вначале как бы раскачивались, долго не могли разговориться, топтались на месте, затрагивали что-то незначашее... Потом начинали спорить, чаще всего на художественно-эстетической почве, спор наш доходил до какой-то опасной грани, полного неприятия позиций и взглядов другого, грозил разрывом. Это было тем более странно, что при всех различиях вкусы наши в основном совпадали. Нам по-разному могли нравиться те или иные вещи, но не нравилось с полной очевидностью одно и то же... И так, обычно без особых осложнений миновав опасный миттельшпиль, мы приходили к благополучной концовке, расставались друзьями, он провожал нас на ночной поезд или оставлял у себя...

Мы уже прошли центр города, на пустырях белели, светились в зелени поредевшего, подавленного бульдозерами леса новые дома, валялись глыбы цемента, бетонные плиты. Наконец уткнулись в аккуратный, словно бы еще влажный, сыроватый от новизны, от склейки дом-башню.

— Мой, — небрежно сказал Борька. — Первая моя квартира.

Да, действительно, это была первая в его жизни собственная квартира, если не считать той, где он родился. Интернат, студенческая общага с еще двумя гавриками в комнате, потом жилплощадь в этом городе — временное, арендованное жилье, — а теперь вот настоящая, своя квартира. В ее белизне, пустоте как бы прорезались черты будущего жилья, зачаток уюта; Борька умел обживать новое место, он был даже домовит по-своему — домовит без дома.

На розовой, светящейся кухне сверкали две новенькие табуретки, такой же стол; в комнате стояла раскладушка, придавая ей вид студенческий, временный, но уже прибиты были полки для книг, а в углу привалились к стене подрамники.

Борька, всегда о своих делах темнивший, на этот раз был открыт и сразу как пришли решил огорошить меня.

— Представляешь, городской клуб купил у меня несколько работ и предложил сделать панно, витражи. Вот и договор.

Кое-что я уже слышал об этом, но чтобы доставить ему радость, удивился и сказал, как в таких случаях было принято:

— Ну даешь!..

Я уважительно вертел бланк договора, где была проставлена довольно приличная сумма прописью.

— И еще персональную выставку предлагают... Но я еще сам не знаю... Пока не закончу одну картину, вряд ли... В общем, пока все неплохо, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Ну а ты как там?

Мне нечего было противопоставить его стремительному взлету, и я сказал:

— Оформляю какие-то книжки. Что-то рисую для себя. Скоро выставку откроют: «Творческий отчет молодых».

— Молодых, молодых, — вдруг с раздражением сказал Борька. — Искусству нет дела до возраста. А мы все ходим в молодых.

— Искусству...

— «Молодые»... Послабленьице, вроде форы.

— Тебе хорошо, с таким договором можно год работать на себя.

— А я не хочу делить — «для себя», «для кого-то». И клуб этот буду делать как для себя.

Он был неожиданно боевит, полон оптимизма и веры в победу. Я уже давно не видел его таким. И, честно говоря, радовался за него.

Мы еще долго сидели, он заражал меня своей уверенностью, говорил о том, что если мы начнем постоянно уступать другим, то приучимся уступать себе и уступки станут нашей нормой.

Мне казалось, он на подъеме. Топтался, топтался на старте, а вот теперь разогнался и пошел вперед.

Только иногда его глаза серели, темнели, точно в них свет выключался. Тогда, словно забыв, о чем только что говорил, он замолкал, безучастно сидел, глядя на тебя уже чужими, невидящими глазами.

— Ты чего, Борь?

— Да так.

Усилим воли он возвращался от т у д а, начинал ходить по комнате, громко говорить.

В конце я показал ему «Красную звездочку». Он смотрел долго, и по его лицу я понимал: нравится.

Он так и не высказал впрямую своего отношения, не сделал никаких замечаний. Поднял глаза и внимательно, точно проверяя меня, глянул в мои зрачки, сказал веско, не допуская возражений:

— Без нее не выставляйся.

Сказать по правде, я еще ничего не решил и, вернувшись в Москву, колебался. Некоторые мои товарищи уговаривали меня выставиться, говорили, что и другие работы на уровне, главное — чтобы заметили сейчас. А через некоторое время и та пройдет.

Несколько бессонных ночей. От бесконечных советов, советований с друзьями, с собой гудела голова.

В последний момент отказался.

Через несколько месяцев я приехал на выставку Борьки Никитина. Той картины, о которой он говорил мне, на ней не было. Не знаю уж почему, но он согласился на выставку без этой, как он сам считал, главной работы... Возможно, он думал, что работать над ней еще годы.

Открытие прошло хорошо. Его хвалили... «Искренность таланта», «народность таланта»... Кто-то, правда, заметил, что художника подают Нестеров и кто-то там еще. Но это прозвучало вяло.

На открытие неожиданно прибыл наш бывший декан — теперь он был критик.

Он говорил пространно, цитируя по памяти великих и выдающихся; он был доволен, он хвалил, он считал, что Борька значительно вырос и идет по правильному пути.

Я вспомнил, что меня он тоже хвалил на какой-то выставке, не вдаваясь ни в манеру, ни в стиль. Как и Борька, я был для него лишь материалом для обобщений.

В конце и Борька сказал несколько слов. Говорил довольно сбивчиво, с паузами. Он говорил о том, что эта выставка нужна была ему, чтобы увидеть не то, что он сделал за эти годы, а то, чего не сделал, но должен был бы сделать.

Я знал, я чувствовал, что он недоволен этой выставкой. И действительно чего-то не хватало, хотя все было хорошо.

Через год Борька сдавал проект своего Дома культуры. Меня долго не было в Москве, а вернувшись, я сразу поехал к нему. В нем что-то переменялось. Стал жестче, резче, грубее. Ему сделали серьезные замечания. Ему напомнили, что он не профессиональный оформитель, а художник, живописец и что некоторые его идеи совершенно неприемлемы.

Я просмотрел Борькины эскизы. И надо сказать, был удивлен... Борька всегда тяготел к портрету, любил сочетать подлинность и условность, они как бы входили друг в друга. В эскизах же он дал волю своей фантазии. Обнаженность декоративного элемента, необычность решений, интереснейший цвет: синий и золотой, цвет Вол-

ги и осени, надежды и потери. Рыбы, вырываясь из синего фона, сверкали серебром и золотом, вились друг вокруг друга, искали что-то неведомое, захороненное на дне.

Панно, витражи, мозаики...

В своем решении интерьеров он искал света, сказочности, праздничности. Не будничное заведение с буфетом и залом для танцев, куда люди заглядывают, чтобы убить время, а дом, где отдыхает душа.

Борькин проект отклонили.

Благодеяние и признание были недолгими.

В тот день, когда его отстранили, Борька не казался побежденным. На этот раз поражение не деморализовало его, не знаю, надолго ли... Я чувствовал в нем новую страсть к работе, уверенность в своей правоте, силу.

Конечно, я знал, по себе знал, что такое состояние может смениться отчаянием, меня неудачи выбивали из колеи надолго, непризнание никогда не было для меня толчком к работе, наоборот, ослабляло, обессиливало... Это пришло ко мне не сразу. В юности я бесконечно верил в свою правоту, возможности и удачу. Теперь же правота все чаще становилась для меня самой спорной, удача сомнительной; оставались только возможности, они еще, пожалуй, казались неисчерпаемыми...

Дома сидеть не хотелось. Зашли в ресторан, там было душно, людно, громыхала музыка. Мы вышли, долго рыскали по городу, искали, куда бы приткнуться. Наконец забрели в какую-то чайную, необыкновенно захолустную даже для этого городка.

Борьку узнавали, какая-то компания звала нас к себе, кто-то приветственно махал рукой:

— Художник, эй, художник!

Мы посидели недолго и ушли. Рваная сырая мгла влажно облегла нас. Было ветрено, зябко, а там тепло, и вслед нам цокали граненые стаканчики и кто-то призывал:

— Художник, эй, художник, ты куда? Не спеши, посидим!

Согретые этим непрочным теплом, мы ходили по городу. Темно, ничего не видно, но Борька вслепую показывал мне то, что осталось от старого города, и я впрямь как будто видел приземистые домики, горбатые переулки, спуск на набережную, древние липы над ней, — вкус и прочность давнего, наследуемого от века к веку, от поколения к поколению быта.

Борька говорил о том, каким он сделал бы этот город. Я уже не помню сейчас его проектов, но мысль о безликости, ординарности новых застроек уже тогда волновала нас, хотя эти новые дома, спасение для множества семей, живущих в коммуналках и подвалах, только начинали строиться и даже казались красивыми. Мы думали о том, как оживить геометрическую сухость стандартных коробок, как при всей однотипности сделать их непохожими, найти какую-то линию, цвет, найти в этом симметрически однообразном царстве живую асимметрию. Что-то нужно было придумать, противопоставить, но что? Терема по Борькиным проектам? А может, наоборот, конструктивистское, летящее, бетонно-стальное, с огромными во все стороны стеклами, отражающими воду?

Мы не знали, плутали в потемках...

Набродились, замерзли, пришли домой. Борька сунул в кружку кипятыльник, насыпал чаю. Командировочным, гостиничным духом веяло в квартире новосела.

Неожиданно позвонили в дверь. Тревожно, длинно прокатился по тоненьким переборкам настойчивый, слишком резкий звонок.

Пошел открывать не Борька, а я.

На пороге стояла женщина.

— Кто там? — крикнул из комнаты Борька.

Я не смог ее разглядеть в полутьме прихожей. Она была в дождевике с капюшоном, стояла, несколько смущенная, тоненькая, в черном, ветряном распахе дверей. Потом сбросила капюшон, сделала шаг вперед, к свету, и стало видно молодое, но не юное женское лицо, выгоревшие брови, остренький носик, небольшие, тоже как бы выгоревшие, почти бесцветные глаза. И теперь уже не казалась такой тоненькой, скорее была плотновата, сбита крепко и нисколько не походила на ту, которую нам в земной нашей жизни все равно было не дожидаться.

— Вы Борис Никитин?

Приняв секундную паузу за замешательство, она пояснила:

— Борис Никитин, художник.

— А, художник, — сказал я, словно проснувшись. — Он там, в комнате.

Не снимая плаща, она вошла. Художник в это время размешивал слишком густую, клочками, заварку, разливал ее по стаканам.

— Простите, что так поздно, — быстро заговорила она. — Я никак не могу вас застать... Вас не бывает никогда, поэтому я решила...

— Можете, вы снимете плащ, посидите? Вот мы чай пьем.

— Да нет, уже поздно, я спешу... Я ведь по делу... Я ведь преподаю в интернате. Черчение. Я слышала, вы интересный художник, даже была на вашей выставке.

— Что вы мне предложите? — с неожиданной резкостью сказал Борька. — Оформление интерната? Я уже оформлял Дом культуры... Вот что из этого вышло.

Он обвел глазами пустую комнату, стаканы на голом столе, ржавый кипятивник.

— Да нет, вы не поняли меня... У нас интернат для трудных детей.

— Ну и что? Мы с ним тоже трудные. Вот посмотрите на него.

Она, помолчав, сказала:

— Я ведь не шутки шутить пришла к вам. Я вас ищу уже несколько дней.

— Слушаю вас, — серьезно сказал Борька.

— Я бы хотела, чтобы вы пришли к детям. Это сложные дети, интересные дети... Многие практически брошены родителями.

— Что же я могу сделать? Заменить им родителей?

— Да нет, — уже не обращая внимания на его колкости, продолжала она. — Мы решили проводить беседы о прекрасном.

— О чем?

— О прекрасном... Может быть, это нелепое название, но вы должны понимать, о чем речь. Там есть самые разные дети, есть очень тяжелые... В этом возрасте они еще чутки к красоте... Вот мы и пытаемся... А то упустишь.

— Что вы конкретно хотите от меня?

— Чтобы вы встретились с ними, поговорили о живописи, может, показали бы свои работы.

Борька помолчал, поморщился.

Она опустила глаза.

— Когда? — неожиданно деловито осведомился Борька.

— В четверг, если вам удобно... После уроков... ну, часа в два.

Лицо его изобразило заботу и напряжение, словно он мысленно листал свой деловой, расписанный по минутам календарь. Я знал, что он по характеру своему безотказен, тем более в таком деле, но поломаться, особенно когда перед ним женщина, тоже любит.

В конце концов он сказал:

— Хорошо. Давайте адрес.

— Мы за вами придем.

— Это еще лучше.

Она кивнула мне, Борька встал, чтобы ее проводить. Что-то они там говорили, уже на лестничной площадке, но я не слышал.

Что я знал о его так называемой личной жизни? Довольно мало. Естественно, Борька не был отшельником, и я заставлял у него каких-то околхудожественных девиц, бойко обхаживающих Борьку. Было странно: казалось, не он приводил их, а они сами приходили к нему, и уже хозяин был безучастен и не выказывал к ним ни малейшего интереса, а они все сидели и сидели. Являлись и какие-то молодые люди, старавшиеся казаться раскованнее, чем были на самом деле.

Все это чем-то напоминало вечеринки и сборища в нашем институтском общежитии, но без той естественности и веселья, без той чрезмерной, но насыщенной жадным интересом к искусству болтовни, без тех уже полузабытых сейчас песен.

Здесь тоже пели, и гитара наигрывала что-то, и разговоры шли, но все было пусто, словно я в поезде случайно забрел в чужое купе.

Может быть, я просто постарел и эти компании были не моими? Я смотрел на Борьку, тихо сидящего в углу с кружкой в руке, и чувствовал, что и ему все это не очень нужно, неинтересно, он словно бы не участвует, а присутствует и со стороны кажется гостем в собственном доме.

Я мысленно представлял, что одна из этих девиц останется здесь до утра, а потом, может быть, навсегда, и Борьке будет пусто с ней самой глухой и больной пустотой. Она будет что-то спрашивать и говорить, бойко, с молодым задором, а он будет молчать и думать о своем...

Несколько месяцев мы не виделись, и я мало что знал о нем. Я работал не отрываясь, трудно, оформляя Мишеля Монтеня для детского издательства; бился, не мог найти решения, выходило слишком философично, будто я иллюстрирую идею, концепцию, а нужен был зримый отзвук этих идей, понятный детям. Получалась графическая заумь, ложная символика, а требовались простота, ясный образ времени и чтоб эта простота и ясность соединялись с чем-то необычным, отражающим таинственное излучение неистребимой мысли, ищущего духа.

Работать было интересно. Я перечитывал книги, точнее, не перечитывал, а читал — те, к которым едва прикоснулся в детстве.

Раза два звонил Борька. Голос его был то далек, то близок, будто звонит с соседней улицы. И голос его мне не нравился — безразличный, раздавленный, размытый.

Он вообще не умел и не любил разговаривать по телефону. Ни его состояния, ни его настроения по телефону определить было нельзя. По телефону с ним можно было лишь договариваться о чем-либо — о встрече, о поездке.

— Ну как ты, ну что ты? — спрашивал я.

— Нормально, — отвечал он.

И в этом «нормально» чувствовались болезнь и отчужденность. И не зная, что ему сказать, я произносил какие-то пустые, дежурные фразы, которым надлежало отвлечь его, настроить на другой лад, произносил с каким-то простецким, грубоватым оптимизмом.

— Ты бросай, — говорил я ему. — Кончатся с этим надо. Пьешь небось? Работать тебе надо... Бросай это дело.

— А бросать-то че? — так же грубовато и вместе с тем тускло, как бы без выражения, отвечал он. — Сам бросай, у меня все в порядке.

Однажды я съездил к нему, но дома не застал. Искал по всему городу, соседи снизу сказали, что несколько дней не ночевал у себя. Наконец под вечер встретил бледного, опухшего. Он смотрел косо, облизывал пересохшие губы и, не глядя на меня, отчужденно, недобро бубнил:

— Все вы там в Москве... Все вы там...

Словно мы были из чужих, враждебных краев.

А между тем в Москву он приезжал, но не звонил ни мне, ни Сашке. Что он здесь делал, я не знаю.

Как-то я шел из кинотеатра «Художественный». Был не один. Девушка, которая молча шла рядом, вскоре стала моей женой, но в тот вечер я еще не думал об этом...

Осень переходила в зиму, рано темнело, мы шли по Суворовскому бульвару и заглянули во двор, где стоит старый памятник Гоголю. Вокруг него бегали дети, хлюпая по слякоти, на склоненную голову Гоголя косо падал снег. Ни прожектора, ни лучика на лицо. И оно темнело, угадывалось, знакомое до мельчайших подробностей: измученная улыбка с оттенком то ли презрения, то ли издевки.

И странное совпадение — из-за памятника, с другой его стороны, выходит Борька. Я знал, что он тоже любил этот старый памятник. Но что он там делал? Почему не позвонил мне?..

— Ты надолго в Москве?

— Да нет, на несколько часов.

— Вот, познакомьтесь. Это Боря Никитин, это Таня. Я Тане о тебе много рассказывал.

— Да? — усмехнувшись, сказал он. — А что рассказывать-то?

— Ладно. Может, пойдем посидим куда-нибудь?

— Нет. Пора домой. Поезд скоро.

Я бы с удовольствием проводил его до вокзала, хотел было предложить, но сквозь летящий мокрый снег увидел его бледное, далекое, очень чужое лицо и промолчал.

Глаза его чуть оживились, когда он пожимал мне руку, поглядывая не без интереса на мою девушку, потом секунду помешкал, словно не зная, как с ней проститься — за руку или кивком, в конце концов улыбнулся, тряхнул головой и исчез, слился с бульваром, со снежным дождем, с прохожими.

— Какой-то он странный, твой Борька Никитин, — сказала моя девушка. И добавила задумчиво: — Все вы немного странные. Такое уж поколение.

Она была моложе меня на шестнадцать лет.

Через некоторое время он снова очутился в больнице. Как только я узнал об этом, я тут же поехал к нему.

Мы долго сидели в палате, болезнь сделала его мягче, открытее. У него было желтоватое, будто покрытое каким-то странным, нездоровым загаром лицо. Ему не велено было вставать, но он, естественно, нарушал больничные порядки и сейчас тоже пошел за мной к лестничному пролету, где была как бы прогулочная площадка для тех, кого не выпускали на улицу. Гудели голоса, больные разговаривали по телефону, курили. Борька стоял спокойно, разглядывая ходящих взад и вперед людей; я знал за ним эту привычку: смотреть на что-то знакомое так, как если бы впервые увидел. Наверное, десятки раз в день мелькали перед ним эти лица, но он вдруг с пристальным любопытством начинал всматриваться в них. И этот взгляд обрадовал меня... Значит, жив.

Неожиданно повернувшись ко мне, он сказал:

— Когда нависает — хочется работать, что-то еще успеть... Если так пойдет, ничего не успею.

— Успеешь. Ты обязательно должен успеть. Вот поправишься, перевезем тебя в Москву, будешь нормально работать.

Я говорил, не очень веря себе, потому что темное предчувствие укололо меня. Впрочем, в тот раз я ошибся.

— Нет уж, в Москву я не поеду, — спокойно, без прежнего раздражения сказал Борька. — Я не столичный человек, я человек провинциальный, районный.

Мотив этот был знаком, и я перевел разговор на другую тему.

Вдруг я заметил, что он смотрит вниз, на лестницу. А по ней быстро поднимается женщина с сумкой.

Были приемные часы, много женщин несло сумки, авоськи, но Борька внимательно, потеплевшими глазами смотрел на эту — в сереньком плащике, быстро, в такт движению покачивающую свою, видимо, тяжелую сумку.

Я узнал ее — это была та, учительница из интерната, — и отошел в сторону.

О чем-то они быстро поговорили, и Борька несколько смущенно сказал мне:

— Подожди минутку.

Она перевела на меня взгляд и сдержанно улыбнулась, очевидно, тоже узнав.

Потом они пошли в палату. Он — впереди, стараясь шагать боевито, не как больные; маленький, в больничной пижаме, похожий на чуть постаревшего огольца. Она — за ним, с сумочкой, из которой выглядывало голубое горло кефирной бутылки.

Вот тогда я и понял: она б у д е т.

После возвращения из больницы она навсегда осталась в Борькином доме. И квартира мгновенно преобразилась. Исчез ее дух, одинокий и безытный. Я уже говорил, что Борька был домовит, и в первые дни его вселения полупустая квартира казалась мне образцом мужского уюта. Но потом он потерял к ней интерес, она стала не домом, а ночлежкой, напоминая какой-то запущенный номер с постояльцем, который и не живет и не уезжает.

Теперь же ощутило чувствовалось присутствие женщины, дом стал чист, из него выбили всю пыль, выгребли весь мусор, появилась мебель, появилась еда в холодильнике, а прежде не было ни еды, ни холодильника.

Только стенки были голые, Борька не вешал своих работ, как другие, лишь в уголке висел тот самый черно-белый набросок.

Трудно сказать, как складывались наши отношения с ней; мне иногда казалось, что она смотрит на нас с неприязнью, будто все мы были в чем-то виноваты.

Кто знает, может, и были.

«Девушка с пельменями»... Безотчетно хотелось ее принизить, она мешала нашему братству; я понял с самого начала, что она будет стоять между нами, не только между нами и Борькой, но между ним и его прошлым.

Но было и другое. И это другое перевешивало все наше скрытое недовольство: без нее, мне кажется, он просто бы не выжил.

Между тем интернат стал занимать все большее место в его жизни. Уже не встречи и беседы о прекрасном раз в месяц, а регулярные преподавательские часы. Интернат понравился ему, и он, видимо, понравился интернату.

Теперь единственный из нас он получал зарплату и из вольного художника превратился в служащего.

В один из моих приездов дверь открыл не Борька, не она, а мальчик лет тринадцати--четырнадцати.

— Ты, извини, кто? — в некоторой растерянности спросил я.

— Я Егор, — сказал мальчик и, помедлив, добавил: — Дядя Боря в мастерской.

Я пошел в мастерскую. Она была получена Борькой в то время, когда он начал было преуспевать. Находилась она на краю города, но город был невелик, и минут через пятнадцать я уже подымался по выбитым ступеням рано состарившегося нового дома.

На шестом этаже располагались мастерские. Борькина дверь была полуоткрыта. Я тихо постучал, не услышав ответа, вошел.

Борька отпрянул от холста, двинулся мне навстречу. Движения его были слишком быстрыми, почти суетливыми.

— Садись, да нет, вот сюда, сейчас чаю согрею. Хочешь? Я и не знал, что ты приедешь.

Я понял: он уводит меня от картины, ему почему-то не хочется, чтобы я ее видел. Он повел меня в маленький темный закуток, нечто вроде кухни и склада, там рядом с чайником и стаканами стояли банки из-под краски, валялись шурупы, доски для подрамников.

Он быстро провел меня в этот закуток, но я все же не удержался, бросил взгляд на полотно. Взгляд был мимолетен, и я не разглядел картину, но — я увидел ее. Этого было достаточно.

Мне захотелось подойти к ней, рассмотреть как следует, но его цепкий взгляд все время стерег меня, заставляя держаться на расстоянии, не подпуская к картине.

Странно, что он никогда ничего мне о ней не говорил.

Он почувствовал неловкость и пробормотал:

— Я тебе покажу потом... Я уже давно работаю, но урывками, и конца не видно... Вот когда кончу, тогда покажу.

— Как назвал?

Почему-то именно в ней, в этой картине, мне было важно название.

— Пока никак. Есть что-то общее, не название, конечно, а мысль, идея... Примерно так: «Рассвет радости и скорби». Но над названием я еще буду думать, сейчас не до названия. Кончить надо... Ты небось с дороги замерз. Выпить хочешь? — Он перехватил мой удивленный взгляд. — Да не бойся, я сам не пью. Хочется иногда, но нельзя... Другого выхода нет, иначе... Ну а для друзей держу.

— Что это за мальчик мне открыл?

— Это из интерната. Егор... В выходные приходит ко мне, остается. Мальчик хороший и будет рисовать. У него там дома сложно. А так мальчик перспективный, надо только ему руку поставить.

Он что-то еще говорил о мальчике Егоре, не о его жизни и сложностях в семье, это он обошел, а о каких-то его рисунках, говорил со сдержанной нежностью, но сейчас меня занимала только его картина. Я не рассмотрел ее, но увидел. И, должен признаться, она поразила меня. Что-то совершенно новое для Борьки было в ней, хотя шел он — от себя.

Белое поле, снежное, бесконечное. Спокойная снеговая равнина, а вдали, призраком — цветущее вечнозеленое дерево. По полю, над полем шла, точнее, летела девушка, она как бы из второго плана переходила в первый, ее лицо было обращено к вам, она одновременно и знакомилась и прощалась с вами; улыбка ее была удивительно молода, но глаза полны позднего знания жизни, и я узнал в ней ту, которую мы оба любили и потеряли; но она была совершенно иной, чем в жизни, в ее знакомом лице было что-то совершенно незануемое, одновременно и ее и не ее. И меня поразило это соединение знакомости и незануемости. А еще в ней было одновременно и ничем не потревоженное счастье и тень тяжкого предчувствия.

А сбоку и на втором плане стояли люди, улыбающиеся и живые, — идея вечной жизни всегда занимала Борьку. И что же это были за люди? Деревенские старики и молодая пара, его родители, но совершенно иные, чем на тех портретах, которые он принес на конкурс; был и седой человек с ярким, молодым улыбающимся лицом и с гигантским яблоком в руках, — я узнал дядю Арчила... Все эти люди странным образом сошлись, соединились в этой картине.

Мне трудно было понять, да и не хотелось разбираться в том, как это строится. Я видел лишь поле, поле жизни с очень разными людьми, живущими своей разной жизнью в замкнутом пространстве

картины. Я даже не мог определить манеру. Реализм соединялся с условностью, но условность была не приемом, не самоцелью, а ощущением того, что всем суждено встретиться, всем тем, кого так или иначе соединила жизнь.

По белому и вместе с тем как бы цветущему полю к нам шла или летела эта девушка, то ли здороваясь, то ли навсегда прощаясь живой, гаснущей улыбкой..

Что-то он говорил, рассказывал, но я не слышал его. И не слыша его, а видя эту картину, ворвавшуюся в мои глаза лишь на мгновение, я тихо сказал:

— Я тебя поздравляю... Это очень сильно, очень необычно. Жаль, что ты не дал поглядеть как следует.

— Знаешь, еще рано. Не хочется, пока не сделано. Фигуры второго плана еще не прописаны... Да и многое меня не устраивает. Я ведь уже очень давно работаю... Но все урывками, урывками.

Потом мы пошли в Борькину квартиру, сидели допоздна, и я остался у них ночевать.

Катя хозяйствовала на кухне, пекла крендельки с маком, в доме душно и сладко пахло тестом. Делала она все споро, умело и держалась хозяйкой. Только иногда в каком-то мимо тебя скользящем взгляде угадывалась неуверенность. Роль была еще новой для нее.

Егор тоже сидел допоздна, а потом собрался уходить. Борька сказал ему:

— Если хочешь, оставайся. Места на всех хватит.

И парень легко, даже с радостью остался, хотя был законный родительский день и можно было пойти домой.

За весь вечер при нас он не сказал ни единого слова, только помогал Кате, таскал тарелки, стаканы, мыл; внимательно слушал наши разговоры.

О чем в тот вечер говорили? Не помню.

Помню только, что, засыпая, я думал о Борьке и о себе. О том, что он ни в чем не изменил себе, всегда делает то, что хочет, что считает единственно верным. Иногда шумно, со скандалом, как в истории с Домом культуры, иногда тихо, никому не говоря, ни на что не надеясь.

Но — только то, что ему необходимо, только это...

А я?.. И ведь не скажешь, чтобы шел на поводу, брал что придется, что дадут, тоже ведь старался сохранить себя, выбирал то, что хочется, то, что нравится. И вроде сделано немало. И кажется, не только крепко, профессионально, но и с душой, как говорят понимающие люди. Но сам-то я знаю, что не вся душа вложена, часть припрятана на случай, на будущее. И потому есть что предъявить, а показать нечего.

Борька же выкладывается до конца... А ведь все, и даже я, считали, что его бескомпромиссность — и в работах и в жизни — дурь, бравада.

Оказывается, не бравада.

Но ведь я тоже не стал выставляться без главной своей картины, без «Красной звездочки»...

Я вспомнил это, и мне стало легче. Да и работа, кажется, была неплохая, сильная, ведь и Борьке понравилась. Но почему я ее забросил, почему ни разу не вернулся к ней, точно она была закончена, почему забыл ее, будто не я писал? Почему выставляюсь без нее, будто она не моя? А ведь она, наверное, пока лучшая.

И еще портрет Норы... Его ведь я никому не показывал. Только Борьке и ей.

Как-то несколько лет назад Мастер мне сказал:

— Вы рисуете очень хорошо, у вас счастливо сочетается и нутро и техника. Но вы начинаете и бросаете. У вас нет сквозной темы

и мало одержимости... Нужна одержимость. А тема придет — ее подскажет судьба.

Теперь Борька стал чаще звонить мне. И всякий раз просил: «Приедет Егор, если сможешь, своди его в Музей изобразительных или в Третьяковку. Покажи ему... скажем, голландцев или же зал Сурикова».

Мне представлялось, что у Борьки есть какая-то программа, которую он как бы осуществляет в Егоре. Какой-то замысел, мне еще непонятный, преследующий большее, чем просто образовательные цели.

Я выполнял его просьбы. Должен сказать, что это было нелегко — я был занят, а приходилось вдруг ни с того ни с сего идти в Третьяковку или в Музей изобразительных искусств, которые так плотно были мною исхожены за эти долгие годы, что, казалось, не могли уже вызвать никакого ощущения новизны и чуда, никакой радости, столь необходимой мне самому, чтобы в какой-то мере передать другому.

К тому же общаться с Егором было невероятно тяжело. Иногда это напоминало разговор с глухонемым. То ли я на него так действовал, то ли московская обстановка, то ли он догадывался, что отвлекает меня от работы, мешает, но он замыкался, молчал. Я вел его за собой, показывал, объяснял. Он слушал вроде бы внимательно, но никак не реагируя на мои слова. Скрывая раздражение, стараясь заинтересовать его, я повышал голос, вокруг нас собирались люди, принимая меня за экскурсовода. Я обращал его внимание на те или иные детали, указывал приемы, старался переломить стандартный, школьный подход к картине, отбить у него охоту к преждевременным суждениям, общепринятым оценкам, но все мои старания оказывались напрасными.

«Что он нашел в этом парне? — думал я с тоской, жалея драгоценное время, свой впустую растроченный пафос. — Как вообще Борька с ним работает? Неужели они все у него такие в интернате? И что за крест этот интернат? Надо будет как-нибудь поехать посмотреть, чем он там с ними занимается. А может, я просто не могу найти подхода к этому мальчику?»

Как-то мы шли с Егором по центру мимо «Метрополя».

Был сияющий июльский день. Врубелевские фрески, незаметные в другие дни, как бы затерянные среди крыш, сейчас, в сгущенной свежей синеве, ожили, задышали.

Я поймал себя на том, что и сам смотрю на них так, будто вижу впервые.

Я ничего не сказал мальчику, но он заметил, что я приостановился, поймал и, мне показалось, понял мой взгляд, обращенный вверх. Его глаза как бы пошли за моими, он смотрел так же, как и я, с удивлением, восхищением. Первый раз, пожалуй, я увидел его восхищенным. Но, может, виной тому просто синева неба, яркость столичного дня, праздничность центральной улицы?

Мучительно преодолевая робость, боясь ошибиться, будто на экзамене, мальчик спросил:

- Это Врубель, да?
- Да. Ты откуда знаешь?
- Дядя Боря показывал.
- А хочешь посмотреть Врубеля?
- Конечно, — сказал мальчик.

В его тоне мне почудилась благодарность.

Мы вернулись в Третьяковку; я, стараясь не упустить этот неожиданно установившийся контакт, подвел мальчишку к картинам, ничего ему не рассказывал, чтобы не перебить впечатления, два-три наводящих замечания, и все.

Но странное дело, он вновь погас, словно своды музея что-то подавляли в нем, а может, и не в этом было дело. Смотрел он старательно, но не так, как смотрит художник или человек, уже заболевший этим. А ведь Борька говорил мне, что он необыкновенно способен.

Мы вышли из музея молча, я уже не старался его разговорить, дал себе волю думать о своем. Тем более что шли мы по Ордынке, мимо церкви и дальше вниз, мимо домов и двориков с еще не пожухшей листвой...

Давно не ходил я по Ордынке просто так, без дела, один. Впрочем, разве один? Рядом со мной, подлаживаясь под мой небыстрый шаг, шел Егор.

Неожиданно он сказал:

— Похоже, как у нас.

— Что? — не понял я.

— Да дворы такие, как в Старом городе. И петунья такая же.

— А ты в Старом городе живешь?

— Да.

— Отец у тебя кто?

— Пенсионер.

— Работает?

— Сейчас нет. Работал счетоводом, в совхозе.

— Чем же он сейчас занимается?

— Цветами.

— Чем? — переспросил я.

— Да цветами! Разводит всякие сорта, на выставки возит.

— А на рынке продает?

— Продает, — с неохотой сказал мальчик.

— А почему ты не дома?

— А что дома делать? Он все с цветами возится, ему ни до кого.

— Ну а вечерами?

— А вечерами он выпивает, — спокойно сказал мальчик.

— Ну и что ж, многие выпивают, но ребят в интернат не отдают.

Я пожалел о последней фразе, мне показалось, я вторгся в чужое, может быть, тяжелое, да и могу ли я, имею ли право вот так походя выznавать его судьбу? Но странное дело, мальчик отвечал, кроме отдельных каких-то моментов, спокойно и даже охотно. Не то чтобы подробно, но без внутреннего сопротивления.

— Пьют-то многие, — сказал мальчик, — но мой как выпьет, дурной становится. Он ведь за себя не отвечает.

И словно впервые я увидел на его лбу сравнительно свежий шрам; он полз змейкой и скрывался в волосах.

Я ничего не стал спрашивать у мальчика, но он понял мое изумление, даже испуг, и сказал спокойно, как о чем-то вполне обыкновенном, может быть, даже само собой разумеющемся:

— Это он ключом от калитки. — И пояснил: — Я калитку как-то забыл на ночь запереть, вот он и разнервничался... К нам, конечно, многие лазают, цветы хорошие, дорогие... Ну а я от дяди Бори пришел поздно, задумался как-то, забыл запереть. А отец уже спал. А наутро проснулся, увидел, ну и...

— Так ведь и убить мог, — тихо сказал я.

— Так-то он не злой. Ешь до отвала. Деньги дает. Но как выпьет — лучше не попадайся... И не дай бог чего с цветами. Если кто-то цветок повредит... Не дай бог. — Мальчик глядел спокойно, даже смиренно, констатируя, а не осуждая. — После того случая соседи прибежали, хотели на него дело завести. А я сказал: «Не надо его в тюрьму, лучше я все время в интернате буду. Домой вообще не буду возвращаться».

— Ну а сейчас как?

— Я и не возвращаюсь почти... А он обижается. Когда я есть, он злой. Когда меня нет — еще злее... Это он после смерти матери такой стал.

Снова он замолчал, замкнулся, этот всплеск откровенности, видимо, недешево ему стоил, и поэтому шел он теперь совершенно безучастно. Мы уже давно прошли Ордынку, зашли в Серпуховский универмаг, где по просьбе Борьки я купил ему набор цветных карандашей. Но и это не обрадовало его. До самого вокзала был молчалив и задумчив.

Нагрянул в Москву и Борька. Встретились у Никитских ворот, гуляли, сидели на скамеечках, беспечно грелись на летнем солнце, разговаривали о чем-то и мимоходом поглядывали на проходящих девушек.

Что-то институтское, давнее было в нашем сидении; казалось, у нас бездна времени и можно тратить его радостно и беспечно. И девушки эти, бегущие куда-то или ненадолго присаживающиеся на нашу скамейку, такие блестящие, нарядные, совершенно новенькие, не обращали на нас внимания и вместе с тем чувствовали наши взгляды; так и уходили они, не сказав нам ни слова, и мы знали, что больше не встретим их в этом огромном городе.

Было солнечно, легко, неопределенность будущего, как когда-то, кружила голову — вместе с ясной мыслью о том, что все задуманное сделается, осуществится. Такая легкость, уверенность бывает после выздоровления или после долгой полосы неудач.

И Борька был необычайно сговорчив, умиротворен, не ругал, как вошло в привычку, московскую суету; наоборот, я чувствовал, что он получает физическое наслаждение от этого летнего дня, от бездельного сидения на пригретой скамейке столько раз нами исхоженного бульвара.

Не хотелось говорить о работе, о заботах. Вообще не хотелось говорить.

Кто-то шел к нам, потом оказалось, что совсем не к нам, просто на теплую, свободную половину скамейки, но мне представилось, что это к нам, что Нора сейчас подойдет и мы молча подвинемся, дадим ей место. Уже пятнадцать лет... Это число показалось диким... То была наша жизнь, но другая. И тепло, и деревья, и шум голов — все было похожим — и другим.

Я подумал о том, что мы слишком привержены прошлому, слишком зависим от будущего. А вот день, час, миг настоящего — солнечный, теплый, медленно, на наших глазах исчезающий, — мы считаем ничем, своего рода переходным этапом, незначительной перевалочной станцией от вчерашнего к завтрашнему.

Эта мысль понравилась мне, и я попытался дать ей графическую форму, закрепить ее изображением; но решение не приходило.

Не знаю, о чем думал Борька. Мне казалось, ему спокойно, хорошо, может быть, даже он дремлет, и я молчал. Потом я увидел, что он словно очнулся и какая-то тревога отразилась в его глазах. Я испугался, что он сейчас встанет, а уходить не хотелось. И чтобы удержать его, я спросил:

— Ну как твой Егор?

— Ничего. Будет рисовать.

— Ты что, видишь в нем ученика?

— Учеников у меня сейчас много, есть и посильнее его, хотя и он способный, просто я его жалею.

— Это его не обижает?

— Это ерунда, что жалость обижает, настоящая жалость не обидит. Я ведь не подчеркиваю ему, что он одинок, несчастен, наоборот, стараюсь отвлечь его от той мерзости, что его окружает. Вначале мне хотелось разбудить в нем человеческое, он был так загнан, так

придавлен... Я вспоминал свой интернат, вот таких же бессловесных ребят, от которых неизвестно что ждать. А потом я понял, что плохого ждать от него нельзя, что всякая подлость ему чужда. Удивительно, как, живя рядом с сумасшествием и жестокостью, он остался совершенно нетронутым... Он и взрослый парень и младенец в чем-то. Может быть, ты почувствовал?

— Да... Он очень незащищенный. Но а дальше что? Ведь у него же есть отец.

— В том-то все и дело. Я очень привык к Егору, и он к нам. А отец, видно, бесится...

— Может, он просто ненормальный?

— Не совсем так. Когда ему выгодно, тогда он ненормальный, когда невыгодно — вполне здоровый. Странная помесь куркуля, самотура и бывшего начальника. Привык всю жизнь командовать, а для него командовать — это подавлять. Сгубил мать, теперь мальчишку тиранит... Да что говорить, тяжелое это дело. Егор теперь в выходные дни после интерната домой не заходит, бежит ко мне. Что же, гнать его? И ведь слова худого об отце не сказал. Эту историю с ключом я от других узнал, удивительный парень, только б его не сломали.

— Не знаю, Борька, не мое это дело, но мне кажется, слишком ты заигрался со своим интернатом.

— Почему же заигрался? Это моя жизнь. И мешать, конечно, и бросить нельзя. Не могу их бросить, они меня ждут каждый раз, для них мои занятия — праздник. Им же скучно, понимаешь ты? У них скучное детство, что может быть хуже этого? А ты говоришь — бросить. Да и вообще интернат не мешает мне, наоборот, может быть, они нужнее мне, чем я им. Откуда ты знаешь?

— А картина?

— Работаю, работаю помаленьку... Я даже боюсь ее закончить. Страшно увидеть, что она не вышла.

— Она вышла.

— Не знаю.

— Ты кому-нибудь вообще ее показывал?

— Никому.

— Ты должен бросить все остальное, хотя бы на время. Твое отшельничество загубит тебя, ты же не для себя пишешь картину. Закончи ее, выстави, покажи... Посоветуйся с Мастером, он часто тебя вспоминает, он поможет, я уверен. Нужна твоя персональная выставка. Чего ты боишься?

Он посмотрел на меня и тихо сказал:

— Я ничего не боюсь, но пока не закончу картину — не могу. А когда закончу — не знаю.

После этого мы долго не виделись, жили своими делами, своими работами. Да и дом, семья забирали много времени. Мне стало казаться, что железный трос, швартовавший меня к Борьке, ослабевает.

Почувствовав это, я поехал к нему. Долго ждал, пока он придет из интерната, разговаривал о незначущем с его женой.

Он пришел тогда, когда мне надо было уже собираться, как всегда провожал меня на вокзал, мы задавали друг другу какие-то вопросы, отвечали, но все как-то мельком, не о главном, и когда я вскочил на подножку и помахал ему, то было такое ощущение, что я уже больше не приеду сюда.

Институт готовился провести юбилейную выставку своих учеников, своих питомцев, разумеется, не всех, а тех, что, как говорится, вышли в люди, «состоялись».

Попасть в число «состоявшихся» было почетно.

Меня пригласили, Сашку тоже, Борьке же приглашение не послали.

Я пошел к Мастеру, он возмутился, позвонил в какую-то секцию, и тут же при мне ему ответили, что приглашение будет.

— Все в порядке,— сказал Мастер.

— Все в порядке,— машинально повторил я.

А сам с грустью подумал, что все они — и те, кто забыл его позвать, и те, кто в виде особого одолжения теперь исправляет свою ошибку, и те, что ценят его, и те, что не ценят, и даже сам Мастер — не знают все-таки Борьку Никитина, моего удивительного, трудного друга, не понимают до конца, какой это художник.

Борька никогда не спрашивал меня и Сашку о наших подрастающих детях. Может, это и в самом деле не интересовало его, как не интересовало многое из того, что занимало нас, а может, мысль о своем сыне, так и не увидевшем свет,— он всегда верил, что у него будет именно сын,— была столь болезненна, что он непроизвольно избегал касаться этой темы.

Теперь у него была новая семья, я не исключал того, что появятся дети, однажды даже спросил Борьку об этом, но Борька помотал головой: нет... Почему нет, я не мог понять, но не стал докапываться.

Может быть, его родительский дар уходил в педагогику, в учительство, а память о собственном детстве, обделенном любовью, делала его более чувствительным, чем мы, к этим неприкайным, глядящим на каждого нового человека с любопытством и недоверием пацанам. Правда, иногда я думал, что это способ убежать от работы, так как работа становилась для него непосильной, — слишком большие задачи он ставил перед собой и, видно, не всегда мог осуществить их. Так называемое растворение в учениках не всегда есть признак избытка творческих сил, иной раз наоборот...

Однажды, еще в начале своей педагогической карьеры, Борька признался мне, что мечтает здесь, на базе интерната, создать студию. Не обычный изокласс или кружок, а именно студию, мастерскую, организованную из наиболее способных ребят. Занятия в этой студии, представлялось ему, должны были не просто развить природные способности, воспитать чувство прекрасного и прочее. Нет, Борька хотел видеть своих учеников художественными ремесленниками («Да, да, и не бойтесь этого слова — ремесло», — как говаривал когда-то Мастер), а точнее мастерами, которые сумеют восстановить полупогубленный посад, подновить обветшалую церковку, вернуть ей хотя бы декоративное значение. Не реставраторов хотел он делать из них, а именно мастеров способных, например, расписать здешние общепитовские точки и т. д.

Он знал, что строятся в других городах безжизненные терема под старину — вычурные постройки с громадными столами и скамьями, подчеркивающими подчас убожество ующения.

Нет, такого рода ресторации-декорации он не признавал. В идеале ему виделись небольшие трактиры, чайные, блинные, где будет чисто, опрятно, где не подделка под старину, а скорее намек на нее, что-то от ее духа и настроения.

— Старину надо сохранить, где осталась,— говорил он,— а если пойдем путем копирования, подражательства, будет пародия вроде «Русского чая» с электросамоварами и жидкой заваркой или, наоборот, дорогих заведений для интуристов в стиле «Березка» с псевдонародными штампами. В городе, особенно небольшом, должны быть уютные маленькие заведения, где люди могли бы встречаться друг с другом, просто чаевничать, разговаривать.

— Ну не фантаст ли ты, Борька? — говорил я с иронией. — Сам-то ты много чаевничал?

— Сравнил... У них другой уровень, другие запросы, им общаться надо, разговаривать.

— Ну вот и строят для них дискотеки.

— А что это за дискотеки? — возражал он. — Содрали название, а суть-то... Сути-то нет... Танцы в полутьме, заезженные пленки, кафельные стены, как в ванной или уборной, а столики из столовой самообслуживания. Красоты там нет.

— А ты, как и тот, великий, наивно веришь, что она спасет?

— Может, и не спасет, но убережь кое от чего должна.

— Убережь?

— Да. От безвкусицы, например. Посмотрел бы ты, как разряжаются иногда мои красавцы в интернате, какие-то цепочки подшивают к штанам, проволоку на шею вешают, кольца под золото в табачных ларьках покупают за рубль. И вот идет в таком виде гулять. А навстречу другой — тоже в кольцах и цепочках. Встретились, разговорились. И вдруг ни с того ни с сего — в драку... И злость какая-то недетская. Откуда?..

Меня тоже поражала ярость этих столкновений: будто давние враги сошлись свести счеты, а ведь причина, если разобраться, так ничтожна, но я спорил с ним; в своей жизни я видел гораздо больше других — умных, деятельных, организованных, какими и мы не были в их возрасте. И таких большинство — в школе, на стройке, в институте. Но я понимал Борькину тревогу — ведь он общается с ребятами не в пример мне чаще, а делает для них много больше, чем я или кто другой из наших. И это перед ним, а не передо мной сидят за партой живые, любопытные, жаждущие познаний дети...

Но возражая сам себе, я говорил — мысленно или вслух, если Борька был рядом:

— А вспомни наше время, драки нашего поколения.

Во время таких разговоров я с замиранием и страхом думал о своем сыне Сережке. Как он там? С кем? Кто идет ему навстречу? Не попасть бы ему в случайный бессмысленный вихрь, втягивающий и выталкивающий на голый, незащищенный пятачок земли, взрыхленной ростными ногами.

А Борька? За кого он тревожился, о ком думал? Вообще о людях?

Теперь я точно знал о ком. О своем Егоре.

После того прекрасного вечера, проведенного у Борьки, после пельменного изобилия и тихих возлияний мы с Сашкой, естественно, остались ночевать.

И когда утром хозяйка и Егор отправились в интернат, мы втроем продолжили пиршество...

Тускловатый, серо-стального цвета денек глядел в окна, не обещающая ничего радостного. Не хотелось возвращаться в Москву, вообще никуда идти, серый этот день теснее, крепче замкнул нас втроем.

Внезапно Борька вышел и вернулся с небольшим холстом без рамы.

Это был пейзажик: поля с тракторными колеями, уже освободившиеся от снега, но еще хранившие тишину зимы. Вдали бульдозеры, деловитые фигурки людей, голые деревья, самый малый намек на весну, сероватое, с легким просветом небо.

Пейзаж был чистый, славный, его портила только ученическая выписанность, старательность и явные ошибки в передаче пространства, в композиции.

— Твое? — сказал я, внутренне усмехаясь, отлично сознавая, что к этой работе Борькина рука вряд ли прикасалась.

Сашка понял меня, подхватил мою игру и с серьезным видом ждал ответа.

Борька медлил, довольный таким вопросом.

— Нет, не мое. — Он еще раз любовно оглядел пейзажик и сказал: — Егор...

Помолчал, давая нам возможность получше, повнимательнее взглядеться, увидеть не только то, что есть, но и что-то большее, что он один, может быть, и видит.

— Чуете, мужики, какую тонкую нотку нащупал парень?.. Настроение тут есть. Что-то предвесеннее. Ожидание. Поняли? Откуда это у него?

И гордясь, удивляясь, он завернул пейзажик в газету и унес.

А я думал о том, что даже такого, как Борька, родительское чувство может лишит объективности...

Впрочем, если не судить слишком строго, пейзажик и вправду был недурен.

По Борькиным рассказам я знал, что мать Егора умерла. Говорили, болезнь. Болезнь-то болезнь, только какая? Поговаривали также, что она наложила на себя руки. Во всяком случае о матери Егор никогда не говорил.

Возможно, он инстинктивно оберегал себя от душевной муки, отталкивая какое-то свое страшное знание... Так ведь бывает, и не только у детей. Знаем, но не говорим. Себе не говорим. Бывает, что в с е го нельзя не только сказать, но и представить.

Борька рассказывал, что Егор как-то признался ему, что с отцом они не разговаривают, молчат. Вроде отец про что-то свое думает, весь как-то сжимается, смотрит в одну точку...

Я мысленно видел этот сверкающий, ухоженный сад с розами, цветущими вишнями и на фоне алого и вишнево-красного, яркой зелени и желтых нарциссов — двух разобщенных, затерявшихся в этом раю с бледными лицами людей: отца и сына.

Только почему с бледными?

По словам Борьки, этот человек, иногда появляющийся в интернате на родительских собраниях, был не бледен и не чахл, а высок, подтянут, с румянцем на тщательно выбритых щеках. Обычно он молчал, но иногда и выступал — веско, немногословно, чеканя каждую фразу, чаще всего ругая порядки в интернате, недостатки воспитательной работы, малокалорийное питание, якобы свидетельствующее о процветании здесь жульничества и воровства.

— Так заберите ребенка, если вы не доверяете интернату, — предлагал директор.

— В любой момент готов, — с твердостью говорил он.

И действительно забирал, но через несколько дней Егор снова возвращался.

Жизнь течет, идет своим размеренным, ровным ходом, но вот ты встретился с человеком, которого давно не видел, почти забыл, и что-то в жизни изменилось, как бы пошло в другую сторону, и ты вспоминаешь, что так уже было когда-то, после встречи именно с этим человеком...

Полтора десятка лет я не был в Ярославле. Где только не побывал, но этот город казался слишком близким, слишком доступным, и потому все никак не мог туда выбраться.

И вот я вновь проехал по волжским городам, наконец-то завершив свой маршрут самым ближним — Ярославлем.

Все они разрослись, изменились, стали чем-то похожи друг на друга, как похожи друг на друга новые районы всех городов, но все-таки, особенно вблизи воды, чувствовалось прежнее, то, что раньше так захватывало, что было подсказано воображением, настоящим на чужом творчестве: книгах, картинах; старый, сложившийся в тебе образ как бы накладывался на реальный и сливался с ним, и тогда с новым чувством ты видел гранитные набережные, в которые ударяет зеленая речная вода, видел волжские пароходики, не те,

колесные, как в бунинские и чеховские времена, но все же чем-то похожие: профилем, посадкой, белыми палубами.

Да и рядом увидишь человека, идущего мимо тебя, взглядишь-ся и узнаешь в его лице черты, тебе хорошо знакомые,— недаром же уловили их и оставили навсегда старые художники.

Нет, был еще жив дух тех городов. Не только в музейных экспозициях, старательно воссоздающих прошлое, но и в самой жизни, в голубых глазах мальчишки, бегущего с портфелем, в спокойном, коричневом лице неторопливой, забывшей о времени старухи, в желтом двухэтажном особнячке с белыми пилястрами.

И вспомнился вдруг неожиданный мой знакомец, открывший мне малоизвестных волжских художников, тот непримиримый консерватор, навсегда оставшийся в XIX веке, если не раньше. Колючий человек, с которым мы так хорошо сидели и который так нежно, отечески провожал меня в гостиницу.

Да, в тот самый день.

Жив ли он? Ведь прошло шестнадцать лет.

Я знал лишь его фамилию. Анкундинов. И больше ничего, ни имени, отчества, ни адреса.

В справочной дали телефон, который не отвечал. В отделе культуры мне сказали, что такой не значится, сейчас у них новые работники, в основном молодежь. Был один пожилой консультант, но ушел на пенсию и, кажется, умер.

«Кажется, умер».

Что-то ледящее остро кольнуло меня, хотя вполне можно было ожидать этого. Но мне не хотелось верить, да и интуиция подсказывала, что равнодушная, с имитацией соболезнования информация ложна.

Старое дерево долго стоит... Его вон какие бури не сломали, что же он в тихое время возьми да и рухни?.. Впрочем, в тихое время и ложатся старые деревья. К тому же уже тогда он был болен. Но не хотелось верить этой приблизительной информации.

Во всяком случае я решил искать его.

Возможно, что он и не помнит меня. Неважно, лишь бы он был.

Я долго ходил по улицам и дворам, расположенным недалеко от музея, мучительно выискивая растворившиеся во времени приметы, что старательно подсказывала зрительная память: большой тенистый двор, детская запыленная площадка, трехэтажный деревянный домик с удивившей меня надписью «Лоскутная мера», новый четырехэтажный дом.

Мелькали такие же или похожие дворы, но не попадалась надпись «Лоскутная мера» — то ли я не мог ее найти, то ли она дождала свой век. И все-таки зрительная память не подвела меня; готовый уже сдать, плюнуть на свой сомнительный поиск, я вдруг угадал и тот двор и ту площадку...

Открыла пожилая женщина, маленькая, с живыми карими глазами. Не стала выпрашивать, кто, зачем, откуда, как это принято у недоверчивых жителей больших городов, только сказала:

— Сейчас, обождите минуточку... Я ему помогу одеться, он не совсем здоров.

Я стоял, ждал в крохотном коридорчике. Он вышел сравнительно быстро, через несколько минут, в полосатой пижамке.

Я узнал его сразу, хотя нельзя сказать, чтобы он не изменился; был он и тогда худ, а сейчас время соскребло с него не только всякое подобие жира, но и само мясо: кости не то что выпирали сквозь кожу, а почти обнажились.

Зато лицо цвело болезненным румянцем, но было теперь не белым, как тогда, а коричневым, словно навсегда загорело под уходящим солнцем жизни.

Облик его мог бы даже испугать, если б не усмешка да пронизательный, цепкий взор зеленовато-карих глаз.

Я начал что-то объяснять, думая в это время, на кого же он похож, и решил, что на старого схимника, только женщина рядом и пестрота одежды разрушали этот образ. И еще я подумал: как давно это все было, словно другая эпоха, ведь еще Нора жила, и при всей остроте обиды, ужасе разлада как же я был тогда счастлив — до той секунды, как пришла роковая весть.

Мне не надо было объяснять ему долго. Хорошо помнил он не только портреты, но и лица.

— Да, да, припоминаю.... Куда же вы пропали? Вы же, кажется, обещали зайти на следующий день и канули, сгинули. Впрочем, мне попадались книги с вашим оформлением. Ведь с вашим, должно быть?

Я кивнул, удивился, что он запомнил мою фамилию, застыл, учтиво потупившись, ожидая оценки моих работ, думая, что скорее всего она будет уничтожающей. Я ведь помнил его высказывания и взгляды. Но он ничего не сказал, промолчал, то ли схитрил, что на него в моем представлении не походило, то ли вовсе не собирался меня ругать, а может, и откладывая неприятный разговор.

— Да, много воды утекло,— сказал он. — А экспозицию-то новую вы посмотрели в музее?

— Так, бегло... Я вас искал. А мне сказали, что вы...

— Что я? — он насторожился.

— Что вы не работаете. Даже адреса не дали.

— Да, сейчас все новые, все новые, и город не очень знают и людей знают мало, особенно старых. Тех, кто все это открывал, начал. Картины, правда, знают. Картины сейчас легче знать. Я когда-то составил подробнейшую картотеку, собирался сделать книгу о местных художниках, все же как-никак я их знаю.

— Ну еще бы! Еще как!

— Сдал заявку, начал работать. А через некоторое время гляжу, выходит моя книга, только под другой фамилией. Какой-то молодой почти все у меня соскоблил, все, что я открывал. Только своими словами пересказал.

— Безобразие.

— Да что там, ладно. Бывали безобразия и похуже. Важно, что книжка вышла, хоть узнают о местных художниках. Только не узнают, как искали мы их, спасали, рылись в мерзлых сараях, бог знает где еще и доказывали в то время, что они чего-то стоят, что им есть место в истории русской художественной культуры. Слава богу, доказали. А теперь молодые их превозносят, только с неточностями, с ошибками.

Я чувствовал, что в нем сосуществуют два потока, я это ощущал и тогда, давно: поток мудрый и поток желчный. Сейчас желчный начинал брать верх, и я решил остановить его.

— Да, «Дети Темирниных», вы мне их открыли впервые. Какие ясноглазые... Я их на всю жизнь запомнил.

Он успокоился, постепенно привыкая к присутствию чужого человека, видимо, вызывавшего у него возбуждение, тяжелый для него нервный подъем. Он дышал трудно; хозяйка внимательно, но так, чтобы он не заметил, приглядывала за ним и наливала чай.

— Может, чего покрепче? — слабым голосом спросил он. — А то у меня есть, вы не стесняйтесь.

Я вспомнил нашу прошлую встречу, наш разговор о Маяковском и современных живописцах и то, как он провожал меня.

— Чай — это хорошо,— сказал я, не зная, о чем говорить и как говорить. Разговаривать вроде было не о чем. Тогда молодость вела меня за ним и против него, жар познания...

— А знаете, если можно, я рюмку выпью,— неожиданно сказал я. — Один. Я знаю: вам нельзя... Но мне хочется, в память того вечера.

Женщина тут же откликнулась, завозилась и через минуту вышла из кухни с блюдечком, на котором стояла рюмка с зеленовато-желтой влагой.

— Самы настаивали,— сказала она. — Эту магазинную мы не любим. А ему-то вообще не стоит.

— Не стоит, не стоит... — проворчал он. — Тогда и жить не стоит. Наливай-ка и мне маленькую.

Женщина спорить не стала, возможно, у нее уже был давний, неведомый посторонним опыт обращения с ним, и этот опыт сейчас подсказывал, что спорить бессмысленно и потому не надо — раздражать только. Я увидел, что она еле заметным движением перекрестилась и дрогнувшей рукой налила ему половину рюмки.

— И не половинь. От пяти граммов ничего худого не будет. А половинка — дурная примета. Ну так за что же выпьем, столичный гость залетный? — И как бы заново разглядывая меня, проговорил: — А ведь вы были тогда мальчик. Мальчик, да, вежливый, внимательный, но со своим мнением.

«Кем же он видит меня сейчас? Кем, интересно? Да и кто я на самом деле? Кто я перед ним? Тот ли, что перед собой?»

— Так за что же выпьем? — спросил он снова.

— Давайте выпьем за одного моего друга. Он художник. Когда-нибудь я приведу его к вам, я уверен, что вам понравятся его работы.

— Когда-нибудь... Этак я, пожалуй, не доживу до встречи с твоим художником. Мне ведь осталось...

Мы оба замолчали, и рюмки наши зависли над столом, и я услышал подавленный глухой вздох маленькой пожилой женщины.

— Простите, но не надо об этом,— сказал я. — Никто на свете не знает, сколько кому... Вот и тогда, шестнадцать лет назад... Вы еще провожали меня, помните? Все было хорошо, я шел в гостиницу спать, так хотелось выспаться, а меня разбудил звонок. Точнее позвонили вниз, к администратору, а та послала за мной... Это был страшный звонок... Но сейчас не об этом. Я хочу выпить за моего друга Борьку Никитина. Он очень талантлив.

— С современными штучками?

— Конечно, он ищет, но дух его вам бы понравился. Он чем-то связан с теми художниками, которых вы мне открыли.

— Любопытно. Он выставляется, этот ваш друг?

— Нет. У него сложная судьба.

— В чем же эта сложность? По-моему, вам всем сейчас проще.

— Это не совсем так... Да вы и сами понимаете... Но у моего друга еще и особые, личные обстоятельства. Вот тогда, в тот вечер, я узнал, что умерла его жена. Ей было двадцать два года. — Мне самому было странно, что я могу говорить об этом как бы со стороны, словно чужой, словно свидетель. — После этого у него все пошло трудно. Мытарился, искал, пил... Ну и заболел немного.

— Повредился? — спокойно и с пониманием, приложив руку к коричневому высокому лбу, сказал старик.

— Нет, просто нервы стали сдавать, бессонница, прочая мусть.

— Мусть,— старик оживился, это ведь было его излюбленное слово. — Да, много вокруг мути, много.

— Так вот, у него нет мути. Он по своей сути очень чистый человек. И работает серьезно, мучительно, не так, как многие... Все там болью оплачено. Последняя его работа просто потрясла меня.

— Интересно, интересно,— прищурившись и как бы отвлекшись от того, что я говорил, произнес старик.

— Я привезу его к вам. Вам надо познакомиться... Как бы это было хорошо.

— Ну что ж, давай за твоего Никитина,— сказал старик.

Впервые он назвал меня на «ты» — то ли забылся, то ли потеплел оттого, что я запомнил его.

Мы чокнулись и выпили.

Он выпил четко, по-молодому, не поморщившись, до последней капли. Старуха положила нам колбасу, огурцы, хлеб, но он не взял ничего из закуски.

Он провел по лицу сухой, осыпанной коричневой гречкой стариковской рукой. Мне показалось, он снова куда-то уходит от меня, от моего рассказа. Да и зачем ему все это... Чужие беды, чужие картины. Он уже все знает, от всего устал.

— Уже поздно,— сказал я. — Мне, наверное, пора.

— Да нет, посиди,— попросил он.— Здесь редко удается поговорить с кем-нибудь.

Это была не жалоба на одиночество, а что-то другое, скорее признание в невозможности общения.

— Я редко... сейчас.. — добавил он и закашлялся.

Я встал, но он жестом остановил меня.

Я сел и стал пересказывать ему Борькину картину. Это было довольно нелепо — как можно рассказать картину? — да ведь и видел-то я ее всего одну секунду, но мне хотелось говорить о ней. Я описывал ему лицо Норы на первом плане, лица всех стоявших позади: всех, кого мы знали, любили, не уберегли. Впрочем, что значит не уберегли? Просто они ушли от нас.

— Интересно,— сказал старик. — На кого же это похоже?

— А ни на кого. На многих и ни на кого. Он вобрал, пропустил через себя и чужое, и оно стало своим.

Он потупился, обдумывая мои слова...

— Ну что ж, мне любопытен твой художник. Приезжай с ним, если успеешь.

Опять возникла эта тема, видно, он все время думал об этом и порой, словно устав делать вид, что все в порядке, позволял себе расслабиться. Но на этот раз я не стал убеждать его, что мы успеем.

Подняв глаза, слабо усмехнувшись, с некоторой долей лукавства он сказал:

— Ты небось думаешь: воинствующий ретроград. Это не так. Я люблю подлинность и боюсь всякого рода спекуляций. У тех художников, которых я тебе показывал, была удивительная новизна. Они шли от опыта, от чувства, они подчиняли себе прием, так как владели им, были мастера... Они были по-настоящему народны. — Он помолчал. — Ты понимаешь, о чем я говорю?.. Они рисовали таких же людей, как они сами — похожих и совершенно других. Вот это, может быть, самое главное — передать похожесть и неповторимость. А этот твой... Забыл, как его зовут... Умеет?

— Его зовут Борька Никитин, запомните это имя... Да, он умеет.

— Почему же Борька? Он ведь уже взрослый,— тихо сказал старик. — У меня когда-то был сын Борька.

Женщина позади завозилась, и вновь стало тихо, старик вдруг резко поднялся, подошел к книжному шкафу, наугад, но вместе с тем точно взял какую-то книгу. Глаза его, наверное, были еще достаточно остры, потому что он легко нашел нужную страницу. Стал читать неторопливо, без выражения, видно считая, что текст не нуждается ни в каком приукрашивании:

— «Как олово пропадает, когда его часто плавят, так и человек — когда много бедствует. Никто ведь не может ни пригоршнями соль есть, ни в горе разумным быть; всякий человек хитрит и мудрит о чужой беде, а о своей не может смыслить. Злато плавится огнем, а человек напастями; пшеница, хорошо перемолотая, чистый хлеб дает, а человек в печали обретает ум зрелый». Знаешь, кто это сказал? — Он не стал ждать моего ответа, вспомнив или догадавшись,

что не следует подвергать человека экзамену. — Это сказал очень старый человек, еще постарше меня, Даниил Заточник, в письме, написанном князю Ярославу Владимировичу. Ты небось думаешь, что я рехнулся на своей старине. Нет, брат, я не рехнулся, я за нее страдал. Потому что все здесь правда, все про душу говорит, а теперь народилось много спекулянтов, подражателей, лукавцев разного рода. Вот и у нас такие есть. Я понимаю, что сегодняшних детей нельзя рисовать так, как детей Темирниных. Это будет неправда. А мода, оказывается, не только на модерн бывает, но и на старину. Еще какая.

Он сел и замолчал; я видел, что говорить ему нелегко, что он устал. И начал прощаться.

Я обещал, что не исчезну на этот раз, как тогда, что приведу своего друга, может быть, даже уговорю его привезти картину, хотя это трудно. Он протянул мне руку и улыбнулся, и я почувствовал, что он более примирен с жизнью, чем тогда, более добр.

«...Человек в печали обретает ум зрелый...».

Но ведь сколько он узнал печали еще до первой нашей встречи, и ведь тогда у него был ум зрелый. Зрелый, но нетерпимый... А теперь — только зрелый, сосредоточенный на чем-то одном внутри себя. Хорошо бы действительно познакомиться с ним Борьку. Они найдут общий язык.

Да, да, хорошо бы... Но другой голос не обещал мне этого, не обещал этой встречи втроем... Не знаю даже что, предчувствие, что ли. Странная это была мысль и связана почему-то не только со стариком, не только с его возрастом.

Но ведь тогда не было никаких предчувствий. Теплая ночь, булыжная мостовая, я пьян, старик тоже навеселе, тогда ведь он еще не был таким стариком...

— Ну прощевай, прощевай, брат, и не исчезай на шестнадцать лет, это уж слишком долго. Теперь считай срок месяцами.

Я прощаюсь, протягиваю руку старухе, чувствую прикосновение сухой маленькой ладошки, выхожу из квартиры, спускаюсь по лестнице, во двор, где на скамейке сидит, бесформенно слившись, какая-то пара.

Иду быстро, с горьким комком в горле, убегаю от прошлого, ухожу от сегодняшнего, уже ставшего прошлым, и не знаю, не ведаю, что будет завтра.

Но как все-таки хорошо, что я разыскал старика.

Неожиданно вспоминается декан, исключавший нас, старый перевертыш. Почему, зачем он вспомнился мне в этот вечер? Я изгоняю его из моих мыслей, и думаю только об этом старике, и молю бога, чтобы он еще пожил и чтобы остались, не перевелись на земле такие же, как он.

Я звонил Борьке, напоминал о юбилейной выставке Института; чувствовал, что эти напоминания раздражают его. Вместе с тем мне казалось: если он выставится и покажет свою главную картину, то это изменит его жизнь...

Но однажды позвонил Борька и сказал:

— Приезжай немедленно. У нас тут своя выставка, почище вашей, интернатская. Выставка моих учеников.

И я, конечно, приехал. Увидев его, обрадовался: деятельный, важный, он отдавал какие-то распоряжения, был не то чтобы горд, но полон серьезности. Народу собралось сравнительно много: учителя, ученики, родители, представители роно.

Никаких речей на этом вернисаже, слава богу, не было. Только Борька, открывая выставку, сказал несколько слов:

— Выдающихся произведений вы здесь не найдете, к сожалению. Хорошо бы, но пока не получается. Мы еще только учимся ри-

совать, да и это не цель наша, мы стараемся понять, постичь, оценить красоту, чтобы не казалась жизнь будничной или хуже того, безобразной. Каждый раскрывается здесь как умеет, а мы лишь помогаем раскрыться. Так что не судите нас строго... Это лишь самые первые шаги.

Работы были обычные, детские, одни получше, другие послабее. Но Борькино что-то чувствовалось. Обычно дети начинают с самолетов, ракет, танков, а здесь были пейзажи: стада коров, спящая на жаре собака с высунутым языком, старые улочки города, заросший парк. Были, конечно, и индустриальные пейзажи, и военные сюжеты, и даже портреты. Например, один паренек нарисовал ветерана, видимо, после праздничного вечера. Ветеран одиноко сидит на скамейке, задумался, а рядом ребята что-то спрашивают, а он не слышит, сейчас он далеко, далеко от них, в другом времени, может быть, и в другой стране — где воевал.

Висели и работы Егора: весенний пейзаж и несколько интернатских зарисовок.

Ребята делились на тех, кто выставился, и на зрителей. Участники были возбуждены, кучковались вокруг Борьки, а остальная публика разбрелась по залу, разглядывая выставленные работы — кто-то с сочувствием и интересом, а кто-то с чем-то вроде насмешки.

А те, участники, все шептали: «Борис Иванович», «Борис Иванович...» Уже давно я не слышал, как его зовут по имени-отчеству... А то еще «шеф»: «шеф передал», «шеф сказал»...

Что-то странное было в этом детском признании; видимо, ему оно было необходимо, давало опору, но по сравнению с тем, и ным признанием, которого он мог добиться, это было такой малостью! Но, с другой стороны, может быть, вдохнув что-то в них, он получает и нечто взамен?

Кто знает?

«Шеф велел», «шеф поручил»...

Ходила гордая жена Бори, счастливый, никого не видящий Егор. Потом устроили что-то вроде банкетика, такой ученический банкетик за длинным столом с маленькими бутербродами и бутылками сладкой воды.

Все это возвращало меня в давно забытое, но вечно во мне живущее, в послевоенные годы, в собственную школу, в ее коридоры, пустые во время праздников и уроков, в туалеты, пахнущие карболкой, где дрались, курили, отсиживались от контрольных, писали и передавали шпаргалки...

— Ну что ты такой скучный? — спрашивал Борька. — Тебе не понравилось?

— Да нет, хорошее дело, хорошее, — пробормотал я. — И банкетик хороший и газированная вода. И все такое хорошее и полезное. Только смотри не разбросайся. А то ведь свою картину разменяешь на детские рисуночки.

Борька как-то с вызовом посмотрел на меня и сказал:

— Не бойсь, прорвемся...

Так мы стояли в отдалении от безалкогольного пиршества, глухого стука граненых стаканов, звона ликующих детских голосов, басовитой торжественности взрослых. Длинный коридор поблескивал в сумраке таблицами, стендами, неясно белевшими лицами великих людей. Пахло школой, но еще больше — из раскрытых, распахнутых окон — весной. И тот и другой запах был одновременно и радостен и мучителен, отсылал, возвращал туда, куда возвратиться нельзя.

Коридоры время от времени сотрясали проходящие поезда — вокзал был близок, и это обостряло ощущение скорого отъезда, предстоящей разлуки.

Подошел Егор, вернее, не подошел, а прошел, чуть замедлив ход и посмотрев на Борьку, то есть не на Борьку, конечно, а на Бориса Ивановича, своего «шефа».

Тот перехватил его взгляд и сказал:

— Я сейчас.

Мальчик пошел дальше, уже почти его и не видно было, только рубашка чуть белела, он добрал до конца длинного коридора и повернул обратно.

— Слушай,— сказал я Борьке.— Есть в Ярославле замечательный старик. Он реставратор в прошлом, после войны, в пятидесятые годы, спас много картин, отменный знаток восемнадцатого, девятнадцатого веков, всех волжан знает досконально. Мы знакомы уже шестнадцать лет.

— Ну и что?

— Он хочет познакомиться с тобой. Посмотреть твою картину.

— Вот устрою выставку в Москве, ты его и пригласишь,— не принимая всерьез моих слов, чуть высокомерно отмахнулся Борька.

— Ты зря так... Неизвестно, сколько ему осталось... Удивительный старец, таких сейчас мало. Тебе надо повидаться с ним, поговорить. Он тебе многое может сказать.

— Зачем мне твой старец? И что он мне может сказать?

Непонятное упрямство, какая-то жестокость, непременное желание оттолкнуть... Я и раньше замечал это в Борьке. То ли это действительно сидело в нем, то ли просто оттого, что не видел того старика, не представляет себе, что это за человек.

— Старик серьезно болен, я не зря тебе говорю о нем. Знаешь, дар понимания тоже редок, как дар творчества.

— Ну заговорил, друг... Уж больно высокие матери, — смягчась, сказал Борька. — И к тому же как я эту картину попру? Она ведь огромная. Да и что говорить сегодня об этом? Видишь, какие у нас здесь дела?

Действительно, уже звали назад, требовали его присутствия, тянули свои стаканы с лимонадом, чтобы, взметнув их над столом, торжественно чокнуться с ним.

— Ты не останешься? — спросил Борька.

— Нет, я поеду последним, ночным.

— Ну давай.

— Давай.

Мы обнялись.

Я быстро проскользнул по коридорам, спустился по лестницам, и вот уже двор, и в вечернем холодке остро пахнут тоненькие деревца, луна молочно обливает их, и они кажутся восковыми.

Я испытал неожиданное облегчение оттого, что наконец покидаю это здание, остаюсь один; какая-то назойливая связь со школьным выпускным вечером все время мешала мне, будто что-то перепуталось и я попал туда и в то время, куда не хотел возвращаться. Но меня словно бы возвращали силой...

А сейчас назад, в Москву.

Близко, в голых весенних кустах просвечивает и словно бы движется вокзальное здание.

Я уже ступил на невидимую, но знакомую мне тропинку, освобожденно, легко дыша, чувствуя радость одиночества и возвращения домой как вдруг кто-то перегородил мне дорогу.

Рослый человек в плаще, прямоугольно висевшем на его развернутых плечах шел навстречу, лоб в лоб.

— Извините.

Это «извините» было сказано так, точно он собирался арестовать меня.

— Извините, у меня к вам два слова.

— Слушаю, но только два... Я опаздываю на поезд.

— Я могу вас проводить.

У меня похолодело в животе при мысли о таком провожатом.

— Говорите здесь.

Я посмотрел на него. Держится прямо, с военной выправкой, плащ темный, очень длинный по моде прежних лет, прорезиненный, бритая голова.

— Вы друг этого самого... художника... Никитина. Я вас часто тут вижу.

Странно, что я не видел его ни разу.

— Скажите, пожалуйста,— произнес он, стараясь быть предельно вежливым, вероятно, оттого, что сдерживал себя. — Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что вся эта беготня, все эти затеи с художествами — ерунда? Вредная и опасная ерунда!

— Как так?! Вы что, с ума сошли?

Я даже не знал, как с ним говорить: то ли немедленно послать куда подальше, то ли спокойно объяснить, какое важное и прекрасное дело делает мой друг. Я не имел опыта общения с такими людьми.

Следующая его фраза была произнесена странным, как бы внешне запно сорвавшимся голосом, мне показалось даже, что он не в себе.

— Я занят, а он пользуется этим! Он отнимает у меня сына!

Мне послышался глухой и ухающий отзвук сдерживаемого рыдания.

— По-моему, он отдает все силы вашему сыну. Он развивает в нем...

Он так пристально, в упор посмотрел на меня, что я замер.

— Я чувствую, мы не поймем друг друга,— сказал он.

— А зачем нам понимать друг друга? Этот «художник», как вы его называете, кроме всего прочего, прекрасный педагог, и он дает всем, и вашему сыну в особенности, много, очень много. Неужели это непонятно?

Я говорил эту фразу словно самому себе, физически ощущая, что тот меня не слышит и не хочет слышать. Он мрачно и, как мне показалось, язвительно молчал.

— Так, все понятно,— произнес он прежним прокурорским тоном, словно подвел черту. И неожиданно вновь рыдающе ухнул: — Он отнимает у меня сына!

— А чего бы вам хотелось? — почти кротко спросил я. — Чем бы вы хотели его занять? Что заменит ему эти художества?

— Это у нас найдется. Можете не волноваться.

— И что же это?

— Вам хочется знать? Пожалуйста, никаких тайн. Сад!

— Какой еще сад?

— А вот такой... Уникальный сад с уникальными цветами. Я уже несколько лет развожу их.

— На продажу?

— Частично, для поддержания сада, но многие цветы я экспонирую на выставках.

— Но вы ведь не подпускаете, кажется, никого к вашему саду.

— Почему же? Откуда это вам известно? Специалистов подпускаю.

— Ну а если не специалист... то... ключом по бровям?

Он замолчал и начал шепотом, будто потерял голос:

— Вранье все. Никакого ключа... Я не подымал руку... на сына...

Голос его истерично и резко переходил от шепота к визгу; но я чувствовал, что он играет, что своей истерией он управляет сам.

— Вы не думайте, я много повидал. Я воевал, я работал, и я не привык, но пусть запомнят: тот, кто подымет руку на меня или моего сына...

— Я опаздываю на поезд. А на сына поднимаете руку только вы.

Он замолчал, на лице его промелькнуло что-то, напоминающее обиду: он так искренен, а его не хотят понять. И уже с холодком, уже без интереса, глядя на меня, а вниз, на землю, заключил:

— Хорошо. Мы объяснимся с этим художником.

Я обогнал его, перешел почти на бег — оставались считанные секунды до поезда.

Еще я подумал: «Может, вернуться, сказать Борьке?» Да нет, плохая примета — возвращаться.

Спиной я чувствовал, что этот человек стоит, не уходит. Массивный, широкий, точно памятник в прорезиненном плаще. А я к нему спиной... Но все дальше, дальше от него, все ближе к вокзальным огням.

На следующее утро я позвонил Борьке и рассказал ему о неожиданной встрече.

Он слушал молча. Потом устало сказал:

— Да, все это мне знакомо. Он буквально преследует парня. А теперь, кажется, принялся за меня. И ничем его не проймешь. Где надо, он прикрывается справкой, что псих. В других местах он общественник, здоровый человек... Со всеми борется по самым разным поводам, особенно с молодежью. Отстаивает свой сад... Ну да ладно, не с такими придурками встречались.

— Смотри, мне он не понравился.

— Тебе... Мне ох как он не нравится. Главное, за мальчишку боязно. Ну, хватит об этом.

— Какие у тебя планы?

— Какие там планы! Отдохнуть надо. Вот втроем, с Катей и Егором, уйдем на плоты. Ты с нами не хочешь?

— Дел полно. А когда поедем к старику?

— К какому еще старику? К Мастеру?

— Что у тебя за память дырявая? Я же тебе час талдычил о реставраторе из Ярославля, а ты все забыл.

— Поедем, поедем.

Я хотел еще спросить его о картине, но не спросил. Знал за ним это суеверие — не говорить о работе, о главном.

Звякнул зуммер, трубка повешена, поплыли, полетели, настигая один другого, коротенькие гудочки.

Синим сигнальчиком вспыхнула тревога, и надо было что-то делать, может быть, даже и не делать, а хоть поделиться ею с кем-то.

Рука тянулась к телефону, номера товарищей отвечали пустыми, безжизненными гудками, уносящимися куда-то. Среди этих безответных номеров был и Сашкин; начиналось лето, пора разъездов: в отпуск или, наоборот, на заработки, вольные поиски заказов...

В конце концов я набрал номер Мастера. Зачем? Чего ждал от разговора с ним?

Он по-прежнему присутствовал в нашей жизни, но мы никогда точно не знали — присутствуем ли мы в его. Если б я стал писать о нем воспоминания, то не имел бы возможности заметить, как это принято что вокруг него всегда «роились молодые таланты, что под его благотворным приглядом — как грибы после теплого дождика — подрастали и поднимались ученики, те самые, которые вот-вот уже начнут обучать и своего учителя, осуществляя вечный закон взаимосвязи поколений». Ничего подобного. Общение с ним было сухим: редкие встречи в редакциях, в отделах художественного оформления, на заседаниях и секциях творческого союза, на выставках.

В этих и подобных этим местах он выглядел далеким, чужим. Я никогда не подходил к нему первый, иногда казалось: может и не

узнать. С годами он не стал бронзовым, не превратился во всеобщего метра, но говорил все же нарочито скупое, весомое, как бы сознавая ценность и значительность каждого своего слова. Я чувствовал, что это не из важности, а скорее оттого, чтобы уберечь себя, соблюсти дистанцию, не разрушить какой-то устоявшийся покой, может быть, даже не покой, а определенное состояние: всегда быть «над схваткой», над общей суетой для того, чтобы сохранить рабочую форму, или, как пишут иногда журналисты, «настрой». Это бодрое слово, впрочем, меня всегда отвращало.

Он мало перед нами раскрывался. Да, мне кажется, и не только перед нами, и не от замкнутости, не от застегнутости на все пуговицы это шло. Никогда он не был закрыт, но вместе с тем с первых дней и до последних мы знали, до какой черты близости можно дойти, когда следует остановиться. У нас были педагоги, любившие говорить о своих удачах или неудачах, о судьбе, о времени, о несостоявшемся и состоявшемся, они могли казнить других и казниться сами. В определенном возрасте, видимо, возникает потребность в такой вот исповеди на людях.

Ничего подобного мы не слышали от него.

Интересно, что он значил для нас больше, чем, вероятно, сам предполагал, наверное, поэтому мы хотели, чтобы он был своим, а своим он не становился.

Только среди чужих мы чувствовали его своим.

В людских водоворотах, на выставках, на всяких обсуждениях встретишься с ним глазами; вначале разочарование — то ли не узнает, то ли занят собой, какая-то пустота, первая мимолетная стыковка всегда не удавалась, только потом он разрешал приблизиться, словно перепроверив в себе: надо ему это или нет? Он подзывал, спрашивал, и ты рассказывал послушно, как давно, в ученичестве, а он, кивая, слушал.

Кто-то еще подходил и тоже рассказывал, и он слушал и того и тебя, и неизвестно, что доходило до него и что было ему важнее. Иногда казалось, что все, а иногда, что никто, что он сам.

Я удивлялся его осведомленности о наших делах: все-то — или почти все — он знал. Редко при этих случайных встречах давал оценки, но сам факт, что запомнил, был оценкой: как же, слезу, слезу... Иной раз одаривал: ничего, нормально. И тут же добавлял, и тут же делал замечание, всегда точное. Как все это он помнил?

Это и в Институте удивляло: смотрит почти без интереса, думает о своем, далеко, взгляд вроде бы направлен мимо твоей картинки, как бы обтекает ее, но вдруг бац — зацепил, заметил в таком на вид ладном изделии изъянчик, ошибку, и вот уже сам понимаешь: строение кособокое, скоро развалится.

Другие метры были темпераментнее, щедрее. Кричали своим: «Старик, это гениально!» — или наоборот: «Это убожество, старик, куда это годится!» — а он никогда не употреблял это слово «старик» и когда хвалил, то точно жадничал, взвешивая на аптекарских весах, боясь выдать миллиграмм лишнего.

Да, в воспоминаниях я не мог написать, что он был тем учителем, которому звонишь по любому поводу — показать новую работу, спросить совета, задать вопрос: как жить дальше?

А последнее было иногда так необходимо.

Впрочем, вовсе не запрещалось обращаться к нему. Другое дело, что не отзывался, как таксист, на первый зов, но мы всегда знали: если действительно очень надо, то можно встретиться.

Но за все годы я и Борька были у него дома всего один раз, после восстановления в Институте. Тогда мы даже собирались купить ему подарок, стали размышлять, что же именно: какую-нибудь вазу — глупо, он ведь не дантист. Может быть, тогда бутылку лучшего армянского коньяка? Да тоже как-то не совсем удобно...

Борька еще сказал:

— Порыв хороший, а идея ложная.

Я удивился:

— Как это так?

— Да так. Представь: вваливаемся с подарочком. За что? За то, что нас спас. Так за это, мой хороший, другим отплатить надо... Картинами бессмертными, к примеру. А мы по дешевке — бутылочку Мастеру, подарок, подарунок.

— Нужны ему наши рисуночки, у него небось на стенах...

Трудно было представить, что у него на стенах. Может, какой-нибудь средневековый Липпо Далмазио. Он любил малых великих художников... «Широкой публике почти не известен Липпо Далмазио, — как бы обижаясь за этого Липпо Далмазио, говорил Мастер, — а напрасно. Конечно, он не Рафаэль... художник второго ряда. Но посмотрите...» И он показывал нам репродукции.

У Липпо Далмазио были нежные, просветленные мадонны — почему они были не столь знамениты, как те, которых ограждали от толпы решетками, те, которых раз в столетие в клочья рвали и резали сумасшедшие?

А на этих прелестных мадонн никто не покушался, хотя они были ничем не хуже. Впрочем, что значит хуже, лучше. Это все равно что сравнивать моря или реки. Чем, например, Эгейское море лучше Черного? Просто оно другое.

Великие мастера второго ряда... Отчего вы так любите их, наш учитель? Может быть, вас угнетает историческая несправедливость? А может, и себя вы считаете великим мастером второго ряда?..

Мы купили ему цветы.

Борька выбирал, торговался с теткой на площади Революции; выторговав полтинник, купил хороший букет тюльпанов, но на подступах к дому Мастера стал ворчать: «Будто гимназистки какие-то».

Я молчал. Его противоречивость иногда становилась невыносимой. Я вырвал из его рук букет, поискал глазами урну.

И тогда Борька вздохнул, сказал с детской жалостью:

— Все-таки трешник, да и цветы красивые.

Вздох о трешнике и остановил мою руку.

Он мог прогулять много и тогда о деньгах не думал. Но даром, так, впустую, в урну, да еще такие красивые... Это было выше его сил. Так и пошли с цветами.

Дом, к которому мы пришли, чем-то напоминал тот, в котором я родился. Но более темный, гранит, мрачноватые маленькие окна на мощном конструктивистском фасаде — словно на крупном лице маленькие детские очки.

Это был один из вариантов, один из типов дома, в котором, как мы предполагали, и должен был жить наш Мастер. Мы и представить его не могли в свеженьком панельном доме новостроек или в новом, розовом, как вафля, из тех, что строились уже тогда, расталкивая двухэтажные покосившиеся домики уходящей Москвы, те, что не представляли исторической ценности и были непригодны к капитальному ремонту. Сегодня они кажутся чудом, и на каждом таком еще сохранившемся доме хочется повесить табличку: «Охраняется государством». Двухэтажные, трехэтажные, с лепниной, с колоннами или без, построенные никому сейчас не известными архитекторами, не возвеличенные проживанием в них великих людей, заурядные, говоря современным языком, типовые дома отшумевших далеких времен.

Мне казалось, они тоже напоминают великих мастеров второго ряда.

Но Мастер жил в доме середины тридцатых нынешнего века.

И квартира его и встреча тогда разочаровали. Мы шли переполненные благодарностью, жалко мяти цветы, мечталось о задушевном

долгом разговоре, а он встретил нас озабоченный, на цветы даже не поглядел, швырнул куда-то, провел коридором в кабинет и надолго нас оставил.

В доме явно ощущалась атмосфера тревоги, нервозности, каких-то житейских неурядиц.

Все время звонил телефон. Жена Мастера (я почти не разглядел ее, помню, что показалась мраморной статуэткой) кивнула почти не глядя, без интереса — как молочнице, почтальону или водопроводчику — и даже с каким-то неудовольствием, точно водопроводчик пришел не вовремя, а почтальон ошибся дверью. Я, помню, подумал, что мы для нее из этого же разряда или скорее всего еще из худшего, из тех, кто не часто приходит в дом, но все же назойливо, постоянно напоминает о себе, досаждаст звонками, просьбами, толчется где-то под окнами в ожидании помощи.

Мы были из разряда учеников.

Кивнула, что-то взяла, куда-то ушла. Странно, что это была жена нашего Мастера. Мы видели ее в первый раз и в последний.

И действительно, как я потом узнал, она исчезла из его жизни как раз в то время, и как раз в то время он расставался с ней. Почему-то не хочется говорить «разводился», не хочется видеть Мастера стоящим перед народным судьей, объясняющим причину развода или делящим квартиру. Впрочем, он, кажется, и не делил. Каким-то образом, думаю самым благородным, он решил все жилищные проблемы и остался в этой же квартире.

Но все же почему, относясь к нему с уважением, даже с почтением, я иногда невольно думаю о нем с иронией?

Не могу точно объяснить это. Мы просто не хотели и не умели видеть его человеком, мы хотели поднять, посадить его на пьедестал, а он не подсаживался. На пьедестале ему было бы неудобно, он и там остался бы человеком, а человеческие черты, как известно, не идеальны.

Вот и в тот раз дух суеты витал над ним, причем внешне это ни в чем почти не выразилось. Почти... Если приглядеться, можно было уловить, что движения слишком отрывисты, рассеянны; он словно забывал, что мы тут, прерывал разговор на полуслове, что-то все время искал в письменном столе, шкафу и не находил. Странно, в Институте он всегда был спокоен, сосредоточен, мы мельтешили, а он взирал на нас — не свысока, но с высоты; здесь же чувствовалась скрытая растерянность, именно скрытая, он был немногословен, как всегда, но вдруг переспрашивал нас, точно был глуховат, а когда мы стали благодарить, он сказал с раздражением: «А... вы все об этом...»

Будто каждый день нас исключали и каждый день кто-то помогал нам восстановиться.

И еще раздражала возня с собакой. Огромный, невероятно игривый дог все время был в центре внимания — то к нам приставал, то жена Мастера звала его и кому-то невидимому громко объясняла, чем кормить Ингула (так звали этого пса), называла блюда прямо-таки из ресторанного меню, не порционные, конечно, но во всяком случае хорошие дежурные.

Мы были голодны и возненавидели дога с его грозным богатырским экстерьером и младенческим нравом, этого бумажного тигра, жрущего калорийную человеческую еду: молоко, мясо, кашу. Особенно ненавидел пса Борька — пес ласкался к нему, а Борька тихо, чтобы не увидели хозяин, рычал на него. У Борьки, как у кота, вставала шерсть дыбом от одного вида этого дога.

Я удивлялся, я знал, что он любит собак, согласен подцепить любую заразу, чтобы только погладить бродячего пса, эти ничьи собачонки так и волочились за ним до самого общежития, и он подкармливал их, чем мог. А красавца Ингула, казалось, готов был пристрелить и на обратном пути поливал его последними словами и го-

ворил, что псы не должны жить в квартирах как люди, а люди не должны жить как псы в каких-то каморках, что псы должны сторожить людей, а не наоборот...

Единственный просвет во всей этой бессвязной и тусклой встрече с Мастером возник, когда Мастер вдруг остановился, сел и сказал, вздохнув, словно сбрасывая с себя груз еще более тяжелых забот, которые ему, видно, только предстояли:

— Хватит думать о чужой несправедливости. Эта история очень неприятна, но вы еще вспомните ее с благодарностью. Да, да, позже вы поймете меня, сейчас не задерживайтесь на этом. Ну а моя роль... Она естественна; другое дело, что в искусственных условиях бывает трудно играть естественные роли... Сейчас это трудно, но не слишком. Во всяком случае не смертельно.

Мне показалось, что он еще что-то хочет сказать об этом, что-то объяснить нам, но передышка кончилась, и вновь возникла в его квартире какая-то нарастающая возня, забегал, сотрясая стены, накормленный пес, зазвонил телефон, жена, с которой что-то происходило, с кем-то разговаривала в соседней комнате — слов не разобрать, но голос слышен: красивый, грудной, несколько глуховатый.

Наш учитель вышел и опять долго не появлялся, будто забыл, что мы здесь.

Это было для нас не ново. Он и в Институте так исчезал.

Когда мы прощались, уходили, он снова стал таким, как обычно: спокоен, чуть угрюм, деловит, недосягаем; дал несколько указаний по этюдам, распорядился насчет практики. Больше я ничего не помню.

Уходили мы от него с некоторым разочарованием — ждали все же другого, ведь не так уж часто удается увидеть учителя дома, так сказать, в туфлях и халате, не так уж часто предоставляется возможность побеседовать с ним в домашней обстановке, спокойно и, как говорится, по душам.

И потому мы ругали пса, будто это он нам помешал. Да, именно пес был виноват в том, что встреча не удалась. Как легко было его ругать, пролетая вниз маршами длинной лестницы, мимо обитых кожей дверей с табличками, на которых значились фамилии, известные всей стране.

Не простой был этот дом, здесь дежурная спрашивала, к кому ты идешь и от кого уходишь. А нас особенно подробно.

Мы летели по лестнице, по этажам, думая о себе, о тех домах, в которых еще будем жить.

Впереди было действительно еще много домов. А сейчас улица, столовка, две кружки пива, сосиски, я и Борька. Мы разные, но и единое целое, еще ничто не разделило нас.

И последнее из того дня: странно, что я не запомнил, какие картины висели у Мастера. Помню, что их было несколько, меньше, чем я думал, но все-таки были.

И никакого Липпо Далмазио. Ведь у Мастера не музей, а обыкновенная квартира.

А своих картин Мастер на стену не вешал.

Прошло шестнадцать лет, и я должен был увидеть Мастера, чтобы поговорить с ним о друге.

Таков повод, предлог. А причина — другая. Хотелось поговорить о Борьке, но немного и о себе.

На том конце провода голос глуховатый, мало измененный телефоном молодой. Менее всего старятся голоса. «Кто его спрашивает?» Я назвал.

Было мне известно по нечастым моим звонкам, а также и от друзей, что в последнее время Мастер как бы сам секретарит себе: чуть-

чуть изменив голос, людям не нужным, не допущенным заявляет, что в данный момент он в отъезде.

Потому назвавшись, я выжидал с некоторой тревогой: как отреагирует, не уехал ли куда-нибудь внезапно? Нет, не уехал.

— Да, да, конечно. — И тут же: — Ну, как ваши дела?

— Вот об этом-то я и хотел, если можно.

— Хорошо. В пятницу, часов в шесть. Устраивает?

Не очень устраивало, но мне ли торговаться.

— Да, конечно, спасибо.

И вот второй раз в жизни я отправился к нему. Хотел взять что-то из графики, воспользоваться редким случаем, показать, но не взял. Всякий раз получается, что использую его для оценок. Какой-то вечный урок, из года в год переползающее занятие по мастерству.

Нет уж. Сегодня без папочек с листами.

А для чего же тогда? По какому делу? Поговорить о Борькиных проблемах? О его выставке? Об интернате?.. Да. А что еще? Ведь было же еще что-то.

Оно, это что-то, не в последнюю очередь толкнуло меня на звонок Мастеру. Но как об этом говорить с не имеющим свободной минуты человеком, с профессионалом, который, как мне известно, любит конкретность и четкую ясность в постановке любого вопроса.

А что это за вопрос? Он довольно смутен, мне до конца самому непонятен. В сущности, безответен.

Он звучит примерно так: как дальше?

И может быть, важнее высказаться самому, чем то, чтобы тебя выслушали,

Но как выскажешься? Как объяснишь, что идет пробуксовка, топтание на одном месте, ожидание того самого второго дыхания? И что это такое — второе дыхание? Его ведь можно ждать до тех пор, пока и первое иссякнет навек.

Да, будем говорить языком спорта. Примерно так: планка на приличной высоте, а ты ее берешь, далеко не все могут ее взять, эту высоту, и узкий круг судей, тренеров и специалистов уже знает, на что ты способен, верит, что ты достаточно прочен и всегда можешь с легкостью перемахнуть через эту планку, а когда-нибудь, может, и через более высокую.

Тыходишь в двадцатку, в десятку сильнейших, тебя возят на состязания, отправляют в другие города, иногда доверяют защищать спортивную честь родины за границей.

Ты не бьешь рекордов, но не беда, редко кто бьет рекорды, да и держатся они недолго. Важно, что ты не опускаешь планку ниже своего уровня.

Что же еще тебе надо? Все-таки тянет к рекорду, к невысказанному результату, к езде в незнаемое, к высоте, над которой еще не зависала нога человека? Так тренируйся днями и ночами, режим, посвяти жизнь побиению рекорда!

Но беда в том, что к рекорду не тянет, хотя неплохо было бы его установить.

Беда в том, что надоели сами эти прыжки в высоту. Сами эти ножницеобразные движения ног, толчок и взлет. Взлет так недолог, собственно говоря, это не взлет, а просто краткий миг перемахивания через планку, и тут же — падение в яму с опилками.

Чего же хочется? Может быть, ты и сам не знаешь?

Нет, знаешь примерно... Бежать, ощущать бесконечное пространство, тающее, поглощаемое тобой... Хочется заниматься другим.

Ксилография, линогравюра, гравюра на нитролинолеуме, на целлулоиде, офорт, самая обыкновенная графика... Сколько убито времени на это, сколько попорчено металла и дерева, сколько притуплено сухих игл!

Почему же так безнадежно? Ведь получалось. Хвалили, а иногда и самому нравилось. И даже призы, премии, «лучшая книга года». Да, но не в этом дело, не хочется никакой книги. Хочется другого, того, к чему тянулся с первых лет, когда вообще только начал заниматься этим, хочется распахнутого, просторного, не черно-белого и не цветного, а такого, как день за окном, как вот этот вечереющий, уходящий день. Какой он? Легче всего написать его сиреневым, как это делалось тысячекратно, но у него другой тон, другой цвет. Какие соединения нужны, чтобы его воссоздать, чтобы он стал не похож на этот реальный цвет за окном, настолько не похож, чтобы все признали: да, это он?..

Но этого еще мало. Мало одного цвета. Есть гораздо более важные вещи или такие же важные: то, что ты пережил, потерял, узнал, те лица, которые еще недавно смотрели на тебя и которых уже нет, то время, которое видоизменяло эти лица, делая несчастных счастливыми, а счастливых несчастными, старых молодыми, чаще молодых старыми, время, которому столько раз ты орал, кричал, хрипел: «Остановись... да, да, ты, то самое мгновение, или как там тебя, именно ты, восемнадцать часов пятнадцать минут, до восемнадцати тридцати, остановись, ты прекрасно!» Нет, черта с два, оно неслось, как и положено, летело, не замечая тебя, наполняя тебя отчаянием, что все твои надежды, иллюзии, долгие приготовления к жизни — все это ничто. Холостой выстрел, не родивший даже дымка...

— Вам надоела книжная графика? — спросил он, глядя на меня с неожиданным вниманием (обычно он смотрел сквозь, мимо), и тут же сам себе ответил: — Да, ею можно объесться, тем более выбираете не вы сами, вам дают. А вы сделайте так, чтобы вы предлагали условия, а не они.

«Ах, в этом ли дело? — думал я. — И не надоела вовсе, я делаю не потому, что надо, а потому что привык, и люблю, и умею». Но ведь хочется наконец вырваться за пределы этого малого листа, выйти из подчинения чужому замыслу... Конечно, это всегда контрольная, но ты примерно знаешь ответ, примерно знаешь. Развернутые форзацы, цветовой удар, штрихи, производственные ограничения и другие табу, еще более важные, и срок неделя, а тебе хочется работать год — и над другим.

Так что тебе мешает? Ведь десятки твоих товарищей так и работают: часть на рынок, часть — для себя. Десятки людей делают так. Причем это количество нужно удвоить — ведь в каждом из них два человека, два художника, рисующих разное.

Разное?.. Но разве так возможно?

Выстоять можно иначе: выражая то, что тебе самому необходимо, единственно необходимым способом... К этому тянутся всю жизнь, догадываясь, что это и есть твое, тянутся, но все не могут начать. А когда наконец начнут, то окажется, что уже не умеют, не могут, да и время вышло.

И я отвечаю Мастеру, пытаюсь сформулировать все это кратко и ясно, но получается расплывчато:

— Я и сам уже выбираю, делаю то, что хочу, правда, выбор не так велик... Но я не делаю то, что мне антипатично хоть в малейшей степени.

— Да, да, конечно, и нельзя, — думая уже о чем-то своем, говорит Мастер.

— Но мне кажется, живопись...

— Вам кажется, — ворчливо говорит Мастер. — Так где она?.. Я не помню. Я знаю вас только по книгам, по гравюрам. И по-моему, один юношеский портрет. Может быть, у вас есть что-нибудь еще?

И опять же — как ему объяснишь? Есть, конечно, кое-что, начатое, незавершенное, брошенное, можно бы и вытащить и довести до

конца, ей-богу, было бы совсем... Но зачем, когда видишь уже по-другому и другое. «Другое, другое, но что это за другое, где оно накопец? Если его нет, так хоть объясни, что называешь этим самым другим: другой способ изображения, что ли? Сколько таких способов было и еще будет... Да нет, при чем тут способ».

Уже видится иначе, не так буквально, вне связи с прямой задачей, конечной целью, даже с замыслом, да, да, с замыслом, он ведь часто и губит, этот самый замысел, просвечивая в каждой фигуре,— та же задача в контрольной с заранее известным ответом. Осуществляешь замысел жестко и четко, но пока закончил, осуществил — растерял по дороге все, ради чего и начал, оторвался от множества ассоциаций, сопоставлений, от памяти, от той главной памяти, что претворяет замысел во что-то внешне более от него отдаленное, на самом деле глубже с ним связанное, в новую реальность, в то самое остановленное мгновение, схваченное, запечатленное, уже оставшееся навсегда с тысячей примет и подробностей...

— Кажется, я уже знаю, как... Поэтому я не могу по-старому. Поэтому все, что я делаю, мне кажется продолжением одной и той же темы... Я уже устал от нее, но...

— Не можете решиться?

— Не знаю. Наверное... Я слишком плотно существую в реальности. Я исполнитель заданий. Когда я их заканчиваю, я вижу, что они лишь наполовину мои.

— А наполовину?

— А наполовину всех остальных.

Он помолчал и неожиданно сказал:

— Наполовину — это не так уж мало... Да, не так уж мало. Не огорчайтесь.

Я впервые огляделся. Комната показалась меньше, чем тогда, хотя и была пустой. Помнится, я вспоминал все время, какие у него картины, и ничего не мог вспомнить.

Так вот, никаких картин. Несколько листочков, две гравюры, правда, Добужинского. И в тоненькой рамочке сощуренные глаза Хаджи-Мурата. Это Лансере. А дальше пустые стены с какими-то светлыми квадратами на обоях, будто здесь стояли шкафы и их перетачили.

Что-то нежилое было в этой тихой опустевшей квартире.

— Ремонт, ремонт,— сказал он вяло.— Зря вы не показываете вашу живопись, судя по всему, что-то есть. Только незаконченное не надо показывать. Вам раньше немного не хватало свободы, легкости, ну, знаете, отрыва от земли. Да, да, нужно отрываться, нельзя стоять на ней пудовыми ногами. Но я помню несколько ваших работ. Вот эту самую...

Он замолчал. А я не знал, что он имеет в виду. Было бы неприятно, если бы он спутал мою с чьей-нибудь еще. Так ведь тоже бывает. Сколько у него таких, как я.

— Да, да... Кладбище где-то в Сибири. Так ведь?

— Да, было такое.

— Ее еще до сих пор не приняли на выставку. Я помню, помню. И недурной женский портрет, немножко под передвижников, чуть-чуть устаревший. А знаете, в чем вам не повезло? Вы не попали в водоворот.

— То есть?

— А просто вы должны были настоять и выставиться с той работой. Потом бы вас раздолбали... Но вас бы крепко запомнили.

— Я пытался выставиться, я настаивал. Потом я и выставил эту работу, через несколько лет.

— А надо было тогда. Стоять насмерть, но выставиться... А через несколько лет — не в счет. Все устаревает.

— Все?

— Великое не устаревает, но мы редко знаем, что это такое — великое. Мы понимаем его, когда смотрим назад, далеко назад, но не сегодня.

— Но ведь бывает не так уж далеко назад...

— Ладно, вы поняли мою мысль, и достаточно об этом. Давайте о другом, о вас.

— Зачем обо мне? О себе я знаю. И все, что я делал, точнее почти все, что я делал и делаю сейчас, не представляет интереса. Может быть, представит интерес то, что я когда-нибудь сделаю, но...

— Не принижайте себя. Я редко вас хвалил. Сознательно. Мне всегда хотелось видеть в вас больше дерзости, а иногда и детскости. Понимаете, о чем я говорю?

— Кажется, да.

— Детское изумление, будто все в первый раз... Ремесленник как раз и не имеет этого. Он его потерял, а может, и не было никогда... Но вы-то не ремесленник. Вы работаете серьезно, честно, но чего-то не хватает. Может быть, дело даже не в ваших данных.

— А в чем же тогда?

— У вас есть имя. Очень неплохое имя. Я ведь знаю... Вы ведь давно уже не ученик. Но в свое время вы не попали в струю. Чуть-чуть бы побольше шума вокруг вашего имени, успеха. Глупости, что это не нужно. Нужно. Успех — это поворот в судьбе, прорыв.

— Но я не хочу фокусничать. Вы же знаете, как иногда это делается. Как он возникает, этот самый успех...

— Вы говорите, как пуританин. И фокусничать иногда нужно. Только талантливо, а не повторяя в сотый раз старые фокусы.

Я замолчал... Он удивлял меня сегодня какой-то нарочитой непедагогичностью. Может, он дразнил меня? Всегда был так скуп на слова, так сдержан, а сегодня словно самому необходимо выговориться. И вместе с тем он закрыт, как всегда, хотя и расположен к общению. Поразительно, он видит, что со мной, а я только смутно догадываюсь, что с ним, да и верна ли моя догадка? Видимо, и у него то же самое, что и у меня, только в его возрасте это страшнее.

Но как же так? Разве с такими такое случается?

— Я вовсе не желаю вам осложнений, не дай бог, но какой-то шум, споры, черт его знает... Впрочем, это трудно сейчас, все солиднее, спокойнее. Наверное, так лучше. Вы придете к своему успеху количественно, постепенно.

— Но я хотел поговорить не о себе...

— Да, да, о вашем друге. Я знаю. Я недавно думал о нем. Он всегда кажется неблагополучным.

— Да, он очень неблагополучен. Вот и сейчас...

— Я не знаю про сейчас. Но при всем неблагополучии у него очень прочный, твердый ствол. Ничто извне не изменит его судьбы. Понимаете, о чем я говорю?

— Да, но...

— Вы еще расскажете мне подробно о его делах. Только поймите мысль... Это важно для вас. Есть растения, которым необходимо искусственное орошение, и есть те, у которых свой запас влаги, долго, навсегда, они будут плодоносить даже в засуху, в самых жутких условиях. Понимаете?

— Я понимаю, но это не совсем так... Как раз об этом я и хотел сказать. Мне кажется, он вообще перестал заниматься живописью.

— Как?

— Да так, преподает и урывками работает.

— Где он преподает?

— В интернате, учит детей элементарным основам рисования. Немного о перспективе, немного о цвете, что такое натюрморт, что такое портрет. Вот так.

Мне показалось, я озадачил Мастера. Кажется, он слышал об этом интернате, но не думал, что это так серьезно. В раздумье, словно что-то решая для себя, он поднял усталые, холодноватые глаза и сказал, уже со спадом, как бы снижая напряжение, что все время клокотало в нем:

— Значит, это ему для чего-то надо.

— Конечно,— с оттенком иронии сказал я.— И не в последнюю очередь для денег. Он ведь неважно живет, еле сводит концы с концами.

И снова Мастер задумался, точно сомневаясь в моих словах, не веря им.

— Вы не совсем понимаете его. Это нужно ему не для денег. Хотя и деньги не помешают. Да и какие там деньги, рублей сто, наверное, платят за эти уроки. Это ему нужно для другого.

— Для чего же?

— Для работы, для живописи... Это какое-то соединение с его работой, я уверен. Вы давно перечитывали Вакенродера?

Я чуть было не ответил «давно», но удержался и сказал:

— Я его вообще не читал.

— Жаль. Вам это было бы полезно. Особенно «Сердечные излияния отшельника — любителя искусств». Так вот, он пишет о флорентийском живописце Мариотти Альбертинелли, называет его беспокойным и чувственным человеком. Этому Мариотти наскучило многотрудное изучение живописи,— тогда, поверьте, оно было еще более многотрудным, чем сейчас,— а также вражда и травля со стороны собратьев. Хотя и отшельники, а тоже умели травить друг друга. Так вот этот чудак Мариотти бросил живопись и стал трактирщиком. Собирая друзей, он похвалялся: «Видите, насколько это ремесло лучше? Больше я не мучаюсь с мускулами нарисованных людей, а питаю и укрепляю мускулы живых, и пока в бочках у меня хорошее вино, мне не грозят ненависть и клевета».

— И что же дальше?

— От тоски по живописи он стал спиваться. И вдруг, пустив по ветру все с трудом нажитое, он продал трактир и с рвением новообращенного взялся за кисть. Он насмотрелся грязи, всякой дряни, грехов и пороков и оттого, может быть, с таким удовольствием писал священные сюжеты. Посмотрели бы вы его вещи, какие там смирение и простота, какая высочайшая духовность...

— Что ж, податься в трактирщики?

— Не знаю куда. Может, в учителя, как ваш друг, но что-то изменить. К примеру, бросить графику, начать картину и работать над ней семь лет.

— Почему семь?

— Так, священное число... Я не призываю вас удалиться в скит, вы понимаете. У меня другая мысль. Вам нужна свобода от потока, от обязательств, от привычной цепи обстоятельств. Забыть все, что делали, будто вы и не ведали ремесла, словно опять ребенок, и взгляд неопытен, незамутнен... Увидеть людей как будто первый раз, нырнуть в жизнь, в глубину без оглядки. Напишите живых людей, а не такое.

Он пододвинул мне журнал. Его гладкую, блестящую обложку украшал фрагмент из триптиха. Триптих назывался «Целина». Около мотоцикла стоят мужчина и женщина. Он в куртке и крагах, как спортсмен, она — в кокетливом плащике и резиновых сапогах; чуть в стороне художник изобразил трактор. На руках она держит ребенка. Ребенок же, в свою очередь, тоже поднял руку и сжимает в пальцах алый полевой цветок.

— Но ведь это же пародия.

Он сказал, словно не обратив внимания на мои слова:

— И ведь этот парень тоже мой ученик... Довольно крепкий парень был, а стал ремесленником. Не пережито, не выстрадаано, а

дурной вкус опасен — заражает... Ведь кто-то примет эту троицу с трактором за настоящее. Вот сейчас я вам покажу кое-что.

Он встал сутулясь, медленно вышел из комнаты, как человек, недавно перенесший болезнь. Впрочем, нет, он еще крепкий, еще в форме, да и лет ему совсем немного. Всегда казалось, что много, что он старше на целую эпоху, а пройдет еще лет пятнадцать — и наши года выровняются, словно бы мы нагнали его.

Прошло несколько минут, он что-то искал там, возился, потом принес пачку почтовой бумаги. На каждой листке в уголке были крошечные, как марки, рисунки. Пушкинская серия. Она действительно была ужасающая. Крохотный Пушкин, крохотная Гончарова, крохотная надпись: «Моя участь решена, я женюсь». И на другом такой же лилипутик — весь вдохновение, театральная поза, кудри на лбу и подпись: «Являться Муза стала мне». И все остальное в таком же духе.

Мы оба переглянулись и ничего не сказали.

Он бросил пачку, листы рассыпались, разлетелись, я нагнулся, хотел собрать, но он махнул рукой: не надо, мол, — и, словно забыв о них, глядя в окно, с выражением неожиданной, почти детской мечтательности вдруг сказал:

— Графика сама по себе прекрасна, но, признаться, и мне она надоела порядком. Просто, наверное, я занимаюсь ею слишком давно, и потому тоже хочется другого.

— У вас были удивительные вещи, — прервал я его. — Мы на них, можно сказать, учились.

Сохраняя все то же неопределенное, мечтательное выражение, как бы пропустив мимо ушей мою реплику, он сказал:

— Под старость вновь хочется попачкать холсты, кое-что накопилось за эти годы, да все как-то не сложится... Вот вы сказали — урывками. Так и я, представьте, урывками... Институт, Союз, дела, обязательства. И все собираешься бросить все это, ведь понятно: осталось уже немного, и все-таки держишься, не бросаешь. Слаб человек.

Мы прошли в кухню: коридоры, да и вся квартира казалась запущенной, неухоженной — то ли он вообще жил здесь один, то ли все домочадцы были в отъезде. Не знаю. Время от времени звонил телефон, но он не брал трубку. Звонки были то длинные, настоячивые, прямо-таки угрожающе настойчивые, то краткие, быстро испаряющиеся, летучие звонки, словно там, на другом конце, с легкостью поверили, что хозяин отсутствует.

И мне вдруг представилась эта квартира — пустая, без хозяина, и звонки, то взрывающиеся, то гаснущие, и наконец полная тишина. Отгоняя от себя эту тревожную и странную мысль, я пил чай, кипятик обжигал небо; почему-то вспомнился глоток обжигающей чачи, которой угощал нас дядя Арчил.

— Дядя Арчил, — вдруг вслух сказал я, — был такой великолепный художник.

— Где? Я не слышал.

— В Грузии. Давно.

Лицо его было абсолютно спокойно, как и минуту, как и час назад, и лишь на миг выдало какую-то мучительную работу памяти, как бы растерянность, тень растерянности: что-то проступило сквозь темноту гладко выбритых щек, сквозь блеск словно запыхавшихся глаз, он и отвечал и не отвечал и, может быть, забыл обо мне, а я ловил себя на том, что пытаюсь мысленно схватить, уловить, написать его портрет именно в этот миг — отчуждения от меня, возвращения к чему-то давно прошедшему: вот такое бы схватить и написать. Что бы не сбивать его, я молчал, а он взял мундштук, продул его, но так и оставил без сигареты, потом встал и быстро пошел по комнате, сказал нарочито весело:

— Вот видите, бросил курить. Даже не сосчитать, сколько лет курил, а бросил.

Чай уже был допит, и пора было уходить, но уходить не хотелось, да и он не только не торопил, а вроде бы и удерживал. Может быть, сегодня он не ждал никого и мог уделить мне время, а может быть, просто не хотел оставаться один.

Неожиданно он заговорил с увлечением:

— Представьте себе... Вот кисть, карандаш, игла, выбирай, что хочешь, и давай — на холсте, на дереве, на камне, рубай, как можешь...

— Фантазия?

Он продолжал, не замечая моей иронии:

— И вот что самое интересное. Многие бы оказались бессильны — легче наспех нарисовать тракториста с женой и сыном на обложку, чем выразить себя, написать настоящий портрет этого же тракториста. И особенно беспомощны были бы те, которые кричат, что все им мешает. На самом деле художнику ничего не мешает. А то, что мешает, и есть сила необходимого сопротивления, просто чаще всего ее нет.

Он замолчал, видимо, устав, и я стал вновь говорить о Борьке. Ведь ради него, собственно, я и пришел.

Я рассказывал, не понимая, слушает ли меня Мастер или нет, об интернатской выставке, о мальчике Егоре, о его отце, о том трудном положении, в которое Борька попал, и еще о картине.

Он слушал внимательно, но думал о чем-то другом. И вдруг сказал:

— Будет обидно. Нельзя, чтобы и у него не получилось.— И посмотрел на меня.

Этот взгляд, даже не взгляд, а просто белевшее в темноте лицо, которое я не мог разглядеть как следует, невидимый мне рот вдруг произнесли приговор мне: «Не получилось».

И, видно, он понял, о чем я думаю, потому что с неожиданной горячностью сказал:

— При чем тут вы? У вас еще есть время, я о себе говорю.

«Как это о себе? — отталкивая и соглашаясь, мысленно говорил я.— Столько сделано, столько наработано за долгую жизнь».

Но я не решился сказать это вслух, сейчас это было неуместно, не стоило хитрить друг с другом.

Он проводил меня до дверей. Лестничная площадка, жидкий свет, громыхнувший лифт; однако я пошел пешком, мимо темных, закрытых дверей со знаменитыми фамилиями на табличках — не совсем так, как тогда с Борькой, не обрушиваясь водопадом, а медленно, даже степенно, чуть придерживая шаг.

Так сходят с крутой горы. Так сходят с горы, на которую не взобрались.

«Однако еще не вечер,— думал я.— Да и какая, к черту, гора! Обыкновенная лестница в нестаром, но устаревшем московском доме».

На улице оказалось неожиданно светло, оживленно, шумно. Я стоял в ожидании такси, но все они проносились мимо, не останавливаясь. Так и не дождавшись, вышел на Садовое кольцо и пошел, зашагал быстро, ни о чем таком не думая и не печалю душу, как бы собираясь для осуществления будничных забот завтрашнего дня.

Вскоре я уехал на Волгу. Снял в поселке комнату у старого, со студенческих времен приятеля; теперь он был большой человек, чем-то заведовал в областном управлении культуры, распределял заказы. Предлагал и нам с Борькой, но мы не воспользовались. Хорош он был еще и тем, что свою избу, в которой вырос, превратил в неplo-

хой дом с видом на Волгу, или, как он любил выражаться, поездив по заграницам, бунгало.

Вот я и остановился в этом бунгало, где в одиночестве жил его полупарализованный отец.

Вот такая была компания.

И откуда что взялось? Был наш приятель тихий, сдержанный, привегливый, немного забитый; когда выпивал, становился агрессивен, но выпивал редко, зато часто угощал нас копченой рыбой, которую привозил из дома. Способностей особенных не выказывал, в общественники не лез. После Института несколько лет прозябал, а потом начал штурмовать небо, только на административном поприще. И вот нате вам — постепенно завоевал если не небо, то место под солнцем.

Вполне приличное местечко: хороший дом, в перспективе двухэтажный, с мастерской — фонды выдавались под мастерскую, — с гаражом и т. д. И надо сказать, дом он сооружал не бросовый, не какой-нибудь, а крепкий, даже не без изящества; все, что полагалось, было в этом доме или должно было скоро быть: и неструганое дерево, и большие окна, из которых так хорошо любоваться Волгой, и, естественно, камин для дружеских пирушек. Наши городские квартиры казались просто клетушками по сравнению с этой виллой.

И хорошо, что Михаил (ныне его звали Михеич) не возгордился, не забыл старых друзей, приглашал их к себе и охотно демонстрировал новым своим приятелям: дескать, вот какие замечательные художники к нему приезжают, чтобы только поработать в его мастерской.

Итак, хозяин появлялся раз в неделю, а остальные дни, тихие и долгие, я проводил со стариком и работал.

О, как тяжко, мучительно вначале шла работа, точно урок, который кровь из носу, а надо выполнить, сдать, а урок не идет, и полный внутренний сумрак, бессилие, злость; рука механически подчиняется замыслу, а он неясен, смутен, и рука движется скованно, будто чугунная.

И все-таки незаметно втянулся, чиркал наброски, прикидывал композиции.

Теперь каждый приезд друга выбивал, мешал, вечерние посиделки, ночные купания стали как повинность.

Какое счастье, когда они уезжали!

Я так любил этот недоструганный большой дом, резко пахнущий краской, мне так уютно было с молчаливым стариком, который не лез в мои дела и ни о чем не спрашивал. Он много спал, иногда готовил, я помогал ему. Лицо, потерявшее подвижность, маска с живыми проворными глазами и такие же проворные руки, никогда не бывавшие без дела — то картошку чистили, то пытались стругать что-то. Иногда я чувствовал его за своей спиной: он смотрел с любопытством, с удивлением. Я не люблю, когда глядят под руку, но старик был настолько молчалив, а я настолько привык к нему, что не раздражался. Скучно ему было...

Ни в каких казенных мастерских не было так привольно, как здесь. И впервые я почувствовал тоску по такому вот бревенчатому, пускай не столь просторному, может быть, более скромному, поменьше, но своему дому, далеко от города, и пусть бы он также глядел окнами на реку, пусть даже бы шли дожди, как здесь, но воздух был бы теплый, а река ртутно, подвижно блестя.

Раньше я как-то не думал об этом всерьез, откладывая на потом; да и вся жизнь до недавнего времени виделась почему-то вступлением, дебютом, а самое существенное, главное, настоящее только должно было еще начаться... А на самом деле уже давно началось и идет, идет вовсю и уже скоро пойдет на убыль, и уже тот берег бли-

зится, беспощадно надвигается — каменистый, пустой, безжизненный. Там уже ничего не удастся, потому постарайся что-то успеть сейчас.

Итак, начнем с того, к чему подкрадывался, от чего всегда уходил, начнем с лиц человеческих, живых лиц, с тех глаз, что одновременно и не забыть и не вспомнить. Начнем с самого близкого и потому самого трудного.

Но в этом близком для начала выберем все-таки еще не самое главное, не самое трудное, пусть это будет лишь первый подступ к нему... Потому Нору не трогать сейчас. И Борьку тоже, хотя я обязательно должен его написать, давно знаю, что должен, и давно думаю об этом, но сейчас начнем с дальнего, с самого дальнего из всех близких.

Старик. Тот старик из Рыбинска. Живой ли? Страшно искать встречи с ним. Скорее всего почти наверняка... Но почему-то решил с него начать свою серию — нет, не серию, слово-то какое механическое, а цепь характеров, связанных чем-то и в пространстве и во времени. Я дам его как бы двойным отражением. Его молодые глаза увидят его же — старые. Это будет воспоминание наоборот, будущее в прошедшем, вся жизнь между двумя его же обликами — дистанция в полвека, с какими-то скупыми приметам времени, еще не знаю, какими; они будут гиперболизированы, в них должна уместиться вся его жизнь, в которой было много горя, но, вероятно, и не меньше радости. Для других его жизнь прошелестела совершенно незаметно, ибо она прямо не отразилась во времени, в эпохе, в общей жизни страны, искусства. Она была лишь песчинкой в этом общем движении, но вся тяжесть, все напряжение, все потрясения времени — все отразилось в ней.

Но если эта жизнь исчезнет, разве что-то изменится, что-то дрогнет в мире? Только одна пожилая женщина будет рыдать, несколько человек выразят ей сочувствие, перенаселенное городское кладбище примет еще одно тело, а дальше... Но ведь для чего-то нужна была его жизнь. И если и забудут его, даже не узнают о его конце, все равно он был, он перешел в меня, в других, в нас отразился.

И он действительно был и жил и открыл многое мне и другим, и пусть забыли, но уже перешло в них то, что он знал, то, что почувствовал... Обратная связь между двумя лицами, двумя обликами одного и того же человека, обратная связь между ним и землей.

Но как? Портрет с двойной экспозицией? Слишком просто. Что-то другое. Не замыкающееся в одном лишь портрете с определенным фоном и с какими-то странными деталями, которые критики любят называть приметам времени, нет, что-то другое, очень точное, реальное и вместе с тем хранящее память надежд, снов, невысказанных обид, страха перед старостью и смертью; а может быть, и сознание своей силы, своей бесконечности.

Я чувствую, как это делать, но еще не знаю, я боюсь, что этот самый замысел слишком прямо поведет меня, придаст всей композиции заданность, рассудочность.

Замысел. Он для того и существует, чтобы ломаться и меняться. Не замысел, а первый толчок.

Мольберт стоит, холст натянут, открыты окна, серый туман над водой, я рисую что-то на кусках ватмана. Беглый, одноцветный набросок, беглая запись для себя.

Уголь, сангина, карандаши.

Да, да, больше всего я люблю итальянский карандаш — рисунок глубокий, темен, как бы объемный, лишен блеска; потом уголь, но еще рано, пока только карандаш. И как далеко еще до станка, до живописи, как далеко еще до первого движения кисти, осторожного полуплепка-полупоглаживания по этой льняной холстине, распяленной на подрамнике. Боишься даже прикоснуться, как будто не смываемо никогда... Хватит тебе его бояться, это ведь не живое, дышащее тело,

которое можно покалечить, нет, это всего лишь холст, твой экран, гони свой страх и делай с ним, что хочешь. Кто-то из учивших нас говорил: как с женщиной... Чушь, пошлость, но как это нам нравилось тогда. А может быть, и надо было так когда-то сказать, чтобы мы преодолели свой страх перед этим девственно чистым холстом?

И вот рука уже осторожнее, ведь полная свобода — это на самом деле точнейший расчет, выверенность, абсолютная точность попадания.

Ощутить цвет среди сотен цветов и оттенков, реальных и нереальных, естественных и химических, определить, найти свой, единственный и точный. На время забыть о замысле, о конечной цели. Забыть все похожее, все облики, лики, портреты, все глаза на чужих полотнах; только то, что ты видел, только ты один, и то, как ты это помнишь, как подсказывает тебе твоя детская память, не сегодняшней взгляд, а давний, полузабытый, и уж потом твое знание, твой опыт, но не тот, который выработался годами упражнений, нет, совсем другой, который еще по-настоящему не выразился в том, что ты делал всегда. Да по-настоящему ты и не пытался его выразить... И что это за опыт — неосуществленные желания, амбиции, надежды, обиды; нет, все это как раз совершенно неважно сейчас — опыт постоянного ожидания, ни в чем пока не воплотившегося, потерь, наконец, страха, не только перед концом, перед смертью, но и перед жизнью... И нужно, чтобы все это вошло, «отразилось», как принято говорить. И попробуем отказаться от желания написать лучше, чем кто-то. Надо выйти из соревнования. Оно все равно проиграно, но сейчас не в этом дело.

«Успех, — говорил учитель, — нужен успех». Конечно, нужен, конечно, хочется. Но только брось об этом думать. Сейчас, пока ты работаешь, тебе это совершенно неважно, несущественно. Потребность высказать что-то, высказаться, необходимая тебе самому. И неизвестно, необходимо ли это кому-то еще... Жили, живут и будут жить без твоего опыта. И все-таки...

Не надо класть краски слишком медленно и осторожно, в надежде на то, что они дадут чудо сами, нет, не дадут, сами по себе они ничего не значат, и тут опять надо вспомнить первоначальное, то, ради чего ты решил это делать, и тогда вдруг возникнет точный и нужный тебе цвет: он сформировался, родился в тебе и жаждет освобождения... Только таким ты и видел человека, землю и небо. И не зачем даже себе объяснять это словами. Цвет не объяснишь, его можно только создать.

Оно очень приятно, вот такое состояние, немного наркотическое, но страшно, что наркоз кончится и ты увидишь: все блеф, никакого цвета, мазня, ерунда, — потому и стараешься продлить это состояние, укрепить себя в нем, как бы заводишь себя, но постепенно завод кончается...

Я слышу, как кто-то прошел за моей спиной, что-то взял, не удержавшись, глянул в холст.

— Неинтересно. Там ничего нет, — говорю я.

— Извините.

Я уже видел ее. Эта девушка уже была здесь, она иногда заходит к старику, прибирает в доме, приглядывает за ним: видимо, родственница. Я повернулся и увидел ее уже около двери. Вид у нее на этот раз был городской: кожаная или под кожу юбка, красные туфли, да и взгляд не тот, что обычно — скользкий мимо, обремененный какими-то бытовыми заботами, — сейчас взгляд легкий, свободный, даже как будто чуть с вызовом.

— Значит, хотите посмотреть, что я тут малюю?

— А я уже посмотрела. Столько сидите, а еще ничего нет.

— Это только так кажется... Это особые такие краски.

Она подошла поближе, внимательно посмотрела на холст, потом

с каким-то детским разочарованием на меня, усмехнулась, в глазах вновь появился вызов.

— А вы сами-то знаете, что здесь будет?

Знаю ли я? Вопрос в самую точку... Только не хотелось ничего объяснять, и я сказал:

— Знаю, но не скажу.

Она не ответила... Юмор выдохся, разговор как-то провис, отчетливо было слышно, как внизу громко и с визгом храпит старик.

Девушка, не глядя на меня, сказала:

— Извините, я вас отвлекла.

— Да нет... Что вы.

Да, она отвлекла меня. Но если бы она знала, какая это радость: отвлечься...

Ведь ни о чем таком и не думал, вроде бы давно все это заглохло во мне, вроде бы отрешился от всего, одному только хотел быть преданным, и вот — нате.

Как легко ее появление разорвало тот круг, что был добровольно замкнут мною, из которого один только был выход: работа; отвык от голосов, от людей, не видел никого и не разговаривал ни с кем, разве что в субботу, когда наезжали друзья Михеича. Да на зорьке крик за окном: «Машка, Машка!» — выглянешь, а это корову кличут, и снова тишина часами; иногда скрипучий, потерявший глубину голос старика, отдельные, почти нечленораздельные фразы, или вдруг бравурный, бодрый крик неожиданно включенного им радио, и я тут же спускаюсь, выключаю. Ничего мне не надо — ни новостей, ни сообщений, только вот эта тишина.

Она не будит воспоминаний, не тревожит, почти не рождает безнадежных мыслей, только вечерами иногда тяготит.

Отчего же она тяготит, если ты сам решил отключиться от всего постороннего?

Оттого, что в ней нет ни намека на обещание.

Это, наверное, симптом застарелой юношеской болезни ожидания. И вот вечерами она обнаруживает себя: зовет куда-то, толкает.

Выходил, радостно подставлял лицо, оцепеневшее от долгого напряжения, ветру с реки, ветер был пронзительно прохладный, но обжигал приятно, чисто, словно речными брызгами осыпал. Я подходил поближе к реке, она была быстрая, необыкновенно деловая — с огоньками барж, теплоходов, с гудками, с утробным рокотом сухогрузов; иногда она мне виделась не рекой, а железной дорогой, широкой, темной, перегруженной транспортом, — он стучит дизелями, шипит паром, будит сонную округу свистками, гудками, сиренами, и вдруг вырвется из этого гула возбужденный голос певички: «Все могут короли!..»

Я уходил с набережной, возвращался домой, заваливался спать, говоря себе, что это хорошо, правильно так рано лечь, ведь завтра с рассвета работать; все было правильно и спокойно, но все же я чувствовал себя чуть-чуть обойденным судьбой и немного уже старым.

Какие-то другие вечера, подсказанные чуть приукрашивающей все памятью, падали с неба светящимися парашютиками под полузабытую, вышедшую из моды музыку. Они были праздничны, просторны, переполнены движением и словами, значения и смысла которых почти не помню; так и сыпались эти вечера, светясь и кружась, на глинистую почву. Я отлично понимал, что на самом деле они были гораздо прозаичнее, будничнее, может, даже бессмысленнее и тупее, — трата времени, и никаких там парашютиков и кружений, а всего лишь топтание по асфальту или по такой же вот глинистой земле. И вся-то радость была оттого, что их можно тратить как хочешь и куда хочешь, от уверенности, что их так еще будет много, отчего бесцельность наполнялась каким-то другим смыслом.

Тот самый предел, берег, который еще только угадывался вдалеке, теперь все явственней, все беспощадней придвигался, ты пытался обмануть время, судорожно, рывками работая, но потом снова наступали провалы, дни, будто бы заполненные до предела, а на самом деле — пустые, полые, бесцельные.

Не молодая бесцельность ожидания, а вязкое, муторное предчувствие, что уже ничего, на что так надеялся, не состоится...

— Ну ладно, я пойду, вам надо работать.

Работать действительно было надо, но все-таки обидно, если она сейчас уйдет. Мне захотелось ей сказать просто, что называется, открытым текстом: «Не уходите, посидите или постоит, как вам угодно... Конечно, надо работать, но я потом наверстаю, догоню. Всю жизнь ведь догоняешь. Может, догоню и сейчас. А уходить не надо».

Но вместо этого каким-то небрежным, пошловато-легкомысленным тоном я сказал (видно, за три недели, проведенные здесь, разучился разговаривать с женщинами):

— Конечно. Небось ждут... Свидание на причале.

— Какое там свидание? — охотно ответила она и улыбнулась, осветились глаза, небольшие, ясные, как будто бы очень знакомые. Улыбка сделала ее женственней, старше.

Моя пустая комната с холстом, кусками ватмана, испещренными набросками, с тюбиками, с выдавленными на палитру красками вряд ли располагала к разговору... Впрочем, может быть, ей это нравилось. Необычное всегда вначале нравится.

Она что-то стала искать в сумке, почему-то опустив глаза, как бы конфузясь, робея. Было такое впечатление, что она хочет что-то там найти и мне показать.

Она и впрямь достала какую-то книгу, показала мне. Это был «Ледяной дом» Лажечникова, детское издание.

— Тут ваша фамилия... Это вы рисовали?

— Да.

Книжка, встреча... Нет, так не бывает случайно. Во-первых, откуда она знает мою фамилию, а во-вторых, как попала к ней эта книга? Старая книга, весь тираж уже давно разошелся. Какими судьбами она к ней попала?

Пока я думал, она объяснила все сама:

— Сказали, книжный художник, назвали фамилию, у нас ведь тут редко кто бывает. Стала у себя искать, не нашла, у меня только детские, для малышей, сын еще и читать не умеет. И вдруг случайно в больнице, в кресле у телевизора, после отбоя, нашла эту книжку, чудно, да?

— В больнице?

— Да, я там работаю. В ту ночь как раз дежурила.

— Давайте пойдем куда-нибудь... Здесь есть что-нибудь такое? Если, конечно, не спешите. Может, кафе, бар... Сейчас ведь всюду понапыкали баров.

— Да нет, здесь особенно-то некуда. Летом поплавок был, но закрыли, и есть еще кафе «Лель», но там одни алкаши. Да и не знаю, есть ли там еда. Вы ведь, наверное, голодны?

Она чуть насупилась, привычная забота отразилась в ее глазах, словно вот и сейчас, как всегда, ей надо было думать о том, как кого накормить, будто она была главой большой и ненасытной семьи.

— Подумаешь, алкаши, — сказал я. — Я тоже был алкашом. Но вылезился. Пошли.

По свежеструганой, с пятнами клея лестнице, отдирая от ступенек прилипающие подошвы, мы спустились вниз.

Старик не без удивления скользнул по нас взглядом — больной, а приметливый, все ему надо.

Но вот мы уже на улице, куда-то деловито спешим под дождем, она достает складной зонтик, прикрывает меня; зонтик заслоняет все,

видны низко, косо летящие крупные капли, освещенные светом. Только округленная малость пространства, защищенная ее зонтом.

Долго молча идем куда-то, дождь все сильнее, все назойливей. Поравнялись с ресторанчиком-поплавком. Он темный, безжизненно покачивается на темной воде, открытые, будто разграбленные окна. Дом не дом, корабль не корабль..

Ни машин, ни людей, наконец что-то зашумело, выкатило из тьмы, поравнялось с нами. Из кабины недоверчиво глянули. Она подошла, что-то сказала и махнула мне зонтом.

И вот мы сидим на заднем сиденье «газика», куда-то мчимся. Куда, зачем? Я молчу, ни о чем не спрашиваю.

Все это так странно, необязательно. Но вместе с тем и замороженность ее теплом, близостью, приятной тяжестью чуть привалившегося ко мне тела.

Что-то давнее, очень молодое увиделось вдруг в этой встрече, было ощущение, что так уже ехал, на такой же машине, по такой же разбитой дороге.

Выбитая дорога чувствуется так сильно, так бухают камни в железное днище, что кажется, будто машина ползет на брюхе. Но вот какое-то оживление, и свет, и музыка гроыхает, мы вылезаем из «газика», проталкиваемся сквозь образовавшуюся к этому позднему часу небольшую толпу тех, кто порешил уже все магазинные бутылки и теперь вот пришел за ресторанной — черт с ней, с наценкой, лишь бы дали. Плечистая, похожая на мужика тетка покрикивает, чтобы не слишком толпились, деловито берет десятки, выносит бутылки. А мы мимо нее ныряем в пахнущий винным чадом предбанничек, раздеваемся, и вот уже освещенный зал, выложенный по стенам кафелем как огромная ванная комната. В конце зала во всю мощь гроыхает оркестр, а на узеньком пространстве между оркестром и столиками а также в проходах, оживленно вихляясь, поднимая пыль, повторяют новомодный дискоритм разудалые молодые танцоры.

Впрочем, почему вихляются? Это мне так кажется, со стороны. Я сторонний наблюдатель, трезвый к тому же и потому глядящий с иронией и свысока. А им плевать на мою иронию, они танцуют себе, получают удовольствие.

Интересная закономерность. Во времена моей юности в столичных ресторанах, в ресторанах больших городов оркестры играли все новейшее, а в глубинке — что-то словно бы пахнущее нафталином, из другой эпохи. Теперь же в любом или почти в любом периферийном ресторане музыка та же, что в московском «Метрополе».

Как всегда в незнакомом месте, долго ищу и не нахожу места, наконец присаживаемся где-то в середине зала, обтекаемой танцующей публикой. И вот тишина, все расходится по местам, зал начинает гудеть и жужжать, почти вибрировать от разговоров, восклицаний, шепотов; официант, естественно, долго не подходит, да и никто не обращает на нас внимания, только какой-то тип за соседним столиком внимательно, будто у него других дел нет, смотрит на нас, даже не то слово — смотрит, и не на нас, а на нее, вперился маленькими цепкими глазками и смотрит неотрывно.

Наконец ловлю официанта, он подходит, что-то рассеянно записывает, все время повторяет: «Вторых уже нет, поздно, товарищи, приходите». Наконец приносит что-то холодное, несъедобное.

— Конечно, не то что в Москве, — говорит она. — А поверите, года два назад здесь такая уха была — издалека приезжали.

— Конечно, конечно, — подтверждаю я и совершенно не знаю, о чем с ней говорить в этом ураганном грохоте и в такой же ураганной тишине, назойливо гудящей над головой многоголосым, спертым гулом.

Внезапно откуда-то из прокуренной полутьмы возникает человек — очень бледное лицо, какой-то судорожно-сосредоточенный

взгляд, с удивлением вижу, что он идет прямо на нас, я даже напрягся и привстал, приготовившись к драке. Но он тихо сел за наш столик.

Он не поздоровался с ней, но почему-то я понял, что он ее знает, и знает хорошо, во всяком случае, она не удивилась.

Он что-то коротко сказал ей, я не расслышал, она пожала плечами.

Я сидел, испытывая сильнейшее раздражение. Мне хотелось прогнать этого человека, но почему-то я догадался: нельзя. Во всяком случае, не стоит. Он сидел оцепенело, бормотал что-то почти бессмысленное, но полузакрытые глаза, как бы совершенно отсутствующие, на самом деле, как я чувствовал, все подмечали. Он вскидывался, словно просыпаясь, и тогда бесцеремонно, цепко, внимательно, с нескрываемым интересом смотрел то на меня, то на нее.

Уйти — и все. Чего проще... У них свои отношения, при чем тут я?

Я выпил еще рюмку и, наклонившись к ней (странно, я ведь даже не узнал ее имени), сказал:

— Я, наверное, пойду...

Она торопливо, горячо, я даже не ожидал такого, зашептала:

— Нет, нет, не надо... Он уйдет сейчас... Я прошу вас.

Я не слышал, что она ему говорила. Она говорила довольно долго, лицо ее было спокойно, но плечи приподняты, а голова резко, по-птичьи повернута к нему, и в профиле было яростное, ястребиное. Потом захрохотала музыка, она отвернулась, сидела, не глядя ни на него, ни на меня, смотрела прямо перед собой, на пяточок, куда мотыльками на огонь слетались танцоры.

— Давайте потанцуем, — предложила она.

Не хотелось, но я покорно пошел.

Оркестрик, если вслушаться, грохотал слаженно, сыгранно, — музыкальные шабашники, приехавшие на субботу из города, видно, знали свое дело. Гулкая, глуховато и сильно бьющая волна отдавалась в висках, и я никак не мог войти в нее, а она тут же вошла; я заметил, что женщины мгновенно и безраздельно отдаются музыке и она пусть ненадолго, на мгновение освобождает их от житейского груза. Я же таскал свой груз с собой и потому долго не мог приспособиться к ее затейливым движениям, к резким ныркам, вкрадчивым замахам рук, к туманной улыбке на успокоившемся, почти блаженном, но совершенно отдельном от меня лице.

Она посмотрела на меня и на секунду вдруг прижалась ко мне, сказав что-то. Мне показалось, она спросила меня о чем-то. О чем? Может быть, о том, чтобы я забыл все, что несколько минут назад было, этого странного мужика и что-то еще другое забыл, свое, неизвестное ей, разделяющее нас, тогда и она забудет свое недавнее, сегодняшнее, тоже неизвестное мне.

«Да, надо забыть», — подумал я, а получилось, что сказал вслух, и она не удивилась.

Танец то втягивал нас в середину этой мотыльковой гущи, прижимающейся к свету низкой эстрады, то отбрасывал в сторону, и мы словно оказывались совершенно одни. Вот в такую минуту я посмотрел в полутьму опустевшего зала: за нашим столиком сидел этот человек и допивал водку.

«Ну и пусть, — уже совершенно спокойно подумал я. — Каждому своя радость». Теперь мне было совершенно все равно, я освободился от раздражения, от желания немедленно уйти.

Я только сейчас увидел и понял, что она очень хороша, длинное стремительное тело, такое легкое, маленькая, вдохновенно откинута назад прекрасно вылепленная головка. В этой сутолоке она парила, а не вихлялась, как распаренные и чуть обезумевшие от музыки люди.

У каждого из нас есть свой запас вдохновения, у каждого есть и право по своему усмотрению расходовать его. Она расходовала так... Она так умела.

— Ты замечательно танцуешь,— сказал я,— Экстракласс.— И почему-то подмигнул для убедительности.

— Вы тоже,— сказала она.

Это уже было явное преувеличение. Но всеобщая удовлетворенность, почти благодать, уже овладевала мной.

Мы долго шли по-над берегом, все огоньки вокруг погасли, тьма, тишина, только движок электростанции гудит да, все слабея, отдаваясь, ухает оркестр в ресторане.

Я не знал, провожаю ее или нет. Кажется, она и не собиралась домой, просто куда-то шли без цели, потом сидели на мокрой скамейке. Я обнял ее, она не шелохнулась, ничем не ответила, но и не отодвинулась. Может, боялась меня обидеть, а может, самой хотелось, чтобы ее обнял.

Нужно было что-то говорить, как-то выразить свое отношение к происходящему, сказать, например, что она мне нравится, что мне с ней хорошо. Это ведь и на самом деле так, мне хорошо сейчас, гораздо лучше, чем одному в пустом доме с молчаливым инвалидом, в постоянном раздражении из-за того, что время уходит, а работа не двигается.

— Ну что ж, пойдете,— сказала она.

— Куда?

— Как куда? Я домой, а вы к деду.

— Дед спит давно, не добудишься, а у меня ключа нет... Мы ведь с вами сорвались, не предупредили.

Она помолчала.

— Серьезно у вас ключа нет, или вы так?..

— Честное слово.

Она нахмурила лоб, как бы что-то прикидывая.

— И ведь действительно не добудишься, как же мы не подумали.

И после небольшой паузы сказала как-то очень серьезно:

— Ну, раз такое дело... Не ночевать же на улице. Лягу с сыном, а вы в моей комнате.

Я ничего не ответил. Пусть так. Она ляжет с сыном, а я в другой комнате. Давно я уже не спал в других комнатах.

Странно: теперь мы шли целеустремленно, торопливо — и оттого бесконечно долго. То, что мы шли к ней, не объединяло, а создавалась неловкость, поэтому мы молчали.

Наконец пришли в деревню, где я жил, вернее, это была еще не сама деревня, а как бы встроенный в нее зачаток городской улицы. Несколькими пятиэтажных домов тянулись один за другим, потом обрывались, и снова шла деревня; эти новенькие пятиэтажки подавляли своими размерами приземистые, утонувшие в сырой тьме избы, кособокие сараи, длинную, как поезд, ферму.

Она жила в одном из городских домов. Мы молча вошли в темный подъезд, она обогнала меня, все время шла впереди, я слышал шорох ее куртки.

Темная прихожая, отсвет зеркала, очень маленькая тесная квартира, но комнаты не проходные, а в одной дверь раскрыта, и детский запах, и какое-то бормотание сквозь сон.

— Плохо спит, меня ждет,— прошептала она и, не раздеваясь, вошла в комнату. Поправила одеяльце, склонилась над ребенком, что-то привычно зашептала, успокаивая, заговаривая.

Потом вышла, прикрыла дверь. Что-то охраняющее было в этом движении. От кого? Может, и от меня.

Крохотная чистая кухня с большими, явно самодельными часами, украшенными петушками, очень затейливо и искусно вырезанными.

— Чья работа?

Ответила после паузы и неохотно:

— Мужа.

Она искоса поглядела на меня, видимо, ожидая каких-то распросов, но я ничего не стал спрашивать.

— Чаю хотите?

— Можно.

Она тихо, на малую громкость включила старенькую «Спидолу». Играли танго, что-то очень знакомое. Кажется, я помнил его с послевоенных времен.

— Старинная музыка,— сказала она.— Сейчас опять модно.

«Старинная музыка» с одновременно успокаивающим и надрывным ритмом выплескивала что-то совершенно недавнее и вместе с тем смутное, полузабытое.

Да, точно, это была музыка моих родителей, их довоенной молодости. И моя тоже. Но в моем детстве ее не играли на школьных вечерах, а только дома на вечеринках. Это даже не наши были вечеринки, а чужие, более взрослых ребят. Почему-то вспомнился дачный поселок, многонаселенная чужая дача, в которой мы снимали комнату, еще моя бабушка была жива. Отчего он мне вспоминался сейчас, этот поселок? Может, оттого, что не о чем говорить? А музыка, еще так недавно бывшая моей, живой, реальной, музыка моего детства, действительно звучала как старинная, будто из прошлого века. И в том прошлом веке я ходил по участку и видел, как на освещенной террасе плавно, точно рыбы в аквариуме, плыли, двигались мои соседи, их гости. Они были в белых рубашках и в галстуках, в платьях с накладными плечами. Плыли, улыбались, им было жарко, а я смотрел неотрывно на их веселье и все решал, можно ли и мне войти, ведь дверь была полуоткрыта.

Бабушка заметила и сказала: «Туда не надо. Они взрослые. Видишь, у них компания. И ты вовсе ни к чему».

Ветерок взрослой, потаенной жизни, в которую еще нет дороги, только двери приотворены.

Я не понимал, почему нельзя пойти послушать эту музыку, запрет наполнял горечью, я механически сосчитал, что их было поровну, шестеро ребят и шестеро девчонок, но мне это еще ни о чем не говорило. И не понял, зачем надо было гасить свет и закрывать дверь. Теперь во тьме лишь слабо светились белые рубашки, плотно слившиеся с белыми платьями, медленно двигались в такт музыке... Я ничего не понимал, но почему-то чувствовал себя обойденным.

Сколько еще раз я буду чувствовать себя посторонним и обойденным на чужих праздниках! Но тогда — впервые. И наверно, потому все это помнилось: и музыка, и как потом вышел за пределы участка, и как шел по улочке.

Самое поразительное, что это было в ч е р а.

Вчера, недавно...

— Сколько вам лет? — спросил я.

Она посмотрела на меня с удивлением. Помолчав, ответила с неохотой:

— Двадцать пять.— И добавила: — Много.

Она хлопотала, доставала из кухонного шкафчика какую-то еду, закипал чайник, казалось, я давно уже с нею знаком, был здесь не раз, и ничего не хотелось, может, еще и оттого, что было уже очень поздно, глубина ночи, ее мнимый покой, который то и дело нарушался сонным детским вскриком.

И еще мне было жаль ее усилий, ее хлопот, я не столько видел, сколько чувствовал, что дом этот скуден и ни к чему все это. Но ей хотелось, что называется, принять гостя, быть не хуже других.

Она была поглощена всеми этими приготовлениями, но лицо было отрешенное, далекое,— делала одно, а думала о другом,— и я неожиданно залюбовался им, мне даже захотелось увидеть в ней Нору, найти какую-то связь между ними, чтобы отозвалось внутри давней болью,

Но хотел я того или не хотел, а связи не было. И найти ее не удавалось.

Всю жизнь я чего-то искал, и это было ошибкой. Когда не ищешь, приходит само. Так и в работе, так и в жизни... Искал и ничего не мог найти, и не потому, что не умел искать, а потому, что почти никогда не знал, что мне действительно нужно. Если же знал — подчинялся этому знанию полностью.

И вот ведь какая странность: мне определенно нравилась она, но с каждой минутой росло желание освободиться, уйти... А от чего освобождаться-то?

Что-то рассказывала, голос сильный, ясный, напористый, а лицо бледное, и глаза смотрят грустно и мимо меня.

Содержание было обычное: работа, больница, будни; все общее, ничего по-настоящему не говорящее о ней.

Вдруг звонок в дверь — громкий, требовательный, тревожный, как всегда ночью. Я почувствовал, как он ударил ее, и она на секунду замолкла, но не поднялась.

— Может, хозяйин?

— Нет, — быстро и резко ответила она.

Звонок то замирал, то вновь набирал силу, звучал нестерпимо, вызывающе. Но ребенок не просыпался.

Я все больше чувствовал глупость своего положения и неловкость. Звонок замолк, и начали стучать, гроыхать, ломиться; казалось, еще миг — и дверь с треском вывалится.

Лицо ее обострилось, но глаза выражали не тревогу, а злость, и я удивлялся ее выдержке — другая побежала бы к двери, а она все сидела не двигаясь.

— Может, мне открыть?

— Нет, не надо. Не надо вам в это... Я сама.

Она встала, пошла к двери.

Щелкнула задвижка, хлопнула дверь, донесся хриплый голос — угрожающий и вместе с тем жалкий, с оттенком мольбы:

— Вера, Вера...

Вот я и узнал ее имя. Оно почему-то не очень подходило к ней...

Слышалась его ругань, но ярость как бы спадала, и, по-видимому, он все еще торчал там, в дверях, на пограничной линии, почему-то не решаясь войти, ворваться в квартиру. Если это тот, кого я видел в ресторане, здоровый и испитой мужик, то он смел бы ее с пути в одно мгновение.

Я встал.

Она меня не видела, но по звуку догадалась, что я встал и иду к ней, и четко, быстро сказала:

— Не надо. Он сейчас уйдет.

И, уже обращаясь к нему, сказала тихо и внятно:

— Уходи... Прошу тебя.

Ее голос убеждал, а не приказывал, в нем были отзвуки каких-то непонятных мне отношений, я только понял, что она не боится его, что она имеет власть над ним.

Я вновь сел, закурил, мною овладели безразличие и тупая усталость.

Заплакал ребенок. Наступило молчание, хлопнула дверь, и все затихло. Она быстро скользнула, прошелестела, будто кошка, в комнату, где спал ребенок, и оттуда донесся тихий, успокаивающий и успокаивающий голос.

Минут через десять она вернулась в кухню, улыбнулась мне: мол, ничего, ничему не надо придавать значения, — улыбка была несколько вымученная и почему-то виноватая.

«Бедная, в чем же ты виновата передо мной?» Мне было ее жаль и хотелось успокоить, утешить. Но еще больше хотелось уйти.

Она поняла это сразу, я удивился ее чутью:

— Пожалуйста, не уходите сейчас... Ну хотя бы немного позже. Скоро уже светло будет.

Мне показалось, что она разговаривает со мной так же, как и со своим ребенком,— материнские, просящие и успокаивающие интонации.

— Посидите немного, мне так скверно.

— Мне тоже,— сказал я.

Чувство уязвленности, оскорбленности вмешательством кого-то третьего, может быть, даже имеющего права на нее, подымалось во мне, наполняло раздражением. Еще секунда—и я мог бы ляпнуть какую-нибудь грубость, чтобы окончательно все разрушить. Да и что, собственно, разрушать? Только что я жалел ее, понимал, готов был принять удар на себя, а стоило ей попросить меня, выказать виноватость—и все испарилось.

Она и это почувствовала и сказала тихо, не глядя на меня:

— Если вам противно, то конечно... Извините, что так получилось. Я могу даже проводить вас, чтобы вам не плутать.

Я встал, пошел к выходу. Уже от двери посмотрел на нее, оставившись. Она сидела, докуривая мою сигарету, очень спокойная, не собирающаяся меня удерживать, и на расстоянии ощутил я ее оцепенелость и понял, что не уйду. Я вернулся в кухню, встал над ней, провел рукой по ее волосам. Этот жест не успокоил и не отвлек ее. Так же сидела с опущенными плечами, с бескровным, постаревшим лицом.

— Ну что вы, что вы,— сказал я.

Она молчала. Наконец, подняв глаза и с удивлением посмотрев на меня, сказала:

— Я несколько раз забегала к старику, но вы меня не замечали. Я смотрела, как вы работаете. Я видела часто, как люди пьянствуют, дерутся, а тут человек рисует... Творит.

— Какое сильное слово,— перебил я ее,— творит... Это Леонардо творил, ну еще некоторые... Я же работаю, да и то мало и плохо.

— Да нет, это я так. У нас больница при совхозе, а там директор всех художников, скульпторов называет творцами. Он любит приглашать этих творцов. Один панно рисует о достижениях совхоза, другой скульптуру какую-нибудь. К нам часто приезжают эти творцы. Но вы, кажется, другой.

— Да нет, наверное, такой же. Только денег меньше зарабатываю. И больше о себе мню.

— Я мало в этом разбираюсь. Но я знаю, что это не так.

— Почему?

— Знаю, и все. Какая разница, почему?

Она встала, прошлась, приоткрыла балкон, холодная свежая волна мгновенно, резко заполнила эту маленькую прокуренную кухню. Река, видно, была недалеко от дома, и на ней уже начиналось, а вернее, продолжалось движение, загробными натужными голосами сигналили буксиры, баржи, теплоходы.

Она повернулась спиной ко мне. И показалась немного похожей на Нору: Нора стоит и смотрит в окно, как когда-то в моей комнате...

Я шагнул к ней, обнял за плечи, уткнулся в холодные, густые волосы.

— Брось, у тебя все будет хорошо,— сказал я.

Она молчала. Я гладил ее плечи, мне самому было худо, горько, словно мне передавалась ее беспричинная тоска. Впрочем, почему беспричинная? Причин, видно, достаточно.

Я вдруг понял, что когда выйду отсюда и все это останется позади, то первым чувством будет облегчение, но потом все покажется другим, гораздо более важным для тебя; это и на самом деле так, а может, просто странный закон, по которому все отдаляющееся вырастает, видится более значимым и значительным, чем было на самом деле.

— Вы о чем? — спросила она,

— А что?

— Я чувствую, вы о чем-то... Вам тоже не очень.

— А кому очень? — сказал я. — Вам такие попадались?

— Попадались... Вы, наверное, черт те что обо мне подумали?

— Да нет.

Мне не хотелось, чтобы она рассказывала, а она не поняла и стала рассказывать очень подробно о том, как этот преследует ее и унижается перед ней, что раньше он был начальником цеха на рыбозаводе, а потом попал в историю: кто-то смухлевал, а его подставили, на суде выяснилось, что он ни при чем, его оправдали, но он сломался.

Она рассказывала обстоятельно, безлико, видно, действительно не любила его, но рассказ ее был неприятен мне. Я и так понимал, догадывался, а зачем подробности? Я сказал, оборвав ее:

— Так надо спасать его. Вы должны спасти, а вы прогоняете.

— Я и спасала раньше, но теперь он у меня вот где. — И она провела рукой по горлу.

У меня отвратительная особенность: все видеть в натуральную величину. Воображение, немедленно вызывающее реальный образ. Представилось, как она спасала...

— Он у тебя вон где, — повторил я ее жест, — а где муж?

— А мужа нет. На стройках Сибири мой муж. Передовой парень. Поехал, освоился. И освоился крепко... А что, зачем вы спрашиваете? Я же ничего не спрашиваю у вас.

— Спрашивайте.

Она посмотрела на меня. Глаза ее были близко, и свет на них падал так, что они странно, пугающе белели.

— Зачем? Я вижу, — сказала она.

— Что вы видите?

— Вашу жизнь... К вам ведь жена ни разу не приехала.

— Ну и не надо.

Я обнял ее, прижал к себе, стал целовать. Она не отвечала, только позволяла, не отталкивала, не отворачивалась; потом заплакала. Я знал: эти слезы не имеют ко мне отношения, не связаны они и с тем, о ком она так подробно и вяло говорила, есть еще, видно, что-то, какое-то более важное горе ее жизни.

— Не надо, ну зачем, не надо, — говорил я слова пустые, беспомощные, в них была лишь видимость успокоения, потому они не утешали ее, не помогали ей. Ладонью я вытирал со щек ее слезы, гладил волосы, остро ощущая ее слабость, желание быть хоть на миг защищенной.

— Не надо, пожалуйста, я понимаю, как это. У меня у самого...

— Что, что? — спрашивала она и не ждала ответа, но успокаивалась.

И вскоре она забыла, что она несчастна, это уже не важно было ни ей, ни мне... Какой-то парок шел от ее слез, детский, нежный, соленый парок. Потемневшие глаза блестели, она все крепче обнимала меня.

— Ты еще очень молодая, — шептал я ей, — у тебя будет все, все будет.

Она не отвечала, она уже не слышала меня. Нежность, слабость, хмель, прорыв из одиночества к чему-то другому, и это другое захлестывает, освобождает от всяких мыслей, от жалости, от бог знает чего. Другое, другое... Спасющее, утешающее, но ненадолго, чтобы потом вернуть с удесятенной силой к прежнему, к тому, что было.

— Что ты там бормочешь, — шептала она, — все ерунда, не жалей меня, не думай...

Я проснулся, когда никого уже не было в доме. Пустая, почти без мебели, прибранная комнатка. Пузатый старый проигрыватель. Полочка с детскими книгами. Под стеклом на полке — портрет артиста. Этот

артист мне не нравился, казался пошлым, и было удивительно, что она выбрала его. Ведь у нее, кажется, есть природный вкус.

Я лежал, чувствуя себя разбитым, уныло думая о том, что скоро уезжать. Как легко разлетелись, разбазарились золотые денечки. И скоро опять московская круговерть, бессмыслица, беготня... Это была утренняя, уже давно мучившая меня тяжесть. Страх перед наступающим днем, мучительная неуверенность.

Почему-то вспомнилась маленькая картина, которую однажды Борька откопал в Эрмитаже, раньше мне казалось, что в ней сосредоточен весь ужас жизни.

Удивительно, какая все-таки у Борьки самостоятельность выбора и вкуса. Я, как положено, стоял у Питера Брейгеля Младшего, и вдруг он окликнул меня. Я подошел и увидел маленькую картину. Никогда раньше я даже не слышал о ней. «Пейзаж с легендой о святом Христофоре»... Помню ее не очень четко, какие-то детали, грозовой мрачный колорит, существа, похожие на саламандр, но самое главное — человек с крыльями бабочки. Он летит куда-то, но на лице выражение вечного рабства... Вот что поразило. Выражение вечного рабства. Кто его так забил, этого человека? И, кажется, рядом был какой-то скорбный монах с фонарем, просветленный монах.

Человек с крыльями бабочки...

Я вдруг стал думать о том, что я должен, обязан нарисовать Борьку. И вдруг очень захотел его увидеть. Так бывает: забываешь о человеке на время и вдруг понимаешь, как он тебе нужен.

Видно, я снова задремал, потому что не заметил, как она пришла. Только в передней шорох платья, шаги, открывается дверь, комната неожиданно для меня мгновенно наполняется солнцем, светом, будто за окном летний день, и я вижу, как она приближается ко мне в зеленом платье с погончиками, придающем ей студенческий вид. Я прикрыл глаза, по-детски затаился, слышал ее осторожные движения, сквозь прищуренные глаза видел рядом ее ноги как бы в золотистом свечении — это нейлоновая паутинка чулок антрацитного сверкала на солнце, бьющем из окна. Захотелось, ничего не говоря, прижаться своим небритым и, как мне самому казалось, постаревшим за эту ночь лицом к ее коленям. Но я по-прежнему лежал, как ребенок, притворившийся мертвым, не выдавая жизни и радости от того, что она здесь.

Она наклонилась надо мной:

— Эй, вы живы?

— Полуживой, — не открывая глаз, сказал я.

— А я загадала...

— Что такое?

— Я загадала: вы здесь или сбежали. — Она помолчала и снова улыбнулась.

Я усадил ее рядом с собой, прижал ее голову, чувствуя тепло и свежесть лица, такого еще молодого, не помнившего этой ночи, ничем не омраченного, все на мгновение или навсегда забывшего.

День, начавшийся со смутного, тяжелого пробуждения, вдруг переменился, заблестел, и, может быть, впервые за долгие-долгие дни я почувствовал легкость и освобождение.

Мы шли будто бы по направлению к моему дому, но все время сворачивали и то ли проходили дом, то ли не доходили до него.

Мы говорили, говорили, вернее, мне казалось, что говорили, говорил я один, а она слушала, странно, что ей был интересен мой бред, мои разорванные, разбросанные мысли о чем-то далеком от нее.

Говорила и она. Я слушал как бы рассеянно, больше смотрел на нее, чем слушал, но все западало в память, все несчастья ее немудреной жизни.

Я обнял ее за плечи, но мне показалось, что она напряглась и даже сделала движение плечом, чтобы освободиться от моей руки: поселок небольшой, все знакомые. Я тут же убрал руку. И она сбоку, с холодком посмотрела на меня — видно, не понравилось, что я так быстро подчинился.

— Боишься? — дразня ее, сказал я.

— Нет, я не боюсь... Все равно, что подумают. Сейчас — все равно. — И она взяла мою руку.

Так и ходили мы взад и вперед по утренней набережной, замечая и не замечая людей, а также той одновременно стремительной и вместе с тем неторопкой жизни, какую жила река, все время прорезающая тишину то тонкими свистками, то сиреной, то мощным гудением.

Лениво, необязательно думалось: надо домой, старик беспокоится и ведь работа, работа... Но о работе думалось без муки, а с какой-то неожиданной надеждой и успокоением. Может, как раз сейчас и пойдет и сдвинется, ведь должно же когда-нибудь...

Но, как всегда, мне было мало того, что есть, мало этого поселка, реки, захотелось тут же очутиться с ней в другом месте. Не в Москве, не в Замоскворечье, не на улицах детства, а почему-то в Ленинграде, в чужом с в о е м городе. Захотелось повести по залам Эрмитажа, я даже уловил восковой запах блестящих и все отражающих полов. Я мысленно останавливался с ней у с в о и х чужих картин, таких знакомых, будто я сам их написал.

— Была в Ленинграде? — спросил я.

— Была, — сказала она.

— Видишь, ты всюду уже была без меня.

Она засмеялась:

— Два дня только на экскурсии. Всюду таскали, но я ничего не разглядела.

— Поедем, — сказал я.

— Поедем, — тихо повторила она. И сбоку выжидательно посмотрела на меня. И почудилась мне какая-то жалость, да почему, собственно, какая-то, очень простая, понятная: сейчас мы поедем и полетим с тобой куда угодно, а завтра, когда ты окажешься в Москве...

Все это было в ее взгляде, сама она ничем не обмолвилась, ничего не сказала, но зачем-то я стал спорить именно с этим, невысказанным. И оттого, что я лишь улавливал это, слова мои были беспомощны и корявы. Я бормотал что-то вроде: «Нет, нет, не надо так думать. Все действительно не должно так кончиться».

И тут, глянув, она сказала, жестковато усмехнувшись:

— А что кончиться? Разве что-то началось, чтобы могло кончиться?

Она испытывала меня, может быть неосознанно, все это было так понятно, но чем-то меня задела ее слова, даже не слова, а тон, и все постепенно стало блекнуть, все становилось таким же, как вчера, до встречи. Да и с чего было всему меняться? Что за чушь? Застаревшая детская болезнь... Ожидание.

Все сбивалось, праздничность исчезла, что-то охладевало и пусто тело внутри. Она почувствовала это.

— Как легко ты отстраняешься... Я просто боюсь, просто боюсь. Знаешь, легче никому не верить, чем...

— Ну и не верь. Я же не прошу тебя верить.

Она опустила голову. Наверное, так и есть. Я уеду через несколько дней, заматает жизнь, и останется только та ночь и это утро, уже навсегда вчерашнее, без продолжения.

— Да нет. Все не так. — хриловато, неожиданно низким голосом

сказала она.— Я буду ждать. Ничего мне не надо... Просто чтобы ты помнил. А если когда-нибудь выберешься...

— Мы ведь еще не прощаемся. Что ты...

Я взял ее руку, прижал к своему лбу, снимая тяжесть, пытаюсь вернуться к той радости освобождения, которую испытывал еще так недавно...

Пока мы шли к моему дому, я думал об оставшихся днях. Хорошо, что есть эти оставшиеся дни, пусть считанные, но все-таки мои, и что-то хорошее еще ждет меня и ее, ведь мы же еще не расстанемся с ней.

И еще я думал о том, как совместить работу и ее, ведь я обязан сделать очень многое за эти дни. Если не сделаю сейчас, то, может быть, не сделаю никогда. Да, я буду работать с рассвета, вкалывать по-настоящему, как никогда, зато вечера будут наши...

Она проводила меня до самого дома и хотела уйти, как вдруг дверь открылась и старик, тяжело, мучительно, нелепо вихляясь всем телом, перед тем как сделать очередной шаг, двинулся к нам.

Как жутко он движется, какое странное у него лицо. Может быть, он сердится, обозлен, что я ушел, что я с ней? Ведь она его родственница.

Меньше всего я ожидал чего-то другого.

— Во-от ту-ут, ва-ам ту-ут те-ле-гре...— коверкая, с трудом выговаривая слова, он доставал скрюченной рукой розоватую бумажку.

Еще не увидев как следует, я понял: телеграмма. Зачем телеграмма? Ведь никто не знает, где я. Что ж такое, как же?..

— Да что ты так побледнел? — сказала она.— Обыкновенная телеграмма. Ты же еще не читал, а весь белый сделался. Что-нибудь по работе.

Я взял из его скрюченной руки телеграмму, раскрытую, разорванную, ставшую уже не только моим достоянием, и пробежал глазами ее короткий текст. Там от руки сельской телеграфисткой было написано: «Въезжай немедленно Борькой несчастье Саша».

— Что, что такое?

Я не слышал, что она говорила, скорее догадывался.

— Хочешь, я поеду с тобой?

Я не отвечал, еще не зная, как приспособиться к тому, что произошло, как перевести это в движение, в билеты, в отъезд, в поезд, а самое главное, как понять это странное и страшное слово: несчастье. Какое несчастье? Почему?

Поезд вез меня к нему. Только я не знал — к нему ли, есть ли он вообще на земле. Как и давно, когда умерла Нора, я ощущал поражающую несовместимость моей беды (да моей ли только? — любой) с обычным укладом жизни. Радость, удача вполне уживаются, сосуществуют с обыденностью, поднимаются, взмывают ввысь, беззаботно парят, как бы не соприкасаясь с ней, несчастье же уродливо и одиноко на фоне обыденности, оно выпадает из естественного течения жизни — оно прот и в о е с т в е н н о о...

Проносились станции, мелькали, движение успокаивало, все в этом пейзаже было так знакомо. Я не помню, чтоб Борька рисовал пейзажи, но я знал, что этот лес, эти деревья, это небо светились в глазах тех, кого создавала его кисть. И сколько она еще сможет, сколько сделает, если...

Тягость незнания, неизвестность, неожиданность этой телеграммы — именно теперь, когда налаживалось рабочее состояние, когда так хотелось завершить то, с чем возился вот уже столько времени, именно в этот момент душевного взлета — вызывали почти физическое ощущение боли. Что с ним? Болезнь?

В последнее время он чувствовал себя гораздо лучше, огромная отдача в интернете не только не мешала, но помогала ему, происходил как бы кругооборот: выкладываясь, отдавая себя, занимаясь с ребятами, он получал новые силы, необходимые ему для главной работы.

Что есть, в сущности, главная работа?

Только ли портрет, этюд, скульптура, пейзаж, схваченный на лету, то, что запомнило и сумело выразить наше воображение, наша фантазия, наша способность воспроизвести жизнь?

Не только это.

Может быть, для него Егор, этот трудный человеческий материал, упорно и долго формируемый им, тоже был главной работой.

В памяти возникла прямая, как столб, мрачная фигура Егоркиного отца, вспоминались угроза, исходящая от него, болезненная ревность, жестокое, тупое собственничество по отношению к мальчику, атмосфера затхлости, нелюдимости, невидимая стена, которую этот человек хотел возвести между Егором и интернатом, его постоянное сопротивление тому, что росло и крепло в мальчишке, духу творчества, а значит, и новому самоощущению себя.

Тяжесть догадки, тревога неизвестности хуже иной раз самого тяжкого знания.

Предсказание цыганки, то самое, давнее, в поезде, который вез нас на юг, вдруг мелькнуло, мгновенно омрачив душу, и исчезло, как дерево за окном вагона.

Почему именно ему, не мне, не Сашке? Почему судьба выбирает самых талантливых, рассчитанных природой надолго, кажется — навсегда?

Навсегда...

Портреты живут дольше, чем их авторы... Но зачем я об этом? Да, хрупок талант, хрупка земная его оболочка. Зло и жестокость выстреливают именно в него, выбирая среди сотен других. Так бывало уже не раз, к несчастью.

И все-таки я верил в жизненную силу своего друга, несмотря на болезни и беды, которые он мужественно перемогал...

Поезд гремел, то ускоряя, то замедляя ход. Почти механически я воспринимал все, что происходило в поезде. В тамбуре играли на гитаре, двое молодых людей наперебой рассказывали какие-то байки, громко смеялись, напротив сидела девушка, — вся их веселость была для нее, но она не обращала на них внимания, уткнулась в кроссворд; потом прошли контролеры, привычка двигала моей рукой, заставляла искать билет.

Все это словно бы уже было со мною давно, когда-то, будто бы я видел уже эти лица, слышал эти разговоры. Поток жизни чувствовался даже здесь, в замкнутом пространстве вагона, где люди сидели, стояли, ходили, как бы на время передоверив свое движение движению летящего вперед поезда.

Старушка присела рядом — я даже не заметил, как она вошла, — сидела тихо, как бы не замечая никого, о чем-то своем далеко думая, но вдруг спросила участливо: «Ты что такой пасмурный, сынок? — И добавила, не дожидаясь ответа: — Ничего, не кручинься, ты молодой, все обойдется».

Я промолчал, ничего не стал ей объяснять, но слова ее, вроде бы ничего не значившие, дежурные, странным образом успокоили меня.

Да ей и не нужен был мой ответ. Нутром почуяла: что-то неладно.

Обойдется... Конечно же, иначе и быть не может. Слишком многое нас объединяет, чтобы так вот просто разрушиться, распасться.

Я подумал о Сашке — конечно же, он там, с ним; я вспомнил нашу первую встречу с Борькой: давний студенческий буфетик, две

юношеские работы, два портрета — отца и матери, — и в лице нынешнего Борьки, в голубых глазах, в легком их блеске проглянули и радость жизни, и жадный интерес к ней, и тревожная тень ожидания.

Ожидание...

Ожидание всегда владело нами. Это была вечная страсть к переменам, к поиску, обновлению. Время подсказывало нам наш поиск, способ самовыражения. Ремесло, которому со студенческих лет учил наш Мастер, требовало работать на полном пределе.

Несколько раз в жизни я пытался выразить себя с предельной силой, до конца. А Борька всегда работал на пределе, не давая себе ни пауз, ни передышек...

Я неотступно думал о нем, о нашей молодости, о жизни, о том, что нам еще предстоит.

Пролетали, проносились рощицы, уже поредевшие по-осеннему, вспыхивал желто-красный кленовый лист, спокойно синело чуть придвинувшееся к земле небо — все это успокаивало, подавляло бушевавшую во мне тревогу; сызмальства знакомый, тысячу раз воспроизведенный и всегда сохраняющий черты новизны пейзаж успокаивал и рождал надежду.



АРОН ВЕРГЕЛИС

★

ИЗ КНИГИ «ВОЛШЕБСТВО»

С еврейского

Путь

А путь — игла,
строчит стежки
иголка, делая
прыжки,

бежит вперед,
но острый взгляд
бросает все-таки
назад.

А путь — игла:
рывок, отскок.
Дорога вьется,
как вьюнок.

Ветвится с краю
деревцо,

смыкая за кольцом
кольцо.

А вон и домик
с чердаком,
и вьются улочки
вьюнком.

А путь — игла,
строчит стежки
иголка, делая
прыжки,

бежит вперед,
но острый взгляд
бросает все-таки
назад.

* * *

Веселой шутке — ей хвала,
Ее уму и милосердью.
Она улыбку родила
Сражаться с горем, болью, смертью.
Бывало, днем и по ночам
Сей мир тоской переполнялся.
Так почему он не зачах?
А потому, что мир смеялся!

Веселой шутке — ей хвала,
В начале всех начал сокрытой.
Улыбка древним очень шла,
Но их терзали муки быта.
Сжигал растенья суховой.
Зверь восвоеси удалялся.
Как дожил мир до наших дней?
А так — смеялся мир, смеялся!

Веселой шутке — ей хвала.
Есть слухи, что ковчегом Ноя
Лишь бочка винная была.

Пусть бочка, а не что иное!
 Но был потоп, он так рванул,
 Что всяк с надеждой бы расстался!
 И все же мир не утонул.
 А потому, что мир смеялся!

Веселой шутке — ей хвала.
 Как хороши ее дела!

Человек

Люди многого достигли, Углубляясь в тайны сфер, Сонмы звезд в небесном тигле К нам приблизив, как торшер.	Но ведь знают даже дети: С четверенек трудно встать! Это — подвиг всех столетий, Цель — космической под стать.
--	---

Высь людская — под луною, Глубь — на океанском дне, А какой далось ценою, Каждый знает не вполне.	Больше стоило усилий Распрямитесь на земле, Чем в потоках звездной пыли Прилуниться в корабле.
--	---

Другу, который навестит меня в госпитале

Придешь ты с новостью потертой,
 Но самой радостной, мой друг:
 Вчера я числился как мертвый,
 Но жив я оказался вдруг.

Огнем и кровью, смертным стоном
 В три списка я внесен войной:
 Один — на выдачу патронов,
 На память вечную — второй.

А в третьем — те, кто жив остался
 По воле случая! Под ним,
 Под третьим, писарь расписался,
 Узнав, что я судьбой храним.

Да, случай был! И в битве смертной
 Делил я тяжкою порой
 С другими список милосердный —
 Из мертвых, возвращенных в строй.

Когда придешь ко мне в палату,
 Где нынче раненый лежу,
 Тебе, дружище, я как брату
 Всю правду чистую скажу:

Кому судьба прожить поболее —
 Тот и убитый не умрет.
 И даже случая по воле,
 По воле случая живет.

Моя вторая жизнь

В моей неделе восемь дней. Восьмой — откуда? Что за шутки? Из двадцать пятых он часов, Накопленных по часу в сутки.	Тринадцать месяцев в году — Таким богатством вы владели? И правы те, кто в простоте О возрасте моем судачит: — Каков хитрец! Ведь есть ларец, Где запасную жизнь он прячет.
Как чародей, из дней восьмых Творю я пятые недели.	

Личное

И даже если...
 Все равно
 Я вечно был и вечно буду.
 Мое со мной, мне суждено
 Самим собою быть повсюду.

Я брал свое и отдавал
 Свое. Имел свое я имя,
 И суть свою я не скрывал —
 Словами выражал своими.

И даже если... Все равно
 Мой дух единствен, не тиражен.
 Мой свет и ваш слились в одно,
 Но свет мой собственный не сглажен.

И если кто-то век спустя
 На голос мой пройдет сквозь тучи,
 Так он ведь вздрогнет неспроста —
 Со мной мой голос неразлучен!

Так он ведь вздрогнет неспроста —
 Его подстерегает новость:
 Из сердца даже век спустя
 Не вырвать веру, веру в совесть.

В полях, в горах, в лесах свистя,
 Найдет меня и вздрогнет милый —
 Мое ли сердце век спустя
 Из поля боя вырвешь силой?

И он, вселенский человек,
 Признает, что стихия жизни
 И все стихи мои навек
 Срослись, слились в земной отчизне.

Ведь брал свое и отдавал
 Свое. Имел свое я имя,
 И суть свою я не скрывал —
 Словами выражал своими.

Понедельник

Явился Понедельник
 и требует с утра:
 — Стелите свет на землю
 подобием ковра!
 Сияйте, освещайте —
 на что ни погляжу.
 Ведь я не на готовое,
 как Вторник, прихожу.
 С меня, как вам известно,
 неделя началась.

Я вкальваю честно,
 уйду я, с ног валясь.
 Так пусть ковер мне стелют
 и слуг дают мне шесть —
 подряд все дни недели
 какие только есть!

Воображаешь много!
 Ведь человек простой,
 тебя придумав, мог бы
 вполне назвать Средой.

Продолжение

Да, продолжение — те ступени, Я должен знать, что поколения
 Где, ввысь по лестнице стремясь, Идут за мной и крепнет связь.

Да, продолженье — суть живого, И в путь отправится грядущий
 И торжествует новизна. То, что еще не рождено,
 И как воскреснет колос новый
 Из погребенного зерна — И станет былью то, что ныне.
 А современностью все то,
 Так нас обгонит вслед идущий, Чего и не было в помине,
 И стать мне прошлым суждено, Но дальше нас пойдет зато.

Песня

Не надо мне золота и серебра —
 Ведь муза со мной баснословно щедра.

Не нужен мне сан и лавровый венок —
 Парнас ведь и сам от венков изнемог.

Не надо мне виз ни туда, ни сюда —
 Ведь муза границы откроет всегда.

Совсем никаких мне не надо реклам —
 Читай мои строки, суди о них сам.

Не надо мне славы, хвалебной стряпни,
 Понравятся строки — в душе сохрани.

От страха не надо мне маски менять —
 Ведь лиру мою никому не отнять,

В надежном я прячу ее тайнике,
 Как прячу изюминку в каждой строке.

* * *

Года мои летят,
 как поезд, как состав,
 который на путях
 грохочет, не устав.
 Под свист и ветра вой —
 бегом, бегом бегом!
 Пятидесятый свой
 я прицепил вагон.

Эй, веселей крутитесь,
 колесики в пути!
 Дорогой не насытятся,
 лети, состав лети.
 Мне вторят шпалы, если
 поставлена судьба
 на рельсы, на рельсы,
 поющие всегда!

Дыши по-великаньи,
 мой паровоз, дыми!
 В тебя как в рог бараний,
 трублю я, черт возьми!
 Буди простор от спячки,
 чтоб он услышать мог,
 как я читаю строчки
 дорог, дорог, дорог!..

Года мои летят,
 как поезд, как состав,
 который на путях
 грохочет, не устав.
 Под свист и ветра вой —
 бегом, бегом, бегом!
 Шестидесятый свой
 я прицепил вагон.

Перевела ЮННА МОРИЦ

ВЛАДИМИР КАРПОВ

★

ПОЛКОВОДЕЦ

Документальная повесть

*Часть вторая**

БИТВА ЗА КАВКАЗ

Новое назначение

После двухсотпятидесятидневной героической севастопольской обороны надо было бы отдохнуть. Но до отдыха ли полководцу, когда на всех фронтах идут ожесточенные бои? После изнурительного перехода на подводной лодке генерал Петров в середине июля 1942 года прибыл из Новороссийска в Краснодар и явился в штаб фронта. Здесь сказали, что его вызывают в Москву, утром будет самолет.

Петров остановился в гостинице обкома партии. Здесь же располагались некоторые недавно прибывшие севастопольские партийные работники. Бывшая заведующая отделом пропаганды Северного райкома Подойница Анна Петровна, она и сегодня живет в Севастополе, мне рассказала:

— В Краснодаре мы все время с тревогой ждали, кто же еще придет из Севастополя. Ведь там оставалось много наших товарищей по работе. Вдруг узнаем: приехал генерал Петров! Я и Анна Михайловна Михалева, секретарь горкома по кадрам, побежали навестить Ивана Ефимовича. Только его увидели — обе заплакали. Иван Ефимович и сам разволновался: «Только не плакать. Пожалуйста, давайте без слез. Что же мне прикажете делать, ведь я больше всех оставил там близких людей, детей моих». Он так и сказал — детей. Уж мы-то знали, он действительно был всем отцом родным. Затем Иван Ефимович, видимо желая отвлечь нас от грустных мыслей, сказал: «Лучше помогите-ка мне в дороге собраться, завтра утром лечу в Москву, может быть, Сталин примет. Пришлите-ка мне подворотничок на китель, у вас, женщин, это всегда лучше получается, хотя всю службу мы, мужчины, обычно делаем это сами». Мы тут же согласились. Юра Петров, сын и адъютант Ивана Ефимовича, дал нам китель, подворот-

* Первая часть документальной повести «Полководец» напечатана в «Новом мире» в 1982 году, №№ 5, 6.

ничок, нитку, иголку и почему-то скептически улыбнулся — видно, обычно этим делом занимался он и считал себя мастером. В номере сразу же установилась какая-то домашняя обстановка. Мы шили, Иван Ефимович негромко, домовитс с нами пошучивал. В общем, за короткое время мы не только помогли Ивану Ефимовичу, но и сами душой отдохнули. Рано утром генерал улетел в Москву...

У кого Петров был на приеме в Москве, о чем шел разговор, я не знаю. Из Москвы он вернулся уже командующим 44-й армией.

В этом назначении я вижу определенный и глубокий смысл и хочу поделиться им с читателями. Мне кажется необходимым коротко обрисовать общую обстановку тех дней, тогда более наглядно станет видна роль 44-й армии, которой Петрову предстояло командовать, и причина его назначения именно на этот участок фронта.

К июлю 1942 года уже произошли очень важные военные события: отгремело много сражений, больших и малых, воюющие стороны нанесли друг другу значительные потери. Пока верх одерживали немецкие армии. Они захватили большую территорию Советской страны, стояли недалеко от Москвы, Ленинграда, целились выйти к Волге и на Кавказ. Превосходство в силах, особенно в технике, инициатива оставались на стороне противника.

Есть в военной терминологии торжественное, на мой взгляд, определение — театр военных действий. Это, увы, совсем не то, что возникает по ассоциации со словом «театр». На этом театре никто и ничего не играет, здесь воюют и умирают по-настоящему. Коротко, не по-научному, театр военных действий можно определить как территорию, на которой разворачиваются армии и ведутся бои и операции. Изучение этого театра — целая отрасль военной науки. Причем первоначально эта наука занималась географическими особенностями территории и их влиянием на ход боевых действий. Позднее к этому прибавились политические, экономические факторы. С появлением авиации стали изучать и воздушное пространство, а теперь ракеты заставляют уже учитывать и пространство космическое. Кто дал такое название этой отрасли военной науки, я не знаю. Но это действительно наука. Театры военных действий могут быть величиной в несколько государств, например, африканский, ближневосточный или с многими морями — тихоокеанский.

Когда я учился в военной академии, в расписаниях в дни лекций по этому предмету сокращенно писали три буквы — ТВД, отчего пропадала вся торжественность этих слов. Я не намереваюсь обрушить на читателей всю сложность науки о ТВД с ее разделами: народонаселением, природными данными, промышленностью, дорогами, климатом, реками, естественными рубежами, температурами и осадками по временам года, а также многим другим. Я просто хочу попросить читателей представить себе территорию, на которой развернутся события, где предстоит действовать генералу Петрову в этой части моего повествования. Кстати, в академии одним из учебных пособий при изучении этой дисциплины была книга, написанная Петровым в 1936 году.

Будет наглядней и понятней, если вы при чтении последующих глав положите перед собой карту Кавказа, ну хотя бы в учебническом атласе.

Кавказ — огромное скопление гор между Черным и Каспийским морями. Здесь в горах и долинах расположено несколько республик и автономных областей: Азербайджан, Армения, Грузия, Дагестан, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Ставропольский и Краснодарский края. Главный Кавказский хребет, перегораживая пространство между морями, пролегает от Новороссийска почти до Баку. Расстояние от Ростова до Баку, если двигаться по пря-

мой, более тысячи километров. Территория эта в большей своей части труднопроходима для всех видов транспорта, в горных районах доступна только лошадям, а в более высокой части гор недоступна и им. Только люди могут преодолеть эти горные вершины. Наиболее удобна для ведения боевых действий северная, равнинная часть, ставропольские, Сальские степи и узкая полоса вдоль Черного моря. Вот здесь и развернулись боевые действия, вошедшие в историю как бигва за Кавказ.

Еще до начала Великой Отечественной войны здесь был Закавказский военный округ, обеспечивавший безопасность южных границ страны. Когда началась война и бои шли на территории Украины, Белоруссии, Молдавии, задача Закавказского военного округа несколько изменилась: не только прикрыть границу от вторжения турецких войск, а еще и со стороны Черного моря — от возможных десантов гитлеровцев.

Наши войска были введены и в Иран согласно советско-иранскому договору 1921 года, так как гитлеровцы готовили вторжение на территорию СССР и со стороны Ирана, раскинув там широкую сеть своей агентуры, которая создавала у советской границы склады боеприпасов, оружия, взрывчатки. В правительственных учреждениях Ирана и немецких фирмах в 1941 году было сосредоточено под видом служащих больше 5 тысяч офицеров и работников гитлеровской разведки, которые не только сами были готовы к действиям, но и формировали отряды из антисоветски настроенных местных жителей, а также белоэмигрантов и всякого сброда, вышвырнутого из нашей страны еще в двадцатые годы. В общем, Закавказский округ был нацелен для встречи врага со стороны Турции, Ирана и с моря.

Турция даже не скрывала своей подготовки к нападению на Советский Союз. В ее планах было не только содействие фашистским завоевателям. У нее были и свои весьма и весьма агрессивные цели. Турецкий журнал «Чинаралты» писал в феврале 1942 года:

«Настанет день, когда мы, как Тимур, пройдем из Анатолии в Индию, взойдем на Гималаи и создадим союз Дагестана, Крыма, Казани, Ирана. Все враги Турции будут уничтожены» (13; стр. 59)*.

Ближайшей задачей, поставленной на повестку дня, был захват района Баку с его нефтяными источниками. Уже была произведена мобилизация, и 26 турецких дивизий в полной готовности стояли у советской границы. Начало военных действий было назначено на ноябрь 1942 года, после того как Берлин объявит о падении Сталинграда.

С приближением опасности к Кавказу с запада, со стороны Донбасса и Дона, Ставка Верховного Главнокомандования развернула часть войск Закавказского военного округа, переименованного в Закавказский фронт, в сторону этой новой угрозы. Командующим этим округом в январе 1942 года был назначен опытный, хорошо знающий эти края и их особенности военачальник, уже прошедший через две войны, генерал армии Иван Владимирович Тюленев. Он был участником Февральской и Октябрьской революций, делегатом первого Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, членом партии большевиков с 1918 года. В годы первой мировой войны Тюленев был унтер-офицером 5-го драгунского Каргопольского полка, полным георгиевским кавалером. После революции он стал красным командиром в буденновской коннице, сначала начальником

* Все ссылки вынесены в конец второй части повести (см. № 12), в скобках указаны порядковый номер издания и страница, с которой приведена цитата.

разведывательного отдела полевого штаба армии, а затем комбригом в 4-й кавалерийской дивизии. Он воевал против деникинцев, белополяков, врангелевцев, петлюровцев, махновцев и антоновцев. В 1920 году Тюленев участвовал в разгроме белогвардейцев на Северном Кавказе. В марте 1921 года вел 137-й Минский стрелковый полк на штурм мятежного Кронштадта. В гражданскую войну за героизм и мужество Тюленев был награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени. В те годы немногие имели столько высоких наград.

В 1931—1932 годах Тюленев служил в Инспекции кавалерии РККА, которую возглавлял С. М. Буденный. В те годы служил здесь и Г. К. Жуков, он так вспоминает о Тюленеве:

«Месяца через три с начала моей работы в Инспекции кавалерии РККА у нас состоялось общее партийное собрание коммунистов всех инспекций и управлений боевой подготовки тогдашнего Наркомата обороны. На этом собрании меня избрали секретарем партийного бюро, а заместителем секретаря — Ивана Владимировича Тюленева. Принципиальность, прямота, доброжелательность и стремление оказать товарищу помощь в работе — таковы черты характера генерала армии Тюленева» (4, стр. 5).

В 1938—1940 годах Тюленев командовал Закавказским военным округом. В мае 1940 года, когда в Красной Армии были введены генеральские звания, И. В. Тюленев в числе первых трех генералов армии получил это звание.

Штаб Закавказского фронта разработал «План обороны Закавказья с севера». 16 июля 1942 года Тюленев отправил этот план на утверждение в Генеральный штаб. В этом плане на 44-ю армию возлагалась основная задача по обороне главнейшего района нефтедобычи — Грозного и Баку. 44-я армия, проходя доукомплектование, одновременно занималась созданием обороны в указанном ей районе — рыла траншеи, строила огневые точки, убежища.

Генерал Петров вступил в командование армией 2 августа 1942 года. В эти дни наступление гитлеровцев с рубежа Дона развивалось стремительно. Оборонительные работы 44-й армии пришлось вести в крайне тяжелых условиях. В ее распоряжении не было специальных инженерных и саперных частей. Понятно, что своими силами, без соответствующей техники трудно было своевременно построить прочную оборону.

В Баку был создан Особый оборонительный район, имевший свой штаб. Под руководством ЦК КП(б) Азербайджана и военного командования на северных подступах к Баку было сооружено несколько рубежей, в строительстве которых участвовали не только войска, но и местное население. В первую очередь строились оборонительные сооружения по рекам Терек, Урух, на грозненском и махачкалинском обводах.

Передний край главной полосы проходил по правому берегу Терека от населенного пункта Бирючек до Майского и далее по правому берегу Уруха до его истоков. В устье Терека велись работы по подготовке к затоплению этого района.

Учитывая напряженную обстановку, создавшуюся в боях на Северном Кавказе, в середине августа 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования в короткий срок произвела перегруппировку войск Закавказского фронта.

Войска 44-й армии из района Махачкалы, Баку были выдвинуты к оборонительным рубежам на реках Терек, Сулак и Самур. В то же время на рубеж рек Терек и Урух с советско-гуарецкой границы и с Черноморского побережья было переброшено шесть стрелковых ди-

визий, одна танковая бригада, две стрелковые бригады, одна морская стрелковая бригада, три артиллерийских полка, бронепоезд и несколько других частей.

Чтобы усилить войска Закавказского фронта, одновременно с этой перегруппировкой из резерва Ставки были выделены два гвардейских стрелковых корпуса — 10-й и 11-й.

Так, к первой половине августа 1942 года на Северном Кавказе была создана новая линия обороны — по рекам Терек и Урух. Особое внимание при этом уделялось надежному прикрытию бакинского направления и подступов к Грозному как наиболее вероятных и доступных для наступления войск противника.

План операции «Эдельвейс»

Когда случаются неудачи, начинают искать не только причины этих неудач, но и виновных. И, как правило, таковыми оказываются не те, по чьей вине случились беды, а те, на кого можно свалить эти неудачи. Фюрер просто бесновался от негодования. Начальник генерального штаба, генерал-полковник Цейтцлер так пишет об этой махине Гитлера сваливать вину на других.

«Это был обычный метод Гитлера. Совершая ошибку, он сваливал свою вину на другого, снимал его с должности и на его место назначал нового человека. Он никогда не делал правильных выводов из своих неудач, иначе он мог бы если не исправить ошибки, допущенные в прошлом, то по крайней мере уменьшить влияние их на события в будущем» (5, стр. 156).

Так было и после катастрофы под Москвой. 19 декабря 1941 года Гитлер вызвал главнокомандующего сухопутными войсками генерал-фельдмаршала Браухича и устроил ему двухчасовую головомойку. Через два часа Браухич вышел из кабинета Гитлера уже не командующим сухопутными войсками, а генерал-фельдмаршалом в отставке. Гитлер считал катастрофу под Москвой чуть ли не личным оскорблением. Он говорил Геббельсу об этом следующее (Геббельс записал эти слова в своем дневнике):

«Если бы Браухич сделал то, что от него требовали и что он обязан был в действительности делать, наше положение на Востоке оказалось бы совсем иным. Фюрер не имел ни малейшего намерения наступать на Москву. Он хотел захватить Кавказ и тем самым поразить советскую систему в ее самом уязвимом месте. Но Браухич и его генеральный штаб считали это неверным. Браухич все время требовал наступления на Москву. Он хотел успехов ради престижа вместо настоящих успехов» (28, стр. 364).

И действительно, когда еще принималось окончательное решение о нападении на Советский Союз, шел спор, куда именно нанести главный удар. Часть крупных военных, участвовавших тогда в разработке плана, была за то, чтобы нанести удар на Москву и Ленинград, это, считали они, приведет Советскую страну к краху и падению. Победа во многих войнах так и выглядела: разгром вооруженных сил и взятие столицы государства.

Гитлер и другая группа генералов считали: необходимо направить удар на юг, лишить Советский Союз основных промышленных центров. Еще в дни разработки плана «Барбаросса» Гитлер говорил:

«Цель операции должна состоять в уничтожении русских вооруженных сил, в захвате важнейших экономических центров и разрушении остальных промышленных

районов, прежде всего в районе Екатеринбурга (Свердловска.— В. К.); кроме того, необходимо овладеть районом Баку» (6, стр. 83).

Таким образом, Гитлер с самого начала был сторонником южного варианта. Он считал, что советские вооруженные силы надо подорвать прежде всего экономически, лишить их энергетических ресурсов, и тогда даже то, что не будет уничтожено, без горючего остановится само собой.

Главнокомандующий сухопутными войсками Браухич и начальник генерального штаба Гальдер были сторонниками нанесения удара на Москву. Поэтому после нападения Германии на Советский Союз, несмотря на то, что войска действовали на широком фронте, главный удар, главный нажим, главная концентрация войск все же была в северной части, то есть направлена на Москву.

Но уже в августе, когда стало ясно (ясно прежде всего самому Гитлеру), что молниеносная война не состоится, фюрер, чувствуя, что дело добром не кончится, стал нервничать и пытался осуществить все-таки свой вариант, то есть удар на юг, в направлении Кавказа. 21 августа 1941 года была издана специальная директива, в которой говорилось:

«Соображения главнокомандования сухопутных войск относительно дальнейшего ведения операций на востоке от 18 августа не согласуются с моими планами. Приказываю:

1. Главнейшей задачей до наступления зимы является не взятие Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на Донце и лишение русских возможности получения нефти с Кавказа; на севере — окружение Ленинграда и соединение с финнами...» (7, стр. 317).

Я не берусь оценивать, какой из вариантов был целесообразнее с военной точки зрения, тем более что сейчас военной наукой уже доказано, что и тот и другой не имели бы успеха, потому что в целом вся стратегия гитлеровского генерального штаба носила авантюристический характер и не могла принести победы.

Но попытаемся, не касаясь всего огромного механизма войны, больших и малых рычагов, с помощью которых управляют этим механизмом, а просто чисто логически порассуждать над замыслом Гитлера, отказавшись от бранной клички «ефрейтор», которой его окрестили в годы войны. Гитлер к сороковым годам имел большой опыт создания вооруженных сил, военной промышленности и руководства крупными военными операциями. Достаточно напомнить захват Польши, Франции и других государств Европы. Если вспомнить все это, то покажется не таким уж легкомысленным (а порой именно так его истолковывают) намерение Гитлера захватить источники нефти и лишить горючего всю военную технику Красной Армии.

В этой войне при ведении боевых действий мотор стал решающим средством. Он присутствовал всюду: на земле — в танках, автомобилях; в воздухе — в самолетах; на воде — на кораблях и подлодках. Без горючего вся эта техника, конечно, встала бы. Основные источники нефти в те годы у нас находились на Кавказе, здесь наша страна добывала 95 процентов ее. Многие нынешние крупнейшие месторождения Сибири в те годы еще не были достаточно разведаны, не говоря уж об освоении.

Так вот, если на минуту представить себе такой вариант (пусть это не покажется кощунственным; ведь в 1939 году, например, могло показаться кощунством предположение, что немцы выйдут к Волге), если бы гитлеровцам действительно удалось захватить наши источники нефти на Кавказе — что произошло бы дальше?

Гитлер, видя героизм и мужество советских воинов, в глубине души уже боялся их и понимал: если так пойдет и дальше, то силу сопротивления советских людей не одолеть. Вот почему в беседах со своим окружением он говорил — зачем вступать в бой с советскими танкистами, с советскими летчиками, так героически сражающимися? Когда у них не будет горючего, то и танки и самолеты можно будет собирать, как пустые консервные банки! Ну а те, кто на них воевал, без горючего останутся просто беспомощными.

В общем, Гитлер решил сам взяться за дело. Он теперь уже просто не доверял своим генералам, о чем говорил открыто. После краха наступления на Москву разгневанный фюрер кроме Браухича снял с высоких командных должностей командующего группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала фон Бока, Гудериана, Рундштедта, Вейхса, Лееба — всего 35 высокопоставленных военачальников.

Фюрер издал приказ, что отныне он берет на себя командование сухопутными войсками. 1 июня 1942 года Гитлер прибыл в штаб групп армий «Юг», который располагался в Полтаве. С этого дня он решил лично руководить всеми операциями на Восточном фронте и особенно здесь, на юге, то есть добиться осуществления своей заветной цели — захватить источники нефти на Кавказе.

О том, какое большое значение фюрер придавал предстоящим операциям, свидетельствует хотя бы эта фраза, сказанная им на совещании:

«Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен покончить с этой войной» (8, стр. 362).

Во второй половине июля 1942 года немецкие войска заняли город Ростов и вышли к Дону. К этому времени уже была разработана новая операция под кодовым названием «Эдельвейс», в основу которой легли личные указания Гитлера. Он подписал ее 23 июля 1942 года. Согласно этой директиве ближайшей задачей группы армий «А» было: окружение и уничтожение советских войск, ушедших за реку Дон, после чего группа армий «А» создает мощный кулак из танковых, моторизованных соединений, которым наносит удар в направлении Грозного и Баку.

Группа армий «Б» должна нанести удар в направлении на Сталинград, чтобы обеспечить фланг и безопасные действия группы армий «А», овладеть пространством между Доном и Волгой и прекратить перевозки по Волге.

Против такого решения высказался начальник генерального штаба Гальдер. Он сказал Гитлеру, что не считает в настоящее время возможным имеющимися силами выполнить обе эти задачи, и советовал сконцентрировать все силы сначала для удара на Сталинград. Новая попытка оттянуть захват нефтяных источников взбесила Гитлера, и он если и не снял Гальдера с поста начальника генерального штаба немедленно, то, во всяком случае, почти отстранил его от дел и долгое время с ним не общался.

Несколько позднее, 24 сентября, Гитлер все же снял Гальдера официально с этой должности и назначил на его место генерал-полковника Цейтцлера.

Вот теперь, учитывая те задачи, которые поставил перед своими армиями Гитлер, и те контрмеры, которые необходимо было принимать советскому командованию, вспомним, что назначение Ивана Ефимовича Петрова командующим 44-й армией состоялось в июле, когда не только стали известны эти планы германского командования, но когда гитлеровцы приступили уже к их осуществлению.

Слава генерала — мастера обороны в то время за И. Е. Петровым утвердилась уже прочно, он это доказал в Одессе и Севастополе, и поэтому, мне, кажется, совсем не случайным было его назначение командующим именно 44-й армией, которой в составе Северной группы войск придется стоять на пути гитлеровцев, наносящих свой удар в направлении нефтеносных районов Кавказа.

Думаю, что даже и без карты многие представят себе этот театр военных действий, потому что не раз, наверное, ездили отдыхать на Кавказ. Ну, город Ростов, которым в конце июля овладели немцы, всем хорошо известен. Он стоит на реке Дон. Вот как раз сюда, на рубеж этой реки, вышли в конце июля гитлеровские армии и даже захватили несколько плацдармов на противоположном берегу Дона.

От Ростова Гитлер планировал нанести два удара — один на Баку, другой вдоль железной дороги, по которой от Ростова вы едете к известным курортным местам на побережье Черного моря — к Туапсе, Сочи, Гагре, Сухуми, Батуми. Да простят меня военные за подобный способ ориентирования, но книгу ведь будет читать и штатские и, надеюсь, юноши, еще не служившие в армии. Им сейчас очень трудно представить, что на склонах Главного Кавказского хребта, обращенных к Черному морю, находились гитлеровцы и в бинокли разглядывали санатории и пляжи, но что поделаешь — так было.

Для осуществления операции «Эдельвейс» гитлеровское командование создало такую группировку: удар непосредственно по Кавказу наносят группа армий «А» под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма Листа, 1-я танковая армия (командующий генерал-полковник Эвальд фон Клейст), 17-я армия (командующий генерал-полковник Рихард Руофф), 3-я румынская армия (командующий генерал Петре Думитреску).

Всего в группе армий «А» было 40 дивизий: 18 пехотных, 3 танковых, 4 моторизованных, 6 горнострелковых, 3 легкопехотных, 4 кавалерийских и 2 охранных. Все соединения были хорошо укомплектованы и вооружены, располагали полным комплектом автомобилей, тягачей и бронетранспортеров.

Гитлеровское командование намеревалось наступать не только по открытым просторам, но нанести несколько ударов через перевалы Главного Кавказского хребта. Для этого в группу армий «А» был включен один из самых любимых Гитлером корпусов — высоко подготовленный профессионально 49-й горнострелковый корпус генерала горных войск Рудольфа Конрада. В него входили 4 лучших альпийских дивизии: 1-я и 4-я горнострелковые, 97-я и 101-я горноегерские.

1-й горнострелковой дивизией командовал генерал-лейтенант Губерт Ланц. Эту дивизию называли «Эдельвейс». Сам Ланц был опытный альпинист, он прошел по многим горам: Альпам, Кавказу и Гималаям.

Еще до начала войны альпийцы дивизии «Эдельвейс» были любимчиками не только армии, но и правительства. Они постоянно жили и тренировались в горах Швейцарии, во Французских Альпах. Их называли ласково снежными барсами. Фотографии «снежных барсов» печатали на обложках журналов. Вот перед этими действительно очень хорошо подготовленными и оснащенными специально созданным для них горным вооружением и снаряжением альпинистами была поставлена задача — захватить перевалы и затем спуститься с гор на побережье Черного моря, в ту самую курортную зону, о которой я говорил, и содействовать наступлению войск, продвигающихся вдоль берега со стороны Новороссийска, Таманского полуострова.

Взяв на себя командование сухопутными войсками и руководство этой решающей операцией, Гитлер строил и начал осуществлять да-

леко идущие планы, которые не ограничивались захватом Грозного и Баку. Об этом свидетельствует переброска и сосредоточение в тылу группы армий «А» особого корпуса «Ф». Этот корпус получил такой условный шифр по имени своего командира — генерала Гельмута Фельми. Это действительно был особый корпус и по составу, и по подготовке, и по своим задачам. Особенность его заключалась в том, что он предназначался для введения в бой только после того, как группа армий «А» овладеет Тбилиси. Корпус «Ф» должен был начать наступление на Иран, Ирак, выйти к Персидскому заливу и в Индию.

Если учесть, что на советско-турецкой границе к тому времени стояли уже в полной боевой готовности 26 турецких дивизий, а в Африке наступали гитлеровские войска под командованием Роммеля и находились уже недалеко от Александрии, то этот замысел не выглядит очень уж фантастическим.

Корпус «Ф» был укомплектован исходя из специфики предстоящей задачи. Он не нуждался ни в какой поддержке и усилении. Все у него было свое. Свои высокоподвижные моторизованные батальоны, в каждом из которых насчитывалось до тысячи солдат и офицеров. Причем первый и второй батальоны были укомплектованы опытными, отборными солдатами и офицерами вермахта, а третий полностью состоял из арабов — иракцев, сирийцев, ливийцев и других.

Каждый батальон по своим боевым возможностям был не меньше полевого пехотного полка. Кроме того, был отдельный танковый батальон — из 25 тяжелых и средних танков, авиационный отряд из 25 самолетов. И все необходимые специальные подразделения. Были свои артиллерия, зенитные средства, автотранспорт. Ну и все необходимые тыловые подразделения: хлебопекарня, санитарная часть, различные мастерские.

Кроме того, корпус «Ф» имел при себе достаточное количество вооружения для того, чтобы оснастить новую дивизию добровольцев и перебежчиков, которых командование надеялось встретить на своем пути.

Корпусу было приказано двигаться в тылу группы армий «А», и в зависимости от того, где быстрее обозначится успех наступления в сторону Баку, он должен был немедленно использовать этот успех, выйти на свое направление и вступить в Иран.

Группу армий «А» с воздуха поддерживал и обеспечивал 4-й воздушный флот, которым командовал генерал Рихтгофен, «первый ас Германии», как его называли. Гитлер привлек его к этой операции как одного из своих любимых, доверенных авиационных генералов.

В этой воздушной армаде, которая насчитывала более тысячи современных новых самолетов, находились лучшие немецкие летчики. Учитывая близость аэродромов к полям боев, к местам сражений, Рихтгофен мог очень быстро осуществить маневр своими соединениями и благодаря большой численности самолетов захватить господство в воздухе.

Для того чтобы группа армий «А» выполнила свои задачи наверняка, не опасаясь контрударов советских войск, ее с левого фланга обеспечивала группа армий «Б» (с ноября 1942 года переименована в группу армий «Дон») под командованием генерал-фельдмаршала фон Манштейна.

Справа немецкие войска считали себя в безопасности — там высился Главный Кавказский хребет.

Некоторые предварительные разъяснения и размышления

Поскольку Иван Ефимович Петров вступает в сферу боевых действий более крупных масштабов, мне кажется необходимым ввести читателей в курс некоторых стратегических обстоятельств, влиявших на операции, в которых участвовал Петров и вносил свою лепту в ход событий тех дней.

Планы германского верховного командования продуманы, решения приняты, приказ о проведении операции «Эдельвейс» написан, войска сосредоточены согласно намеченным замыслам.

Гитлер не только встал во главе сухопутных войск как главнокомандующий, но и прибыл в свою ставку в Виннице, поближе к театру военных действий, где должна решиться судьба не только войны, но и всех его грандиозных, как он считал, проектов покорения Востока и Запада! Фюрер уверен в успехе, планы его не только грандиозны, но и обеспечены необходимыми силами для их осуществления. Он покажет своим генералам и маршалам, как надо воевать! И не только им, а всему миру! Потому что весь мир будет знать — это он, фюрер, сам задумал и осуществил эту грандиознейшую в истории войн операцию и одержал решающую победу!

Тетива натянута, остается только пустить всесокрушающую стрелу! И даже не стрелу, а гарпун! И даже не гарпун, а таран, который никому не под силу остановить!

Но прежде чем рассказать, как ударил этот таран, посмотрим, что происходило на нашей стороне. Как наше командование понимало и оценивало обстановку? Как готовилось отражать этот мощный и решительный удар в сторону Кавказа?

Разумеется, Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин не выпустил из виду бои на Дону и приближение гитлеровских войск к Северному Кавказу. Но он не придавал этому направлению того значения, какое оно приобретало в связи с планами Гитлера. Бои на Южном фронте, которые шли и могли развернуться — в перспективе — летом 1942 года, оценивались Сталиным (а его мнение в Ставке было решающим), как бои на всех других, неглавных направлениях. Направлением вероятного главного удара гитлеровской армии Сталин считал удар на Москву.

Тут, наверное, мне уже пора подкрепить сказанное надежными, неопровержимыми документами, а не ограничиваться только своими рассуждениями. Вот мнение маршала А. А. Гречко:

«Ставка при определении замысла врага на лето 1942 года считала, что основные события летом развернутся вокруг Москвы, что именно на этом направлении противник будет наносить главный удар» (8, стр. 179).

Допустим, в те дни А. А. Гречко не знал общей обстановки, он не был еще маршалом, командовал армией, хотя следует заметить, что писал свои воспоминания А. А. Гречко уже будучи маршалом и министром обороны и, конечно же, располагал документами в полном объеме.

Но все же допустим... Тогда я приведу свідетельство человека, который почти ежедневно встречался со Сталиным.

Вот что пишет генерал С. М. Штеменко:

«Должен сказать, что советское стратегическое руководство во главе с И. В. Сталиным было убеждено, что рано или поздно враг снова обрушит удар на

Москву. Это убеждение Верховного Главнокомандующего основывалось не только на опасности, угрожавшей с ржевского выступа. Поступили данные из-за рубежа о том, что гитлеровское командование пока не отказалось от своего замысла захватить нашу столицу. И. В. Сталин допускал различные варианты действий противника, но полагал, что во всех случаях целью операции вермахта и общим направлением его наступления будет Москва. Другие члены Ставки, Генеральный штаб и большинство командующих фронтами разделяли это мнение.

Исходя из этого, считалось, что судьба летней кампании 1942 года, от которой зависел последующий ход войны, будет решаться под Москвой. Следовательно, центральное — московское — направление станет главным, а другие стратегические направления будут на этом этапе войны играть второстепенную роль.

Как выяснилось впоследствии, прогноз Ставки и Генштаба был ошибочным. Гитлеровское командование поставило своим вооруженным силам задачу: на центральном участке фронта — сохранить положение, на севере — взять Ленинград и установить связь на суше с финнами, а на южном фланге фронта — прорваться на Кавказ» (9, кн. 1, стр. 57).

В приказе Гитлера о проведении операции «Эдельвейс» было сказано:

«В первую очередь все имеющиеся в распоряжении силы должны быть сосредоточены для проведения главной операции на южном участке с целью уничтожить противника западнее Дона, чтобы затем захватить нефтеносные районы на Кавказе и перейти через Кавказский хребет»

Гитлер хотел одним мощным ударом на Кавказе завершить разгром Советской страны и продолжить агрессивные действия на Востоке — в Иране, Ираке, Индии — и Африке. А Ставка ждала его удара под Москвой. Этот просчет произошел не из-за отсутствия сведений о намерениях противника. Сведения были, и очень достоверные. Наша разведка выявила сосредоточение войск для нанесения ударов на Кавказ. Вот тому подтверждение из воспоминаний маршала А. А. Гречко:

«В середине марта 1942 года наши разведывательные органы докладывали, что стратегическое построение группы армий «Юг» вскрывает намерения противника перенести центр тяжести в войне 1942 года на сталинградское и северокавказское направления» (8, стр. 179).

Не только военные разведчики располагали такими сведениями. Вот свидетельство чекистов о том же:

«...в марте 1942 года в Государственный Комитет Обороны были представлены сведения, что летом 1942 года фашистское командование предпримет крупное наступление на Сталинград и Северный Кавказ. Указывались армейские группировки врага, которые должны были участвовать в наступательных операциях на юге» (10)

Если бы просчет ограничивался просто спорами и дискуссиями на эту тему, то беда была бы невелика. Но просчет этот вел к такому распределению советских вооруженных сил, которое не соответствовало создавшейся обстановке. Маршал А. А. Гречко прямо подтверждает эту беду:

«Однако, несмотря на эти и другие доклады наших разведывательных органов, что центр тяжести весеннего наступления противника будет на юге, на этот участок фронта достаточных резервов направлено не было» (8, стр. 179).

В «Истории второй мировой войны» приводится распределение сил по фронтам, которое очень наглядно показывает, к чему привел просчет Ставки.

Не принято в художественных произведениях приводить таблицы и схемы, но поскольку моя повесть не только художественная, но и документальная, рискну предложить читателям хотя бы неполную, упрощенную таблицу, потому что из нее без долгих объяснений наглядно видна суть того, о чем я хочу сказать.

Итак, в таблице цифры показывают проценты к общей численности сил и средств действующей армии того времени, распределенной на 1 июля 1942 года по стратегическим направлениям.

Направления (участки советско-германского фронта и действующие на них войска	Общевойсковые армии	Дивизии (расчетные)	Орудия и минометы	Танки	Боевые самолеты	Личный состав
Северный участок (Карельский фронт)	7,3	5,3	5,4	2,5	9,3	5,4
Северо-западное направление (Ленинградский, Волховский, Сев.-Зап. фронты)	27,3	29,7	27,6	16,0	14,2	23,8
Западное направление (Калининский, Западный фронты)	32,7	31,3	31,6	40,3	32,7	33,2
Юго-западное направление (Брянский, Юго-Зап., Южный фронты)	25,4	28,3	29,6	38,3	29,2	31,1
Кавказский участок (Сев.-Кавк. фронт, 44-я армия Закавказского фронта)	7,3	5,4	5,8	2,9	14,6	6,5

(З, т. 5, стр. 143)

Если учесть, что Калининский, Брянский и другие фронты западного и юго-западного направлений находились в непосредственной близости от Москвы, то силы этих фронтов фактически объединялись в защите подступов к столице, и если их сложить, то получится, что под Москвой было больше половины всей нашей армии, танков почти 80 процентов, самолетов 62 процента. А на Кавказе, против главных сил гитлеровцев, всего 5,4 процента всех наших дивизий, а танков, этой решающей ударной силы в современной войне, всего 2,9 процента!

Попробуем понять, что же заставляло Ставку держать большие силы под Москвой. Мне кажется, это объясняется чисто психологическими причинами. В Ставке все испытали колоссальное потрясение, когда враг за короткое время прошел почти половину европейской части страны и кинулся на штурм Москвы! И мне думается, весной 1942 года, когда бои еще гремели на подступах к столице, Ставке опасалась отпускать войска из-под Москвы, отдавать на юг резервы, потому что все еще ждала, что враг, находясь так близко, вновь пойдет на Москву. А что касается разведывательных данных об опас-

ности на юге, то не раз приходилось убеждаться в их неточности, преувеличенности, а порой и ложности. Не дезинформация ли это со стороны противника с затеей на юге, рассчитанная на то, чтобы оттянуть советские войска от Москвы туда? Юг далеко, а лязг гитлеровских танков слышен вот здесь, под Москвой!

В общем, как бы там ни было, а в 1942 году врагу удалось осуществить подготовку и нанести удар гигантской силы по Кавказу. Просчет, о котором шла речь, обернулся для войск, оборонявших подступы к Кавказу, огромными трудностями и людскими потерями. Какими же героями надо было быть нашим солдатам и офицерам и какие невероятные трудности пришлось преодолеть командованию на Кавказе, чтобы выстоять при таком потрясающем несоответствии в соотношении сил!

Кто же противостоял гитлеровским армиям на юге с нашей советской стороны? Первые три дня боев, с 25 по 28 июля,— армии Южного фронта под командованием генерал-лейтенанта Р. Я. Малиновского и Северо-Кавказского фронта под командованием маршала С. М. Буденного. А 28 июля все армии на этом направлении вошли в состав Северо-Кавказского фронта.

Ширина обороны этого фронта от нижнего течения Дона и далее на юг по побережью Азовского и Черного морей была около тысячи километров. Правый фланг этого фронта держала 51-я армия (та самая, которая неудачно оборонялась на Перекопе, а затем в Крыму). После изнурительных боев армия не имела в своем составе ни одного танка, не хватало артиллерии и боеприпасов. Командовал армией генерал-майор Т. К. Коломиец. Генерал Коломиец знаком читателям как командир 25-й Чапаевской дивизии, а позже командир сектора обороны Севастополя. Его назначение на должность командарма свидетельствует о том, как высоко ценились командиры, прошедшие севастопольскую школу.

В этот же фронт вошли армии: 12-я (командующий генерал-майор А. А. Гречко), 18-я (командующий генерал-лейтенант Ф. В. Камков), 37-я (командующий генерал-майор П. М. Козлов), 56-я (командующий генерал-майор А. И. Рыжов). В тыл для переформирования были отведены 9-я армия (командующий генерал-майор Ф. А. Пархоменко) и 24-я (командующий генерал-майор В. Н. Марцинкевич): обе были совершенно обессилены в боях за Ростов.

Вроде бы армий немало, но в каком состоянии они находились! Для краткости и убедительности приведу цитату из воспоминаний маршала А. А. Гречко:

«К началу боевых действий численное превосходство в силах было на стороне противника. Войска Южного фронта к 25 июля (день начала наступления по осуществлению плана «Эдельвейс».— В. К.) располагали лишь 17 танками. Артиллерийское усиление войск Южного фронта было очень слабое. Числившиеся в его составе 17 артиллерийских полков не могли быть эффективно использованы из-за крайне недостаточного количества боеприпасов. Кроме того, из-за ограниченного количества переправ артиллерийские части при отходе на левый берег Дона оторвались от своих войск, а в 37-й армии артиллерийские полки потеряли всю материальную часть в боях при отходе за Дон» (8, стр. 185).

Чего можно ожидать при таком соотношении сил? Резервов у Ставки не было. Кроме того, были еще и объективные трудности, не зависевшие от Ставки. Генерал С. М. Штеменко уже в конце жизни, еще раз вспоминая эти критические для нас месяцы, писал:

«Нужно сказать, что союзники обещали Советскому правительству открыть в 1942 году второй фронт... Однако чем дальше, тем становилось виднее, что никакого второго фронта пока не будет. Следовательно, Советской стране опять приходилось думать о единорборстве с фашистской Германией. Такое положение меняло дело. Ста-ла видна решающая роль наших резервов, которые были израсходованы в зимних операциях. Предстояло подготовить новые общевойсковые, танковые, авиационные соединения и армии. Для этого предпринимались большие организационные усилия» (9, кн. 2, стр. 488).

От себя напомним для полноты картины: для вооружения этих резервов нужны были танки, пушки, автоматы, боеприпасы и другое снаряжение, а западные наши области с их развитой промышленностью были уже оккупированы врагом. Предприятия, которые удалось эвакуировать, находились еще в пути, в эшелонах или только разворачивались на новых местах. Стратегические запасы вооружения и продовольствия в большинстве находились тоже в западных районах, ведь в случае войны наши военачальники намеревались бить врага на его территории. Эти запасы в спешке быстротечных боев были частично розданы воинским частям, партизанам или уничтожены, но многое досталось и противнику.

Генерал Штеменко сказал, что союзники не выполняли принятые на себя обязательства. Теперь стали известны документы, уличающие наших союзников в том, что они вели нечестную, двойную, а на простом языке это называется предательскую, политику по отношению к нашей стране. Приведу очень короткое тому подтверждение.

Америка и Англия в этот очень критический момент в войне думали о своих корыстных целях. Они уже не были уверены в нашей победе. Президент Рузвельт, посылая в Москву своего представителя Уилки, откровенно сказал:

«Может случиться так, что вы попадете в Каир как раз в момент его падения, а в России вы тоже можете оказаться в момент ее крушения» (11, стр. 94—95).

Рузвельт имел в виду возможное овладение Роммелем Каиром, а в Советской стране — возможное овладение гитлеровскими войсками районом Баку.

В августе 1942 года, в период напряженнейших боев в предгорьях Кавказа, в Москву прилетел Черчилль. Он пишет в своих воспоминаниях об этих днях:

«Я размышлял с моей миссией в это угрюмое, зловещее, большевистское государство, которое я когда-то так настойчиво пытался задушить при его рождении и которое вплоть до появления Гитлера я считал смертельным врагом цивилизованной свободы. Что должен был я сказать им теперь? Генерал Уэйвелл, у которого были литературные способности, суммировал все это в стихотворении, которое он показал мне накануне вечером. В нем было несколько четверостиший, и последняя строка каждого из них звучала: «Не будет второго фронта в 1942 году». Это было все равно что везти большой кусок льда на Северный полюс» (11, стр. 95).

Как же не только оскорбительно, но и издевательски выглядят стишки Уэйвелла, о которых пишет в своем дневнике Черчилль! А он ведь не какой-нибудь простой шутник, он генерал, отлично понимающий и ситуацию и положение Советского Союза, по поводу которого он так зло шутит.

Союзники не выполняли обещания, которые подписали в соответствующих договорах, более того, они явно делали все для того, чтобы наша армия терпела поражения.

Именно в те августовские дни, когда бои начинались на последнем рубеже на пути к Баку — на рубеже реки Терек, где оборонялся генерал Петров со своей 44-й армией,— в Москве шли переговоры, и союзники прямо заявили, что второй фронт в 1942 году открыт не будет.

А 30 сентября 1942 года, в самые напряженные дни боев на Кавказе, Черчилль писал Сталину о своем желании будто бы оказать помощь, но на самом деле строя далеко идущие планы. В этом строго секретном личном послании сообщалась информация:

«Немцы уже назначили адмирала, которому будут поручены военно-морские операции на Каспийском море. Они избрали Махач-Калу в качестве своей главной военно-морской базы. Около 20 судов, включая итальянские подводные лодки, итальянские торпедные катера и тральщики, должны быть доставлены по железной дороге из Мариуполя на Каспий, как только будет открыта линия. Ввиду замерзания Азовского моря подводные лодки будут погружены до окончания строительства железнодорожной линии» (12, стр. 84).

Вот так, стремясь напугать Сталина, уверить его, что уже все решено с достижением Каспийского моря гитлеровцами, Черчилль дальше продолжает:

«Мне кажется, что тем большее значение приобретает план, о котором я говорил Вам, усиления нами с американской помощью Ваших военно-воздушных сил на каспийском и кавказском театрах двадцатью британскими и американскими эскадрильями» (там же).

Так англичане лелеяли давнюю мечту — под шум идущей войны прибрать к рукам кавказские источники нефти.

Желание оккупировать Кавказ не только мечта — был разработан специальный план под кодовым названием «Вельвет». Согласно этому плану 10-я английская армия предназначалась для вторжения на Кавказ.

По стечению обстоятельств Петров оказался в эпицентре этого клубка военных, политических, дипломатических и просто житейских событий.

В 44-й армии

Общий замысел защиты Кавказа командующего фронтом И. В. Тюленева сводился к следующему. 44-й армии под командованием генерала И. Е. Петрова создать глубоко эшелонированную оборону на подступах к Грозному и Баку с севера и северо-запада и во взаимодействии с Каспийской военной флотилией не допустить форсирования противником Терека на участке от устья до Червленной. Армейской группе генерала В. М. Курдюмова в составе четырех стрелковых дивизий и 11-го гвардейского стрелкового корпуса занять оборону по рекам Терек, Урух. Особое внимание обращалось на прикрытие подступов к Грозному, Орджоникидзе, Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорогам. На 46-ю армию возлагалась оборона перевалов через западную часть Главного Кавказского хребта и Черноморского побережья, а также прикрытие границы с Турцией. 45-я

армия и 15-й кавалерийский корпус должны были пресечь попытки нарушения государственной границы со стороны Турции.

Оторванность войск, защищавших Грозный и Баку, от штаба фронта, который находился в Тбилиси, вынуждала создать — для более оперативного управления этими войсками — свой штаб руководства, что и было сделано. 8 августа по приказу Ставки была создана Северная группа войск Закавказского фронта в составе 44-й и 9-й армий (позже была включена и 37-я армия). Командующим Северной группой был назначен генерал-лейтенант И. И. Масленников.

К этому времени группа армий «А» оттеснила советские части к предгорьям Главного Кавказского хребта и реке Терек. Гитлеровское командование уже торжествовало победу. Генерал-фельдмаршал Лист сообщил Гитлеру приятную весть:

«Командование группы армий придерживается того мнения, что и это сопротивление можно сломить при сильном натиске. Также и сильные части противника в излучине Терека могут оказать только временное сопротивление массированному наступлению немецких соединений... Кажется, что противник по всему фронту выставил на передовой линии все имеющиеся в своем распоряжении силы и что после прорыва этой линии сопротивление противника будет сломлено» (8, стр. 240—241).

Нетрудно представить радость, охватившую Гитлера: совсем немного километров оставалось до желанной бакинской нефти! А дальше — паралич Красной Армии из-за отсутствия горючего, немецкая же армия с полной заправкой всех моторов ринется по намеченным им, Гитлером, путям в Иран, Ирак, Индию! Да, он доказал своим спесивым генералам, что умеет воевать лучше их и понимает в стратегии глубже их!

Из Африки к нему тоже приходили радующие вести — Роммель в конце июня захватил Тобрук. Комендант крепости британский генерал Клоппер с 33 тысячами солдат и офицеров, несмотря на огромные запасы боеприпасов и продовольствия, сдался в плен. Трофеи захвачены настолько большие, что их хватит на несколько месяцев для армии Роммеля, а это значит, что она скоро сможет двинуться сюда, навстречу войскам, завершающим захват Кавказа.

Произведя необходимую перегруппировку войск, командование группы армий «А» 23 августа приступило к осуществлению плана по завершению захвата Кавказа. Для чего в этот день две танковые и одна пехотная дивизии из 1-й танковой армии Клейста ринулись на Моздок. Но здесь их встретили высланные от Северной группы войск отряд майора Корнеева, курсанты Ростовского артиллерийского училища и части 26-й запасной стрелковой бригады. Они три дня вели тяжелейшие бои с многократно превосходящим их противником. Бойцы бились героически, но силы были неравные. Противник овладел Моздоком.

С выходом гитлеровских частей на рубеж рек Терек и Урух в бой вступают части, оборонявшиеся на этом рубеже, в том числе и 44-я армия под командованием И. Е. Петрова.

В первой книге читатели познакомились со многими человеческими и полководческими качествами генерала Петрова. Повторять и просто прибавлять какие-то новые эпизоды, подтверждающие эти же качества, наверное, нет смысла. Хотя, несомненно, одна из особенностей боевых операций заключается в том, что они не бывают похожи друг на друга. В каждой операции все складывается по-раз-

ному: силы сторон, их обеспеченность, моральный дух, характер местности, погода и десятки других факторов — все это заставляет полководца каждый раз по-иному оценивать, взвешивать, прикидывать возможности войск в новой обстановке и принимать соответственно новое, оригинальное, непохожее на все предыдущие решение.

Вот с этих позиций давайте посмотрим хотя бы бегло, что было в распоряжении Петрова для выполнения полученного приказа командующего фронтом, в каких условиях находились части 44-й армии и какое решение, исходя из всего этого, принял в данной операции генерал Петров.

Прежде всего Петров, конечно же, как это делает каждый военачальник, всесторонне продумал задачу, поставленную перед армией. Что ему приказано сделать и как это осуществить? Ему приказывалось оборонять участок фронта по реке Терек до берега Каспийского моря и не допустить прорыва гитлеровцев к Грозному и Баку. Как лучше осуществить этот приказ? Построить прочную оборону, это понятно само собой и не требует никаких пояснений. Но как построить оборону, чтобы она была сильной и непреодолимой для противника? Вот тут уже начинают проявляться умение, опыт и талант командующего: каждый будет строить ее по-своему. Но кроме личных качеств командующего, есть еще два условия, не зависящих от него и необходимых для создания прочной обороны. Первое — это рабочие руки и инженерная техника и второе — время, которым располагает военачальник для создания обороны.

До прибытия Петрова в 44-ю армию ее войска уже занимались строительством траншей и полевых укреплений, кроме того местные партийные и советские организации мобилизовали население для помощи в создании оборонительных рубежей.

Для построения и устойчивости обороны большое значение имеет характер местности, она или помогает обороняющемуся, затрудняя продвижение противника, или создает дополнительные трудности. В данном случае местность способствовала выполнению оборонительной задачи. Река Терек неглубокая, но быстрая, с большим количеством камней в русле, берег, который занимали части 44-й армии и армии соседей слева, каменистый, русло реки неудобно для применения со стороны наступающих техники, особенно танков.

Можно усилить оборону еще за счет высокого морального духа обороняющихся. Петров по опыту боев в Одессе и Севастополе хорошо знал, какой это могучий фактор. Но там Петров имел в подчинении войска в большинстве своем кадровые, получившие необходимые знания и навыки еще до войны. А что представляли собой войска 44-й армии? Две дивизии были азербайджанские, одна армянская и одна грузинская, эти соединения были вновь сформированы, не прошли нужной подготовки. Сами по себе люди, призванные из азербайджанских и грузинских городов и сел, были, конечно же, надежные, но у них не было навыков пользования оружием и, что немало важно, большинство из них не знало русского языка, а это, естественно, очень затрудняло обучение бойцов и руководство ими в бою. Времени преодолеть этот усложняющий работу недостаток у командиров и бойцов не было.

Центральный комитет Коммунистической партии Азербайджана, чтобы помочь преодолеть эту трудность, послал в войска многих коммунистов, владеющих обоими языками. Это были стойкие политработники, они могли хорошо вести разъяснительную работу, но как командиры не имели необходимой военной подготовки.

За короткое время Петров успел побывать во всех частях, ознакомиться с их состоянием, поговорить со строевыми командирами и политработниками. Он широко повел разъяснения, выдвигая на данный момент три основные задачи: за короткое время прежде всего укрепить моральное состояние войск, обучить их и строить оборону. И эта трудная и напряженная работа была развернута. Одно обстоятельство осложняло и даже снижало результаты намеченной Петровым работы. Дело в том, что тут же, непосредственно в боевых порядках, во всей полосе обороны армии, по железной дороге, по полевым дорогам и тропам, просто по полям шли бесконечные вереницы людей, машин и повозок. Это уезжали учреждения, эвакуировалась техника заводов и фабрик, отходили остатки частей, разбитых на предыдущих рубежах, шли люди, покинувшие города, оккупированные противником. Они были усталые, измученные, обожженные солнцем, вид их был страшен. Все это плохо действовало на моральное состояние бойцов 44-й армии, тем более не имевших еще армейской закалки.

Вот картина, написанная в те дни с натуры писателем Виталием Закруткиным:

«Беспощадно жжет августовское солнце. Скрипят на пыльных дорогах обозные телеги. На телегах — раненые, окруженные патронными ящиками, сизыми от пыли шинелями, катушками проводов. Под глазами у них темнеют синие тени, бескровные лица кажутся восковыми. Над обозом вьются тучи мух. Девушки с растрепанными волосами, в пропитанных потом гимнастерках, неустанно машут кленовыми ветками, отгоняя от раненых назойливых мух, а головы мертвых накрывают кусками залитой йодом марли.

Обозы растянулись на десятки километров... медленно бредут молчаливые бойцы, поскрипывают длинные колхозные арбы, в которых едут женщины-беженки. Окутанные облаками пыли, несутся по степям конские табуны. Кони связаны поводьями — по пять, восемь, десять голов, за ними бегут тонконогие жеребятя. Старые пастухи с дорожными торбами через плечо, с длинными посохами гонят стада коров и свиней, овечьи отары. Все пришло в движение, и кажется даже, что вот-вот снимутся с мест кубанские хаты, оторвутся от земли яблони и тополя, и золотые скирды соломы, и копны сена, и все это устремится вперед, вслед за людскими потоками, чтоб не осталось врагу» (15, стр. 11—12).

Как каждый полководец, Петров оценивал силу и возможности своих войск и сравнивал их с силами противника. На первый взгляд их нельзя было сравнивать: читатели знают, какой могучий таран противника выходил на рубеж рек Терек и Урух. Но Петров учитывал, несомненно, еще и то, что противник понес немалые потери в предыдущих боях, он хотя и имел успех и продолжал наступать, но все это далось ему не даром, много танков и солдат осталось в степях и предгорьях, по которым прошли войска Листа. Кроме того, Петров, как опытный военачальник, понимал, что даже просто, без боев пройти своим ходом 600 километров от Дона до Терека — по полям, горам, бездорожью — не так-то легко! Снабжать и обеспечивать войска на новом рубеже, имея такие растянутые коммуникации, противнику тоже будет трудно. А у войск Петрова удобный природный оборонительный рубеж, да к тому же еще оборудованный (пусть не до конца, но все же оборудованный) на переднем крае и несколькими позициями в глубине обороны. Войска пусть не очень обученные, но все же свежие, их будет поддерживать хорошо расставленная артиллерия. Все это в какой-то степени выравнивает силы наступающих и обороняющихся.

Было два фактора, в которых противник имел несомненный и пока ничем не компенсируемый на нашей стороне перевес. Во-первых, господство в воздухе было за противником, его самолеты почти

непрерывно висели в воздухе и бомбили как отходящие колонны наших войск, так и войска на новом оборонительном рубеже. И во вторых, наличие у противника большого количества танков; для борьбы с ними местность, конечно, благоприятствовала, но противотанковой артиллерии у нас было явно недостаточно.

Оценивая обстановку, генерал Петров, естественно, обратил внимание и на соседей, опыт военачальника подсказывал: всегда надо думать о своих флангах. Так вот, что касается соседей, то там оборонялись тоже в основном недавно сформированные и примерно так же обученные и оснащенные дивизии. Для того чтобы коротко и наглядно показать состояние всех этих вновь сформированных частей и уровень их обеспеченности, приведу лишь одну справку: Закавказскому фронту не доставало около 75 тысяч винтовок, 21 500 противотанковых ружей, 2900 станковых и ручных пулеметов, 700 минометов, 350 орудий. Аналогичное положение было с боеприпасами, инженерным обеспечением и средствами связи. В таком состоянии были войска к концу июля 1942 года, то есть к моменту прибытия Петрова в 44-ю армию.

Петрову предстояло командовать армией не только плохо обеспеченной, необученной, но и с прошлым, вызывающим грустные размышления. После окончания Великой Отечественной войны 44-я армия имела замечательные боевые традиции и боевой путь, отмеченный многими победами над врагом. Но путь, которым 44-я армия может гордиться, начинается после того, как в нее прибыл Петров. А вот до тех пор, как это ни прискорбно, боевые дела армии не украшали ее историю. Армия была сформирована в июле 1941 года на Кавказе. Очень недолгое время, всего несколько недель, она была в Иране, а затем возвратилась на территорию Кавказа и проходила обучение в Азербайджане и Дагестане около трех месяцев. Первым боевым испытанием для армии было ее участие в десантной операции на Керченский полуостров в конце декабря 1941 года. В той самой десантной операции, помощи от которой ждали севастопольцы и Петров, оборонявшие в те дни Севастополь.

Как мы уже знаем, наши армии, находившиеся в то время в Крыму, потерпели тяжелое поражение, были отброшены частями Манштейна и выбиты с Крымского полуострова. Горечь этого поражения пережила и 44-я армия — кстати, командовал ею тогда генерал-лейтенант Черняк, тот самый, который на некоторое время, всего на несколько дней, сменил генерала Петрова в Севастополе.

Если быть справедливым, надо признать, что и армия и обстановка достались Петрову очень и очень трудные. И отстоять нефтеносные районы Грозного и Баку было непросто, если напомнить, что гитлеровцы стремительно наступали огромными силами и прошли уже более 600 километров.

И вот здесь опять Петров проявил свое воинское чутье и находчивость, которые, на мой взгляд, стали одним из решающих факторов успеха его армии в боях на рубеже реки Терек. Петров нашел возможность усилить соединения своей армии очень оригинальным способом. Говорят, все гениальное просто. Иван Ефимович еще раз подтвердил правильность этих слов. Вот смысл и суть его находки.

Наблюдая за отходящими остатками наших частей, Петров понимал, что они действуют деморализующе на его бойцов. Все эти отступающие, если подойти к ним строго юридически, должны быть привлечены к ответственности за отход и получить кто что заслужил. Однако Иван Ефимович, глядя на измученных, обожженных

солнцем, голодных бойцов, оценивал их по-своему. Он увидел в них прежде всего то, чего не хватало недавно сформированным национальным дивизиям. Отступающие в большинстве своем были кадровые, обученные, опытные воины. Ну случилась беда, так не по их вине — они просто не могли устоять против той силищи, которая на них обрушилась. И необеспеченность артиллерией, танками, авиацией, боеприпасами тоже не на совести этих воинов. Они же станут золотым фондом в среде молодых неопытных бойцов. А раз так, то Петров немедленно приказал развернуть в тылу своей армии походные кухни, столовые, полевые бани. И вот эти усталые, запыленные воины помылись, переоделись в чистое белье, побрились, почистились, поели досыта, отдохнули, и заиграла на их лицах вместо усталости благодарная улыбка. И пошли они вместо долгих следственных разбирательств на усиление вновь сформированных частей. А солдат с хорошим настроением, да еще с душой, благодарной за оказанное доверие и заботу, — великая сила! Все это понимал Петров. Уже и здесь, на новом участке фронта, пошла по армии добрая слава об Иване Ефимовиче, вспомнилось и то, что этот генерал 250 дней отстаивал Севастополь, а за таким генералом солдаты пойдут в огонь и в воду.

Вот какой неожиданный психологический и моральный перелом совершил генерал Петров за очень короткое время, за несколько дней до начала боев на этом рубеже.

Как известно, армии, прикрывавшие подступы к нефтяным источникам Грозного и Баку, выстояли. Так вот давайте выскажем мнение, как рекомендует Энгельс военному историку, «post festum», то есть «после того, как событие произошло» (1, 210). Что было бы, если бы Петров не додумался до цементированья рядов национальных формирований силами опытных бойцов из отходящих частей? Гитлеровцы не дошли до нефтяных источников около 80 километров. Для танков это два-три часа ходу. Значит, наша страна была в двух-трех часах от огромной беды! Но Петров додумался до этого решения — и армия из слабой, неустойчивой благодаря влитым в нее бойцам, прошедшим кадровую выучку, — белорусам, украинцам, русским, татарам, бойцам кавказских национальностей — превратилась в крепко цементированную, боеспособную армию. Скрепленная еще и коммунистами, направленными ЦК, обкомами компартий Азербайджана, Грузии, Армении, эта армия стала еще более стойкой и оказалась способной не только выдержать удар врага, но, отразив его, перейти в наступление.

Разыскал я некоторых сослуживцев Петрова по 44-й армии. С одним из них мне особенно повезло: полковник в отставке Юрий Михайлович Кокорев оказался не только человеком наблюдательным, но в силу своей профессии и хорошо осведомленным и пишущим — он бывший редактор газеты 44-й армии. Вот что он рассказывал:

— О прибытии к нам в армию нового командующего я узнал от члена Военного совета бригадного комиссара Уранова. «Можешь радоваться, — немного торжественно сказал мне Владимир Иванович, — прибыл к нам командующий. Это особый человек. Генерал Петров Иван Ефимович. За плечами у него три войны. Кавалер пяти орденов. Оборонял Одессу. Оттуда сразу в Севастополь. Двести пятьдесят дней под обстрелом! По-моему, всякий, кто был в Севастополе, от солдата до генерала, — герой. А теперь вот без передышки к нам. Я думаю, что таких, как он, Ставка назначает на решающие направления. Вот и соображай, какова роль у нашей армии. Тебе надо обязательно ему представиться. Он газете поможет. Он многое подскажет. Сейчас Иван Ефимович, правда, занят, с войсками и со штабом знакомится, но я договорюсь с ним, чтобы принял тебя. Только учти,

он не любит, когда к нему в рот смотрят и ждут. Приходи со своими предложениями». Вот эти предложения-то потом чуть и не испортили всего дела. Не откладывая мы в редакции коллективно наметили главные, на наш взгляд, направления. Кажется, ничего не забыли. Пропаганда героизма, вопросы воспитания, организация партийной работы, отдельные проблемы по родам войск... С этими самыми «тезисами» я и предстал перед вновь назначенным командующим. Из-за стола поднялся плотный, среднего роста генерал с усталым лицом. Небольшие усы, выгоревшая на солнце гимнастерка. Внимательный взгляд из-за стекол пенсне. Внешность его напоминала тип старого русского интеллигента. Первое впечатление совсем не совпадало с героическим образом защитника Севастополя, который я составил себе из рассказа Уранова. Голос у командующего был глуховатый, говорил он чуть-чуть в нос, и это создавало впечатление, что он чем-то недоволен. Поинтересовавшись, много ли в редакции кадровых военнослужащих и ее участием в боевых операциях, генерал спросил: «Где сейчас размещаетесь?» Я ответил, что мы пока используем типографию «Дагестанской правды» и потому придется работать в Махачкале. «Небось в самом центре? — задал вопрос командующий и, услышав утвердительный ответ, проворчал: — Неудачно. При первом же налете центру больше всего достанется. И вообще вам лучше всего перебраться из города в поле. Махачкала слишком мирной жизнью живет. Базар, театры, кино, по вечерам в парке танцы... Для населения это может быть и неплохо, но военных, которым завтра выступать в бой, такая обстановка расслабляет. Вам надо немедленно перебраться куда-нибудь рядышком с Хасавьюртом. Связь вам обеспечим». Я ответил, что для передвижения нам нужно три большегрузные автомашины: для ротации, стереотипного и наборного цехов. Командующий поморщился, кивнул и сказал: «Торговаться не будем. Один «студебеккер» дам. На большее в ближайшее время не рассчитывайте. Поднимитесь за два-три рейса, но из города выбираться. Ну а теперь о работе. На что собираетесь нажимать?»

И тут я вытащил свои «тезисы» и стал читать их по порядку пункт за пунктом, после каждого поднимая глаза на Петрова. Он согласно кивал. Я уже начинал внутренне торжествовать. Значит, все правильно. Когда я кончил читать, командующий снова кивнул и, протянув руку, сказал: «Дайте-ка сюда...» Пока он, задумавшись, перечитывал наше творение, я обратил внимание на регулярно повторяющиеся кивки и вдруг понял: ведь это чисто конвульсивное подергивание головой, которое бывает после тяжелой контузии. А тем временем генерал Петров усмехнулся и, подняв глаза на меня, решительно и твердо сказал: «Есть все и нет главного. Надо буквально в считанные дни сломать мирные настроения. У нас сегодня нет непосредственного соприкосновения с противником. Войска армии в массе своей еще не обстреляны. Правда, они в окопах, но впереди и вокруг тишина. И это создает видимость вольготного, мирного существования. А разрозненные отступающие части, которые нам придется пропускать через свою линию обороны и задерживать их уже в тылу, порой приносят дух паники. Запомните: через пять дней, самое большее через неделю, нам придется боем встретить передовые наступающие немецкие части. Значит, надо создать предбоевой накал, помните, как у Блока: «И вечный бой! Покой нам только снится...» А нам он и сниться не должен. На политическом языке это называется быть бдительным на каждом участке и каждую минуту». Петров встал из-за стола и, опуская на него кулак в конце каждой фразы, как бы ставя точку, заговорил горячо и темпераментно: «Газета может и должна создать среди солдат и офицеров боевую неподнятость, если хотите, определенную жажду боя... Вам виднее, как это лучше сделать, но мне кажется, что все материалы надо пронизывать именно этим тоном, и немедленно. Повторяю — речь идет о

нескольких днях, а потом начнется проверка боем. И все время бить в одну точку. Терек — наш последний рубеж. Дальше отступать некуда. Народ не позволит и не простит. И учтите еще состав нашей армии. Две азербайджанские дивизии, одна армянская, одна грузинская. Я вот несколько номеров газеты бегло просмотрел, у вас все больше фотографии русских, украинцев. Не годится так. Раз основная сила армии — народы Кавказа, значит, надо их славу поднимать, отыскивать героев среди них, использовать их национальные традиции и даже предания. Вот, например, у азербайджанцев есть свой национальный герой древности — Кёр-оглы, у грузин — Амиран, Таризл. У дагестанцев легендами окружено имя Шамиля... Поднимайте дух бойцов на примерах подвигов их предков. Это создаст у них и гордость и уверенность. А русские не обидятся. Мы все за Россию воюем. Писать надо смело и взволнованно, может быть, даже словом рядового солдата — из тех, кто уже воевал, и тех, кто встретит этот бой впервые. Чтобы шло это слово от души, говорило о самом дорогом — о жизни, светлой любви к отчизне и сокрушающей ненависти к поработителям. Это должно быть слово перед боем. Слово призыва: стих, рассказ о подвиге и совет бывалого, очерк и отчет о партийном собрании. И в первую очередь привлечь к участию опытных разведчиков, истребителей танков, артиллеристов и минеров. Не забыть письма из тыла. Письма родителей и родных. Пусть они звучат как наказ родины. И все это в течение самых ближайших дней, начиная буквально с завтра... Итак, устранить размагниченность, создать боевой накал, а уже потом все, что вы наметили и написали». И протягивая мне два листка нашей «программы», генерал Петров закончил: «Очень хочу, чтобы газетчики поняли, почувствовали обстановку и самым оперативным образом повернулись сами и повернули других к решению нашей главной проблемы. Если все ясно, то у меня больше вопросов нет». И когда я уже повернулся и сделал шаг к двери, командующий добавил: «А с городом поскорее прощайтесь. Насчет машины зайдите к начальнику автоотдела. Я ему позвоню».

Уже после первой встречи у меня создалось убеждение, что Петров человек крупного масштаба, большой культуры, с широким политическим кругозором. И боевой. Одесса и Севастополь говорят о многом. И вот эта еще способность наряду с большими категориями не забывать маленьких, казалось бы, частных вопросов: обремененный огромными задачами и величайшей ответственностью за судьбу бакинского направления, он не забыл о такой мелочи, как машина для редакции — нам ее выделили... После первой встречи, не смотря на некоторый афронт с нашими наметками по работе газеты, я уходил от Петрова под его обаянием, с желанием завтра же во весь голос сказать через газету то, что не просто приказал, а в чем меня убедил командующий... О своем визите к командующему и планах я тут же рассказал Уранову. Получил «добро» на исполнение. Шагая по комнате, Уранов говорил: «Вот видишь, я тебя предупредил, что наш командующий человек особый. Он сразу тебе главную точку нашел. Узнаешь поближе — полюбишь его». Было ясно, что сам Уранов уже переживал этот период влюбленности. Но не только он. Петрова действительно полюбили в войсках. Полюбили, несмотря на довольно крутой нрав, за справедливость, за безусловную личную смелость, за умение слушать и прислушиваться к голосу самых простых людей, за чуткость и отзывчивость.

Дальше я привожу рассказ В. И. Уранова:

— В первые же дни знакомства открыл я в Петрове одно удивительное качество: совестливость. Поехали мы с ним к командующему Северной группой войск представляться. Отутюжились, конечно, как положено, все регалии надели. У меня-то раз-два — и обчел-

ся, а у Петрова — во всю грудь. Едем это мы под Грозный, а дороги забиты. Женщины бредут с детьми, тачки со скарбом, повозки катят, скот гонят. Уходит народ от немца. И около одного мостика застряли мы. Пришлось переждать. Вот здесь-то и подошла к нашей машине одна женщина. Усталая, запыленная. Заглянула в машину, увидела нас да и сказала громко так, звенящим голосом: «Генералы... Как на парад вырядились. Пол-России провоевали, а ордена нацепили. Хоть бы народа постыдились...» Как пощечина эти слова хлестнули. Сидим молча. А когда поехали, Петров давай ордена с кителя снимать. Я ему: «Что вы, Иван Ефимович?» А он дрожит прямо и отвечает: «Права она... Права! Нельзя нам сейчас свои былые заслуги выставлять. Вот погоним немца, отвоеем город — я сам себе один старый орден повешу, отвоеем другой — второй повешу... А пока нечего нам выхваляться». И дело даже не в том, прав он или не прав, а вот к сердцу горячо он ее слова принял, и движение души было правильное...

Отношения между командующим и членом Военного совета Урановым с первого дня сложились очень доброжелательные. По своим человеческим качествам они не были похожи. И в то же время удивительно дополняли друг друга. Уранов своим спокойствием, чувством юмора, житейской практичностью порою как бы сглаживал взрывные начала в кипучей натуре Петрова. Всего несколько месяцев им пришлось поработать вместе, но за это время между ними ни разу не пробежала черная кошка. Уранов полюбил командующего сразу и ни от кого не скрывал этого. В свою очередь и Петров очень уважительно относился к члену Военного совета и всегда и во всем считался с его точкой зрения. Эта уважительность, полная согласованность в действиях высших армейских руководителей создавали добрую рабочую атмосферу и в штабе армии и в подчиненных войсках.

И еще один эпизод из рассказов Кокорева:

— Однажды я встретился около домика командующего с начальником инженерных войск Смольяниновым. Оказывается, наши саперы на два дня раньше срока сумели скрытно сосредоточить около будущей переправы через Терек все необходимое и ждали только команды. А теперь он докладывал командующему, что за эту ночь удалась без потерь восстановить мост, с утра открыли движение и наши войска на северном берегу реки уже получили столь необходимые для них боеприпасы, горючее и продовольствие. Войскам и командующему очень нужен был этот мост. Доклад инженера очень всех обрадовал. Петров встал из-за стола, подошел к рослому Смольянинову, пожал ему руку и, улыбаясь, сказал: «Отлично! Представьте людей к награждению. Хорошие вести принес. Вот раньше старый русский обычай был: гонцу, приносящему добрые известия, шубу с царского плеча дарить.— Генерал улыбнулся еще шире и развел руками.— Я лишен этой возможности. Во-первых, не царь, а во-вторых, и шубы-то у меня нет». Он на минуту задумался, а потом вдруг радостно произнес: «Хотя знаешь что? У меня бурка есть. Возьми в подарок. Не погнушайся...» Командующий снял висевшую над кроватью бурку и, как ни отказывался Смольянинов, набросил ее на плечи начальника инженерных войск, оглядел его и удовлетворенно отметил: «Прямо как на тебя сработана! Теперь только шашку, кубанку да коня — и казак! Настоящий казак!»... Уже на улице растроганный начинж снял бурку и дрогнувшим голосом сказал: «Вот человек... Ведь всего пять дней назад он меня так пробирал из-за этой переправы, что я места себе не находил. А теперь вот бурка... За это его, наверное, народ и любит».

Бои с каждым днем все приближались к рубежу обороны на реке Терек, они уже гремели в районе курортных городов Пятигорска, Железноводска, Ессентуков, Кисловодска. Там в упорных боях сдерживала наступление противника 37-я армия. Ей удалось оторваться от противника, и к 16 августа она вышла на линию, где находилась 44-я армия, и закрепилась на рубеже рек Баксан и Гунделен.

Несколько слов о себе

Если читатели помнят, я обещал в этой книге рассказать и о своей судьбе в точках ее соприкосновения с жизнью Петрова. Но в годы битвы за Кавказ я с Иваном Ефимовичем не встречался. Последний раз его видел перед войной, когда он, попрощавшись с курсантами училища, уехал к месту нового назначения.

Не знаю, много или мало одной пылкой преданности для того, чтобы считать себя не только связанным, но и близким к замечательному человеку. Впрочем, в истории много примеров подобной любви. Во всяком случае, я ощущал свою близость к Ивану Ефимовичу даже в те годы, когда мы не встречались. Что же касается первых двух лет войны и периода битвы за Кавказ, то в эти годы, как я говорил, у меня не было встреч с Петровым, но зато были значительные или даже экстраординарные точки соприкосновения наших судеб, когда жизнь и его и моя находилась на волосок от большой беды, а может быть, даже от смерти. Причем, как это ни странно, его жизнь и благополучие в какой-то мере зависели от меня.

В нашей исторической и мемуарной литературе называется несколько критических и трагических дней, когда стране грозили непоправимые последствия. Так было в период боев под Москвой и под Сталинградом. И это вполне справедливо. Но я хочу напомнить читателям, что не меньшая опасность нависла над нашим отечеством и в дни боев на Кавказе. Фронт здесь фактически рушился, наши армии откатывались — часть к Сталинграду, часть в Кавказские горы. Гитлеровская группа армий «А» не только, как огромный пресс, выжимала все наши части с краснодарских и ставропольских равнин, но и, как гигантская мясорубка, перемалывала все, что попадалось ей на пути. Наши силы, те самые 7 процентов общей численности советских войск, о которых уже было сказано, конечно же, не были в состоянии сдержать мощную группу армий «А».

«Располагая большим количеством танковых и моторизованных соединений, — рассказывает маршал А. А. Гречко, — немецко-фашистские войска превосходили наши войска в маневренности. Поэтому дивизии Южного фронта не сумели оторваться от противника и организовано отойти на указанные им рубежи. Кроме того, во время отхода нарушилось управление. Штабы фронта и некоторых армий часто теряли связь со своими войсками и не всегда имели точные данные о действиях подчиненных частей. Отступая, войска иногда оставляли населенные пункты без серьезного сопротивления».

К концу дня 28 июля между армиями образовались большие разрывы. Фронт обороны был нарушен. Войска оказались уже неспособными сдержать натиск превосходящих сил врага и продолжали откатываться на юг» (8, стр. 190).

Обстановка на кавказском направлении сильно осложнилась. Выход танковых и моторизованных войск противника в задонские и Сальские степи и на степные просторы Краснодарского края создал непосредственную угрозу прорыва в глубь Кавказа.

В нашей Ставке поняли нависшую опасность. Но отреагировать немедленно уже не было возможности. Группа армий «Б», наступающая на Сталинград, уже практически огадила свои армии, рвущиеся к Баку, от наших фланговых контрударов.

28 июля 1942 года народный комиссар обороны И. В. Сталин издал приказ № 227, известный всем фронтовикам под названием «Ни шагу назад!». Этот приказ не имеет себе равных в течение всей войны. Это был не только крик души, не только горькое обвинение, брошенное фронтовикам,— это было последнее предупреждение, в котором, как говорится, открытым текстом звучало: быть или не быть нашей родине!

Маршал А. М. Василевский называет этот приказ «одним из самых сильных документов военных лет по глубине патриотического содержания, по степени эмоциональной напряженности» (16, стр. 231). Вот несколько отрывков из этого приказа:

«Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперед, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население».

«Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения, и что хлеба у нас всегда будет в избытке... Такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам.

Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши средства не безграничны, территория Советского государства — это не пустыня, а люди — рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети... После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории — стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас уже сейчас нет преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину».

«Из этого следует, что пора кончить отступление. Ни шагу назад!»

«Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности».

«Можем ли мы выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно и наш фронт получает все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов.

Чего же у нас не хватает?

Не хватает порядка и дисциплины в ротах, в батальонах, в полках, в дивизиях, в танковых частях, авиаэскадрильях. Мы должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим спасти положение и отстоять нашу Родину» (16, стр. 231).

Этим приказом предписывалось снимать командующих армиями, командиров корпусов и дивизий, допустивших самовольный отход войск. Те же меры предлагалось применять и к командирам и комиссарам полков и батальонов за оставление воинами без приказа боевых позиций.

Этим приказом вводились штрафные батальоны, что имело самое прямое отношение ко мне.

Причем если для всех этот приказ был «ни шагу назад», то в моей личной судьбе с этого приказа началось «движение вперед».

Дальше, чтобы мой рассказ не выглядел натяжкой, я для подтверждения высказанной выше мысли приведу цитату из воспоминаний, которые были написаны мной в 1966 году и опубликованы в книге «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны», то есть задолго до того, как была задумана эта книга о Петрове, и являются, по сути дела, таким же документом, как и многие другие, приведенные в этой книге по иным поводам.

Здесь читатели опять встретятся с проблемой, давно решенной на XX съезде КПСС. Но я пишу об этом не для того, чтобы ворошить старые дела и высказывать обиды. Просто этот факт был в моей биографии и, как говорится, из песни слова не выкинешь, тем более что все это имело прямое отношение и к Петрову. Итак, из моих воспоминаний:

«Эти воспоминания придется начать с того, что я не знал о грянувшей войне. В наши дни может показаться странным — как такое огушительное, потрясшее весь мир событие могло пройти мимо какого-нибудь человека. И все же это так. Я не знал о начавшейся войне ни 22 июня 1941, ни через неделю, ни через месяц. Не может такое быть? Очень даже может.

В те дни я сидел в одиночной камере.

За что я угодил сюда? В те годы попасть в тюрьму было очень просто. Достаточно было сказать... Впрочем, это не тема наших воспоминаний. О тех временах написано много... Не берусь делать каких-либо обобщений. Скажу лишь о себе.

Я жил с родителями в Ташкенте. В 1939 г., после окончания средней школы, поступил в Ташкентское военное училище им. В. И. Ленина. В мае 1941 г. в училище произошел очередной выпуск лейтенантов. Но на складе остался не выданным один комплект обмундирования: шинель и гимнастерка с двумя кубарями на петлицах, новый хрустящий ремень, хромовые сапоги, чемодан и прочее «приданое» молодого командира. Это был мой комплект. Его шили для меня. Я ходил на примерки.

Меня арестовали незадолго до выпуска. И вот за что.

Однажды, готовясь к семинару, я читал брошюру о работе Ленина «Что делать?»... Сразу предупреждаю: никаким сознательным борцом культа личности Сталина я не был. Просто я очень любил Ленина и меня корбило от того, что о Ленине вспоминали все реже.

Вот и в тот вечер, читая брошюру, я подчеркнул в ней красным карандашом имя Ленина — оно упоминалось 60 раз, а синим карандашом — Сталина, о нем говорилось 80 раз. Затем сказал соседу, такому же курсанту, как я, он сидел за этим же столом:

— Черт знает что! Когда Ленин писал «Что делать?», он даже не знал, что на свете существует Сталин. Они встретились гораздо позже! Ну почему нужно заслонять Ленина Сталиным? Зачем ему приписывать то, чего он не делал?

Я показал соседу свои подсчеты в брошюре. Этого было достаточно. Меня арестовали. В 19 лет я стал «врагом народа». Первый вопрос, который мне задали на допросе, звучал так:

— Кто вам давал задание компрометировать вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина?

Серьезная формулировка для тех дней! И попробуйте на этот вопрос ответить!

Однако вернемся к воспоминаниям о войне. Через несколько месяцев меня перевели в общую камеру. Естественно, я стал спрашивать, какие новости на воле. Мой собеседник, пожилой, исхудавший человек, печально сказал:

— Дела плохи, наши войска оставили Киев.

В полной уверенности, что со мной говорит сумасшедший, я отошел от этого человека подальше. Затем я заговорил с другим, третьим. И стал замечать, что теперь уже от меня люди отходят с опаской. Они меня принимают за помешанного. И не напрасно — может ли быть человек нормальным, если у него в сознании про-

вал, если он ни слова не знает о войне, которая полыхает над страной уже несколько месяцев?

Вот так я впервые услышал о войне. Дальнейшее развивалось по обычной для тех времен схеме. Чтоб не погибнуть в подземелье и выйти под небосвод, я «признал вину». Несправедливый суд... Пересыльный пункт. Обледеневшие товарные вагоны. Долгий путь на север. Лагеря» (17, стр. 530—532).

Напомню: арестовали меня еще до начала Великой Отечественной войны. Именно в те годы и над головой Ивана Ефимовича ходили тучи, которые описаны мной в главах о «персональном деле» Петрова, обвиненного в связи с «врагами народа». Тогда вроде бы все кончилось для Ивана Ефимовича благополучно, честные коммунисты не дали его в обиду. Но «благополучное завершение», если можно таким считать «строгий выговор с предупреждением и с занесением в учетную карточку», оказывается, не было последним косым взглядом на Петрова какого-то недоброжелателя. Вот тому подтверждение. Когда мне задавали вопрос: «Кто вам давал задание компрометировать вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина?» — я, конечно же, не мог ничего ответить, потому что никто мне такого задания не давал, да и сам я в мыслях не имел такого намерения, даже если и заводил разговор о каких-то появившихся у меня сомнениях. И вот тут мне следователь подсказывает: «Ты еще молодой, тебе нет и девятнадцати, сам ты не мог до всего этого додуматься, вспомни, кто тебя натолкнул на такие мысли?» Я действительно пытался припомнить, но никто со мной о Сталине, да тем более в смысле каких-то сомнений, не говорил. А следователь подсказывал: «Ты часто бывал в доме Петровых, еще до поступления в училище, может быть, это Петров как-то сравнивал Ленина и Сталина?» Сначала я даже не насторожился от такой подсказки: ведь ничего подобного не было, в доме Петровых я общался с Юрой, а Иван Ефимович относился ко мне так, как обычно относятся к приятелю сына, да ему просто некогда было с нами заниматься какими-то разговорами. Но потом, когда следователь возвращался к этой мысли не раз, я вдруг уловил, куда он клонит! В одиночке у меня было достаточно времени, чтобы разобраться во всем этом. Я понял, что сам как курсант и начинающий поэт не представляю большого интереса для людей, допрашивающих меня. Им хочется блеснуть крупным «делом», в котором были бы замешаны военные с большими званиями. И достаточно мне «вспомнить» какую-нибудь, хотя бы пустяковую фразу, оброненную Петровым или редактором военной газеты, где я тогда начинал печататься, — о нем меня тоже спрашивали — сразу же решила бы судьба этих людей и возникло бы «крупное групповое дело». Поняв это, я по-своему, по-мальчишески стал хитрить. И на очередном допросе, когда разговор зашел опять о Петрове, я с напускной обидой сказал: «Никогда таких разговоров не было. Петров же солдафон! К нему не так подойдешь, не так руку к головному убору приложишь, он тебя два-три раза кругом повернет и заставит снова обратиться. Какие могут быть с ним разговоры! У него «ать-два», «так точно» и «можете идти!»

Каюсь и винюсь перед светлой памятью Ивана Ефимовича, никогда он солдафоном не был. Но ложь моя, как говорится, была во спасение. К тому же Петров действительно никогда в разговорах со мной не касался каких-либо политических тем и тем более не высказывал никаких сомнений. Такую же напраслину я наговаривал и на умнейшего и доброжелательного ко мне редактора газеты «Фрунзенец», который часто беседовал со мной на литературные темы и главным образом давал советы как молодому, начинающему писателю. Но и он тоже никогда не вел со мной разговоров, в которых был бы какой-то подтекст.

В общем, я сделал все, чтобы не бросить тень на этих людей. И то, что оба остались на свободе в те очень опасные дни, служит лучшим подтверждением того, что я говорю правду.

К периоду битвы за Кавказ я уже находился в лагере, на лесоповале, там, где, как в песенке поется, «шпалы кончились и рельсов нет», — в далеком Тавдинлаге.

Я несколько раз писал письма в Верховный Совет Михаилу Ивановичу Калинин с просьбой отправить меня на фронт, в действующую армию. Я человек с хорошей военной подготовкой, писал я, дайте мне возможность бить врагов и доказать тем самым свою преданность родине. Ответа на эти письма я не получал, скорее всего они не доходили до адресата.

Как это ни странно, нефть сыграла большую роль и в моей судьбе. Когда нависла угроза над Кавказом и перспектива для страны и армии остаться без горючего стала реальной, Государственный Комитет Оборона или какая-то другая руководящая инстанция решили сделать запасы нефти на Урале. Меня коснулось решение о строительстве нефтям возле Свердловска. В начале 1942 года в нашем лагере срочно были отобраны люди поздоровее и помоложе, в число которых попал и я. В эшелоне, состоящем из красных теплушек, нас быстро привезли в Свердловск и разместили в лагере на окраине города. Мы стали строить нефтямы. Строить, пожалуй, громко сказано. Все расчеты были сделаны инженерами, а мы, как простые землекопы с тачками и носилками, рыли огромные котлованы, к которым подвели железнодорожные ветки, и прямо из цистерн в эти котлованы сливали нефть. Там, где довелось работать мне, нефтям было вырыто много, запасы сделаны большие, наверное, были такие же хранилища и в других промышленных центрах, но я этого не знаю. Вот так я, в то время сам не ведая о том, соприкоснулся с Петровым, который защищал источники нефти на Кавказе.

Воспользовавшись близостью большого города, я однажды попросил вольнонаемного работника бросить в почтовый ящик в городе мое очередное письмо Калинин. Вот это письмо и дошло, так как в конце 1942 года поступил ответ (как выяснилось потом, не мне одному), в нем говорилось: удовлетворить просьбу заключенного (имярек) и отправить на фронт с зачислением в штрафную роту, чем дать возможность искупить свою вину перед родиной, а если эта возможность не будет использована вышеназванными (имярек), то досиживать оставшийся срок после окончания войны. Скажу еще и о том, что приказ № 277 от 28 июля 1942 года был подписан в день моего рождения, и с этой строжайшей бумаги у меня начиналась новая жизнь.

Я был зачислен в одну из создавшихся согласно этому приказу штрафных рот. Строгое положение об этих ротах требовало: искупить вину кровью, то есть штрафник должен быть ранен или убит, только после этого снималась вина.

Надо сказать, при всей строгости и, как, может быть, покажется в наши дни, жестокости положения о штрафных ротах для многих в те дни эта суровость все же была возможностью искупления. Ведь иногда случалось: в бою оплошал человек, растерялся, порой даже не сам, а подчиненные подвели командира, отступили, не выдержали. Что же, сразу к стенке или к вырытой могиле ставить? Конечно же, такого командира лучше бы направить в штрафную роту — больше пользы и для него и для родины. И вот состоялась эта суровая справедливость — штрафные батальоны для провинивших-

ся введены законом. И я — один из первых штрафников. Тяжело, очень тяжело тому, кто был без пяти минут лейтенантом, начинать войну даже не рядовым красноармейцем, а еще ниже, совсем бесправным и даже в каком-то отношении презируемым штрафником.

Ну да ладно, речь не обо мне, речь о Петрове. И поскольку он вложил в меня очень многое как мой наставник в военном деле и просто как человек еще до того, как я поступил в училище, скажу еще несколько слов, имеющих самое прямое отношение к Петрову, потому что умелыми действиями своими на фронте я обязан, конечно же, и ему.

Я прошел путь от рядового до гвардии полковника. Награжден всеми боевыми наградами, доступными солдату и фронтовому лейтенанту, начиная от медали «За боевые заслуги» и кончая званием Героя Советского Союза. И вот уже сорок лет ношу высокое звание коммуниста.

По ту сторону фронта

Для того чтобы у читателей было ясное представление о боях 44-й армии Петрова на рубеже реки Терек, необходимо заглянуть в расположение противника. Мне кажется, лучше всего возвратиться здесь немного назад и дать короткую ретроспекцию с тех дней, когда начиналось наступление гитлеровцев с рубежа реки Дон.

Гитлер был абсолютно уверен в успехе наступления, не собиравшись ни с кем делить лавры предвкушаемой победы, поэтому, как уже говорилось, находился в Виннице, в специально построенной для него ставке, поближе к театру военных действий.

Кстати, ставку эту несколько месяцев строили военные инженеры под видом санатория для офицеров. Вся зона строительства была оцеплена охраной и колючей проволокой. Несколько тысяч военнопленных, работавших там, и даже некоторые немцы — мастера-отделочники догадывались, что строится здесь не то, о чем говорят официально, но чтобы эти их догадки не были разглашены, участвовавших в строительстве после его завершения эсэсовцы уничтожили.

Как уже было сказано, для обеспечения главной задачи — захвата Кавказа и прикрытия левого фланга группы армий «А» — был нанесен удар в направлении Волги и города Сталинграда. 12 июля фашистские войска вступили на территорию Сталинградской области. Продвижение гитлеровских частей шло для них успешно, и поэтому в директиве Гитлера № 44 от 21 июля сказано:

«Неожиданно быстро и благоприятно развивающиеся операции... дают основания надеяться на то, что в скором времени удастся отрезать Советский Союз от Кавказа и, следовательно, от основных источников нефти и серьезно нарушить подвоз английских и американских военных материалов. Этим, а также потерей всей донецкой промышленности Советскому Союзу наносится удар, который будет иметь далеко идущие последствия» (3, т. 5, стр. 154)

Гитлер настолько был уверен в успехе своих войск в районе Волги и Сталинграда, что отобрал у группы армий «Б» 4-ю танковую армию и включил ее в группу армий «А», чтобы она тоже наносила удар в сторону Грозного и Баку.

17 июля советские войска на сталинградском направлении получили директиву:

«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает под вашу личную ответственность немедленно организовать сильные передовые отряды и выслать их на ру-

беж р. Цимла от Чернышевская и до ее устья, особенно прочно занять Цимлянская, войдя в связь здесь с войсками Северо-Кавказского фронта» (3, т. 5, стр. 159).

17 июля авангарды дивизий 6-й немецкой армии в излучине Дона, на рубеже рек Чир и Цимла, столкнулись с передовыми отрядами 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта, высланными согласно этой директиве.

Вот с этого момента и считается начало великой Сталинградской битвы, со встречи этих передовых отрядов с 6-й армией Паулюса.

Шесть дней вели упорные бои эти передовые отряды, они ставили развернуться главные силы 6-й немецкой армии, и противник почувствовал, что он встретил здесь какие-то новые части и что выводы о легком наступлении на сталинградском направлении несколько преждевременны. Уже 23 июля в очередной директиве Гитлер совсем по-другому оценивает силы советских частей:

«Во время кампании, продолжавшейся менее трех недель, большие задачи, поставленные мной перед южным крылом Восточного фронта, в основном выполнены. Только небольшим силам армии Тимошенко удалось уйти от окружения и достичь южного берега р. Дон. Следует считаться с тем, что они будут усилены за счет войск, находящихся на Кавказе. Происходит сосредоточение еще одной группировки противника в районе Сталинграда, который он, по-видимому, собирается оборонять» (3, т. 5, стр. 160).

Далее в этой директиве говорилось:

«На долю группы армий «Б», как приказывалось ранее, выпадает задача наряду с оборудованием оборонительных позиций на р. Дон нанести удар по Сталинграду и разгромить сосредоточившуюся там группировку противника, захватить город, а также перерезать перешеек между Доном и Волгой и нарушить перевозки по реке. Вслед за этим танковые и моторизованные войска должны нанести удар вдоль Волги с задачей выйти к Астрахани и там также парализовать движение по главному руслу Волги» (там же).

Вот так Гитлер силами группы армий «Б» планировал расчлнить территорию до Волги и изолировать кавказское направление от Москвы и вообще от всей североευропейской части нашей страны.

Получая такое надежное и реальное обеспечение слева, группа армий «А», казалось бы, могла продолжать наступление на Кавказ. Однако группировка советских войск, находившаяся под Сталинградом, существовала и нависала над флангом немецких войск, рвущихся к Баку, и без разрешения этой важной стратегической проблемы по устранению угрозы с севера не могла быть обеспечена устойчивость всего кавказского направления.

Гитлер теперь понимал и если не сам дошел до этого, то ему, видимо, убедительно доказали его военные сподвижники, что от исхода сражения под Сталинградом зависело осуществление всех его планов на юге, намеченных на летнюю кампанию, и прежде всего захват Кавказа.

Исходя из этого Гитлер посылал в бои под Сталинградом все новые и новые соединения. Совсем недавно он надеялся, что 6-я армия Паулюса легко выполнит задачу самостоятельно, а через две недели вынужден был перебросить с кавказского направления на сталинградское 4-ю танковую армию.

Гитлеру очень хотелось захватить Сталинград еще до начала наступления на Северном Кавказе, но этого не произошло. 22 июля 6-я и 4-я танковые немецкие армии вышли к переднему краю главной

полосы обороны Сталинградского фронта, которая находилась в 120 километрах от города.

Но Гитлеру не терпелось поскорее осуществить свои планы. К тому же сил у него было достаточно и он знал, какие советские армии противостоят ему на Кавказе — измотанные в боях, не имеющие снабжения из центральной части страны. Гитлер спешил, и поэтому 25 июля все же был нанесен удар по Кавказу группой армий «А». В первые дни фашистское наступление шло так стремительно, что 27 июля начальник оперативного отдела генерального штаба сухопутных войск генерал Хойзингер передал начальнику штаба группы армий «А» генералу Грайффенбергу следующее:

«Из предместного укрепления Ростов не нажимать слишком сильно на юг, чтобы не принудить противника к отступлению, прежде чем он будет окружен продвигающимся вперед левым флангом группы армий» (3, стр. 207).

Наступление на Кавказе развивалось настолько успешно, что именно в эти дни Гитлер, как уже говорилось, разрешил перебросить 4-ю танковую армию на сталинградское направление, где все еще не удалось захватить город.

1 августа командующий группой армий «А» генерал-фельдмаршал Лист послал командующему 4-й танковой армией телеграмму:

«В связи с уходом 4 т. а. из района группы армий «А» я еще раз вынужден ее благодарить как за хорошее руководство, так и за выдающиеся успехи частей. Перед армией стоит теперь новая тяжелая задача, выполнение которой должно одновременно обеспечить тыловое прикрытие группы армий «А». Я желаю армии успешно выполнить также и эту задачу и надеюсь по выполнении ее снова увидеть армию в составе группы армий «А»...» (11, стр. 73).

Гитлеровские генералы мнили себя рыцарями. А я прошу читателей запомнить это решение Гитлера и его генерального штаба, потому что в дальнейшем станет очевидно: «рыцари» окажутся недалекими новидными вояками, этот просчет будет им очень дорого стоить. Можно сказать и более определенно: с передачей 4-й танковой армии под Сталинград случилось то, что на неофициальном, ненаучном языке называется удар не кулаком, а растопыренными пальцами. Ну а лично Гитлера это решение характеризует как непоследовательного стратега: приняв решение, поставив большие задачи, сосредоточив для их осуществления необходимые силы, фюрер уже на первом этапе стал их распылять; вот поэтому и называется такой удар ударом растопыренными пальцами, и в самом этом народном выражении таится невысокое мнение о том, кто наносит такие удары.

Однако все это станет очевидным несколько позднее, а пока генерал-фельдмаршал Лист попрощался с 4-й танковой армией и продолжал развивать наступление на Кавказ: 17-я армия устремилась к Краснодару и 12 августа овладела им. 1-я танковая армия рвалась через Армавир на Майкоп и дальше на Туапсе, чтобы окружить ту самую группировку, которую Хойзингер не советовал «выжимать» из района предстоящего окружения. 6 августа части 1-й танковой армии захватили Армавир, а 9 августа Майкоп.

Гитлер и многие его сподвижники были в радостном возбуждении. Майкоп — это уже первая нефть, к которой так они стремились. Начальник генерального штаба итальянской армии маршал Кавальеро в своем дневнике в эти дни записал:

«За армиями Листа следуют 10 тысяч специалистов и квалифицированных рабочих, которые должны после взятия Майкопа восстановить нефтяные скважины. Согласно подсчетам для того, чтобы снова пустить их в эксплуатацию, потребуется от 4 до 5 месяцев» (13, стр. 93).

Окрыленный успехами на юге, Гитлер ожидал включения в войну новых союзников, которые ему обещали свое активное содействие именно с этих рубежей. Он спрашивал: «Как дела с турками?» В августе ему доложили:

«Премьер-министр турецкого правительства Сараджогу в беседе с германским послом заявил, что «как турок он страстно желает уничтожения России... Русская проблема может быть решена Германией — только если будет убита по меньшей мере половина всех живущих в России русских» (11, стр. 93).

Более конкретно высказывался турецкий генеральный штаб. Он считал:

«Вступление Турции в войну почти неизбежно. Оно может произойти и произойдет в тот момент, когда турецкая армия будет располагать достаточным количеством вооружения. Турецкое наступление пошло бы через Иранское плоскогорье по направлению к Баку» (11, стр. 93).

Фюреру также докладывали, что активизировались его сторонники в Иране. И действительно, по случаю занятия немцами городов Северного Кавказа многие профашистски настроенные элементы, подстрекаемые гитлеровской агентурой, вывешивали нацистские флаги. Среди населения распространялись слухи о том, что германская армия успешно овладевает Кавказом и в самое ближайшее время немецкие войска войдут в Иран.

На Дальнем Востоке Япония уже открыто готовилась вступить в войну против Советского Союза. Еще совсем недавно генерал-полковник Руофф, указав на восток, в сторону горящего Батайска, картинно заявил японскому атташе, приехавшему в район боевых действий:

«Ворота на Кавказ открыты. Близится час, когда германские войска и войска вашего императора встретятся в Индии» (15, стр. 7).

13 августа генерал-полковник Гальдер в своем дневнике записал:

«Становится очевидным намерение противника удерживать Северный Кавказ и создать для обороны Южного Кавказа группу на Терекке и к югу от него».

Через три дня Гальдер записал:

«Противник подбрасывает свежие силы от Баку на Махачкалу» (14, стр. 321, 323).

В дополнение к продвигавшимся на грозненско-махачкалинском направлении ганковым и мотопехотным войскам Гитлер специально выделил одно из лучших своих соединений — дивизию «Великая Германия», как он сам сказал, «для продвижения на Баку». Гитлер лично заботился об этой дивизии и дал указание как можно скорее завести ее горючим, чтобы она дошла с этой заправкой до Баку.

Победа казалась Гитлеру совсем близкой. По всей Германии были развешаны праздничные флаги. По радио не умолкали марши и речи.

Повод для торжества очень был эффектный и выразительный: на Эльбрусе установлены флаги со свастикой!

Берлинские газеты кричали: «Покоренный Эльбрус венчает конец павшего Кавказа!» В иллюстрированных журналах, кинохронике — всюду изображение капитана Грота и его горных стрелков. Гитлер наградил Грота за Эльбрус высшей наградой — Рыцарским крестом, а его солдат Железными крестами. Радио Берлина прославляло «национальных героев».

Эти передачи слышали и в Москве, и они, конечно, вызывали гнев у Верховного, а следствием этого гнева было... Тут я лучше передам слово маршалу А. А. Гречко:

«Значительно усложнилась работа управления фронта и штаба 46-й армии по усилению обороны Главного Кавказского хребта в связи с приездом в Сухуми 23 августа в качестве члена Государственного Комитета Обороны Берии. Вместо конкретной помощи, в которой нуждались командование и штаб 46-й армии, Берия заменил целый ряд ответственных работников армейского и фронтового аппарата, в том числе и командующего армией генерал-майора В. Ф. Сергацкова.

Однако не грубое администрирование, а кропотливая организаторская работа штабов фронта и армии позволила новому командующему 46-й армией генерал-майору К. Н. Леселидзе взять в руки рычаги управления войсками и направить их действия на уничтожение просочившихся через перевалы вражеских войск» (11, стр. 161).

Добавлю здесь от себя, что это «уничтожение просочившихся» произошло не сразу, а позже, частями 46-й армии, входившей в подчинение генералу Петрову, поэтому я и сделал этот небольшой экскурс в район Главного Кавказского хребта с участка 44-й армии, где пока еще Петров защищает от Клейста и его танковой армии подступы к Грозному и Баку с их нефтяными источниками, до предельной крайности необходимыми Гитлеру и его армии.

Но коль скоро я начал этот экскурс, надо сказать несколько слов по поводу успеха гитлеровцев и нашей неудачи в боях за перевалы и за Эльбрус.

Неоднократно отдавались приказы и директивы командованием разных степеней вплоть до Ставки об укреплении обороны Кавказа, и в частности перевалов, но в горячке боев при отходе от Дона исполнение приказов и контроль за этим не были организованы так, как это следовало бы.

Беспокойство о перевалах несомненно было постоянным. Приведу директиву Верховного Главнокомандующего от 20 августа 1942 года, которая была дана командующему Закавказским фронтом генералу армии Тюленеву:

«Противник стремится вторгнуться в пределы Закавказья и для достижения этой цели не ограничится действиями крупных сил на основных операционных направлениях.

Враг, имея специально подготовленные горные части, будет использовать для проникновения в Закавказье каждую дорогу и тропу через Кавказский хребет, действуя как крупными силами, так и отдельными группами... Глубоко ошибаются те командиры, которые думают, что Кавказский хребет сам по себе является непроходимой преградой для противника. Надо крепко запомнить вам, что непроходимым является тот рубеж, который умело подготовлен для обороны и упорно защищается. Все остальные преграды, в том числе и перевалы Кавказского хребта, если их прочно не оборонять, легко проходимы, особенно в данное время года.

Исходя из этого, Ставка требует наряду с созданием прочной обороны на основных операционных направлениях немедленно усилить оборону Главного Кавказского хребта и особенно Военно-Грузинскую, Военно-Осетинскую и Военно-Сухумскую дороги, исключив всякую возможность проникновения противника на этих направлениях» (4, стр. 55—56).

По стилю письма, по некоторым свойственным только Верховному фразам (например: «Надо крепко запомнить вам...» — и другим выражениям) можно без труда установить: Сталин сам писал эту директиву или проект ее. Написана она со знанием дела, указания в ней даны правильные.

А теперь я подскажу читателям: гитлеровские горные стрелки установили на Эльбрусе два флага со свастикой 21 августа 1942 года. Директива Верховным подписана 20 августа 1942 года. Сравните даты — и комментарии будут излишни. **Надо прямо сказать**, что и командование Закавказского фронта не отличалось большой активностью и исполнительностью в подготовке к обороне кавказских перевалов. Чтоб не выглядеть пристрастным в оценке нашего командования, приведу цитату из книги ученого Х. М. Ибрагимбеи, большого знатока обстановки и боев на Кавказе:

«К сожалению, командование Закавказского фронта, готовясь в свое время к обороне высокогорных перевалов в центральной части Главного Кавказского хребта, недооценило всю важность укрепления этого района в инженерном отношении. Оно ошибочно считало, что горные вершины и высокогорные перевалы сами по себе — без дополнительного их укрепления скрытыми огневыми позициями, без минирования горных проходов, проезжих, вьючных дорог и троп, т. е. без организации их обороны войсками, — являются непреодолимой преградой для врага. Кроме того, командование фронта недооценило и возможности противника. Между тем в составе группы армий «А»... наступали специальные войска, сведенные в 49-й горнострелковый корпус под командованием специалиста войны в горах генерала горных войск Р. Конрада» (13, стр. 103—104).

Вот так, Кавказские горы у нас, а к обороне не подготовлены. А вот горные стрелки из дивизии «Эдельвейс» еще задолго до начала войны разведали все эти перевалы и теперь уверенно вели подразделения по нашим горным дорогам. Цитирую из той же книги Х. М. Ибрагимбеи:

«Как впоследствии стало известно, в боях за перевалы Главного Кавказского хребта в дивизии «Эдельвейс» участвовали многие офицеры, которые в 30-х годах посещали Кавказ в качестве туристов, поднимались на его вершины и высокогорные перевалы, бродили по глубоким ущельям. И теперь, идя на штурм Главного Кавказского хребта, они свободно ориентировались в этих местах» (13, стр. 106—107).

«...многие офицеры... в 30-х годах», а тут директива об укреплении и обороне перевалов чуть ли не в тот самый день, когда на Эльбрусе уже флаги противника! Как говорится, комментарии излишни.

Через много лет после этих событий, в 1978 году, я встретился с генералом И. В. Тюленевым в Центральном красногорском военном госпитале, наши палаты были рядом. Иван Владимирович был тяжело болен, но в минуты, когда болезнь его отпускала, он, отдыхая, любил поговорить, вспомнить былое и с горечью, очень самокритично говорил о неудачах командования в руководстве боями за перевалы. Я не помню точно его слова и, поскольку они касаются такого серьезного дела, как критика, лучше приведу написанное по этому поводу самим Тюленевым:

«Анализируя сейчас причины захвата врагом этих важных перевалов, следует сказать, что в этом была немалая доля вины командования и штаба Закавказского фронта, опрометчиво решивших, что перевалы сами по себе недоступны для противника. Некоторые из нас считали главной задачей войск фронта оборону Черноморского побережья, где были развернуты основные силы 46-й армии. А она, в свою очередь, неправильно организовала оборону перевалов и попросту «проспала» их. Врага нужно было встретить на склонах гор, а не ждать, пока он поднимется» (4, стр. 56—57).

В общем, план операции «Эдельвейс» близился к завершению; более двух третей территории, намеченной к захвату этим планом, было взято: почти весь Северный Кавказ, кубанские просторы и Сальские степи, майкопский нефтеносный район, перевалы через Главный Кавказский хребет. Эльбрус, увенчанный флагами со свастикой.

На пути к Баку остался один, последний рубеж с последними силами Красной Армии здесь, на Кавказе, — тремя армиями, одной из которых командует генерал-майор И. Е. Петров.

На последнем рубеже

Август 1942 года был жарким — не только из-за летнего зноя, но и из-за яростных боев на рубеже реки Терек.

Памятные, дорогие сердцу каждого советского человека места. Это тот самый Терек, о котором писал Лермонтов:

Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.
Но, по степи разбегаясь,
Он лукавый принял вид
И, приветливо ласкаясь,
Морю Каспию журчит...

Армия генерала Петрова оборонялась на берегу Терека, там, где он «по степи разбегался» и впадал в «море Каспий». Здесь был правый фланг обороны этого рубежа. А левый фланг Северной группы войск опирался на горы Главного Кавказского хребта. От города Орджоникидзе начинается Военно-Грузинская дорога — место, примечательное многими историческими событиями. Именно здесь, где дорога вьется вдоль ущелий и скал, «Терек воет, дик и злобен».

Старые римские историки называли эти места Кавказскими, или Дарьяльскими, воротами и писали, что через них двигались народы из Европы в Азию и из Азии в Европу. Были здесь некоторое время и настоящие, а не символические ворота. Плиний так писал о них: «Между горами, которые вдруг, разом раздвигаются, природа создала с необычайным усилием проход, запертый воротами из бревен, окванными железом, внизу которых течет река Дириодорис (Терек.— В. К.). Сбоку, на скале стоит замок Кумания, достаточно укрепленный для того, чтобы преграждать путь бесчисленным племенам».

В этом замке в более поздние времена жила царица Тамара, о которой ходили бесчисленные легенды, и одну из них использовал Лермонтов:

В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила...

Наверное, нет на земле второго такого места, где произошло столько битв и было пролито так много крови! Дарьял половцы отни-

мали у грузин, грузины у оссов, греки у персов, турки у греков, арабы у турок и опять грузины у хазар. В начале XIII века через Дарьял прорываются монгольские орды Чингисхана и растекаются по русским равнинам.

Я убедился из бесед с молодыми читателями, что некоторые из них, глядя на современную карту, думают, что монгольские завоеватели пришли с востока. Нет — Чингисхан был опытный полководец, он не продирался сквозь сибирские леса, а, завоевав Китай, Индию и цветущие оазисы, где в наши дни расположены республики Средней Азии, обошел южнее пустыню Каракум и Каспийское море и именно через Дарьяльский проход пошел на русские просторы. Здесь вели монгольские войска Субэдей и Джебе. Русские князья в союзе с полвцами встретили монголов у реки Калки, после того как они прошли Кавказ.

Дважды проводил через Кавказские ворота свое войско Тамерлан. В каждом веке в этих узких воротах гремели битвы, и не потому ли Терек, словно вобравший в себя грохот и крики этих боев, «воет, дик и злобен».

В дни, когда я пишу эти строки, в Москве, в сквере на Тишинской площади воздвигнут монумент «Дружба навеки», отмечающий двухсотлетие подписания Георгиевского договора между Россией и Восточной Грузией. Проект монумента создал народный художник СССР Зураб Церетели, а архитектором при его воплощении стал известный русский поэт Андрей Вознесенский.

Военно-Грузинская дорога построена русскими войсками в конце XVIII века. Дорога войны стала дорогой дружбы. Эту дорогу можно назвать не только военной, но и литературной, по ней ходили пешком, ездили в седле или на повозках Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Лев Толстой, Чехов, Горький и многие другие писатели. И как бы навстречу им шли в Россию Чавчавадзе, Церетели, Николадзе. Их называли тергдалеули, что означает — испившие воды Терека. Грузинские писатели приобщались к великой русской культуре, русские литераторы — к многовековой грузинской, вдохновляясь на прекрасные свои произведения.

В «Путешествии в Арзрум» Пушкин пишет:

«С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка... Мы тронулись. Впереди поехала пушка окруженная пехотными солдатами... фитиль курился, и солдаты раскуривали им свои трубки. Медленность нашего похода (в первый день мы прошли только пятнадцать верст), несносная жара, недостаток припасов, беспокойные ночлеги, наконец, непрерывный скрип нагайских аров выводили меня из терпения» (20, стр. 528).

В наши дни 208 километров этой дороги можно промчаться на автомобиле за четыре часа, а Пушкину, как вы, наверное, уже прикинули, потребовалось почти полмесяца, чтобы преодолеть это расстояние.

Не буду напоминать о более поздних событиях, связанных с этими местами, особенно в годы гражданской войны, надеясь, что они известны читателям.

И вот к этому историческому рубежу вышла армия новоявленных претендентов на мировое господство. Скажем прямо — никогда еще в прошлые века у захватчиков не было таких громадных сил, как те, с которыми подступил сюда Гитлер.

Гитлеровцы бросали все силы, чтобы сломить сопротивление советских частей на этом рубеже. А наши армии делали все возможное и невозможное для отражения сумасшедшего натиска врага. Действия обороняющихся на крайнем пределе много раз уже характеризовались двумя короткими словами, очень точно отражающими суть происходящего, поэтому и я повторяю их, ибо трудно сказать более исчерпывающе о происходившем на том рубеже: наши армии — стояли насмерть.

44-я армия Петрова находилась на правом фланге Северной группы войск и прикрывала Грозный, а за ним дорогу на Баку и каспийское побережье. Первые же удары гитлеровцев на этом направлении армия Петрова отразила, и настолько решительно, что Клейст, командующий 1-й танковой армией, стал искать более подходящее для прорыва направление. Проведя разведку, он решил прорваться к Грозному через Моздок. Клейст сосредоточил на узком участке две танковые и две пехотные дивизии и 23 августа нанес удар, в результате которого овладел Моздоком.

31 августа Гитлер в своей ставке дает указание генерал-фельдмаршалу Листу:

«Главная задача 1-й танковой армии — уничтожение противника в излучине Терека... Всеми имеющимися силами, и прежде всего подвижными, продолжать наступление на Грозный; чтобы наложить руку на район нефтепромыслов» (13, стр. 163).

В этой излучине Терека на пути к Грозному стояла, как я уже говорил, 44-я армия Петрова — и вот по предписанию Гитлера она должна быть уничтожена.

2 сентября 1-я танковая армия гитлеровцев приступила к осуществлению приказа, пехота с танками стали форсировать Терек.

На терском рубеже непосредственным противником генерала Петрова, с кем ему, как говорится, пришлось скрестить шпаги, был генерал-полковник Клейст. По происхождению он из потомственной военной семьи, несколько поколений которой были генералами. В начале нашего века Клейст уже был офицером: в первой мировой войне — командир эскадрона, в 1929 году — полковник. Еще до прихода Гитлера к власти стал генерал-майором, командиром кавалерийской дивизии. Сначала сдержанно относился к фашистам, но затем понял их империалистические цели и стал одним из ревностных исполнителей. В 1936 году он уже генерал-лейтенант. С началом второй мировой войны был назначен командиром 1-го танкового корпуса и отличился быстрыми маневрами при захвате Польши. Вместе с Гудерианом доказывал, что танки существуют не только для поддержки пехоты, но должны действовать и самостоятельно крупными соединениями. Участвовал в оккупации Голландии, Бельгии, Франции, Югославии, Греции. С первого дня нападения на Советский Союз отличался в боях напором и жестокостью. В операции «Эдельвейс», при осуществлении первой ее фазы, Клейст со своей 1-й танковой армией прошел более 600 километров от Дона до Терека. И вот здесь столкнулся с генералом Петровым и другими армиями Северной группы войск, получив задание уничтожить их и овладеть Баку.

Однако предназначенный к уничтожению Петров не просто отбивался с позиций на противоположном берегу Терека. Воспользовавшись переправой (помните, бурку подарил за нее инженеру?), он перебросил по ней часть войск и ударил во фланг противнику. Это, конечно же, внесло замешательство в ряды врага. С другого фланга та-

ким же маневром контратаковали гвардейцы 11-го корпуса. Переправа крупных сил врага была сорвана.

Однако, собрав силы, Клейст вновь бросился вперед и 4 сентября пробился на глубину до десяти километров на участке 9-й армии, соседней с армией Петрова. Здесь пробивали нашу оборону более 100 танков с десантом на них. В отражении этого удара большую помощь оказали летчики 4-й воздушной армии, они помогли нашим стрелковым дивизиям не допустить прорыва врага к Грозному и Орджоникидзе.

Генерал Масленников предпринял контрудары силами своих трех армий, намереваясь отбросить противника вновь на левый берег Терека и восстановить положение. 44-я армия Петрова получила усиление, и в период этих контратак в нее входили 77-я, 223-я, 402-я, 416-я азербайджанские, 89-я, 409-я армянские, 414-я грузинская стрелковые дивизии, 110-я калмыцкая кавалерийская дивизия, 30-я кавалерийская дивизия, 9-я, 10-я, 60-я, 84-я и 256-я стрелковые бригады, где были донские, кубанские казаки, дагестанцы, калмыки, осетины и другие народности — как говорится, полный интернационал!

В этих боях отличились бойцы всех национальностей, через некоторое время в списках награжденных появились фамилии тех самых сынов народов Кавказа, которые еще совсем недавно надели форму и чувствовали себя не очень уверенно. Огромная воспитательная работа командиров и политработников, на которую мобилизовали их генерал Петров и Военный совет армии, приносила благотворные результаты.

Гитлеровцы, захваченные в этих боях в плен, говорили, что их батальоны и роты почти полностью уничтожены, в них осталось по несколько десятков человек.

Таким образом, приказ Гитлера об уничтожении армии Петрова в излучине Терека не был выполнен. Более того, наши контрудары привели к уничтожению наступающих.

Такой неожиданный исход сражения, конечно же, не мог остаться без последствий. Группа армий «А» не достигла поставленной цели. Надо было искать виновника. Разумеется, Гитлер ни в коем случае не мог признать виновником провала операции «Эдельвейс» себя.

Еще 29 августа 1942 года Гальдер записал в своем дневнике о разговоре с Гитлером в тот день:

«Сегодня были очень раздраженные споры по поводу руководства операциями в группе армий «А». Пришлось говорить по телефону с Листом о тех мерах, которые надлежало бы принять, чтобы снова сделать наши действия маневренными» (14, стр. 332).

Через два дня, то есть 1 сентября, Гитлер заявил на совещании руководящего состава вермахта:

«Все зависит от упорства! Противник израсходует свои силы быстрее, чем мы... Кто-то должен выдохнуться, но не мы» (14, стр. 335—336).

Уже в начале сентября даже руководству гитлеровской армии становилось ясно, кто же все-таки выдыхается: удары соединений группы армий «А» в направлении Баку становились все слабее и слабее. 8 сентября Гальдер записал:

«Недостаточное продвижение группы армий «А» серьезно разочаровывает фюрера» (14, стр. 339).

В эти дни Гитлер просто не находил себе места. Он обрушивается с обвинениями на генеральный штаб, на руководство войск. И для того чтобы выяснить, что же творится там, впереди, посылает начальника штаба оперативного руководства ОКВ (верховного главного командования вермахта) генерала Йодля в группу армий «А» установить причины проваливающегося наступления на Кавказе.

Йодль, прибыв в штаб группы, заслушал командующего группой армий «А» генерал-фельдмаршала Листа и командира 49-го горнострелкового корпуса генерала Конрада, того самого, который совсем недавно еще был красой и гордостью гитлеровской армии. Их доклады и оценка обстановки были весьма неутешительными. Лист прямо сказал, что следует отказаться от попыток выхода к Черному морю через Кавказский хребет. Генерал-фельдмаршал просил Йодля доложить об этом Гитлеру и посоветовать ему, чтобы он разрешил отвести части горнострелкового корпуса хотя бы на перевалы. Лист также сказал о том, что наступление 1-й танковой армии в сторону Баку близко к своей остановке.

Когда Йодль вернулся в ставку Гитлера и доложил о своих переговорах с Листом, о том, что перспективы боев на Кавказе очень и очень нерадостные, даже сказал — мрачные, Гитлер пришел в неистовство. Как мог начальник штаба оперативного руководства, приехав на фронт, заниматься не тем, чтобы требовать выполнения его, фюрера, приказов, а обсуждать их отмену? Как мог генерал-фельдмаршал Лист игнорировать требование немедленного прорыва любыми средствами к побережью? Что это за самоволие генералов? Что вообще происходит? Он уже давно с трудом терпит Гальдера, возмущен Йодлем, отстранил Бока и других. Теперь с наихудшей стороны показал себя Лист.

Возникало полное несоответствие между желанием Гитлера продолжать операцию по захвату Кавказа и теми возможностями, которые оставались у фактически разгромленных войск. Командование группы армий «А» посылало телеграммы, полные растерянности. Оно предчувствовало неизбежное и окончательное поражение на Кавказе.

Сам генерал-фельдмаршал Лист, его окружение да и офицеры вышестоящих штабов уже не сомневались, что вот-вот разразится гром и Гитлер начнет отрывать головы виновникам.

И гром грянул. 9 сентября 1942 года генерал-фельдмаршал Лист был снят с поста командующего группой армий «А». Это ли не официальное признание провала операции «Эдельвейс» и замыслов Гитлера, связанных с ней? Пусть он считает виновным Листа, но операция «Эдельвейс» все же сорвалась. Советские части выстояли! И армия Петрова вместе с другими сделала для этого очень многое.

Желая проявить твердость в создавшейся сложной обстановке, Гитлер решил взять на себя командование группой армий «А». Но он не выехал в Сталино, где находился штаб группы, а руководил ею из своей ставки в Виннице. В течение месяца он пытался добиться перелома, но не смог этого сделать и назначил командующим группой армий «А» Клейста.

25 сентября 1942 года генерал-полковник Клейст, желая отблагодарить Гитлера и поднять его настроение, заявил, что он все же выпьет бокал за здоровье фюрера в Баку. Клейст был достаточно опытным командующим, он слов на ветер не бросал и свое заявление подкрепил соответствующими действиями. Он нацелил главный удар на так называемые Эльхотовские ворота — долину между горными хреб-

тами, которая выводит к Грозному и Орджоникидзе. Чтобы не оказаться в глазах фюрера просто хвостуном и наверняка выполнить обещание, Клейст сосредоточил на этом узком участке около 300 танков. Клейст всегда был сторонником мощного танкового удара, и надо сказать, что до терского рубежа эта тактика приносила успех. Желая поддержать своего любимца, Гитлер разрешил снять с туапсинского направления и передать Клейсту одну из лучших моторизованных дивизий СС — «Викинг».

В те дни, когда гитлеровцы готовили этот решающий удар, наша Ставка, явно не зная о нависающей опасности, вместо того чтобы ориентировать войска Северной группы на жесткую оборону, прислала директиву:

«Основной и немедленной задачей Северной группы войск Закавказья иметь уничтожение противника, прорвавшегося на южный берег реки Терек, и полное восстановление первоначальной линии обороны войск 9-й и 37-й армий, для чего немедленно приступить к ликвидации прорвавшегося противника, нанося основной удар по южному берегу реки Терек во взаимодействии с 10-м гвардейским корпусом, действующим по северному берегу реки Терек» (4, стр. 65).

У военных есть закон: приказы выполняются беспрекословно и обсуждению не подлежат. Так и поступали наши командиры всех рангов в годы войны. Это жесткий, но правильный закон, иначе воевать и тем более добиться победы нельзя. Но поскольку этот приказ поставлен не нам и прошло уже более сорока лет, мне кажется, можно поразмыслить над ним.

«Немедленно», «уничтожить», «полностью восстановить первоначальную линию обороны» — это приказывается 9-й и 37-й армиям, которые отступали несколько сот километров, не имеют танков, сильной артиллерии и других необходимых для наступления сил и средств. Да еще в тот момент, когда против них сосредоточился мощнейший ударный кулак, в котором только танков 300! Очень рискованно посылать свои войска в наступление в такой невыгодной обстановке.

Читатели, наверное, заметили, что в директиве Ставки не упоминается 44-я армия Петрова. Это, очевидно, потому, что армия Петрова не утратила своих позиций, стояла на прежнем рубеже, ей нечего было восстанавливать. И даже больше: Петров удерживал еще плацдарм на северном берегу Терека, с которого Ставка приказывала наступать 10-му гвардейскому корпусу.

Кроме отражения ударов противника с фронта, генерал Петров отбил несколько наскоков с открытого фланга, где на двухстах километрах, до самого устья Волги, в степях и барханах наших войск не было. А пытался отсюда прорваться через боевые порядки 44-й армии тот самый особый, секретный корпус «Ф» генерала Фельми, о котором было рассказано выше. Этот хваленый корпус не оправдал надежд фюрера, он не проник ни в Иран, ни в Индию, потерпев полное фиаско на первом рубеже, который обороняла армия генерала Петрова. В дальнейшем этот корпус был окончательно измотан в прикаспийских степях нашим 4-м гвардейским Кубанским казачьим кавалерийским корпусом под командованием генерал-лейтенанта Н. Я. Кириченко. Корпус Кириченко выходил в степи через боевые порядки 44-й армии, и она же надежно обеспечивала его тылы.

Итак, наши части не успели изготовиться для выполнения директивы Ставки, как Клейст рванулся первым в Эльхотовские ворота.

Авиация противника буквально перепахала всю долину, а затем артиллерия выжгла в ней огнем все живое. На таком узком участке, в этом коридоре между гор, казалось, каждый снаряд, каждая бомба ложились в цель. И когда дымящаяся после такой обработки долина превратилась, по представлению Клейста, в мертвый свободный коридор, он запустил туда лавину танков с десантом автоматчиков. Долина была настолько узка для созданной группировки, что танки шли длинной тесной колонной. Дрожала земля от тяжелого бега стальных громадин, гудели горы, возвращая эхом рычание множества моторов, дым, чад, пыль заволокли все вокруг. Казалось, ничто и никто не сможет остановить этот гигантский таран! Но поднялись из перевернутой земли оставшиеся в живых люди. Простые, обыкновенные, не железные — смертные. Они отряхнули с себя землю, которой их засыпало при бомбежке и артобстреле, привели в порядок оружие, поправили насколько успели окопы и встретили несущуюся лавину танков. И свершили невероятное. Они оказались сильнее этой железной машины!

Как же такое может быть? Да и вообще возможно ли? Ведь это же невероятно!

Мне не нужно ничего придумывать. Я не пишу красивых батальных сцен о героях. Я рассказываю о том, что было на самом деле, без прикрас — суровую правду. Конечно же, люди, будь они просто людьми, не выдержали бы натиска такой танковой лавины и шквала огня. Но противостояли здесь не просто люди, а воины! Бойцы, которые научены зарываться в землю, знают, как себя вести под таким адским огнем, и обладают душевной прочностью, чтобы не испугаться, не утратить боевого духа.

Командиры расположили артиллерию и минные поля так, что по мере приближения танковая колонна теряла машины — они останавливались, подрывались, загорались. Затем в бой вступили бронейщики с противотанковыми ружьями, артиллеристы, истребители танков, бойцы с противотанковыми гранатами. Помогали, жгли танки с неба штурмовики. Танки все лезли и лезли, обходя подбитые, и, казалось, им не будет конца. Но и наши бойцы были расположены не в одну цепочку, а по всей долине — и в ширину — и в глубину — и на скалах, куда танки не могли взобраться. Целый день длилась эта гигантская схватка людей и танков. Гитлеровцы продвинулись на несколько километров, но прорваться к Орджоникидзе и Грозному не смогли. К вечеру долина была заполнена чадящими, догорающими танками и трупами.

Клейст смотрел на все это и не верил своим глазам. Никогда нигде еще не видел он такого боя, таких страшных потерь и таких мизерных результатов.

Но бокал шампанского за здоровье фюрера надо вышить — обещанье взять Баку дано... Нет, не рыцарское благородство терзало в эти минуты Клейста. Мороз ходил по коже от того, что теперь с ним будет. Не видя другого выхода, надеясь, что силы у советских частей не бесконечны, Клейст еще несколько дней гнал и гнал вперед свои дивизии. Он шел ва-банк, терять ему было нечего.

Главный удар в этих боях пришелся по 9-й армии, ею командовал генерал-майор К. А. Коротеев.

В первых числах октября группа армий «А» окончательно утратила наступательные возможности. Резервов на этом направлении не осталось, другие части были связаны боями под Сталинградом. Наступление на Грозный и Баку прекратилось. Генерал Петров вместе с дру-

гими боевыми соратниками — генералами, которые командовали армиями, командирами дивизий, частей и подразделений, сержантами и рядовыми бойцами всех родов войск — выполнили поставленную задачу: не пропустили гитлеровцев к нефтеносным районам. Они отвели огромную опасность, нависшую над нашей родиной.

Осуществляя свои планы по захвату Кавказа, ничем не брезгуя при этом, гитлеровское командование предприняло шаги к формированию так называемых добровольческих национальных частей из числа изменников и контрреволюционеров всех мастей и окрасок. При этом оно преследовало определенные политические цели: создать видимость, будто бы народы СССР питают неприязнь к советскому строю и готовы добровольно вести вооруженную борьбу.

В ведомстве Розенберга было несколько папок со специальными планами и документами по Кавказу: «Кавказская папка», «О преобразовании Кавказа», «Заметки о политическом будущем Кавказа», «О кавказских воинских частях».

В оккупированных районах Северного Кавказа специально выделенные для этого офицеры немецких штабов формировали, вернее, пытались сформировать национальные части — для того чтобы они участвовали в боях на стороне гитлеровской армии. Помимо этого сюда были привезены битые белогвардейские генералы Краснов, Шкуро и другие, чтобы создать формирования из донских и кубанских казаков.

Забегая вперед скажу, что эти белогвардейские генералы, как и другие появившиеся в ходе Отечественной войны предатели во главе с Власовым, будут взяты в плен в 1945 году и Иван Ефимович Петров будет иметь к этому самое прямое отношение. Когда повествование подойдет к тем дням, я расскажу об этом подробнее. Здесь же приведу только материалы имеющие отношение к боям за Кавказ. Мне кажется также необходимым напомнить некоторые биографические сведения о бывших белых генералах, ведь большинство читателей нового поколения фамилии Краснова и Шкуро встречали, наверное, лишь в учебниках истории. И коль скоро я даю штрихи к портретам гитлеровских генералов, то тем более следует хотя бы коротко описать наших «доморощенных» врагов.

Генерал Краснов Петр Николаевич родился в семье казачьего генерала в 1869 году. Окончил Павловское военное училище. Участник первой мировой войны, в конце ее командовал конным корпусом, был генерал-лейтенантом. В дни Октябрьской революции по приказу А. Ф. Керенского повел несколько соединений с фронта на Петроград для подавления революции. Однако войска его были распропагандированы большевиками и разбиты Красной Гвардией. Сам Краснов был взят в плен, но отпущен под честное слово, что никогда больше не будет бороться с советской властью. Данное слово белый генерал не сдержал, уехал на Дон, где в мае 1918 года был избран атаманом Войска Донского. Опираясь на помощь Германии, сформировал казачью армию и пытался несколько раз наступать с целью ликвидации молодой Советской республики, но был разбит в боях. В 1919 году участвовал в боях под командованием Деникина, с которым вскоре разругался, подал в отставку и уехал в Германию, где продолжал антисоветскую борьбу. На Северный Кавказ в тылы группы армий «А» в 1942 году Краснов приехал уже в форме генерала гитлеровской армии. Вот что он сам говорил позднее, давая показания на суде:

«Эмигрантские круги за границей, в том числе и лично я, встретили нападение гитлеровской Германии на Советский Союз довольно восторженно. Тогда господст-

вовало среди нас мнение: хоть с чертом, но против большевиков... Еще с первых дней прихода к власти Гитлера я сделал ставку на национал-социалистскую Германию и надеялся, что Гитлер обрушится на Советский Союз и коммунизм будет сокрушен. Летом 1941 года сбылось то, о чем я мечтал на протяжении десятилетий. С первых же дней нападения Германии я принял активное участие совместно с немцами в мобилизации реакционных сил на борьбу против большевиков» (18, стр. 137).

Мечтая об уничтожении социализма, атаман Краснов пошел на службу к германскому фашизму и развил энергичную деятельность по сколачиванию белоказачьих и иных антисоветских сил. Он был «идейным отцом» борьбы белоказаков. Краснов установил тесную связь с гитлеровским военным командованием и фашистской разведкой, деятельно участвовал в работе казачьего отдела министерства восточных областей Германии, возглавлявшегося Розенбергом.

«Знаток казака и его души», Краснов консультировал сотрудников министерства и немецкую разведку по всем вопросам антисоветской деятельности среди казачества. Его доклад об истории казачества слушали сотрудники СД, а затем с ним знакомились высшие германские военные круги. Он написал послание так называемому Донскому казачьему комитету в Новочеркасске, состоявшему из белоземляков и изменников, сотрудничавших с немецкими оккупационными властями. В этом послании он советовал «своим любимым донским казакам» поднимать восстания против советской власти, чтобы «вместе с германскими вооруженными силами разделить счастье борьбы за честь и свободу Тихого Дона».

По предложению германской разведки Краснов выпустил воззвание, в котором призывал казаков вместе с немцами участвовать в вооруженной борьбе против Советского Союза. Это воззвание сыграло немалую роль в объединении реакционно настроенных казаков и белоземляков и создании антисоветских казачьих формирований именно в те дни битвы за Кавказ, о которых я рассказываю в этой книге.

Другой не менее известный в годы гражданской войны белогвардейский генерал-лейтенант, Шкуро Андрей Григорьевич, 1887 года рождения, происходил из семьи казачьего офицера, в 1907 году окончил Николаевское кавалерийское училище. Первую мировую войну завершил в чине полковника. В 1918 году сформировал контрреволюционный отряд и действовал как раз в этих местах, куда его привезли теперь фашисты, — Ставрополь, Ессентуки, Кисловодск. Затем командовал казачьей бригадой, конным корпусом в армии Деникина, который и присвоил ему звание генерала. Шкуро всегда отличался садистской жестокостью и недисциплинированностью, что вызывало к нему антипатию даже среди белогвардейского командования. Соратник по боям первой мировой войны и многолетней борьбе с Советской страной «черный барон» Врангель был о нем нелестного мнения. Вот его слова:

«Шкуро я знаю по работе его в лесистых Карпатах... Отряд есаула Шкуро во главе со своим начальником, действуя в районе 18-го корпуса, в состав которого входила моя уссурийская дивизия, большей частью находился в тылу, пьянствовал и грабил и наконец по настоянию командира корпуса генерала Крымова был с участка корпуса снят» (18, стр. 128).

А вот англичанам Шкуро импонировал, и глава английской миссии при штабе Деникина генерал Хольман вручил Шкуро орден Бани — высшую королевскую награду. В эмиграции Шкуро постоянно участвовал во всех авантюристических замыслах контрреволюционеров.

Жил небогато, вдохновлялся лютой злобой к большевикам и надеждами на войну. Вот короткая сценка из воспоминаний певца А. Вертинского, характеризующая образ жизни Шкуро между войнами:

«Однажды в Ницце во время съемки ко мне подошел невысокого роста человек, одетый в турецкий костюм и чалму (снималась картина «Тысяча и одна ночь»).

— Узнаете меня? — спросил он.

Если бы это был даже мой родной брат, то, конечно, в таком наряде и гриме я бы все равно его не узнал.

— Нет!

— Я — Шкуро. Генерал Шкуро.

В одну секунду в памяти всплыл Екатеринодар. Белые армии отступают к Крыму. Концерт, один из последних концертов на родине. Он уже окончен. Я разгримировываюсь, сидя перед зеркалом. В дверях появляются два офицера в белых черкесах.

— Его превосходительство генерал Шкуро просит вас пожаловать к нему откушать после концерта!

Отказываться нельзя. Я прошу обождать. У подъезда штабная машина. Через пять минут вхожу в освещенный зал.

За большими накрытыми столами — офицеры. Грубачи играют встречу. Из-за стола поднимается невысокий человек с красным лицом и серыми глазами.

— Господа офицеры! Внимание! Александр Вертинский!

Меня сажают за стол генерала. Начинается разговор. О песнях, о «том, что я должен сказать», о красных, о белых...

Какая даль! Каксе прошлое!

Много крови пролил этот маленький человек. Понял ли он это хоть теперь? Как спится ему? Как можетсяс?..

Я молчал. Экзотический грим восточного вельможи скрывал выражение моего лица. Но все же Шкуро почувствовал мое настроение и нахмурился.

— Надо уметь проигрывать тоже, — точно оправдываясь, протянул он, глядя куда-то в пространство.

Свисток режиссера прервал наш разговор. Я резко повернулся и пошел на «плато». Белым мертвым светом вспыхнули осветительные лампы, почти не видные при свете солнца. Смуглые рабы уже несли меня на носилках.

Шкуро тоже позвали. Он быстро шел к своей лошади, на ходу затягивая кушак. Всадники строились в ряды...

«Из премьеров — в статисты. — подумал я. — Из грозных генералов — в бутафорские солдатики кино. Воистину — «судьба играет человеком»...» (19, стр. 212—213).

Не только в кино, но и в жизни Шкуро играл низкие и подлые роли. Причем не судьба его заставляла опускаться низко. Работая статистом в кино, можно было прокормиться, но зад горел от пинка, которым вышибли из России. Хотелось мстить большевикам любым, даже самым подлым способом. И Шкуро становится «статистом» при гитлеровцах.

Уже в первые месяцы войны Шкуро по заданию фашистов приступил к формированию «русского охранного корпуса» из белоказаков и других белогвардейцев. Тогда же Шкуро заявил о своем желании по первому зову немцев принять участие в войне против СССР и обратился с ходатайством разрешить ему сформировать и самому возглавить диверсионный отряд для действий в тылу Красной Армии на Северном Кавказе.

Шкуро активно участвовал в антисоветской обработке казаков, призывая их к вооруженной борьбе против СССР. В кубанские станицы Шкуро всегда являлся со своим знаменем черного цвета, на котором была изображена волчья голова. Это знамя носил за ним ордина-

рец. В своих речах Шкуро расписывал карательную деятельность «волчьей сотни» в период гражданской войны в России.

Шкуро по указанию гитлеровского генерала Бергера написал обращение к казакам, в котором говорилось:

«Я, облеченный высоким доверием государственного руководителя СС, громко призываю вас всех, казаки, к оружию и объявляю всеобщий казачий сполох. Поднимайтесь все, в чьих жилах течет казачья кровь, все, кто еще чувствует себя способным помочь общему делу... Дружно отзовитесь на мой призыв, и мы все докажем великому фюреру и германскому народу, что мы, казаки, верные друзья и в хорошее время, и в тяжелое» (18, стр. 144).

Вместе с тем Шкуро не терял надежды собрать еще и для себя «волчью сотню» и двинуться с ней на Кавказ. Он говорил: «Мне бы только на Кавказ приехать, там меня каждый знает. Как приеду, сразу весь Кавказ подниму против большевиков».

Привлекая белогвардейских генералов на свою службу, гитлеровцы в то же время не особенно им доверяли, им позволялось лишь формировать части из казаков, а что касается командования этими частями, то оно было поручено гитлеровскому генералу фон Паннвитцу.

Как известно, эта попытка (не только военная — в поисках дополнительных сил, — но и политическая акция гитлеровцев на Кавказе) полностью провалилась.

Туапсинская операция

Шел октябрь 1942 года, оставалось меньше месяца до великого, гигантского контрнаступления наших войск под Сталинградом. Огромные силы наших резервных армий уже сосредоточивались для нанесения ударов. И вся многочисленная техника этих армий, в том числе тысячи танков и самолетов, была заправлена и имела запасы горючего, которое шло к ним отсюда, с Кавказа, где боевые соратники не только отстояли нефтеносные районы страны, но и приковали к себе огромные силы противника.

Туапсинская операция для Гитлера была последней надеждой на реализацию тех больших планов, которые он намеревался осуществить, захватив Кавказ.

Неся большие потери в людях и технике, гитлеровцы постепенно выдыхались, бои против Северной группы наших войск на направлениях, прямо выводивших к Баку, с каждым ударом сужались по фронту. Сначала гитлеровцы шли по всей ширине Сальских и кубанских степей. Потом они наступали на участке рек Терек и Урух. Затем стали наступать только на моздокском направлении. Позднее полоса активных действий еще больше сузилась, наступали на нальчикском направлении. В ноябре сил хватало лишь на попытку прорваться к Орджоникидзе. Но и этот прорыв мог быть осуществлен, только если бы удалось подтянуть свежие части.

Вот что пишет бывший гитлеровский генерал Ганс Дёрр:

«В середине августа стало ясно, что операции на юге России шли не по намеченному плану: армия вместо «победного марша» с трудом продвигалась вперед. В таком положении принято бросать в бой резервы или же менять план операции» (11, стр. 172).

Но резервов не было. Вот тут уже отчетливо сказывалась авантюристичность планирования гитлеровского генерального штаба и за-

мыслов самого Гитлера. Замахнулись взять Кавказ, затем Иран, Индию, а осуществить эти планы сил не хватило. Даже здесь, на Кавказе, нечем пробить последнюю сотню километров, чтобы выйти к Баку.

Что же думал Гитлер? Какой выход он видел из создавшегося положения? Он еще не отказался от своего грандиозного замысла и нашел решение, на его взгляд позволяющее осуществить его. Для этого необходимо: сосредоточить все силы в направлении не на Баку, а на Туапсе, против Черноморской группы войск, то есть надо перейти через отроги Главного Кавказского хребта, ударить на Туапсе, отрезать таким образом Черноморскую группу войск от остальных сил Закавказского фронта и уничтожить ее в районе Новороссийска и Туапсе, на узком побережье Черного моря.

Это давало гитлеровцам возможность лишить наш Черноморский флот баз, высвободить свои части, которые находились на этом участке фронта, ударить потом по узкой полосе вдоль Черного моря, затем на Кутаиси и Тбилиси — и опять-таки на Баку через Закавказье.

О том, что Гитлер делал решающую ставку на этот план, доказывает сосредоточение сил: из 26 дивизий, находившихся перед Закавказским фронтом, 18 были нацелены теперь против Черноморской группы на туапсинском направлении.

В беседе с Кейтелем 18 сентября 1942 года Гитлер прямо сказал:

«Решающим является прорыв на Туапсе, а затем блокирование Военной Грузинской дороги и прорыв к Каспийскому морю...» (11, стр. 174).

План этот с чисто военной точки зрения в той обстановке, в какой он принимался, был не так уж плох, потому что после выхода к Черному морю и ликвидации окруженной группы наших войск фронт гитлеровцев сократился бы примерно на двести километров, при этом высвободилось бы около десяти дивизий, которые можно было бы перебросить в сторону желанных нефтеносных районов на Каспии.

Как это они делали обычно, гитлеровцы при планировании и организации наступления сосредоточили на главном направлении наиболее боеспособные части и наибольшее количество техники.

В результате этого соотношение сил на туапсинском направлении выглядело так: по пехоте гитлеровцы превосходили наши войска в два раза, по артиллерии — в три раза, танков они имели здесь 150, в войсках же Черноморской группы танков не было вообще, самолетов у гитлеровцев было 350, а у нашей 5-й воздушной армии всего 71.

Эту наступательную операцию Гитлер поручил осуществить 17-й армии под командованием генерал-полковника Руоффа. Руофф, как верный выученик прусской школы, решил нанести два удара по сходящимся направлениям и окружить наши войска, зажав их в клещи. Один удар — от Нефтегорска на поселок Шаумян, что километрах в тридцати севернее Туапсе, а второй — от Горячего Ключа тоже на Шаумян. По замыслу Руоффа, в этом мешке должны были оказаться 12-я и 18-я советские армии, после чего путь к Черному морю, на Туапсе, оказался бы открытым.

Наше командование предвидело возможность переноса главного удара на Туапсе, и не только предвидело, а располагало данными

разведки. Поэтому принимались меры для укрепления обороны на туапсинском направлении. Сюда подбрасывались резервы командующего фронтом, была переведена 10-я стрелковая бригада из Северной группы войск. Проводились инженерные работы. Но все же оборона оборону велась недостаточно интенсивно. Ставка Верховного Главнокомандования специально написала об этом командующим Закавказским фронтом и Черноморской группой войск:

«По данным Генштаба, подтвержденным событиями последних дней, оборона войск Черноморской группы слабая, несмотря на то, что время и местность позволяли сделать ее непроходимой...» (11, стр. 178).

Дальше следовало перечисление конкретных мер, необходимых для того, чтобы оборона действительно была непроходимой.

Оба удара подготовленных армией Руоффа по сходящимся направлениям на Шаумян, намечались в полосе 18-й армии наших войск. Была ли она готова для отражения этого удара? Вот что пишет по этому поводу маршал А. А. Гречко:

«Особенно слабой оказалась оборона на участке 18-й армии... Снабжение войск 18-й армии к концу сентября несколько улучшилось. Однако из-за отсутствия благоустроенных дорог обеспеченность боеприпасами войск всей Черноморской группы, и особенно действовавших в труднодоступной горной местности, была недостаточной. Для довооружения войск группы требовалось по меньшей мере 20 тыс. винтовок, более 1 тыс. ручных и 500 станковых пулеметов. Обеспеченность продовольствием и фуражом была также низкой... В связи с приближающейся осенью войска нуждались в теплом обмундировании и обуви, которых на складах группы вообще не было» (11, стр. 179).

25 сентября после сильных авиационных ударов и артиллерийской подготовки гитлеровцы перешли в наступление из района станции Хадыженская (под Нефтегорском) в направлении на Шаумян. В течение трех дней их на этом направлении удерживала 32-я гвардейская дивизия под командованием полковника М. Ф. Тихонова. В этих боях гвардейцы проявили большую стойкость. Фашисты пытались прорваться еще и на фанаторийском направлении. Но и на этом участке их постигла неудача.

27 сентября Руофф ударил по центру боевого порядка 18-й армии уже известными читателям хорошо подготовленными частями альпийских стрелков, которыми командовал Ланц. Им удалось прорвать фронт, и к 5 октября противник овладел здесь горами Гунай, Гейман и вышел в долину реки Гунайка.

На лазаревском направлении части 46-й немецкой пехотной дивизии тоже перешли в наступление и продвинулись почти до долины реки Пшеха.

29 сентября Ставка Верховного Главнокомандования указала командующему Закавказским фронтом:

«Несмотря на достаточное количество сил на хадыженско-туапсинском направлении и длительное время занятия войсками оборонительных рубежей, противник сумел с первых же дней наступления выйти во фланг и тыл частям 18-й армии, обороняющим дорогу Хадыженская — Туапсе.

Дальнейшие намерения противника сводятся к тому, чтобы... обойти главные силы нашей хадыженской группировки, изолировать ее и тем самым создать реальную угрозу выхода на побережье в район Туапсе...

Считаю необходимым немедленно создать ударные группировки, перейти к активным действиям и полностью восстановить положение в районе к югу от Хадженская и на участке Горячий Ключ, имея в виду ни в коем случае не допустить прорыва противника в район Туапсе» (11, стр. 180—181).

Особенно опасным был прорыв противника в центре 18-й армии, поэтому командование Черноморской группы решило нанести здесь сильный контрудар и уничтожить противника в районе Сосновка—гора Гейман и восстановить положение в центре оперативного построения 18-й армии. Этот контрудар был назначен на 2 октября. Но 1 октября противник упредил наши войска и сам нанес удар на этом участке и овладел поселком Котловина.

Одновременно противник наносил удары и на других направлениях и тоже потеснил наши войска.

Вот воспоминания маршала А. А. Гречко, относящиеся к этим дням:

«7 октября войска центра 18-й армии силами 236-й стрелковой и 12-й гвардейской кавалерийской дивизий, 40-й мотострелковой и 119-й стрелковой бригад приняли контрудар с целью уничтожения гунайской и сосновской группировок противника. Однако эти попытки из-за неорганизованности и слабой подготовки боя успеха не принесли. В тот же день командующий Черноморской группой приказал командующему 18-й армией прекратить разрозненные действия и, не распыляя сил нанести последовательные удары по вражеской группировке в районе Гунайки и Котловины» (11, стр. 183).

Наверное, у читателей уже возник вопрос: зачем я так подробно описываю боевые действия на туапсинском направлении, если герой нашей повести генерал Петров находится на противоположном участке фронта, обороняя Баку, не допуская противника к Каспийскому морю?

Рассказ об этих событиях необходим, потому что как раз в самый их разгар, когда положение здесь стало просто угрожающим, когда наши войска едва-едва сдерживали напор врага, в этот труднейший, я бы сказал, критический момент Ставка Верховного Главнокомандования 11 октября освободила от командования Черноморской группой войск генерал-полковника Я. Т. Черевиченко и назначила командующим этой группой генерал-майора И. Е. Петрова.

Да, все еще генерал-майора! Я не хочу обидеть генерал-полковника Черевиченко, обстановка была очень тяжелой, и те критические обстоятельства, в которых оказались войска Черноморской группы, конечно же, создались не по вине генерала Черевиченко, а потому что очень большие силы противника были сосредоточены на этом направлении. Но коль скоро при назначении нового командующего Черноморской группой выбор пал на Ивана Ефимовича Петрова, то, значит, генерал-майор Петров высоко ценился Ставкой, значит, считали его достойным заменить генерал-полковника.

И для этой высокой оценки имелись все основания. Петров был командующим, армия которого (я имею в виду 44-ю), защищая подступы к Баку, устояла, не отступила ни на шаг. Если на других направлениях — моздокском, нальчикском, орджоникидзенском — 37-я и 9-я армии в ходе боев несколько отошли под напором превосходящих сил противника, то 44-я так и стояла на том рубеже, где ее развернул генерал Петров перед началом боев на берегу реки Терек. Здесь он и передал ее новому командующему. Видимо, это и

сыграло решающую роль, да и прошлые заслуги Петрова по обороне Севастополя и Одессы были учтены. И вот из большого числа командующих армиями, которые находились на Кавказе, весьма опытных и знающих, был выбран Иван Ефимович Петров.

На второй день после назначения Петров уже прибыл в расположение Черноморской группы войск и вступил в командование.

Надо прямо сказать, что это назначение, с одной стороны, должно было, как и каждого военного, порадовать Ивана Ефимовича, потому что теперь ему предстояло командовать не одной армией, а целой группой, в которую входило пять армий, оборонявших очень широкий и ответственный фронт. Но с другой стороны, оно ставило его в трудное положение: от устойчивости этого фронта зависела судьба Кавказа, потому что Гитлер теперь именно здесь сосредоточил все свои силы, намереваясь именно на туапсинском направлении осуществить свои далеко идущие планы.

Трудность положения Петрова как командующего заключалась прежде всего в том, что он не знал новые для него войска, не строил оборону этого участка фронта, операция уже была в полном разгаре, причем развивалась она катастрофически неудачно для нас.

Еще до прибытия генерала Петрова Военный совет Черноморской группы войск разработал план разгрома гунайской и хадыженской группировок противника, для чего намеревался осуществить два удара по сходящимся направлениям и окружить эти группировки. Петров видел — план имеет серьезный недостаток: на каждом направлении войска должны были совершить перегруппировку лишь по одной имеющейся дороге, а в районе Церковного вообще была только выючная тропа. Для реализации этого плана необходимо было значительное время, а обстановка требовала немедленных действий. Но осуществление плана уже началось, вносить кардинальные изменения было поздно.

14 октября, когда этот контрудар еще не был подготовлен и шла трудная перегруппировка, противник ударил в направлении на Шаумян с целью окружить основную группировку 18-й армии и затем прорваться на Туапсе. К исходу 15 октября гитлеровцы вышли к окраине Шаумяна. Одновременно и на направлении реки Хадыж противник стал забивать другой клин, чтобы замкнуть окружение, и тоже успешно продвигался.

В этом положении 15 октября Ставка Верховного Главнокомандования писала командующему Закавказским фронтом:

«Ставка разъясняет, что значение Черноморского направления не менее важно, чем направление на Махачкала, так как противник выходом через Елисаветпольский перевал к Туапсе отрезает почти все войска Черноморской группы от войск фронта, что, безусловно, приведет к их пленению; выход противника в район Поти, Батуми лишает наш Черноморский флот последних баз и одновременно предоставляет противнику возможность дальнейшим движением через Кутаиси и Тбилиси, а также от Батуми через Ахалцихе, Ленинакан по долинам выйти в тыл всем остальным войскам фронта и подойти к Баку» (11, стр. 184).

Конечно же, генерал Петров при всей своей одаренности не мог немедленно и единолично переломить ход боевых действий. Для того чтобы он оказал какое-то влияние на дальнейшее сражение, нужно было некоторое время, а главное — силы для противодействия противнику или хотя бы небольшая пауза, чтобы распорядиться тем, что теперь было отдано под его командование. Противник между тем продолжал наступать и 16 октября вышел к Навагин-

ской, а на следующий день, то есть 17 октября, овладел Шаумяном и начал бои за Елисаветпольский перевал.

Фанагорийская группировка противника к 16 октября захватила урочище Степки и стала распространяться дальше. Противник был уже близок к осуществлению своей цели: кольцо вот-вот могло замкнуться. Командующий 17-й немецкой армией был уверен в полном успехе своего наступления. 16 октября он доложил об этом командующему группой армий «А», и в журнале боевых действий появилась следующая запись:

«Сопrotивление противника в районе Туапсе, сделавшееся в последние дни заметно слабее, позволяет сделать вывод, что силы сопротивления русских сильно надломлены нашим непрерывным наступлением, а также эффективной поддержкой авиации» (11, стр. 185).

Вот в таких условиях, когда командующий противостоящей армией генерал-полковник Руофф был готов уже отпраздновать победу, генерал Петров вступил в руководство войсками, уже почти потерпевшими поражение. В такой исключительно сложной обстановке надо было сохранить спокойствие и, мобилизуя весь свой огромный опыт, найти какой-то выход, что, прямо скажем, было не легко.

Иван Ефимович, как это ни казалось странным для окружающих, несмотря на напряженнейшую ситуацию, не стал отдавать немедленных распоряжений. Ему прежде всего нужна была ясность, полное понимание обстановки на сегодняшний день. Верный себе, он с офицерами своего нового штаба выезжает на самое трудное направление — в 18-ю армию, — для того чтобы на месте выявить истинное положение дел.

Тут опять, дабы не обидеть своей оценкой и прежние руководство, и, главное, тех, кто был в частях на этом направлении, я передаю слово маршалу А. А. Гречко:

«При проверке состояния войск и обороны оказалось, что командующий 18-й армией и его штаб не знали действительного положения на фронте. Они потеряли связь с соединением левого фланга армии. Командованию армии даже не было известно о том, что противник захватил Шаумян. Оно пренебрегло условиями местности и стремилось создать сплошной фронт, в результате чего войска, поступавшие в армию из резервов, вводились в бой по частям, распыляясь, вместо того чтобы сосредоточивать их для нанесения контрударов в наиболее угрожаемых местах» (11, стр. 185—186).

Видя такие действия руководства армии и учитывая создавшуюся обстановку, Военный совет фронта решил сменить командующего 18-й армией генерал-лейтенанта Ф. В. Камкова и назначить на его место генерал-майора А. А. Гречко, который до этого командовал 47-й армией на новороссийском направлении, что и было сделано Генштабом.

Новый командующий решил сосредоточить усилия армии и выделенные в его распоряжение резервы для нанесения контрудара по группировке противника, вышедшей в район Шаумяна. Но генерал Гречко не успел осуществить этот план. 19 октября гитлеровские войска сами перешли в наступление и, несмотря на упорное сопротивление 18-й армии, потеснили ее. Врагу удалось захватить Елисаветпольский перевал.

И опять, как это бывало уже не раз, командующий Черноморской группой армий Петров мчится в войска для оказания помощи на месте. А противник продолжает рваться к Туапсе.

21 октября противник нанес удары в трех направлениях, и на всех этих направлениях бои шли такие упорные, что в рукопашные схватки вступали даже штабы наших полков и дивизий. И все же противник продолжал теснить наши части, потому что его силы здесь во много раз превосходили.

В этих труднейших условиях генерал Петров видел не только отступающих, но и тех, кто героически сражался с врагом. Петров не был формалистом. Он не наказывал тех, кто отступает, не привлекал их к ответственности, так как понимал, что здесь дело было прежде всего в неравенстве сил. И поэтому, желая подбодрить войска, воодушевить их, написал очень своеобразный приказ. Привожу этот приказ полностью — он свидетельствует, что Петров был тонким психологом:

«21 октября 1942 г. 3-й дивизион 963 ап 408 сд под командованием командира т. Сохрокова поддерживал боевые действия 663 сп 408 сд.

663 сп, проявив неустойчивость, начал отходить, 3-й дивизион 963 ап не бросил боевых порядков, а вел огонь по наступающему противнику и в этом неравном бою уничтожил несколько сот фашистских солдат и офицеров.

Славные бойцы и командиры дивизиона, оказавшись в полном окружении, не растерялись, а огнем пробивали себе дорогу для вывода матчасти и имущества.

Расстреляв все снаряды, личный состав дивизиона, соблюдая славные традиции артиллеристов, перешел на уничтожение противника автоматом, штыком и гранатой.

Пробившись из окружения, дивизион оказался прижатым к горному массиву без дорог и троп.

Личный состав дивизиона во главе с капитаном Сохроковым в течение 10 дней, отбивая огнем все атаки противника, прокладывал себе дорогу через горный хребет.

К 5 ноября 1942 г. дивизион соединился с 383 сд, вывел полностью материальную часть и личный состав.

Командиры и бойцы дивизиона, выполняя присягу, благодаря умелому управлению командира дивизиона т. Сохрокова, героической борьбой, безграничной храбростью и самоотверженностью показали, как наши части должны вести бои за нашу священную Родину.

Приветствуя доблестный состав 3-го дивизиона 963 ап, ставлю его в пример всем артиллерийским и пехотным частям группы.

Всему личному составу дивизиона объявляю благодарность и представляю к награждению правительственной наградой:

командира дивизиона капитана Сохрокова Асланука Исмеловича

зам. командира дивизиона ст. политрука Бадаляна Галуста Царуковича

зам. командира батареи политрука Саакиана Ивана Аракиловича

отличившихся из остального личного состава наградить командарму-12» (8, стр. 310—311).

По самому стилю этого приказа видно, что Петров писал его сам. Он очень похож на приказы Петрова еще в гражданскую войну. Но самое главное, на мой взгляд: этот приказ показывает, на что возлагает надежды генерал Петров в этих, казалось бы, безвыходных обстоятельствах — на людей, на их боевые и волевые качества. Он хочет им напомнить об этом. Он показывает им на примере действий героического дивизиона, на что они способны. Он призывает всех действовать так же, как эти герои, о которых он пишет.

Петров упорно, пристально вглядывается в противника, в свои войска, местность и ищет, ищет, настойчиво ищет возможность переломить ход боя в пользу своих войск. Вот один из примеров этого поиска. В воспоминаниях маршала Гречко говорилось, что одной из

причин неудачных действий 18-й армии было отсутствие благоустроенных дорог и недостаточная обеспеченность боеприпасами войск всей Черноморской группы. Это же видел и понимал генерал Петров, он искал возможность преодолеть эту трудность. Что можно сделать за короткое время в горах для того, чтобы как-то улучшить снабжение войск боеприпасами и продовольствием? Дороги были очень плохи. К тому же стояла скверная осенняя погода. Шли проливные дожди. Дороги и тропы запылились грязью, сползающей от дождей с гор, по ним могли пройти только пешие. Ручейки и небольшие речушки превратились в грозные горные потоки, и преодолевать их было тяжело и пешим и конным, не говоря уж о малочисленном автомобильном транспорте, который почти не мог двигаться по этим горным дорогам.

А вот мнение генерала армии И. В. Тюленева по поводу возможностей противника по снабжению своих войск:

«У гитлеровцев было одно большое преимущество, они наступали с севера и, следовательно, имели самую широкую возможность маневрировать крупными массами войск по кубанской долине. Кроме того, в распоряжении немецкого командования имелось много превосходных путей подвоза. У нас же наоборот: ни свободы маневра, ни достаточных путей подвоза, так как наши войска стояли среди лесистых гор, подходящих к морю» (4, стр. 162).

Очень интересно свидетельство человека, который не только видел все это своими глазами, но и соприкоснулся с Петровым именно в поисках возможности одолеть дорожные трудности. Приведу рассказ И. С. Шияна, ныне генерал-лейтенанта, который в то время служил в войсках Черноморской группы, был капитаном:

— Шли проливные дожди. Дороги и тропы стали непроходимыми. Противника, превосходившего нас в силах, кроме многих других трудностей, просто нечем было отбивать: боеприпасов на передовой не хватало. Их невозможно было подвозить по горным тропам даже в хорошую погоду, а тут, когда с гор на тропы сползала грязь, доставка, даже на лошадях и ишачках, вообще прекратилась. Во многих местах для снабжения войск боеприпасами и продовольствием выстраивались цепочки солдат, которые и передавали грузы из рук в руки. Это ослабляло и без того малочисленные подразделения, так как солдат приходилось брать с передовой — других не было. Проблема подвоза всего необходимого для боя и эвакуации раненых стала в те дни одной из решающих. Петров понял это первым. До его прихода все занимались только боями, а он увидел, почему бои идут неуспешно. Люди сражаются героически, они готовы сделать все возможное и невозможное, но надо их обеспечить всем необходимым для отражения натиска врага. Я в те дни был заместителем начальника штаба Притуапсинского оборонительного района. В числе других товарищей, занимавшихся вопросами организации подвоза, меня вдруг вызвали на командный пункт Черноморской группы войск. Начальники мы были небольшие — я капитан, другие тоже в таких званиях. Вызов к командующему для нас событие невероятное!

Командный пункт Петрова был в глубокой горной щели. Прибыли мы рано утром. Командующий умывался из простого железного рукомойника, то поднимая, то опуская звякающий металлический стерженек. Умывшись, он тут же нас принял. Посмотрел на нас как-то значительно, испытующе. Лицо его было серьезно. Очень много забот свалилось на него в те трудные дни. Затем спокойно, деловито обрисовал нам обстановку, трудности с подвозом войскам всего необходимого и с эвакуацией раненых. Он прямо сказал — от

этого зависит наша судьба, зависит, выстоим мы или не выстоим. «Вот вы занимаетесь вопросами снабжения и подвоза, придумайте и внесите свои предложения, как все-таки нам обеспечить войска. Лучше вас в этом деле никто не разбирается. Поэтому я вызвал не ваших начальников, а вас, непосредственных организаторов и исполнителей. Если вы не найдете выхода, никто его не найдет! Поезжайте на дороги и тропы, смотрите, изучайте, советуйтесь с солдатами, особенно с местными кавказскими жителями. Думайте, чтоб мозги трещали, но выход должен быть найден. Даю вам три дня! Больше не могу. И эти три дня для войск будут невыносимо трудными. Вот вам машина. Езжайте и помните: я жду и надеюсь на вас». Поручение было не просто ответственное, а сверхчрезвычайной важности. Мы понимали это. Сначала нас охватило сомнение. Как же найти выход из, казалось, безвыходного тупика, да еще за короткое время? Мы знали обстановку и раньше искали пути преодолеть эти трудности, но не находили.

Поехали. Побывали на ряде участков. Советовались с солдатами, особенно с пожилыми горцами. Возвратились на командный пункт через два дня — усталые, мокрые, грязные. Посидели, обдумали все предложения и советы, которые мы слышали на трассах. И пришли к выводу: для ускорения доставки войскам всего необходимого следует осуществлять однопутное движение. Через определенные промежутки в подходящих местах оборудовать отстойники, своеобразные разъезды. Дороги и тропы узкие, расширять их нет ни времени, ни сил, а отстойники можно создать довольно быстро. Создать с таким расчетом, чтобы в них помещались небольшие колонны автомобильного и гужевого транспорта. Колонны эти формировать с пунктов отправления с учетом емкости отстойников. Поставить регулировочные посты, связать их телефонной связью для управления движением колонн. Мы отработали на карте несколько маршрутов с указанием, где, по нашему мнению, целесообразно создавать отстойники. Наши выводы и рекомендации мы доложили генералу Петрову. Принял он нас в простой кавказской сакле, в том же ущелье, где встретились первый раз. В сакле — топчан, простой стол, на нем карта. Петров очень внимательно нас выслушал. Задал ряд вопросов. Попытался вроде бы даже нас поприжать: а если, говорит, колонна в отстойник не поместится, куда хвост девать? Но это у нас было предусмотрено, колонны, как я уже сказал, должны формироваться определенной длины. Отвечая на этот вопрос, я для себя отметил: как тонко мыслит Иван Ефимович. Мы, специалисты, и то не сразу увидели возможность такого затруднения, а он вот сразу ухватил. Ведь если в отстойник не войдет несколько машин, то их придется сбрасывать в пропасть, так как они загородят дорогу встречной колонне. Развернуться для движения назад места ведь не будет... В конце беседы генерал Петров очень по-доброму поблагодарил нас, как-то даже не по-начальственному, а просто по-человечески. Мы видели, что он доволен нашей находкой, нам и самим было приятно, что мы оправдали его надежды, помогли общему делу. После завершения операции Петров и нас, тыловиков, не забыл, наградил наряду с теми, кто на передовой сражался.

Генерал Петров вообще уважительно относился к работникам тыла, понимал трудности и ответственность их службы. Для того чтобы читатели представили условия, в которых оказались тыловики в ту осень на Кавказе, приведу выдержку из книги писателя Виталия Закруткина:

«Кто жил на Северном Кавказе, тот хорошо знает, что значит затяжной осенний дождь, который не прекращается неделями и заливал терскую долину, точно в дни всемирного потопа. То мелкий и тихий, моросит дождь днем и ночью, про-

питывая землю, то он вдруг хлынет буйным ливнем, неся с Черных гор мутные потоки воды. Множество рек, речек и речушек выходят при этом из берегов, сносят мосты, размывают дороги и покрывают все вокруг мутно-желтым разливом грязи. Легкие ночные заморозки, особенно если при этом дует северный ветер, покрывают разлив тонкой коркой льда, но грязь еще не затвердевает, а становится густой и вязкой.

Кусок хлеба, спрятанный в вещевой мешок, превращается в липкий клейстер. Затвор и ствол винтовки ржавеют. От мокрой шинели идет пар. Сапоги покрываются зеленью. Везде тебя настигает проклятый дождь, и всюду слышится смертельно надоевший звук чавкающей, хлопающей, брызгающей грязи. На дне окопа — вода; в ходах сообщения — вода; в землянках — вода; куда ни прислонишься — мокро; к чему ни прикоснешься — грязь.

Да, плохо в ту осень было пехотинцу... он сидел в залитых водою окопах. Но еще хуже было солдатам-обозникам.

Ходкое выражение «просидеть в обозе», несущее в себе оттенок презрения к легкой как будто участи обозника, должно быть сдано в архив. Неимоверно тяжелым был труд пожилого солдата-обозника на Кавказе в памятную осень 1942 года. Всегда под дождем, в холоде и в грязи, колесил этот солдат по размытым терским дорогам, успевая подвезти на своей телеге муку и патроны, бензин и снаряды, сапоги и сено — все, что было нужно войскам.

Он умел вытащить застрявшую в промоинах телегу, находил среди разливов какие-то известные только ему объезды, часами трясясь от холода, выстаивая очереди у мостов, оберегая от дождей свой груз. На своей крепкой спине он перетаскивал тысячи пудов на склады, со складов, на станции, со станций и никогда не жаловался на усталость. Молчаливо выслушивал он ядовитые упреки какого-нибудь горячего юнца-сержанта, презрительно называвшего его «тыловой крысой», и степенно продолжал делать свое незаметное, но важное дело, стоически вынося и грязь, и холод, и бесконечные налеты вражеских бомбардировщиков, которые часто превращали дороги в месиво камней и щепок» (15, стр. 272—273).

В результате всех мер, принятых Петровым, улучшилось снабжение, повысилась боеспособность войск, затруднилось продвижение противника к морю.

Иван Ефимович Петров, и прежде, как мы не раз убеждались, проявлявший большую находчивость, в эти трудные дни нашел еще одну возможность сбить напор наступления. Он применил весьма оригинальный тактический прием. Наряду с обычными оборонительными действиями войск он стал активно засылать группы в тыл врага. В них входили не только разведчики, но и обычные подразделения. Специально подготовленных людей и тем более подразделений для массового проникновения в тыл не было, засылали сводные отряды, группы добровольцев, формировались они в дивизиях и полках. (С одним из таких диверсионных отрядов ходил в тыл противника северо-восточнее Туапсе мой друг, журналист, после войны ставший известным писателем, Сергей Александрович Борзенко. Он участвовал в битве за Кавказ с первого до последнего дня. Дальше я расскажу более подробно об этом замечательном человеке.)

Вот несколько слов маршала А. А. Гречко об этих отрядах:

«В Черноморской группе эффективно применялись специальные отряды, создаваемые распоряжениями командиров дивизий и полков для действий в тылу врага с задачами деморализации его войск, уничтожения живой силы и техники, нарушения коммуникаций, захвата обозов и пленных» (11, стр. 226).

О том, какую напряженную обстановку создавали такие группы в тылу противника и какие причиняли потери, лучше всего свидетель-

ствуют слова тех, против кого действовали наши храбрые воины. Приведу выдержку из дневника командира роты 94-го горносаперного батальона лейтенанта Хетцеля, одного из тех привилегированных «горных дьяволов», которые совсем недавно не сходили с обложек иллюстрированных журналов:

«Сегодня моя рота была брошена на помощь стрелковым полкам, попавшим в тяжелое положение, и я вернулся с поля боя с четырьмя уцелевшими солдатами. Боже, что там было! То, что я жив и могу писать, просто чудо. Они атаковали нас на лошадях. Когда мы перешли реку, человек пятьдесят казаков бросились на мою роту. Солдаты бежали. Я пытался остановить их, но был сбит с ног и так ушиб колено, что ползком пробирался к реке. Казаки три раза проезжали вблизи того места, где я лежал, можно было стрелять, но руки не повиновались от страха... Говорят, что наша бригада перестала существовать. Если судить по моей роте — это правда...» (8, стр. 312).

А вот письмо обер-фельдфебеля Шустера:

«Мы находимся в дремучих лесах Кавказа — селений здесь очень мало. У города Туапсе идут тяжелые бои, драться приходится за каждый метр. Солдаты, которые были в России в прошлом году, говорят, тогда было легче, чем теперь на Кавказе. Почти постоянно мы находимся в ближнем бою с противником. Вокруг ужасный грохот, изо всех концов леса летят камни, свистят пули. Русские стрелки невидимы. А у нас потери и снова потери, ибо в горах мы лишены танков и тяжелого вооружения и вынуждены действовать винтовкой и пулеметом. Наши летчики хотя и помогают нам, но они ничего не видят в лесистых горах. Нас изнуряет жажда на этой отверженной богом высоте. Внизу, в долине, воды сколько угодно, но — увы! — там сидят русские, озлобленные и упрямые» (8, стр. 314).

Засылка групп и отрядов в тыл противника не была изобретением генерала Петрова. В тыл врага засылали своих воинов с целью разведки и нанесения потерь еще в стародавние времена. Заслуга Петрова состоит в том, что в условиях явного превосходства противника в силах, когда сдерживать его части мы уже не могли и медленно, с тяжелыми боями отступали к морю, Петров, не имея возможности противостоять гитлеровцам в открытом бою, применил тактику действия мелкими группами и отрядами в их тылу. Иван Ефимович понял и использовал специфику горной местности, где войска действуют на разобщенных из-за хребтов и долин направлениях, где можно проникать во вражеские тылы и там, не встречаясь с крупными силами, наносить удары. Отряды и группы действовали разрозненно, но причиненный ими урон в людях и технике, нарушение связи, нападение на штабы, базы снабжения — все это в конечном итоге составляло немалую цифру потерь, ослабляло врага, создавало атмосферу нервозности, неуверенности, что отрицательно влияло на боевые действия наступающих частей и соединений.

В результате всех принятых мер враг потерял инициативу, истратил свои силы, не добившись поставленных целей. На этом закончилась попытка противника прорваться к Туапсе.

Немецкие войска — 17-я армия и 49-й горнострелковый корпус — застряли на перевалах Главного Кавказского хребта и на подступах к Туапсе.

Приближалась зима. Надо было что-то предпринимать. В штабе 17-й армии Руоффа на совещании обсуждался вопрос, что же делать дальше на туапсинском направлении. Мнения резко разошлись. Некоторые офицеры, недостаточно хорошо осведомленные в обстановке, считали, что советские войска полностью истощили свои силы и в ближайшее время не смогут не только проводить наступательные действия, но и предпринимать контрудары, а поэтому следует завершить до зимы наступление на Туапсе.

Однако начальник штаба 17-й армии, хорошо знавший обстановку и боеспособность советских частей, считал возможными значительные наступательные операции русских на туапсинском и новороссийском направлениях.

А что же намеревалось делать командование группы армий «А»? Несмотря на огромное желание Гитлера продолжать продвижение к бакинской нефти, в Иран и далее, осуществить этот столь желаемый фюрером план было нечем. Поэтому командование группы армий «А» пришло к заключению: дать частям отдых, доукомплектовать их, подтянуть резервы и весной вновь перейти в наступление. В штабах и частях началась энергичная работа по закреплению на тех рубежах которые гитлеровцы захватили к октябрю. Был составлен общий план размещения войск группы «А» и снабжения на зиму 1942/43 года.

Совсем о другом думал генерал-майор Петров. Войск у него не прибавилось, снабжение боеприпасами и продовольствием не улучшилось, но к этому времени Петров не только полностью вошел в обстановку на фронте, который обороняла Черноморская группа войск, но и крепко держал в руках руководство всеми подчиненными ему армиями, знал, на что они способны, и, исходя из этих возможностей, планировал дальнейшие действия руководимых им частей и соединений.

Стояла ненастная погода, шел то мокрый снег, то холодные дожди. Горные тропы и дороги покрыла гололедица. И вот, несмотря на эту непогоду, Петров решил нанести гитлеровцам удар. Он тщательно его подготовил. Этот удар был полной неожиданностью для фашистов. Они считали, что силы советских частей на этом рубеже совсем иссякли. И вдруг — такой удар! Гитлеровцы бежали, бросая вооружение, технику, боеприпасы — все, что они подготовили здесь на зиму.

Мне хочется обратить внимание на некоторые стороны деятельности Петрова именно в период Туапсинской операции.

В дни вступления Петрова в командование Черноморской группой войск в руках противника были все перевалы через Главный Кавказский хребет, его части приближались к Сухуми и Туапсе. Резервов наше командование не имело и не получало их от Ставки. Наоборот — дивизии в боях с превосходящим противником несли потери и еще больше ослабли. И все же наступление врага было остановлено. И не только остановлено — враг опрокинут. Он даже не отступает, а бежит в панике! Что произошло? Никаких чудес. Приехал новый командующий Черноморской группой генерал-майор Петров, разобрался в обстановке, принял правильное решение и осуществил его, вот и все. На бумаге, да еще много лет спустя это действительно так просто выглядит. Но попробуем предположить, «что было бы, если бы...». Не будем брать все возможные последствия прорыва гитлеровцев к Черному морю, возьмем одно: гитлеровцы заняли побережье. Дело, разумеется, не в том, что страна лишилась бы многих санаториев. Что было бы с ранеными, заполнявшими эти санатории, нетрудно себе представить. Что вообще творили фашисты в оккупированных районах, теперь общеизвестно. А для освежения памяти приведу отрывок из письма одного из оккупантов Кавказа:

«Когда Грозный, Малгобек и другие районы будут в наших руках, мы сможем захватить Баку и установить на Кавказе оккупационный режим, ввести в горы необходимые гарнизоны и, когда в горах наступит относительное спокойствие, всех горцев уничтожить... Горского населения в Чечено-Ингушетии не так уж много, и десяток наших зондеркоманд может за короткое время уничтожить все мужское на-

селение. Для этой акции в Чечено-Ингушетии много превосходных природных условий — ущелий, и не будет надобности сооружать лагерь» (13, стр. 208).

Вот такой неожиданный аспект обретают в глазах фашиста «превосходные природные условия» Кавказа!

А что было бы со всем Черноморским флотом? Без береговых баз флот существовать не может. В Турцию сдаваться наши моряки, конечно, не пошли бы. Что остается? Топить корабли... Это, так сказать, самые ближайшие и весьма реальные последствия, от которых нас отделяло всего несколько дней!

Не хочу идеализировать Петрова и приписывать только ему заслуги в предотвращении катастрофы — это будет неправда. Петров только командовал, умело руководил, а били врага те же армии, те же генералы и солдаты, которые и прежде на этих рубежах воевали. Но и роль Петрова не следует забывать. Те же армии, которые отступали, сначала остановили, а затем опрокинули фашистов потому, что силы прикладывали дружнее, да туда, куда нужно, да вовремя, да более решительно. Вот и выходит, что многое может сделать и один человек, если он настоящий, талантливый полководец.

Не переоцениваю ли я Петрова? Пусть скажет об этом его непосредственный старший начальник — командующий Закавказским фронтом генерал армии И. В. Тюленев:

«Командующий группой армий «А» Клейст отдавал грозные распоряжения: сломать нашу оборону, но советские войска, которыми командовал генерал И. Е. Петров, отразили все атаки противника и, нанеся ответный удар, разгромили ударную группировку врага, рвавшуюся к Туапсе.

Ивана Ефимовича Петрова я уважал как опытного, хладнокровного, обладающего большими организаторскими способностями генерала... С вступлением в командование Черноморской группой И. Е. Петрова положение на важном стратегическом участке Кавказа изменилось. Улучшилось управление войсками, они день за днем стали успешно выполнять поставленную перед ними задачу» (4, стр. 166).

И еще один штрих, мне кажется, уместно привести здесь, именно при рассказе об итогах Туапсинской операции, в результате которой был спасен Черноморский флот. Только за это, думается, моряки должны поставить генералу Петрову памятник. Разумеется, большинство моряков относятся к Петрову с глубоким уважением. Об этом убедительно говорит нарком Военно-Морского Флота, замечательный флотоводец Николай Герасимович Кузнецов:

«Моряки прониклись любовью и уважением к И. Е. Петрову еще при обороне Одессы и Севастополя, когда он командовал Отдельной Приморской армией. Он всегда высоко ценил моряков и умело организовывал взаимодействия сухопутных войск и флота» (22, стр. 302).

Но увы! Были моряки, которые опасались, как бы не потускнела их слава рядом с популярностью Петрова. Я уже писал о том, что адмирал Октябрьский, переживший Петрова, холодно относился к Ивану Ефимовичу. Осуждать за это адмирала нельзя, у каждого человека складываются свои отношения с окружающими людьми: одни нравятся, другие нет. Но когда личные отношения переносятся на дела общественные, а тем более попирают истину, такое поведение нельзя обойти молчанием. Находясь после войны на руководящих постах в Военно-Морском Флоте, адмирал Октябрьский не только не скрывал своей недоброжелательности к Петрову, но впадал в великий

гнев при упоминании его имени. Такое отношение отразилось на исторической и мемуарной литературе, выходявшей в те годы, на экскурсиях по местам боев в Севастополе не упоминается имя генерала Петрова или упоминается вскользь, все заслуги в руководстве героической обороной отданы почетному гражданину города Севастополя адмиралу Октябрьскому. Нет слов, Октябрьский как командующий Черноморским флотом многое сделал для обороны города и юридически он значился командующим Севастопольским оборонительным районом, но все же бои за Севастополь шли на суше и руководил ими генерал Петров. В братских могилах на той священной земле вместе лежат и пехотинцы и моряки. Они жизнями своими скрепили нерушимую дружбу армии и флота. Что может быть выше этого? Мне кажется, в память этой священной дружбы адмирал Октябрьский первым должен был сказать, что и генерала Петрова следует удостоить высокого звания почетного гражданина города-героя Севастополя! Но увь...

Остановив противника под Туапсе, генерал Петров приказал командующему 18-й армией генералу А. А. Гречко разработать план наступательной операции и представить его на утверждение 20 ноября 1942 года. Иван Ефимович не знал, какие радостные вести предстоит услышать ему, всем советским людям именно в этот день, 19 ноября перешли в контрнаступление под Сталинградом войска Юго-Западного и Донского фронтов. 20 ноября ударил и пошел им навстречу, чтобы замкнуть окружение, Сталинградский фронт.

Получив эту весть, генерал Петров сделал все, чтобы его Черноморская группа, невзирая на непогоду, истощенность сил, плохую обеспеченность всем необходимым для боя, немедленно перешла в наступление. Петров понимал — это необходимо, чтобы противник не мог снять части с Кавказа и бросить их под Сталинград. Дивизии Черноморской группы наступали в таких условиях, когда один фланг, в долине, утопал в грязи и горных потоках, а другой, на горном хребте, пробивался сквозь снежную метель. Но несмотря ни на что, войска с тяжелыми боями продвигались вперед весь ноябрь и декабрь. И все это по личной инициативе Петрова, благодаря его широкому стратегическому мышлению, пониманию обстановки. Ведь приказа о наступлении Петров не имел, он выполнял директиву Ставки: отстоять Туапсе, остановить здесь наступление врага. Больше того, как только Петрову удалось стабилизировать фронт, из состава его Черноморской группы были взяты 11-я и 12-я кавалерийские дивизии и переброшены в Северную группу войск.

Вот как верила Ставка в Петрова — совсем недавно под Туапсе все рушилось, грозила катастрофа, теперь же отсюда дивизии снимают! А Петров, несмотря ни на что, ведет свои войска в наступление.

Ставка провела перегруппировку кавалерийских дивизий и других частей, чтобы создать благоприятные условия для проведения Сталинградской операции. 15 ноября, за четыре дня до начала наступления на Волге, Верховный Главнокомандующий вызвал командующего Закавказским фронтом генерала армии Тюленева и командующего Северной группой войск генерал-лейтенанта Масленникова и приказал им, прочно прикрывая основные направления на Грозный и Орджоникидзе, нанести удары по моздокской и алагирской группировкам врага. Это должно было сковать войска противника на Кавказе, не позволить им оказывать помощь Сталинграду, в то же время давало возможность бить гитлеровцев здесь, на рубеже Перека, в дни, когда они сами не могут получить подмогу.

27 ноября левый фланг 9-й армии перешел в наступление, но в течение трех дней не смог прорвать оборону врага.

11 декабря Ставка указала командующему Северной группой войск:

«Противник уже перебросил из района ваших войск часть своих сил на север.. Преднамеренный отход противника на северном берегу Терека нельзя считать случайностью. Создалась, таким образом, благоприятная обстановка для наступления всех ваших войск. Ваша задача состоит в том, чтобы не упустить момента и действовать посмелее» (8, стр. 339).

К этому времени кольцо под Сталинградом замкнулось. Теперь гитлеровские генералы и солдаты затаив дыхание ждали развязки. Командование 1-й танковой армии гитлеровцев докладывало наверх о причинах снижения боеспособности войск:

«...они, кажется, осведомлены о положении в Сталинграде» (там же).

Командующий группой армий «А» отвечал:

«Необходимо разъяснить всем командирам, что танковая армия должна во что бы то ни стало, несмотря на сильное давление неприятеля, удерживать свои позиции... Все теперь заключается в том, чтобы... стиснув зубы, держаться» (там же).

«Горы» и «Море»

К началу января 1943 года обстановка на юге страны, если очертить лишь ее основной контур, была следующая: наши войска завершили окружение 6-й армии Паулюса под Сталинградом и, сжимая кольцо, другой частью сил наступали в направлениях на Ростов и Донбасс: на Кавказе перешла в наступление Северная группа войск и теснила врага от Терека; по Главному Кавказскому хребту от Эльбруса до Новороссийска занимали оборону и готовились к наступлению войска Черноморской группы генерала Петрова: 46-я, 18-я, 56-я и 47-я армии.

Ставка Верховного Главнокомандования приказала командующему Закавказским фронтом генералу Тюленеву подготовить наступление на краснодарско-тихорецком направлении, с тем чтобы, наступая на Краснодар, перерезать железную дорогу в районе Тихорецка и закрыть пути отхода той самой группировке противника, которая еще недавно рвалась к Каспийскому морю. Эту задачу могла выполнить только Черноморская группа войск, которая должна встать на пути противника, теснимого Северной группой войск.

О разработке этой операции и тех трудностях, которые пришлось преодолевать генералу Петрову еще до начала наступления, рассказывает в своих воспоминаниях генерал Тюленев:

«Получив такой приказ, мы с командующим Черноморской группой генералом И. Е. Петровым крепко призадумались. Для проведения такой операции у «черноморцев» сил было недостаточно. Ставка обязывала перебросить к ним из состава Северной группы весь 10-й гвардейский стрелковый корпус, две стрелковые дивизии 58-й армии и одну стрелковую дивизию 46-й армии. В распоряжение Петрова передавались три танковых полка из резерва Ставки.

Москва срочно требовала ответа. И тут началось то, что мы с генералом Петровым называли «вариантной лихорадкой». Вариант за вариантом выдвигался то

мной, то Иваном Ефимовичем и после всестороннего обсуждения отвергался. Все они с военно-теоретической и с практической точки зрения оказывались нереальными.

Цель, выдвинутая в приказе Верховного Главнокомандующего, была заманчивой: с выходом на Батайск мы ставили противника в безвыходное положение, но задача была невероятно трудной, всюду мы наталкивались на препятствия.

Труднейшим из них был сам район предстоящих боевых действий — пересеченная местность предгорий Кавказа. В это время на склонах хребтов уже серебрился первый снег, а на побережье дули сильные ветры, шли проливные дожди.

А отсутствие дорог для доставки техники, боеприпасов, продовольствия? Часть железных дорог, автомобильных магистралей была разрушена. Восстановить их в короткий срок мы не могли, так как на нашем фронте были считанные единицы инженерных батальонов. Еще одна трудность была связана с быстрой переброской войск из-под Орджоникидзе.

Генерал Петров, немало повидавший трудностей в дни героической обороны Одессы и Севастополя, только разводил руками:

— Не знаю, Иван Владимирович, что и сказать вам, обстановка очень сложная. Мне не хочется огорчать вас, но у меня нет уверенности в успешном осуществлении плана, предложенного Ставкой.

— Ничего, Иван Ефимович, выдюжим! А директиву Ставки мы не имеем права обсуждать. Для нас, солдат, это приказ.

Ночные обсуждения в штабе заканчивались тем, что мы с Петровым садились в вездеход и выезжали на разведку местности: уточняли расположение частей, изучали маршруты продвижения войск, советовались с местными жителями, которые хорошо знали горные ущелья и тропы.

И всюду видели, что по извилистым козьим тропам крупными силами не вернуться, проложить новые дороги нужно время.

— Торопись, Иван Ефимович,— отдал я распоряжение генералу Петрову.— Дай задание своим дорожникам, саперам; пусть проявят чудеса расторопности и смекалки. Дальше ждать мы не имеем права... Без дороги, по которой смогут пройти автотранспорт, артиллерия, военные обозы, нам нечего и думать о наступлении. Организуем перевалочные станции, наладим диспетчерскую службу.

И. В. Сталин не любил долго ждать ответа, когда из Москвы уже послана директива Ставки. Зная это, я, вернувшись в штаб, позвонил в Москву.

— Товарищ Сталин,— доложил я,— рекогносцировка местности на лазаревско-майкопском и горячеключевском направлениях показала, что наступление сопряжено с большими трудностями.

— А вы что же,— перебил меня Верховный,— рассчитываете на какую-то волшебную силу? Наступление должно начаться, и чем быстрее, тем лучше...

— Товарищ Сталин, у меня и Петрова есть опасения насчет успешного исхода наступления. Я прошу вас возвратиться к ранее разработанному нами майкопскому плану.

Сталин на минуту замолк, видимо решая что-то, а затем, давая понять, что наш разговор закончен, сказал:

— Товарищ Тюленев! Передайте Петрову и Масленникову, что краснодарский вариант, предложенный Ставкой, остается в силе.

После разговора с Верховным мы срочно разработали план наступления на краснодарском направлении. Он состоял из двух частей — «Горы» и «Море».

Операция «Горы» предусматривала прорыв вражеской обороны в районе Горячего Ключа, выход к Краснодару и освобождение его. Однако этот кубанский город не был конечной целью наступления. Нашим войскам ставилась задача — отрезать путь кавказской группировке противника, двигавшейся на Ростов.

Этим и завершалась операция «Горы».

Согласно операции «Море» мы должны были левым крылом войск 47-й армии стремительно развернуть наступление на перевалы Маркотх и Неберджаевский. Сюда же Черноморская группа высадит морской десант, затем совместным ударом из района Южная Озерейка нанесет удар по Новороссийску, освободит его и выйдет

на перевал «Волчьих ворот». Чтобы дезориентировать врага в отношении места высадки десанта, морские патрули получили задание демонстрировать высадку в районе Анапы. Руководство десантом возлагалось на вице-адмирала Ф. С. Октябрьского.

Вот так в общих чертах выглядел план нашего наступления на Краснодарском направлении.

И. В. Сталин, ознакомившись с ним, обратил наше внимание прежде всего на то, что Черноморская группа войск должна помешать врагу вывезти на запад свою технику, закупорить с востока путь северокавказской группировке противника и уничтожить ее.

4 января Верховный Главнокомандующий лично мне отдал распоряжение: „Передайте Петрову, чтобы он начал свое выступление в срок, не оттягивая это дело ни на час, не дожидаясь подхода резервов“ (4, стр. 168—171).

11 января Ставка утвердила план операции «Горы» и «Море». К выполнению той части, которая называлась «Горы», Петров приступил немедленно, как и требовала Ставка. Но прежде чем нанести главный удар, генерал Петров решил опробовать противника двумя отвлекающими ударами. Первый такой удар в направлении на Нефтегорск и частью сил на Майкоп нанесла 46-я армия. Она с трудом сломала сопротивление и медленно продвигалась вперед. 12 января, чтобы не быть отрезанным, противник стал уходить с перевалов Марухского, Клужорского, Санчаро и других.

Такой же вспомогательный удар нанесла 47-я армия в направлении на Крымскую. Но условия здесь были крайне неблагоприятные. Шли непрерывные дожди, они сменялись мокрым снегом. Дороги были непроходимы, и артиллерия не смогла занять назначенные позиции. Армия успеха не имела.

16 января перешла в наступление 56-я армия и хоть и с тяжелыми боями, но продвигалась вперед. Противник делал все возможное, чтобы задержать эти отрезающие ему отход советские части. Но все же Черноморская группа, несмотря на отсутствие дорог, плохие погодные условия, продолжала наступать и к 23 января, прорвав вражескую оборону южнее Краснодара, продвинулась вперед до двадцати километров.

К этому времени войска Южного фронта наступали довольно успешно. 23 января командование группы армий «А» доносило в ставку Гитлера:

«Ростов уже закрыт русскими. Создается серьезная ситуация. Одновременно надо ожидать, что силы противника получат значительное подкрепление, так как много войск освободится под Сталинградом, которые и составят мощную наступательную силу... Опасность заключается не только лишь в районе южнее Ростова, но и в том... что противник может прорваться через Ворошиловград к Азовскому морю. В подобном случае кажется, что вырваться из рук противника и отбиться от него невозможно» (8, стр. 419).

Потеряв возможность вывести войска с Северного Кавказа через Ростов, немецкое командование повернуло дивизии группы армий «А» на Таманский полуостров. А это значило, что все вражеские войска, находившиеся в этом районе, теперь двигались навстречу Черноморской группе войск генерала Петрова. Ввиду такого резкого изменения обстановки перед Черноморской группой войск вставали новые и очень сложные задачи. В тот же день 23 января 1943 года Ставка указала Петрову:

«Войска Южного фронта, успешно наступая, подошли к Батайску и находятся на расстоянии 8 километров от него. На днях должен быть взят Батайск, и северокавказская группировка противника будет отрезана от Ростова и закупорена на Северном Кавказе.

Северная группа Закавказского фронта успешно преследует противника и приближается к Армавиру и Кропоткину.

Черноморская группа Закавказского фронта не сумела выполнить своих задач, не выдвинулась в район Краснодара и не сможет к сроку выполнить задачу выхода в районы Тихорецка и Батайска.

В связи со сложившейся обстановкой Ставка Верховного Главнокомандования перед Черноморской группой ставит новые задачи:

1. Выдвинуться в район Краснодара, прочно оседлать р. Кубань, распространиться по обоим ее берегам, а главные силы направить на захват Новороссийска и Таманского полуострова, с тем чтобы закрыть выход противнику на Таманский полуостров, так же как Южный фронт закрывает выход противнику у Батайска и Азова.

2. В дальнейшем основной задачей Черноморской группы войск иметь захват Керченского полуострова.

3. Иметь при этом в виду, что войска Южного фронта и Закавказского фронта должны окружить 24 дивизии противника на Северном Кавказе и пленить их или истребить, так же как Донской фронт, окружив 22 дивизии противника в районе Сталинграда, истребляет их» (8, стр. 419—420).

Для более оперативного руководства наступающими войсками 24 января Ставка вывела Северную группу войск из состава Закавказского фронта и преобразовала ее в Северо-Кавказский фронт. Командующим этим новым фронтом был назначен генерал-лейтенант И. И. Масленников. Через шесть дней, то есть 30 января, ему было присвоено звание генерал-полковника.

Черноморская группа генерала Петрова продолжала действовать как отдельное объединение, ее армии, преодолевая сопротивление противника, горное бездорожье, невероятные погодные колебания от ливней до снегопадов, продолжали медленно продвигаться вперед. 25 января 18-я армия овладела Хадыженской. 26 января 46-я армия освободила Нефтегорск, Нефтяную и развивала наступление на Майкоп. 29 января в штаб Закавказского фронта поступила телеграмма от партизан о том, что они вступили в Майкоп.

С этим богатым нефтью районом гитлеровцы связывали большие надежды, а наше командование было заинтересовано сначала в том, чтобы не отдать горючее противнику, а позднее — чтобы побыстрее вернуть этот нефтеносный район и восстановить его эксплуатацию. Генерал Петров пристально следил за этим районом и принимал меры к его освобождению.

О выводе из строя, а затем возвращении к жизни этих нефтепромыслов можно написать отдельную интереснейшую книгу, но поскольку эта героическая эпопея имеет к Петрову лишь косвенное отношение, я расскажу о ней очень коротко.

Как и в других главах, мне хотелось здесь привести сведения из первоисточника, почерпнув их от участника событий. Работа над этим эпизодом еще раз подтвердила мысль о том, что мы порой плохо знаем людей, даже близких друзей. Однажды я поделился своим затруднением с давним другом, генерал-лейтенантом Алексеем Дмитриевичем Бесчастным — не могу, мол, найти участника событий, связанных с боями за Майкоп. Опытный, мудрый чекист улыбнулся и сказал:

— А зачем тебе искать? Вот перед тобою участник тех дел. А моя жена Валентина Александровна — партизанка из тех краев.

Бывает же такое — человек, с которым мы лет двадцать дружим семьями, оказывается, знает то, что мне очень нужно, а мы ни разу

за эти годы не коснулись его участия в битве за Кавказ. Уж так богата у каждого из нас жизнь, что, переговорив об очень многом, мы этой темы пока не затронули. Я попросил Алексея Дмитриевича немедленно хотя бы коротко рассказать о тех событиях, и вот что он мне поведал:

— В широкоизвестный майкопский нефтеносный район входит несколько промыслов, самый крупный из них Хадыженский. Здесь добывалась высококачественная нефть, и с этим были связаны надежды фашистов сразу же после оккупации использовать эту нефть для своих нужд. Правительством была поставлена задача: в случае оккупации этого района лишить немцев такой возможности. «Ни капли кубанской нефти врагу» — таков был наш лозунг... Центр руководства работами по выводу из строя нефтепромыслов находился в Хадыженской, где после отступления из Краснодара дислоцировался и штаб Северо-Кавказского фронта. Организаторами спецработ были: управляющий местным нефтепромыслом Лаврентьев, начальник УНКВД Тимошенко, руководитель объединения Краснодарнефть Апряткин, московские специалисты, из них помню Амияна, ныне ученого. Возглавлял москвичей заместитель наркома нефтяной промышленности Байбаков. Сейчас он, как ты знаешь, председатель Госплана СССР. Был в руководстве и я. Мы расположились в доме Лаврентьева. Всех волновал вопрос: как похитрее и получше законопатить скважины? При этом была нужна такая технология, которая обеспечивала бы надежность закупорки и невозможность эксплуатации их противником и в то же время давала бы возможность нашим нефтяникам в нужный момент быстро начать добычу нефти. С самого начала гитлеровцы пытались нам помешать, не дать вывести из строя нефтепромыслы, они стремились узнать наши планы и возможности относительно консервации скважин. В наш район постоянно засылали агентов и разведчиков. Их ловили. От них мы узнавали намерения врага. Систематически контролировал проведение спецмероприятий первый секретарь Краснодарского краевого комитета партии член Военного совета Северо-Кавказского фронта Петр Инуарьевич Селезнев.

На долю нефтяников, партийных работников и чекистов выпала совершенно необычная и ответственная работа, которую надо было сделать быстро и хорошо. В этом районе трудились несколько сот практических исполнителей: инженеров, техников, рабочих, партийных и комсомольских активистов, сотрудников органов госбезопасности и милиции,— и каждому нелегко и непросто было приводить в негодность то, что совсем недавно большими общими усилиями было построено. Работа была тяжелая и выполнялась, по существу, вручную. Нужны были цемент, металл, трубы, гравий и другие материалы. Без какой-либо механизации, в условиях резко пересеченной местности люди переходили от скважины к скважине и, как мы выражались, ставили железобетонные мосты на большой глубине. Надо было торопиться. Фронт неумолимо приближался. Налеты вражеской авиации становились ежедневными и частыми. Фашисты трижды сбрасывали десанты с целью захвата нефтепромыслов, но эти десанты уничтожались силами народного ополчения и боевыми группами чекистов, милиции и истребительных батальонов. Работа требовала напряжения всех сил. Люди трудились день и ночь, почти не отдыхали, от усталости валялись с ног. Но в то время мы были молоды и все выдерживали. Товарищи Байбаков, начальник УНКВД Тимошенко и другие руководители в любое время дня и ночи рассматривали предложения по закупорке каждой скважины, затем утверждали эти предложения и осуществляли контроль.

Несмотря на сложную обстановку, ежедневную борьбу с вражескими диверсантами и агентами, которых забрасывали с воздуха и

переправляли по горным тропам, все наши люди работали самоотверженно, с верой в нашу победу. Лаврентьев, о котором я упоминал, будучи коммунистом с девятьсот второго года, лично знал Ленина и много о нем рассказывал. У него была прекрасная память, высказывания Ленина он передавал почти дословно, присутствующие слушали его с огромным интересом, и у них словно прибывали силы... Задание правительства мы выполнили. Нефть не досталась врагу. В последний день, когда все руководители эвакуировались, а фашисты подошли вплотную, я приказал поджечь резервуары-хранилища с нефтью, а также вывести из строя электростанцию в Апшеронске. Фашисты наседали, маршал Буденный со своим штабом выбыл из Хадыженской. Исполнители спецмероприятий доделывали свою работу в непосредственной близости от врага, иногда в пределах видимости, и, только выполнив задание, уходили через Гойтхский, Грачевский и Лазаревский перевалы... Когда гитлеровцы захватили нефтеносный район, пошел слух, что немцы качают нефть из наших скважин. Из Москвы поступило строгое указание разобраться и наказать виновных. Расследование было поручено Клименко. Он через партизанские отряды Нефтегорского куста проверил и доложил, что фашисты пытаются расконсервировать скважины и добывать нефть, но это им не удастся, хотя они и привлекли своих лучших специалистов. Немцы так и не смогли возродить ни одной скважины. Лозунг «ни капли кубанской нефти фашистам» был выполнен.

Позже Алексей Дмитриевич рассказал мне много подробностей, но это уже другая тема.

В первых числах февраля войска Северо-Кавказского фронта вышли к Азовскому морю в районе Новобатайска и Ейска. Настало время осуществить ту часть плана, утвержденного Ставкой, которая называлась «Море».

Решение высадить морской десант в район Новороссийска генерал Петров принял еще в ноябре 1942 года. Руководство этой операцией возлагалось на вице-адмирала Октябрьского. Штаб Черноморского флота разработал план подготовки и осуществления Новороссийской операции. С самого начала велась подготовка двух десантов. Один, основной, намечалось высадить в районе Южной Озерейки, другой, вспомогательный, в районе Станички. Эти укомплектованные десанты проходили боевую учебу в районе Гуапсе и Геленджикской бухты. Здесь они вместе с кораблями (для осуществления этой операции было выделено более 60 кораблей и судов) тренировались в высадке и выброске боевой техники на необорудованный берег, отрабатывалось взаимодействие между теми, кто высаживается, и теми, кто обеспечивает высадку. В десантных частях велась активная политическая работа. 2 февраля в штурмовые десантные группы прибыли командующий Закавказским фронтом генерал армии Тюленев, члены Военного совета фронта, а также командующий Черноморской группой генерал Петров. Здесь состоялись сначала беседы, а потом и митинг, на котором бойцы и командиры-десантники поклялись отдать все силы для выполнения поставленной задачи. Боевой дух десантников был высоким.

Казалось бы, предварительная работа проделана вовремя и качественно. Десанты должны были взаимодействовать с частями 47-й армии, которая начинала наступление первой и получила от генерала Петрова задачу: наступая северо-западнее Новороссийска, в направлении Мефодиевки, соединиться в этом районе с десантом, который выйдет сюда из Южной Озерейки, и, окружив, таким образом, Новороссийск, очистить его от противника.

Отрядом кораблей и транспортов, которые должны были высадить основной десант в районе Южной Озерейки и поддержать огнем

высадку десанта и его бой на берегу, командовал контр-адмирал Н. Е. Басистый.

Основным десантом в районе Южной Озерейки командовал полковник Д. В. Гордеев, в его состав входили: 83-я и 255-я краснознаменные бригады морской пехоты, 165-я стрелковая бригада, отдельный фронтовой авиадесантный полк, отдельный пулеметный батальон, 563-й танковый батальон и 29-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк. По составу этого десанта видно, что он был хорошо продуман и способен вести самостоятельные боевые действия против гитлеровцев.

Чтобы дезориентировать противника, создать видимость высадки на широком фронте, решено было, как уже говорилось, высадить демонстративный десант в районе Станички. Его должен обеспечить отряд кораблей под руководством контр-адмирала Г. Н. Холостякова. В состав демонстративного десанта в районе Станички входил штурмовой отряд из 250 бойцов морской пехоты под командованием майора Ц. А. Куникова. Начальником штаба этого десанта был капитан Ф. Е. Котанов, заместителем по политической части — старший лейтенант Н. В. Старшинов.

Высадку на берег вспомогательного десанта производил отряд, состоявший из четырех сторожевых катеров, двух катеров-тральщиков и двух катеров «ЗИС», этим отрядом командовал старший лейтенант Н. И. Сипягин.

Был также сформирован отряд огневого содействия. В него вошли крупные корабли крейсера «Красный Крым», «Красный Кавказ», лидер «Харьков», эскадренные миноносцы «Сообразительный» и «Беспощадный». Отряду ставилась задача произвести артиллерийскую подготовку и обеспечить высадку десанта в районе Южной Озерейки. Командиром этого отряда был назначен вице-адмирал Л. А. Владимирский.

3 февраля генерал Петров отдал официальный приказ вице-адмиралу Октябрьскому: высадить морской десант в районе Южной Озерейки и Станички, то есть уже непосредственно осуществить то, что так долго и тщательно готовилось.

Хранить свои замыслы втайне — старинная полководческая традиция. Широко известны исторические примеры, подтверждающие это. Когда А. В. Суворова спросили представители союзного тогда России австрийского правительства и командования, каков его план действий против французов, Александр Васильевич положил на стол чистый лист бумаги и ответил: «Вот мой план!.. То, что задумано в моей голове, не должна знать даже моя шляпа». А М. И. Кутузов говорил в сходных случаях так:

«Если бы мои планы узнавала моя подушка, я бы на ней не спал» (30, стр. 48).

Петров тоже до последнего дня не называл намеченную дату. Но вот в ночь на 3 февраля все было готово. Командующий десантной операцией вице-адмирал Октябрьский со своей оперативной группой разместился на командном пункте Новороссийской военноморской базы в Геленджике. Здесь, в Геленджике, находились части, выделенные в основной десант. Тут же была и штурмовая группа демонстративного десанта.

Второй отряд основного десанта располагался в Туапсе. А основные силы отряда прикрытия и огневого обеспечения сосредоточились в Батуми.

Вот такое размещение войск в разных портах, да еще на кораблях, у которых разные скорости, сразу же наводит на мысль о том, что будет непросто свести их все воедино к местам высадки в назначенное время. Но поскольку планировал все это штаб Черноморского флота, да еще во главе с командующим флотом, разумелось, что эти сложности были учтены.

Дальнейший рассказ о ходе этой операции ставит меня в некоторое затруднение не потому, что я не знаю, как происходили события, а потому, что моряки очень болезненно реагируют, когда речь заходит о не совсем удачных действиях морских сил.

Поскольку Новороссийская операция, как это будет видно дальше, развивалась неудачно, мне кажется целесообразным воспроизвести ее ход цитатами из воспоминаний участников этой операции, авторитет которых, я думаю, и для моряков и для читателей несомненен.

Итак, вот что рассказывает маршал А. А. Гречко:

«Первый отряд кораблей основного десанта из-за плохо организованной погрузки и ухудшения погоды опоздал с выходом из Геленджика почти на один час двадцать минут. Кроме того, отряд высадочных средств основного десанта был сформирован из разнотипных судов, катеров и высадочных средств, обладавших различными скоростями хода, и поэтому общее движение судов приходилось ориентировать по наиболее тихоходным.

4 февраля в 00 часов 12 минут, когда до начала артподготовки оставалось всего 48 минут, командир высадки, контр-адмирал Н. Е. Басистый, видя, что первый отряд не сможет своевременно прибыть в район высадки, дал на крейсер «Красный Кавказ» командиру отряда огневого содействия вице-адмиралу Л. А. Владимирскому радиограмму и донес командующему операцией вице-адмиралу Ф. С. Октябрьскому об опоздании первого десантного отряда. Контр-адмирал Н. Е. Басистый просил в связи с этим перенести открытие огня на полтора часа. Не ожидая приказа командующего операцией, вице-адмирал Л. А. Владимирский немедленно сообщил о переносе сроков артподготовки на все корабли. Корабли оказались вынужденными маневрировать в районе высадки на виду у противника» (8, стр. 429).

Как видно из этой цитаты, еще до того, как десанты попали под огневое воздействие противника, начали срывать сроки, установленные планом. Опоздание погрузки на час двадцать минут — это, конечно же, вина тех, кто готовил десант, потому что ни артобстрела, ни бомбардировок в это время со стороны противника еще не было. Ну и то, что пришлось уже в ходе движения отряда кораблей делать перерасчет движения по самым тихоходным, это тоже не делает чести тем, кто рассчитывал это движение, что делалось еще в январе. А то, что крупные корабли, не открывая огня, вынуждены были маневрировать в районе высадки вблизи от противника, не только ставило сами корабли под угрозу бомбардировки и обстрелов, но и просто демаскировало всю намеченную операцию.

Дальше, как пишет маршал А. А. Гречко, события развивались так:

«Командующий операцией вице-адмирал Ф. С. Октябрьский, получив радиограмму командира высадки контр-адмирала Басистого с просьбой о переносе артподготовки, понял, что при оттяжке начала высадки до рассвета останется слишком мало времени, и поэтому приказал выполнять операцию по ранее установленному плану... Однако радиограмма командующего операцией дошла до адресатов спустя 45 минут после указанного в плане срока начала операции, и выполнить приказание уже было нельзя. Так уже в самом начале десантной операции вместо согла-

сованности и тесного взаимодействия между командирами групп были допущены просчеты, которые в конечном итоге привели к срыву высадки основного десанта» (8, стр. 430).

Ну а дальше, как и бывает при такой организации, все пошло вразнобой между ранее намеченным планом и реально совершающимися действиями участников операции. Авиация, не получившая приказа об изменении времени, начала свои действия точно по плану. В район Новороссийска вылетели самолеты и нанесли удар по Южной Озерейке, Глебовке, Васильевке, Станичке и Анапе. Тут же вслед за бомбовым ударом, как это и предполагалось, был высажен воздушный десант. В 2 часа 31 минуту корабли открыли огонь по противнику в районе Южной Озерейки и выпустили 2011 крупнокалиберных снарядов.

«Настильный огонь корабельной артиллерии не причинял потерь огневым точкам и войскам противника, укрытым на обратных скатах гористой местности,— пишет А. А. Гречко.— Вражеская огневая система осталась неподавленной. А через полчаса крейсера вообще прекратили стрельбу и начали отходить в свои базы» (8, стр. 431).

Таким образом, если учесть, что те, кто должен был высадиться под прикрытием этого огня, с подходом к берегу запаздывали, то, как и следовало ожидать, дальше произошло следующее:

«Основной десант в районе Южной Озерейки был встречен шквальным пулеметным, минометным и артиллерийским огнем. Шесть судов загорелись. Канонерские лодки и другие суда несколько раз приближались к берегу, но под воздействием вражеского огня вынуждены были отходить от места высадки... Море штормило, приближался рассвет. Чтобы сохранить силы и средства десанта, контр-адмирал Н. Е. Басистый приказал кораблям отойти в Геленджик и Туапсе. На берегу в районе Южной Озерейки закрепились лишь штурмовые отряды первого эшелона, насчитывавшие около 1500 человек и 16 танков. Морские десантники завязали ожесточенный бой с противником и вскоре овладели Южной Озерейкой, после чего повели наступление на Глебовку» (23, стр. 80).

Эта цитата взята мною из книги «Новороссийск — город-герой», которую написал генерал-лейтенант Иван Сильвестрович Шиян. Он участник боев на Кавказе и позже, став научным работником, детально изучил Новороссийскую операцию, о которой написал немало трудов. Вот что генерал Шиян рассказал мне (да и в своей книге написал об этом):

— Трое суток десантники, высадившиеся в районе Южной Озерейки, вели тяжелые, труднейшие бои с превосходящими силами противника. Были израсходованы все боеприпасы. Десантники понесли большие потери. И все эти трое суток они не получали помощи. С ними не было связи, руководители операции даже не знали, что эти десантники продолжают там биться и истекают кровью. Десантники попытались прорваться в район Станички, туда, куда высаживался демонстративный десант, но это им не удалось. Почти все они погибли. Единицы ушли в горы, а двадцать пять человек соединились с парашютным десантом, который высадился почти одновременно с ними, позже они были сняты вместе с этими парашютистами...

Поблагодарив Шияна, продолжу рассказ.

Действия демонстративного десанта в районе Станички проходили совсем иначе. Здесь все осуществлялось по ранее намеченному плану. Высадка началась в 1 час 30 минут 4 февраля по сигналу командира отряда высадки старшего лейтенанта Н. И. Сипягина. Группа

береговой артиллерии, катера высадки, реактивные установки открыли огонь по огневым точкам противника на берегу, а торпедные катера поставили вдоль берега дымовую завесу. Высадка проходила организованно. И уже через час, в 2 часа 40 минут, командир десанта майор Ц. Л. Куников донес о том, что десант закрепился на берегу, и просил высылать второй эшелон.

После этого доклада Куникова второй и третий эшелоны немедленно прибыли и стали высаживаться в намеченных районах. Подразделения этого демонстративного десанта не только высадились, но действовали очень активно и, ведя бои, стали расширять плацдарм. В течение ночи десантники захватили несколько кварталов в южной части Станички. Вот с этих успешных действий десантного отряда во главе с Цезарем Куниковым и начинается рождение Малой земли, о которой уже так много написано.

И еще одна цитата, на сей раз из воспоминаний моряка, адмирала Г. Н. Холостякова. Он готовил десант Куникова и руководил его высадкой. Провел эту часть операции блестяще! Георгий Никитич рассказывал мне при встречах много интересного — он отличный рассказчик, — но подробности, касающиеся этого периода операции «Море», я лучше возьму из его опубликованных воспоминаний:

«По-настоящему порадоваться успеху куниковцев не дали плохие новости об основном десанте.

Что там, у Озерейки, неладно, я почувствовал по нервной напряженности Ф. С. Октябрьского. Но мрачному лицу Н. М. Кулакова, когда явился к ним на КП с очередным докладом. Догадка эта, увы, вскоре подтвердилась.

При высадке основного десанта не удалось обеспечить столь важной в таких операциях внезапности. Противник обнаружил в море наши корабли и был начеку, причем у него оказалось в этом районе гораздо больше огневых средств, чем предполагалось. Участники первого броска начали высаживаться в тяжелейших условиях — при шторме и под сильным вражеским огнем. Были потеряны болиндеры и еще несколько вспомогательных судов. Контр-адмирал Н. Е. Басистый признал, что продолжать высадку нельзя, и отдал кораблям приказ отходить.

Общая картина прояснилась, конечно, не сразу. Сперва мне стало известно лишь одно: корабли уходят от Озерейки, не высадив морские бригады, так как это почему-то оказалось невозможным.

Я поспешил на КП командующего флотом Ф. С. Октябрьского. Раз уж так вышло, думалось мне, есть смысл повернуть часть кораблей — хотя бы канонерские лодки — в Цемесскую бухту, высадить морскую пехоту на плацдарм, захваченный у Станички, и развивать отсюда наступление на Новороссийск...

Командующего я застал еще более взволнованным и сумрачным, чем час назад. Его состояние понять было нетрудно. Я доложил свои соображения, стараясь быть предельно кратким. Да они, казалось мне, и не нуждались в многословных обоснованиях. Плацдарм существовал. Пристань рыбозавода, способная принять канлодки, была в наших руках. Береговые батареи и флотские летчики, взаимодействовавшие с куниковским отрядом, прикрыли бы и эту высадку... Словом, перестройка плана операции представлялась оправданной. Я даже ожидал, что командующий прервет меня и скажет: «Это уже решено».

Ф. С. Октябрьский выслушал до конца. Быстро шагая назад и вперед по комнате, он задал два-три вопроса, из которых я понял, что все это, должно быть, уже обсуждалось тут. «Так за чем же дело стало?» — думал я.

Отпущенный к себе на КП, я еще некоторое время, пока не рассвело совсем, ждал приказа обеспечить прием кораблей у Станички. Однако тогда оно не последовало. Наверное, я не мог учесть всех обстоятельств, мешавших командующему принять решение немедленно» (24, стр. 261—262).

Неуверенность в руководстве адмирала Октябрьского подметил и командующий фронтом генерал Тюленев. Он писал:

«После возвращения кораблей в Геленджик, а 83-й мотострелковой бригады в Туапсе, когда выяснились обстоятельства боев в районе Южная Озерейка, я приказал вице-адмиралу Ф. С. Октябрьскому 255-ю мотострелковую бригаду, отдельный пулеметный батальон, а вслед за ними и 83-ю мотострелковую бригаду высадить в районе Станичка, развить успех ранее высадившихся войск...» (4, стр. 173).

В целом операция «Море», рассчитанная на освобождение города Новороссийска, закончилась неудачей. Погибло более тысячи человек, было потеряно много кораблей и техники. За плохое руководство и тяжелые потери, понесенные в этой операции, вице-адмирал Октябрьский был снят с должности командующего Черноморским флотом и назначен с понижением — командующим Амурской военной флотилией на Дальнем Востоке.

Где же был генерал Петров во время операции «Море»? Почему командующий фронтом генерал Тюленев, минуя командующего Черноморской группой генерала Петрова, приказывает адмиралу Октябрьскому развивать успех десанта в районе Станички?

Еще до начала операции «Море» осуществлялась другая часть плана наступления — «Горы». В условиях полного бездорожья, при крайне неблагоприятной погоде, когда ледяные дожди сменялись свирепыми вьюгами, войска, вынужденные тащить на себе не только боеприпасы, но орудия и минометы, продвигались вперед с большим трудом. Петров дни и ночи проводил в боевых порядках, на самых ответственных участках.

4 февраля, в день высадки десантов под Новороссийском, начала форсировать Кубань 18-я армия. 5 февраля перешла в наступление 56-я армия. В этот же день Ставка передала Черноморскую группу из Закавказского фронта в Северо-Кавказский фронт, сохранив ее организационно в существующем составе. Генерал Петров опять перешел в подчинение генерала Масленникова, под началом которого командовал 44-й армией на терском рубеже.

Ставка приказала войскам Северо-Кавказского фронта: не позднее 10—12 февраля окружить краснодарскую группировку противника и уничтожить ее. Таким образом, в дни проведения десантных операций Иван Ефимович вел армии в наступление на Кубани. Ввиду существовавших уже к тому времени трений между ним и Октябрьским Петров держался с адмиралом строго официально. Старался не вмешиваться в действия Октябрьского, чтобы лишний раз не сталкиваться с ним, не казаться придирчивым, в десантной операции дал Октябрьскому полную возможность действовать самостоятельно.

И вот, как выяснилось, Петров напрасно поступил так. Если бы он в данном случае оставил бы в стороне свои личные сложные отношения с Октябрьским, пренебрег его обидчивостью, был бы более требователен, а может быть, и более внимателен к нему, возможно, его немалый полководческий опыт помог бы Октябрьскому. Хотя Октябрьский, конечно, принял бы его помощь как личную обиду, проявление недоверия к нему.

Я обещал писать о Петрове правду и поэтому, рассказав о многих его хороших делах, как это ни огорчительно, должен сказать, что в данном случае он проявил слабость. Бывает в жизни такая ситуация, когда человек обязан преодолеть интеллигентскую щепетильность и поступить так, как требуют интересы дела. Твердость в таких случаях необходима. Оправдывает Ивана Ефимовича лишь то, что в дни, когда проводилась операция «Море», он не просто уст-

ранился и наблюдал со стороны за действиями Октябрьского, а, отдав приказ Октябрьскому, всецело занялся руководством боями на краснодарском направлении.

1 февраля 1943 года Гитлер, нарушив свою клятву не присваивать никому чин генерал-фельдмаршала до конца войны, произвел Клейста в генерал-фельдмаршалы. Он послал ему такую телеграмму: «В знак благодарности к вашим личным заслугам, точно так же в знак признания заслуг ваших войск во время решающих боев на востоке, с сегодняшнего дня я произвожу вас в чин генерал-фельдмаршала».

В телеграмме, посланной Клейсту, отчетливо видно желание Гитлера подбодрить не только его, но и войска: «...в знак признания заслуг ваших войск во время решающих боев на востоке...» И в старой германской и в гитлеровской армии была, как уже говорилось, принята своеобразная игра в этакое рыцарство. В своем ответе фюреру отдал дань этой традиции и Клейст. Явно желая смягчить впечатление от серьезных неудач, он написал: «...мое производство в этот чин я отношу за счет заслуг моих неподражаемых войск и командования». Слов мало, а смысл заложен в них большой. Эпитет «неподражаемые» относится к словам «войск» и «командования», а кто командовал Клейстом? Сам Гитлер. Значит, Клейст открыто льстит фюреру и намекает: все, что было, было под вашим командованием. Разумеется, он имел в виду победы, а не отступление.

Но Клейст не только льстил своим войскам, он еще и лицемерил. Об этом свидетельствует его обращение к Гитлеру в эти же дни с просьбой разрешить приводить в исполнение многочисленные смертные приговоры, которые выносили дивизионные трибуналы. Видно, очень неблагоприятно обстояло положение с дисциплиной и боевым духом в «неподражаемых войсках», если новоявленный фельдмаршал в первой же своей просьбе хлопочет о применении к ним смертной казни без утверждения высших инстанций.

Гитлер удовлетворил просьбу генерал-фельдмаршала Клейста.

Итак, третий противник Петрова получил высшее военное звание фельдмаршала. Первым был Антонеску — просмотрел отход Приморской армии Петрова и вступил в пустую Одессу; вторым — Манштейн, который 250 дней не мог с превосходящими силами взять Севастополь, обороняемый отрезанной от всей страны, истерзанной в боях армией Петрова. И вот третий, новоявленный генерал-фельдмаршал Клейст. Какие же победы он одержал? Надо сказать правду, до встречи с Петровым 1-я танковая армия Клейста успешно наступала от Ростова до реки Терек. А вот на терском рубеже Клейст на участке 44-й армии, которой командовал Петров, не продвинулся ни на метр! На этом рубеже 1-я танковая армия полностью выдохлась и, не выполнив задачи, поставленной ей лично Гитлером согласно плану «Эдельвейс», покатила назад. И вот завершается более чем пяти-соткилометровый драп-марш от Терека на Таманский полуостров. Группа армий «А», которой командует Клейст, потерпела сокрушительное поражение. Разве за такие провалы дают звание генерал-фельдмаршала? Как видим, дают. Гитлер, явно думая о будущем, сместив до этого многих генералов с высоких постов, наверное, пытался создать себе опору из тех, кому еще доверял. Один из них был Клейст — старый, проверенный, преданный служака.

Петров к этому времени еще генерал-лейтенант.

В марте 1943 года Черноморская группа войск и ее управление были расформированы. Иван Ефимович получил назначение на

должность первого заместителя командующего войсками и начальника штаба Северо-Кавказского фронта.

В этой должности генерал Петров находился недолго — с 16 марта по 13 мая 1943 года. Не буду подробно описывать эти два месяца службы Ивана Ефимовича, скажу лишь о том, что два месяца активной боевой деятельности в стратегических масштабах, которые охватывает фронт, дело непростое и очень ответственное. Тем более что именно в это время Петрову пришлось как бы держать экзамен перед представителем Ставки маршалом Г. К. Жуковым. Но об этом позже, по порядку.

А сейчас я расскажу о встрече Петрова в штабе фронта с человеком, который будет рядом с ним во многих ответственных операциях. Этот человек — Николай Михайлович Трусов. Как непосредственный участник битвы за Кавказ (он был тогда начальником разведки Северо-Кавказского фронта) он рассказал мне о тех днях много интересного и достоверного. Я много лет знаю его по совместной службе после войны в Генеральном штабе. После ухода из армии нас связывают уже не служебные, а дружеские отношения.

Поскольку читатели будут встречаться в этой повести с Трусовым довольно часто, познакомлю с ним поближе. Николай Михайлович небольшого роста, полный, русоволосый, с добрыми голубыми глазами. Встретив его на улице, никто даже не подумает, что этот человек, внешне похожий больше на детского врача или бухгалтера, в действительности разведчик высокого класса. У него не только внешность, но и фамилия не соответствует тому, что он собой представляет. Николай Михайлович человек высочайшей смелости, причем в самых различных проявлениях этого качества. Он смел и умом — осуществил очень много труднейших разведывательных операций и разгадал хитрейшие замыслы противника; смел и в самом прямом, действенном проявлении, когда встречался с врагами лицом к лицу.

По происхождению Трусов рабочий, москвич, родился в 1906 году в семье печатника. И сам пошел по стопам отца, стал рабочим-печатником: сначала в типографии, потом окончил полиграфический техникум. В 1923 году вступил в комсомол, в 1927 году в партию. В 1929 году по партийной мобилизации направлен в Красную Армию. Окончил полный курс бронетанкового училища в городе Орле, затем служил в войсках. В 1933 году поступил и в 1936 году защитил диплом в Военной академии моторизации и механизации. После этого Трусов побывал в нескольких длительных командировках за рубежом, во время которых в совершенстве овладел немецким языком. После нападения гитлеровцев на нашу страну Трусов был назначен заместителем начальника разведотдела Южного фронта, а затем начальником разведотдела Северо-Кавказского фронта, куда и прибыл в марте 1943 года генерал Петров.

Мы о многом говорили с Николаем Михайловичем. Но недавно я побывал у него на Плющихе и расспросил о том, как он впервые встретился с Петровым в дни, когда Иван Ефимович стал начальником штаба Северо-Кавказского фронта. Трусов рассказал:

— До этого я с Петровым не встречался, но, конечно же, слышал о нем. И вот он после прибытия к нам вызывает меня и просит доложить о противнике. Я доложил. Он говорит: «Как раз подошло время писать разведсводку». Я отвечаю: «Сейчас мы ее составим» — и хотел идти. Но Петров остановил меня. «Садитесь, говорит, здесь и пишите, а я пока другие бумаги посмотрю». Сначала меня это озадачило — непривычно работать под взглядом начальства. Но я тут же

понял — Петров хочет проверить меня. В отделе сводку могут написать подчиненные, а он хочет знать, как я мыслю самостоятельно. Ну, я сел к столу, написал. Он прочел внимательно, сказал: «Хорошо, а теперь нанесите на мою карту обстановку в расположении противника, мне некогда, бумаг тут целую кипу надо читать». Ну, тут я окончательно понял: хитрит генерал, изучает свои кадры! Обстановку ему штабные чертежники могли нанести и быстро и красиво, но ему хочется узнать, как у меня с графикой и вообще мои отношения с картой. Нанес я обстановку. Петров поблагодарил, и так у него все это вышло буднично, по-простому, будто мы уже давно вместе работаем. Не знаю, какое у него сложилось обо мне впечатление, но, видимо, неплохое. Он относился ко мне всегда хорошо, кроме официальных моих докладов, часто советовался, беседовал не только о служебных делах. В начале сорок третьего года поздравил меня и подарил генеральские погоны. Я был самый молодой генерал в штабе, мне тогда всего тридцать семь лет исполнилось. Мне довелось служить с разными крупными военачальниками, в завершающих операциях войны я был начальником разведывательного управления Первого Белорусского фронта, которым командовал Жуков. Сравнивая командующих фронтами, могу отметить: к некоторым ходил на доклад с внутренним напряжением, ожиданием упрека или даже разноса. А вот к Петрову всегда приходил со спокойной душой, зная, что у него будет деловой, доброжелательный разговор. Он и упрекнуть и поругать мог, но делал это как-то так, что потом ты сам себя за этот его упрек казнить будешь. Не знаю, как знакомился Иван Ефимович с другими офицерами штаба, но со мной было так, как я рассказал. На первый взгляд простое дело — знакомство с подчиненными, в действительности это не так просто, во-первых, потому, что нас много — в управлениях и отделах сотни офицеров, — во-вторых, знакомство это происходило в ходе боев, где не было времени на изучение людей, надо было сразу руководить машиной, имя которой штаб фронта! Это очень сложный организм. Петров с первого дня вошел, влился и повел дела, будто штаб с ним давным-давно работал вместе.

Бои за облаками

Обычно выше облаков сражаются летчики: небо их стихия. Но в этой главе я расскажу о простых пехотинцах, которые дрались в горах Кавказа, на перевалах и вершинах, выше облаков. Главный Кавказский хребет с самыми высокими вершинами Эльбрус, Казбек, с перевалами Санчаро, Марухский, Клухорский и другими — участок обороны 46-й армии. Какое это имеет отношение к Петрову? Самое прямое — 46-я армия входила в Черноморскую группу войск, которой командовал Иван Ефимович.

О боях на перевалах до приезда сюда Петрова, о том, как были установлены гитлеровские флаги на Эльбрусе, я коротко рассказал раньше.

Командовал 46-й армией до 28 августа 1942 года генерал-майор В. Ф. Сергацков, а затем был назначен генерал-лейтенант К. Н. Леселизде, он командовал 46-й армией пять месяцев — до 25 января 1943 года, после чего стал командующим 57-й армией. На его место пришел хорошо проявивший себя в боях на реке Терек генерал-майор И. П. Рослый, но прокомандовал этой армией две недели. Затем в командование 46-й вступил генерал-майор А. И. Рыжов и пробыл здесь полтора месяца. Так менялись командующие в период самых напряженных боев на Главном Кавказском хребте.

Наступали против нас здесь специальные соединения 49-го горнострелкового корпуса генерала горных войск Рудольфа Конрада. В дни боев на Кавказе ему было пятьдесят два года. Это был опытный служака, начал он с военного училища, в 1912 году получил звание лейтенанта. Участвовал в первой мировой войне. В 1935 году стал генерал-майором. В гитлеровских акциях против европейских стран был начальником штаба корпуса. На советскую землю пришел как командир 7-й горнострелковой дивизии. А с декабря 1941 года был назначен командиром 49-го горного корпуса. Гитлеровское военное руководство о Конраде высказывалось очень похвально. Геринг сказал, что Конрад отлично справился с порученными заданиями в военных операциях в Европе.

Не менее опытным был командир 1-й горнострелковой дивизии генерал Губерт Ланц, сорока шести лет, лейтенант с 1915 года, генерал-майор с 1940 года. Передо мной лежат фотокопии личных дел гитлеровских генералов, несколько страниц в деле Губерта Ланца заполнено блестящими аттестациями.

Надо признать, командиры немецких горных частей и их подчиненные имели хорошую специальную подготовку. Тем почетнее победа наших командиров и воинов, одолевших в заоблачных сражениях хваленых «снежных барсов», «горных орлов» — уж как только их не называли возлагавшие на них огромные надежды руководители гитлеровского рейха. Окончательную аттестацию этим двоим, как и другим гитлеровским захватчикам, дала наша Красная Армия, разгромив их хваленые соединения и вышвырнув остатки с Кавказа.

Боям в высокогорных районах наше командование придавало особое значение. Осенью 1942 года была создана оперативная группа и введена должность заместителя командующего фронтом по обороне Главного Кавказского хребта. Назначен на эту должность был генерал-майор Петров И. А.

На моем столе копия любопытнейшего документа:

«ШТАБ ОПЕРГРУППЫ ЗАКФРОНТА ПО ОБОРОНЕ ГЛАВНОГО
КАВКАЗСКОГО ХРЕБТА

2 февраля 1943 г. № 210/ог г. Тбилиси

Начальнику альпинистского отделения
военинженеру 3 ранга ГУСЕВУ А. М.

ПРЕДПИСАНИЕ

С группой командиров опергруппы в составе: политрука Белецкого, лейтенантов Гусак, Кельс, старшего лейтенанта Лубенец, военнослужащего Смирнова на машине ГАЗ № КА-7-07-44 (шофер Марченко) выехать по маршруту Тбилиси — Орджоникидзе — Нальчик — Терскол для выполнения специального задания в районе Эльбруса по обследованию баз, укреплений противника, снятию фашистских вымпелов с вершин и установлению государственных флагов СССР.

Местным и партийным организациям просьба оказывать содействие начальнику группы военинженеру 3 ранга Гусеву, необходимое для выполнения указанных задач.

Зам. командующего войсками Закфронта
генерал-майор И. А. Петров».

Значит, Петров лично организовывал и руководил операцией по снятию фашистских и водружению советских знамен на Эльбрусе? Это прямо подтверждает цитата из книги Х. М. Ибрагимбеили «Крах «Эдельвейса» и Ближний Восток»:

«Во второй половине января 1943 года против 49-го горнострелкового корпуса противника действовала также отдельная горнострелковая бригада особого назначения (ОГСБОН), которая была сформирована 22 января 1943 года постановлением Военного Совета Закавказского фронта по предложению заместителя Командующего фронтом по обороне Главного Кавказского хребта генерал-лейтенанта И. Е. Петрова» (13, стр. 249).

А вот что напечатано недавно, в июне 1983 года, в журнале «Огонек»:

«Уже в конце 1942 года началось формирование наших двенадцати отдельных горнострелковых отрядов — ОГСО, в каждый из которых входило до 300 альпинистов с необходимой экипировкой, горнолыжным снаряжением, обученных стрельбе, движению в горах, ведению диверсионных действий на перевалах. Эти отряды готовили крупнейшие советские альпинисты — Александр Сидоренко, Алексей и Андрей Малеиновы, Павел Курилов, Евгений Абалаков, Борис Нефедов, Леонид Кельс, Александр Гусев, Павел Захаров и другие, а саму идею подготовки таких отрядов горячо поддержал только что назначенный заместителем командующего Закавказским фронтом по обороне перевалов ГКХ генерал-майор И. Е. Петров.

Преследуемый ОГСО противник нес на кавказских перевалах огромные потери, и в январе 1943 года наши опытные горовосходители окончательно перечеркнули амбиции нацистов на Эльбрусе. И в заключение все тот же Иван Ефимович Петров начал подбирать группу альпинистов для снятия с кавказского гиганта гитлеровских флагов» (33, стр. 28).

Разумеется, мне было бы очень приятно написать, как Иван Ефимович провел такую заметную — пусть не по количеству занятых войск, а по какой-то особой романтической окрашенности — операцию, в результате которой были сброшены гитлеровские флаги с Эльбруса. Но я обещал читателям придерживаться точного и правдивого изложения, а в эльбрусском деле имеются два обстоятельства, вызывающих у меня сомнение. Возможно, это неточности публикации или просто опечатки, но проверить их, установить истину необходимо. Во-первых, в удостоверении на имя Гусева инициалы генерала Петрова указаны И. А. Во-вторых, подписал его генерал-майор Петров, а 2 февраля 1943 года, когда оформлялось это предписание, Иван Ефимович уже был генерал-лейтенантом. Далее. В личном деле И. Е. Петрова должность замкомандующего Закавказским фронтом по обороне Главного Кавказского хребта не зафиксирована, хотя ее могли и не указать, если она выполнялась по совместительству с должностью командующего Черноморской группой войск. Если возникают такие разночтения, то как выявить истину?

Я уже не раз порадовался тому, что пишу о событиях, участники которых еще живы. Счастливая возможность поговорить с теми, кто сражался на Отечественной войне, будет не так уж долго доступна писателям, разрабатывающим эту тему. Уходит наше поколение, свершив свои великие дела! Природа неумолима, как бы мы ни желали долготлетия нашим ветеранам, неминуемое произойдет. И вот тогда литераторы останутся один на один с документами, книгами или рукописями. Некоторое время будут еще передаваться устные рассказы о трудных и славных делах фронтовиков, но не будет самого важного источника — бесед с очевидцами, участниками войны.

Как прекрасно, как радостно сознавать, что я имел возможность говорить с самим Петровым, много лет встречался с ним, видел его дела и беседовал со многими его соратниками. Как полезно для дела еще и сегодня иметь возможность снять трубку телефона и догово-

ряться об очередной встрече с генералами Ласкиным, Трусовым, Батовым, Лучинским и многими другими, кто был рядом с Петровым. Например, недавно я летал в Кишинев, где живет шофер, бесменно возивший Ивана Ефимовича с 1942 по 1947 год, Сергей Константинович Трачевский. Он стал для Ивана Ефимовича за эти годы не просто водителем, а близким, заботливым человеком, который знал все его привычки и маленькие слабости. Сергей Константинович подробно рассказал мне о годах, когда он ежедневно был рядом с Петровым. Я обязательно использую нужные мне для повести и, надеюсь, интересные для читателей бытовые подробности из жизни Ивана Ефимовича, которые откроют его нам еще с одной стороны. Пишу я здесь об этом потому, что воспользовался (и считаю — с большим успехом) возможностью личного общения и в прояснении эльбрусской загадки.

Кого из участников операции на Эльбрусе искать? Где они живут? Живы ли? С чего начинать поиск? Разумеется, идеально было бы найти А. М. Гусева, которому было выдано предписание на выполнение спецзадания. А почему бы не стремиться к идеальному варианту?

Не стану описывать мои поиски. Многих других нужных фронтовиков я тоже искал иногда с такими любопытными перипетиями, что можно было бы об этом писать рассказы в манере Ираклия Лурсабовича Андроникова (кстати, моего соседа по лестничной площадке).

Нашел я А. М. Гусева!

Поразительно, великолепно складываются у некоторых фронтовиков судьбы! Военный инженер третьего ранга, что по нынешним званиям соответствует капитан-инженеру, вырос после войны в ученого, и немало! Тот молодой, находчивый, смелый командир альпинистов сейчас доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой физики моря Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Он написал книгу «Эльбрус в огне», она выпущена Военным издательством в 1980 году. Я, каюсь, не знал о ней до встречи с Александром Михайловичем, а теперь, прочитав, рекомендую ее всем, кто хочет познакомиться с подробным и умелым описанием славных героических дел наших соотечественников, военных и гражданских, в дни боев за облаками, на Главном Кавказском хребте.

Я же возвращаюсь к своей небольшой конкретной проблеме — имел ли отношение Иван Ефимович Петров к установлению советских флагов на Эльбрусе?

Мы встретились с профессором Гусевым в июне 1983 года у него на квартире в Москве.

Как толькоходишь в эту квартиру на проспекте Вернадского, сразу видишь, что ее хозяин — путешественник: все комнаты и коридор увешаны фотографиями горных вершин и, конечно же, Эльбруса во всевозможных ракурсах. В кабинете в застекленном шкафу — большой пингвин, память о первой советской экспедиции в Антарктиду, в которой Александр Михайлович участвовал. Шкура белого медведя — напоминание о Новой Земле и экспедициях в северные широты. В общем, квартира-музей. И еще много книг. Целую полку занимают книги, написанные Гусевым. В день нашего знакомства Александр Михайлович подарил мне только что вышедшие в свет «Основы океанологии» — это учебное пособие для студентов университетов. Насколько сложны проблемы, которые изучает Гусев,

видно даже из аннотации к этой книге: океанография и физика океана — термика и динамика, акустика, оптика, электрические и магнитные явления в океане, биофизика океана, ядерная океанология, химия океана, геология океана, взаимодействие океана с атмосферой.

Александр Михайлович — среднего роста, крепкий, лобастый и, несмотря на седину, чувствуется, очень прочный человек. В общении прост, открыт, заговорили мы с ним как старые приятели. Слушать его большое удовольствие, рассказал он много интересного, но я приведу лишь то, что касается главной цели моего визита — событий на Эльбрусе.

— С Эльбрусом я знаком давно. Меня влекла к нему романтическая загадочность. Это самый высокий пик на Кавказе, вершина его почти всегда за облаками. Говорят, что одну треть нашей ночи тут, внизу, на земле, голова Эльбруса освещена солнцем. С Эльбрусом связан древний миф о Прометее... Впервые я совершил восхождение на Эльбрус летом тридцать третьего года. Год проработал на метеорологической станции на его склоне, на высоте 4250 метров. Нас было трое на этой станции. Я, Виктор Корзун и Горбачев, ему, самому старшему из нас, было всего двадцать четыре года. Мы восемь месяцев не спускались в долину. Холод был страшный — замерзала ртуть в термометрах. Раз в сутки по радио передавали сводку погоды в Пятигорск. В январе тридцать четвертого года мы с Виктором Корзуном совершили первое в истории альпинизма зимнее восхождение на Эльбрус. Здесь, около Эльбруса, я встретил в тридцать пятом году свою будущую жену — Женю, она была студенткой. На моем рюкзаке совершал свои первые походы в горы наш сын... В сорок первом году мы, как всегда, отправились всей семьей в горы. Я заканчивал работу над кандидатской диссертацией «Влияние Гольфстрима на циркуляцию атмосферы». Было хорошее лето, начинался спортивный сезон альпинистов. Мне предстояло работать начальником учебной части альпинистского лагеря в верховьях Баксанского ущелья, недалеко от Эльбруса. Тихим солнечным было утро двадцать второго июня. Я ушел с молодыми альпинистами на тренировку по скалолазанию. Ребята старательно штурмовали скалы. Вдруг я увидел бегущую к нам женщину. У нее на руках был ребенок. Когда она подбежала ближе, узнал — моя жена с сыном. Она запыхалась и смогла выкрикнуть только одно слово: война!

Потом Гусев участвовал в горных боях и учил других этому сложному искусству. Я сказал:

— Александр Михайлович, эту главу я хочу назвать «Бои за облаками». Правильно ли это будет?

— Абсолютно точно. Облачность, которую мы обычно видим над городом, бывает на высоте триста — пятьсот метров и выше. Мы бились с фашистами на гораздо больших высотах. Вот, например, в Приэльбрусье линия фронта проходила на высоте от 1800 до 5300 метров над уровнем моря — это выше нескольких этажей облаков.

— Ну а теперь расскажите коротко, как вы водружали советское знамя на Эльбрусе. В книге у вас об этом написано подробно, но поскольку я разыскал вас, мне бы хотелось услышать устный ваш рассказ, хотя бы о самом главном.

Гусев улыбнулся, подумал и стал рассказывать:

— Ну, прежде всего это было не просто восхождение на Эльбрус, а война. Восхождение с боями. И ему, как каждому бою, предшествовали разведка, подготовка и все что полагается перед боем. Гитлеровцы создали много баз, узлов сопротивления, окружили их

проволочными заграждениями, заминировали подходы. В этих узлах обороны находились постоянные гарнизоны. Основным узлом Эльбрусского участка немецких войск был перевал Хотю-тау, здесь было построено более двадцати каменных жилых домов и складов. Я находился в госпитале после неудачного приземления с парашютом: летал на разведку. В палату мне принесли предписание за подписью генерала Петрова.

— Значит, вы генерала не видели?

— А почему вы об этом спрашиваете?

— Для меня это очень важно.

— Нет, не видел. Принесли предписание-приказ, его надо выполнять. Я тут же выписался из госпиталя и поехал к месту сбора группы, в Баксанское ущелье. Дороги разрушены, мосты взорваны — это похозяйничали «эдельвейсы», они драпали, чтобы избежать окружения. До отхода они всюду дрались отчаянно, мне пришлось убедить в этом во многих боях... На «Приюте одиннадцати» собрался весь отряд. Нас было двадцать — все указанные в предписании и еще несколько опытных альпинистов. Прикомандировали к нам фронтового кинооператора Петросова, чтобы зафиксировать предстоящее событие. Фашисты разрушили метеостанцию, на которой я зимовал в тридцать третьем — тридцать четвертом годах. Дело предстояло не простое. В зимнее время такие восхождения за десять лет после нашего с Витей Корзуном повторили только пять групп. Эльбрус зимой — это километры отполированных ветрами крутых ледяных склонов. Это маленькая Антарктида с морозом больше пятидесяти градусов. Это облака, плохая видимость. Передвижение возможно только на острых стальных кошках при абсолютно уверенной технике движения. Поднимаясь к вершине, надо, кроме всего прочего, пройти несколько климатических зон и преодолеть горную болезнь, которая валит и очень здоровых людей... У Эльбруса две вершины. Я разделил отряд на две группы. Первую повели Гусак и замполит Белецкий. В нормальную погоду от «Приюта одиннадцати» до вершины надо добираться восемь—десять часов. Прошло пятнадцать часов, наши товарищи не возвращались. Разгулялся сильный буран. Я сформировал спасательный отряд. Но где искать? Мы не успели выступить, как из серой мглы, шатаясь от усталости, вышли один за другим все шестеро наших друзей. Они бросили к ногам обрывки фашистских флагов. Мы кричали «ура». На вершине Эльбруса ребята оставили записку...

Вот ее текст:

«13.2.1943 г. 14.00.

Сегодня сюда поднялась группа инструкторов альпинизма РККА в составе: начальник группы — мастер спорта СССР Н. Гусак, лейтенант,

участники: мастер спорта А. Сидоренко, сван-партизан Г. Хергиани, сван-партизан Б. Хергиани, политрук мастер спорта Е. Белецкий, в/техник 2 ранга инструктор Е. Смирнов.

Поднялись с «Приюта одиннадцати» за 9 часов. Снегопад, туман, мороз.

Восхождение посвящено освобождению Кавказа от гитлеровцев и 25-й годовщине нашей славной Красной Армии.

Группа по приказу командования Закавказья сняла немецко-фашистский вымпел и установила наш Красный флаг СССР. Смерть немецким оккупантам! Да здравствует наша партия — ВКП(б) и героическая Красная Армия!

Да здравствует наш Эльбрус и вновь свободный Кавказ!» (25, стр. 143—144).

— Буран продолжался трое суток Семнадцатого февраля я повел группу в четырнадцать человек на вторую вершину Эльбруса. Наш

советский флаг нес в своем рюкзаке замполит моей группы Вячеслав Лубенец. Вышли ночью. Ориентировались по Полярной звезде. Мороз ниже сорока градусов. На высоте 4800 метров многих стала валить горная болезнь. На высоте 5300 метров стало совсем плохо, на здоровье даже молодых людей сказывалась военная нервотрепка, плохое питание. Труднее других досталось кинооператору Петросову, он вообще был новичок в горах. Мы несли его камеру по очереди. Преодолевая болезнь, он еще пытался снимать нас на маршруте! Удивительно упорный человек, понимал значительность события. Выше 5400 каждый шаг давался с огромным трудом. На высоте 5500 увидели двух мертвых, замерзших гитлеровских егерей. Вот вы говорите — бои за облаками. Даже выше — враги были уже на полпути к стратосфере. И вот наконец-то мы на вершине. Видимость — аж до Черного моря! Хлещет ветер. Мы выдернули древко гитлеровского флага с обрывками ткани. Установили наш алый стяг. Дали салют из наганов и пистолетов. А Петросов все снимал и снимал, забыв о горной болезни... Когда спустились, в штабе фронта генерал армии Тюленев вручил нам правительственные награды.

— А Петров был генерал-лейтенант? — с волнением спросил я.

— Нет, генерал-майор. Вы, наверное, имеете в виду Ивана Ефимовича Петрова? Это другой Петров, его звали Иван Алексеевич, он до этого назначения был начальником охраны тыла фронта. Он занимался альпинистами, горными частями. А в целом Сорок шестая армия подчинялась командующему Черноморской группой войск Ивану Ефимовичу Петрову. Вскоре после нашего возвращения с Эльбруса оперативная группа по обороне Главного Кавказского хребта была расформирована, бои сначала опустились с гор, а потом откатились и с кубанских просторов на Таманский полуостров...

Вот так Гусев, не подозревая об этом, несколько разочаровал меня: найти прямую причастность И. Е. Петрова к водружению знамени нашей Родины на Эльбрусе не удалось. Но, как говорится, чего не было, того не было.

Рассказ Александра Михайловича о горах, о восхождениях, о замечательных альпинистах был обширнее и красочнее, чем я здесь привел. Сократил я его умышленно, как не имеющий прямого отношения к главному герою моего повествования.

Но сам я так раззадорился, что решил непременно побывать хотя бы на одном из тех горных перевалов, где войска Петрова вели упорные бои.

О боях на перевалах написана В. Гнеушевым и А. Попутько хорошая, обстоятельная книга «Тайна Марухского ледника», она переиздавалась пять раз, и читатели могут найти ее в библиотеке. Я знаком с авторами, они рассказывали немало подробностей, выявленных после написания книги. Вот и они тоже подогревали мое желание самому посмотреть на эти места.

Поскольку о Марухском перевале написано подробно, я решил добраться до Санчарского перевала, в высокогорное село Псху. Здесь тоже шли горячие, упорные бои, о которых маршал А. А. Гречко пишет так:

«На Санчарском направлении боевые действия начались 25 августа. Сосредоточив в долине р. Б. Лаба свыше полка 4-й горнострелковой дивизии против одной роты 808-го полка 394-й стрелковой дивизии и сводного отряда НКВД, противник перешел в наступление и, захватив перевал Санчаро, начал почти беспрепятственно продвигаться на юг... 28 августа овладел селением Псху, а 29 августа, усилив свою группи-

ровку высаженным авиадесантом, подошел к перевалам Доу и Ачавчар» (8, стр. 165, 166).

Чтобы читатели представили себе, где находятся эти места, подскажу один всем известный ориентир — озеро Рица. Да, та самая Рица, куда вы ездите на экскурсионных автобусах во время отдыха на Черноморском побережье. Если вы посмотрите от автобусной стоянки за озеро, то увидите там высокую стену гор, поросших деревьями. Вот в этом направлении всего в нескольких километрах находятся перевалы Доу и Ачавчар, а за ними, тоже недалеко, село Псху и Санчарский перевал.

Однако добраться туда непросто. Я летел из Сухуми очень маленьким по сегодняшним понятиям самолетом «ПО-2», который приземлился на крошечном высокогорном аэродроме, на той самой площадке, где высаживался гитлеровский авиадесант. Эта площадка — одна из немногих, позволяющих на такой большой высоте садиться самолетам. Насколько это непростое дело — сажать здесь самолеты и летать между хребтов, свидетельствует такой печальный факт: самолет, на котором я летел сюда, разбился через несколько месяцев после моего посещения Псху. А его вели опытные, знающие эту трассу пилоты.

Псху расположено в живописном ущелье реки Бзыбь, на границе Абхазии и Краснодарского края. Добротные домики, окруженные садами, стоят вдоль берега шумной, бурлящей Бзыби. Население здесь смешанное — абхазцы, русские, украинцы. Еще до революции пришли в эту глушь старообрядцы, прячась от преследования официальной церкви. Осели здесь, прижились, а теперь, давно уже забыв о своих религиозных разногласиях, дружно и добросовестно трудятся в мирные дни в колхозе и отважно защищали свою землю от гитлеровцев в годы войны.

От Псху горные дороги выводят кратчайшим путем на Гудауту и Сухуми. Поэтому немецкий генерал Конрад создал здесь своеобразный опорный пункт и базу для обеспечения дальнейшего продвижения к Черному морю.

В селении Псху я встретил многих участников боев за село, за перевал Санчаро, за Кавказ. И первый, о ком мне хочется рассказать, был не только участником боев, но еще стал горячим пропагандистом боевых дел своих товарищей, человеком, вокруг которого объединяются участники боев за перевал Санчаро. Его имя Геннадий Георгиевич Дарсалия. Сейчас он уважаемый человек, начальник управления одного из министерств Грузии. Статный, подтянутый, элегантный, голова в серебре седины. Сюда, в Псху, а затем на Санчарский перевал, он пришел осенью 1942 года восемнадцатилетним, скромным и даже робким юношей, неопытным красноармейцем, а ушел отсюда всего через несколько месяцев, пролив здесь кровь, стойким, мужественным воином. И не только горечь и боль остались в его сердце при воспоминании об этих местах, где он бил врагов, где лежат в могилах друзья юности, где и сама его юность погибла, несмотря на то, что он остался жив.

Уходил он из дома, простившись с любимой невестой, прекрасной Анико. Возвратившись с победой, часто рассказывал Анико, теперь уже своей жене, о боях на Санчаро. А когда подрос его внук Каха и пришла пора идти ему в первый класс, решил Геннадий Георгиевич преподавать внуку первый урок патриотизма, любви к родине и уважения к старшим.

Геннадий Георгиевич веселый, общительный человек, он так мне рассказывал об этом уроке:

— Решил я взять с собой в поездку на Санчарский перевал супругу Анико и внука Каху. Мы прилетели в Псху самолетом, а дальше двинулись на лошадях. Добрались до самого перевала. Я рассказывал о боях, о друзьях. Каха собирал старые, позеленевшие гильзы. Как живые встали передо мной сержант Николайшвили, солдаты Андреев, Долидзе, Мушкудиани и другие боевые товарищи, похороненные в этих скалах. Мы посидели на берегу крохотного, поросшего зеленью озера — для защитников левой высоты Санчарского перевала оно было когда-то единственным источником питьевой воды. Немцы знали это, их снайперы выслеживали нас. Сколько погибло здесь молодых парней! Я смотрел на гордый правосторонний каменный пшиль Санчаро, с которого наши смельчаки разведчики корректировали огонь артиллерии, и явственно слышал грохот взрывов и мин. Каждый камень, каждый кустик напоминал о пережитом... Дорога на перевал не из легких, то справа, то слева от тропы такие ущелья — голова кружится. Не случайно мой внук, когда я ему после возвращения сказал: «Поцелуй дедушку за то, что он свозил тебя на Санчаро», — ответил: «Я тебя поцелую. И еще поцелую лошадку: если бы не она, мы живыми не вернулись бы». И поцеловал и меня и лошадь.

К моей поездке в Псху Геннадий Георгиевич тоже приложил свою организаторскую руку. Благодаря ему я одолел не только горные перевалы, но и многие трудности, связанные с транспортом, билетами, жильем.

В Псху Дарсалию все знают, он познакомил меня с участниками боев, живущими здесь и по сей день. Осмотрели мы и поклонились памятникам, где лежат погибшие воины и местные жители. Сходили в клуб, где на стенах стенды с фотографиями ветеранов, схемы и описания сражений на Санчарском перевале — все это сделано заботами совета ветеранов и все того же неутомимого Геннадия Георгиевича. Он сюда с пустыми руками не приезжает — то новые фотографии, то альбом, то книги дарит.

В Псху мы провели с ветеранами боев и пожилыми жителями превосходный вечер. Какие прекрасные, простые и величественные люди сидели за столом! Познакомлю хотя бы с некоторыми из них.

Мартыну Марковичу Козыренко за пятьдесят, но выглядит он молодо, худощавый — в горах вообще толстяки редко встречаются. Лицо у него не просто загорелое, а дубленое солнцем, ветрами, ливнями и снегами. Голос глуховатый, тоже севший от непогоды, от резких температурных перепадов: здесь даже в течение одного летнего дня трижды сменяются времена года — с утра прохладная весна, днем пригревает так, что ходят в майках-безрукавках, а к вечеру холодно, как осенью, без пальто или телогрейки не обойдешься.

— Когда вы поселились в этих местах? — спросил я Козыренко.

— В тридцать восьмом году весной мои родители и я с братом приехали сюда. Отец переписывался со старыми односельчанами, они все нахваливали здешнюю красоту и приволье. Ну и решились наши отец и мать, приехали. Вступили все четверо в местный колхоз. Мы с братом уже были взрослые. Через год меня избрали бригадиром. Земель тут было маловато, приходилось расчищать от леса, корчевать пни. Когда началась война, мы с братом получили повестки из воен-

комата. Доставить к нам повестки, а нам добраться до сухумского военкомата было не так-то просто. Пока мы пришли, часть, куда нас предназначали, была сформирована. Нас зачислили в местный сухумский истребительный батальон и оставили в своем селе. Руководил нами начальник районного НКВД Петр Романович Абрамов. Когда бои приблизились к Санчарскому перевалу с той, краснодарской стороны, мы стали думать о самообороне. наших воинских частей в районе перевала не было. Председатель колхоза Архип Шишин стал собирать отряд, что-то вроде ополчения. Мы с братом пришли первыми. Мы же оба бригадиры, активисты. Сначала в отряде было всего тринадцать человек, потом пришли и другие односельчане. Первыми немцами, которые появились здесь, были, как и полагается, разведчики. Ну, мы тропы знаем как свои пять пальцев, делали засады в удобных местах, били этих разведчиков. Гитлеровцы тогда накапливали побольше сил. Ну а нам воевать с ними было нечем — ни оружия, ни патронов. Мы отходили. И опять устраивали засады. Так гитлеровцы овладели Санчарским перевалом, нашим селом Псху и оттеснили нас к перевалу Доу. Здесь подросли наши подразделения из Сухуми. Это были бойцы из частей, которые отступали оттуда, из-за перевалов. Затем подошел батальон пограничников, им командовал майор Соленый. Потом весь Двадцать пятый погранполк и другие части. Командирам трудно было ориентироваться в нашей сложной местности, карт этих районов у них не было. Нас, ополченцев, распределили по воинским подразделениям как проводников.

— Вы тоже были проводником?

— Да. Я несколько раз водил отряды пограничников в тыл противника. Они делали налеты на врага, и я выводил их обратно. Здесь невозможно создать сплошную линию фронта. Для того чтобы драться в открытом бою, у наших было мало сил. Да и оружие только легкое — винтовки, автоматы. С тяжелыми пулеметами по скалам не пройдешь. Гитлеровцы продержались в Псху всего четырнадцать дней, с двадцать седьмого августа по девятое сентября. Советские части их выбили. Я и брат с этих дней остались служить в воинской части.

— Как складывалась здесь жизнь после войны?

— Сразу после изгнания немцев восстановился колхоз. Трудно было: гитлеровцы побили лошадей, технику испортили. Сначала мы думали только о том, как бы выжить. Село наше отдаленное, если даже и найдут возможность помочь, то доставить сюда что-нибудь очень трудно. Вот мы и выращивали здесь кукурузу, картошку. Я после войны опять стал бригадиром, а в пятидесятом году меня избрали председателем здешнего сельсовета. Вот по сей день не отпускают меня односельчане, переизбирают, как только настает время выборов.

— Мартын Маркович, какая у вас семья?

— Большая, пятеро детей, все труженики: старший сын колхозник, средний — бригадир, младший — лесничий, дочери — одна заведующая клубом, другая только что десятилетку закончила. Жена работает уборщицей в клубе. У нас здесь никаких учреждений нет, поэтому и должности все свои, местные.

Как безжалостна судьба к людям. Мог ли думать я или Мартын Маркович, что это наш первый и последний разговор? Мы с ним подружились, договорились о встречах здесь, в Псху, и у меня в Москве. Но случилась беда — человек, прошедший столько опасностей на войне, погиб вскоре после этого разговора, разбившись на том самом самолете, на котором я прилетал в эти места.

Сидел с нами в тот вечер за столом Александр Миктатович Тария. Он живет в Сухуми, работает директором Абхазского краеведческого музея, много сделал для того, чтобы сберечь и передать потомкам память о героических защитниках Кавказа. Тария участвовал в боях за Псху и Санчарский перевал. Протянув руку в сторону реки Бзыбь, он сказал:

— Вот здесь я шел в атаку с моими боевыми товарищами девятого сентября. Мы очистили Псху от гитлеровцев. Здесь в боях за Псху и перевал погибли мои однокашники: курсанты Кортуга, Хаджба, Чичба, Пахтадзе и другие. Однажды меня и еще двоих солдат вызвали в штаб и поручили вывезти на вьюке погибшего политрука — Сергея Дмитриевича Рябца. Ночью мы не смогли пробиться через горы, лошадь все время чего-то пугалась, и мы были вынуждены вернуться в Псху, где и был похоронен с почестями политрук Рябец. Вон его могила, сегодня днем мы все были там и возложили цветы. А я знал еще живым этого молодого, веселого и энергичного политработника.

— А где вам, Александр Миктатович, довелось воевать после освобождения Санчарского перевала?

— Мы перешли через Главный хребет и гнали фашистов до равнины. Потом я участвовал в боях на краснодарском направлении под руководством генерала Петрова. Под Киевом в сорок четвертом году я был ранен, попал в госпиталь, после излечения уволен из армии и вернулся на родину...

А вот что рассказал Дарсалия:

— Мне довелось быть участником сражения за село Псху. Это село — единственный населенный пункт, который осенью сорок второго года удалось ненадолго захватить немецко-фашистским войскам на территории Грузии. В невероятно тяжелых условиях приходилось нам вести бои с хорошо обученными горными стрелками дивизии «Эдельвейс», оснащенными специальным горным обмундированием и вооружением. Каждый прожитый день казался вечностью. Мы сражались в снегах и на ледниках, имея при себе небольшой запас боеприпасов и продовольствия. Кусок сахара делили на двоих, снегом утоляли жажду, последнюю щепотку табака отдавали раненому товарищу. Нас обжигали ледяные ветры, засыпали снежные обвалы. Но, сжав зубы, мы твердили про себя как заклинание слова из горской песни: «Обуглись, но выстой — выхода нет!» Позже, уже в госпитале, где я лежал после тяжелого ранения, полученного в бою на Санчарском перевале, узнал, что слова «обуглись, но выстой!» не из народной горской песни, как все мы думали, а из поэмы Николая Семеновича Тихонова о Кавказе «Дорога». Тогда же с душевным трепетом прочел я новые замечательные стихи поэта, посвященные освобождению Санчарского перевала. Они так и назывались «Санчарский перевал»:

Высоко в небе над Абхазией
Санчарский перевал,
Там путник разве что с okazji
Случайно побывал...

В душе моей еще в те далекие годы зародилась мечта познакомиться с поэтом. Она казалась мне несбыточной. И только спустя три с половиной десятилетия появилась возможность встретиться с Николаем Семеновичем. Помог мне в этом писатель Карло Каладзе, друг Тихо-

нова и мой друг. Однажды, будучи в Москве, он по моей просьбе позвонил Тихонову, и мы, Карло Каладзе, моя жена и внук, поехали в Переделкино, на дачу Николая Семеновича.

Несмотря на приглашение Тихонова, я все же попросил Каладзе зайти первым, на разведку. А сам стал с интересом рассматривать поросший зеленью просторный двор. Прошло несколько минут, и Каладзе, выйдя на крыльцо, весело помахал мне рукой — все, мол, в порядке, можно идти. Захватив с собой альбом, я направился к дому. С трепетом переступил порог и увидел Тихонова точно таким, каким видел его не раз на экране телевизора: с крупной седой головой, из-под нависших бровей тепло улыбаются мудрые, добрые глаза. Он протянул мне руку и, пожав мою крепким рукопожатием, пригласил нас на закрытую веранду. Мы сели за стол, над которым низко свисал большой шелковый абажур. Удивительная скромность жилища известного поэта и общественного деятеля поразила меня. Тихонов расспрашивал о Грузии, ее успехах, своих друзьях, знакомых. Мы так увлеклись беседой, что я не заметил, как на веранду вошел мой внук Каха. «Что это за чудо-мальчик?» — спросил ласково Тихонов. Я сделал замечание Кахе за то, что он пришел без моего разрешения. Но мальчик ответил: «Я приехал сюда не для того, чтобы сидеть с бабушкой в машине. Я приехал, чтобы увидеть Николая Семеновича Тихонова». Николай Семенович от души рассмеялся и пригласил Каху занять место за столом рядом с собой. Мальчик был счастлив. «Говорят, ты был на Санчаро?» — «Да. С дедушкой и бабушкой». — «Что же там видел?» Каха бойко стал рассказывать. «Дедушка обидел меня, — неожиданно пожаловался он. — Запретил собирать патроны и гранаты». Каха говорил правду, я действительно запретил ему делать это, опасаясь, что какая-нибудь граната может взорваться. «Знаешь что, — сказал Тихонов, обнимая мальчика за плечи, — все эти патроны и гранаты надо вообще уничтожить, чтобы они никогда не потребовались человеку». Вдруг Тихонов, обернувшись ко мне, спросил: «Ты откуда? Какой ты грузин?» «Самый обычный грузин». — «Но все же, откуда ты?» — «Из Гурии». — «Из какого района? Ланчхути? Махарадзе?» — «Чохатаури». «Я и в Чохатаури бывал... Э-э-э, Гена, — неожиданно с укоризной сказал Николай Семенович, — оказывается, ты неплохой грузин». «Что такое? В чем дело?» — встревожился я. «Твоя супруга сидит в машине, а ты мне об этом даже не сказал». И он велел мне пойти и пригласить в дом мою жену.

Наступил момент, когда Тихонов принялся рассматривать альбом. Рассказав историю его создания, я стал подробно комментировать снимки, материалы. «Это не альбом, а целый музей», — сказал Николай Семенович, внимательно рассматривая и прочитывая каждый лист. Увидев на фото Санчарский перевал, сказал: «Если соберешься в Санчаро, не забудь отметить заслугу альпинистов, которые проявили настоящий героизм, чтобы снять вражеские знамена с фашистской свастики с Эльбруса». Закрывая последнюю страницу альбома, Николай Семенович сказал с сожалением: «Эх, нет грузинского вина, за такой альбом надо бы выпить». «И грузинское вино найдется», — весело сказал я и направился к машине. Разумеется, мы привезли из Тбилиси и вино. Стол был накрыт мгновенно. Налив себе бокал вина, Николай Семенович принялся молча рассматривать его на свет, и мне казалось, что в этом бокале, наполненном янтарным вином, он видит сейчас свою любимую Грузию, которую исходил в молодости вдоль и поперек, что ему слышатся голоса друзей, многих из которых уже нет... «Было время, Гена, — сказал он наконец негромко, — когда в Грузии существовал рог, который выпивали лишь два человека — Ило Мосашвили и Николай Тихонов. Настало время, когда Николай Тихонов не может выпить ни капли. Вот, оказывается, как трудно иметь за плечами восемьдесят лет плюс два года. Но я все же соберусь с силами и приеду в Грузию на торжество моего брата Сандро Шан-

шиашвили, скоро исполняется девяносто лет со дня его рождения». Николай Семенович помолчал, что-то обдумывая, и, обратившись к Каладзе, сказал: «Карло, надо писать поэму о Санчарском перевале». «Вам и карты в руки, вы же писали однажды о Санчаро», — ответил Каладзе. «Я не хуже тебя знаю свои «карты»... Эх, если бы позволило здоровье...»

В Псху нас было много за столом, бывших кадровых военных и ополченцев маленького высокогорного села, — врач Н. Джахуа, директор школы В. Кварцахелия, И. Симоненко, братья Казаренко, Г. Дарсалия, А. Тария и многие другие.

Каждому из читателей, как и мне, доводилось бывать в больших и малых застольях. Но такого, как в Псху, я не помню. И дело не в угощении. Мы сидели до поздней ночи. Меня поражала не сказочная красота ночи, сияние луны, что было так похоже на картины Куинджи, — поражало целомудрие мужской компании. Что греха таить, когда соберутся мужчины да выпьют — и анекдоты сальные пойдут, и слово крепкое к месту и не к месту прорвется. А здесь говорили красивые тосты. Много тостов — обстоятельных, красноречивых, с высокой оценкой достоинств того, за кого пили, с добрыми пожеланиями ему и его близким. Люди были удивительно красивы внутренней одухотворенностью, сердечной чистотой и доброжелательностью. Глядя на сидящих рядом, я подумал: какие поразительные метаморфозы совершает время. Предки этих грузин, возможно, стреляли в моих предков, когда они шли по дорогам Кавказа, тоже стреляя. А теперь мы сидим в обнимку за одним столом, поем грузинские и русские песни. Мы отстояли от общих врагов нашу общую любимую родину.

Вот такие встречи с людьми произошли здесь, в Псху, на такие размышления навело меня это застолье высоко в горах, за облаками, там, где когда-то вели бои части 46-й армии, подчиненной генералу Петрову.

Приезд маршала Жукова

Положение, в котором оказалось гитлеровское командование да и сам фюрер в начале 1943 года, было не из легких, и принимать решения в такой обстановке им было не просто. Под угрозой уничтожения была вся группировка Манштейна, совсем недавно спешившая на выручку Паулюсу под Сталинград. Такая же опасность нависла над группой армий «А» Клейста.

Надо было решать: где же строить теперь линию фронта, на которой следует остановиться и держаться? какие имеются резервы? какие части можно использовать для выхода из создавшегося кризиса? как координировать действия войск? Положение было настолько критическим, что Гитлер вылетел в Запорожье, где, встретившись 19 февраля с Манштейном и Клейстом, обсуждал самые срочные меры.

Поскольку эти решения имели значение и для тех наших войск, которыми командовал генерал Петров, необходимо с ними познакомиться, для чего перенесемся на некоторое время в штаб, где идет разговор Гитлера с командующими группой армий «А» Клейстом и группой армий «Юг» Манштейном.

Манштейн заявил, что его войска, если они не будут усилены из того резерва, который он видел на кубанском плацдарме, не смогут держать проходимой ростовскую горловину. А генерал-фельдмаршал Клейст, не опасаясь гнева фюрера, в открытую говорил, что сам еле держится и что на Кубани может состояться второй Сталинград.

Вот между каких двух нависших грозных бед оказался в те дни Гитлер. Сопровождение 19 февраля в Запорожье завершилось весьма неожиданно. С тем, что произошло, я думаю, лучше всего познакомиться по рассказу адъютанта фюрера Отто Гюнше:

«Гитлер на своем самолете «Кондор» под эскортом истребителей вылетел в Запорожье. Его сопровождали генералы Йодль, Буле, адъютанты, врач Морель и камердинер Линге. Он взял с собой также секретаршу Шредер и двух стенографов для записи протокола совещаний, которые он намеревался проводить в Запорожье... На следующий день после приезда около 11 часов утра Гитлер принял приехавшего к нему из Днепропетровска инженера Брукмана, руководившего работами по восстановлению Днепрогэса. Брукман был известен в Германии — он построил в Нюрнберге здания для партийных съездов. В Днепропетровске он фигурировал в качестве руководящего работника строительной организации «Тодт». Гитлер приказал Брукману разрушить Днепрогэс, если придется отступить. Затем Гитлер ушел на совещание.

Вскоре к Линге, который находился в кабинете Гитлера, прибежал взволнованный адъютант фюрера Белов.

— Надо скорее укладываться! — закричал он.

— Что случилось?

— Русские танки появились у аэродрома Запорожье. Надо спешить!

Линге начал лихорадочно собирать вещи. В это время в комнату вошел Гитлер. Он очень нервничал и стал сам подавать Линге вещи для упаковки. Когда чемоданы уже укладывали в автомобиль, Белов доложил Гитлеру, что русские танки прорвались не к тому аэродрому, где стояли самолеты Гитлера, а к другому, восточнее Запорожья, и отброшены. Гитлер облегченно вздохнул...» (26, стр. 21).

Этот случай с бегством Гитлера от советских танков показывает, насколько напряженной была обстановка и насколько непрочным было положение гитлеровцев на фронте.

Гитлеровское командование предпринимало все меры, чтобы остановить наступление наших войск на Северном Кавказе, для чего вводило вновь в бой те дивизии, которые уже были выведены в резерв, поскольку по мере сужения фронта при отступлении на Таманский полуостров у гитлеровцев высвобождалось много частей. И вот теперь они вынуждены были их вновь вводить в бой. Кроме того, на этот участок была переброшена авиация с аэродромов Крыма и Донбасса. Сюда же перелетели бомбардировщики из Туниса, из Голландии. Сосредоточив такие большие силы, гитлеровцы смогли приостановить наступление наших войск и начали создавать прочную мощную линию обороны «Готенкопф» («Готская голова»), которую они иногда именовали «Готская линия». (В нашей литературе ее называют «Голубой линией».)

С созданием «Готской линии» Гитлер и его командование связывали большие надежды на будущее, она должна была сохранить кубанский плацдарм для развертывания новых наступательных операций в направлении Кавказа.

20 марта Гитлер снова прилетел в Запорожье, для того чтобы продолжить разговор со своими фельдмаршалами. Здесь он окончательно обсудил план по созданию и удержанию линии «Готенкопф».

28 марта начальник генерального штаба Цейтцлер сообщил это решение командующему группой армий «А»:

«Фюрер решил, что 17-я армия должна удерживать большую позицию «Готенкопф» и должна включить в нее Новороссийск».

Вот эти последние слова о включении Новороссийска в позиции «Готенкопф» принесли гитлеровцам много хлопот. Новороссийск-то они в своих руках пока удерживали, но под Новороссийском уже был плацдарм советских войск, который мы называем Малая земля, и это ставило под угрозу саму ключевую позицию этой оборонительной линии, ибо Новороссийск был ее опорой. И вот прямо у основания этой опоры — плацдарм с большим количеством советских войск (там уже находилось несколько тысяч малоземельцев).

Для того чтобы ликвидировать эту опасность, гитлеровское командование разработало специальную операцию. Как и многим другим, ей было дано условное и романтическое наименование «Нептун». Не буду о ней рассказывать подробно. Только напомню, что осуществить план «Нептун» по ликвидации плацдарма на Малой земле гитлеровцам не удалось.

Несмотря на высокое положение командующего группой войск, Иван Ефимович, верный своей привычке бывать на переднем крае, приезжал на Малую землю, беседовал с бойцами и командирами и, как всегда, находил с ними общий язык.

После взятия Краснодара наши армии продолжали наступление, но оно не получило развития и 22 февраля почти на всем Северо-Кавказском фронте остановилось.

Таким образом, обе части операции Черноморской группы войск Петрова — «Море» и «Горы» — были осуществлены, но с разными результатами. В части «Море» Новороссийск взят не был, но был создан очень важный плацдарм в районе Мысхако, а в сухопутной части операции, которая называлась «Горы», войска овладели Краснодаром и отогнали от него противника еще на сорок—шестьдесят километров.

В целом все же не удалось окружить (во взаимодействии с войсками Южного фронта) кубанскую группировку противника, как это было приказано Ставкой. Это, конечно, была крупная неудача. Причиной того, что наступление не стало стремительным и мощным, не развилось, была распутица. На Кавказе весна ранняя, все дороги в феврале пришли в негодность. И не только дороги, но и аэродромы, которые после неоднократного перехода из рук в руки и постоянных бомбежек были практически непригодны. Железные и автомобильные дороги гитлеровцы при отступлении разрушали, для этого были специальные команды, которые только и занимались приведением дорог в негодность. В результате всего этого войска не были обеспечены ни боеприпасами, ни продовольствием, артиллерия отстала. Мощь, которую создают тыловые учреждения и подвижные части фронта, почти полностью была отключена, и это повлияло на боевые действия.

И все же нужно сказать, что в целом операция Северо-Кавказского фронта была успешной. Были освобождены города Нальчик, Пятигорск, Черкесск, Минеральные Воды, Ставрополь, Армавир. Черноморская группа освободила Майкоп и Краснодар. Южный фронт вышел к Ростову и 14 февраля освободил этот город, отрезав полностью группировку, находившуюся на Кавказе, от частей гитлеровской армии, находившихся на Украине. К тому же теперь позади 17-й и 1-й танковой армий были Азовское и Черное моря.

Как уже было сказано, гитлеровское командование начало создавать оборонительную линию «Готенкопф». Сил у гитлеровцев на Таманском полуострове и кубанском плацдарме было достаточно, и они считали, что этими силами удержат любое наступление советских частей, поэтому Гитлер счел возможным даже дать отпуск командующему группой армий «А» Клейсту.

В нашей Ставке в Москве не были довольны результатами наступления главным образом потому, что не состоялось окружение таманской группировки. И вот для того чтобы разобраться в причинах, не позволивших осуществить хорошо продуманный план, и для того чтобы наметить операции на будущее, Ставка решила послать на Кавказ группу во главе с маршалом Жуковым, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой и принять, или, вернее, наметить, планы дальнейших действий.

Вот что об этом пишет генерал С. М. Штеменко:

«Детально разобравшись в обстановке, сложившейся на Северном Кавказе, Генеральный штаб 17 апреля доложил свои выводы Верховному Главнокомандующему вместе с планом возможного использования сил и средств, имеющихся на Северо-Кавказском фронте и прибывающих туда в ближайшее время. И. В. Сталин посоветовался с Г. К. Жуковым, недавно прибывшим из-под Белгорода. Тот не исключал намерений немецкого командования использовать 17-ю армию, засевшую на Тамани, в наступательных операциях весной и летом 1943 года. Он считал целесообразным поскорее ликвидировать таманский плацдарм, отбросив противника в Крым.

Поразмыслив над этим, Верховный сказал Жукову:

— Неплохо бы вам лично разобраться во всем на месте. Последнее время у Масленникова что-то не ладится. Усилия фронта ощутимых результатов не дают... Возьмите с собой от Генштаба Штеменко и побывайте там сами...

Тогда же Верховный разрешил использовать в боях на Тамани особую дивизию НКВД из резерва Ставки. Командовал ею полковник Пяшев. Это соединение имело в то время наибольшую укомплектованность — до 11 тысяч человек.

На следующее утро, 18 апреля, мы вылетели в Краснодар. Г. К. Жуков пригласил в эту командировку командующего ВВС А. А. Новикова и наркома Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецова» (9, кн. 1, стр. 144—145).

На краснодарском аэродроме представителей Ставки встретил генерал Масленников и повез в свой штаб, куда уже были вызваны командующие 58-й, 9-й и 37-й армиями. Жуков сразу заслушал доклады этих командиров и сказал:

— Будем искать решения задачи южнее Кубани. Завтра же выедем на место.

Утром 19 апреля Жуков и Штеменко прибыли на командный пункт 56-й армии. Она наносила главный удар в обход Крымской с юга, вспомогательный — в обход с севера. Враг бросил здесь в бой свежие силы пехоты, танков и авиации. В результате армия только подошла к Крымской, но овладеть ею не смогла. В наступающих дивизиях остро ощущался недостаток боеприпасов. Не хватало артиллерии и танков.

Командарм А. А. Гречко, докладывая обстановку, прямо заявил, что очередное наступление, назначенное на завтрашний день, не подготовлено. Г. К. Жуков согласился с этим мнением и отсрочил наступление армии на пять дней, то есть до 25 апреля. К этому времени ожидалось боеприпасы, горючее, подход артиллерии РВГК, новые силы авиации.

К тому же сроку должна была подойти дивизия НКВД. Предполагалось также усилить 56-ю армию за счет переброски сюда гвардейских минометов с пассивных участков фронта.

Жукову хотелось до начала наступления побывать в корпусах и дивизиях, посмотреть все своими глазами.

Чтобы быть поближе к войскам, действующим на главном направлении, и не тратить напрасно время на поездки в Краснодар, Георгий Константинович предложил Масленникову иметь свой НП в этой армии. В общем, Жуков со свойственной ему решительностью стал руководить здесь боевыми действиями войск.

Жуков был человек дела, мыслил крупными масштабами, во время пребывания на Кавказе он заботился об исходе гигантской операции, которая назревала на Курской дуге. В разговоре со Сталиным перед поездкой на Кавказ Жуков прямо сказал о своих опасениях насчет того, что немецкое командование сможет использовать 17-ю армию, засевшую на Тамани, в наступательных операциях весной и летом 1943 года. Он считал целесообразным поскорее ликвидировать таманский плацдарм. Вот и действовал маршал Жуков, как хороший шахматист, видя на много ходов вперед,— на Кавказе заботился о том, чтобы обеспечить левый фланг в предстоящем сражении на Курской дуге.

В общем, операция готовилась тщательно. В соответствии с замыслом Жукова была проведена перегруппировка. 56-я армия, наступавшая на главном направлении, получила значительные средства усиления, в том числе артиллерию Резерва Верховного Главнокомандования и большие силы авиации с других фронтов. Шли эшелоны с горючим, боеприпасами, необходимым снаряжением. Жуков приказал начиная с 21 апреля проводить силами авиации массированные удары по обороне, базам снабжения и аэродромам противника. Помогая малоземельцам, авиация налетала группами до 200 самолетов, что сразу же сбило активность противника.

Поскольку маршал Жуков не имел своего штаба, все его распоряжения оформлялись, передавались, а затем их исполнение контролировалось штабом Северо-Кавказского фронта под руководством его начальника генерала И. Е. Петрова. Непросто было осуществлять эту работу! Требовательность и крутость Жукова общеизвестны. Подготовка операции в короткие сроки особенно трудна для штаба. Полководец может задумать быстро и очень удачные маневры, но для осуществления их необходимо перемещать войска и средства усиления, обеспечивать эти маневры разведкой, связью, транспортом, горючим, боеприпасами, другими материальными средствами. Коль скоро Жуков сам взялся за проведение операции, командующий фронтом генерал-полковник Масленников стал вроде бы его заместителем. А вот на штаб фронта легла работа не только в полном объеме, но еще и с большим коэффициентом трудности из-за особенностей и характера и служебного положения маршала Жукова. Забегая вперед скажу: Иван Ефимович справился со своими обязанностями блестяще, в чем читатели убедятся в конце этой главы.

Итак, Жуков и Штеменко побывали во всех армиях, маршал лично поставил задачи командующим. Особенно кропотливо работал Жуков на главном направлении, здесь он собрал всех командиров дивизий и детально разъяснил каждому, какую роль играет его соединение в операции.

Насколько серьезное значение придавал Жуков подготовке, свидетельствует такой факт. У маршала, конечно, было мало времени, он спешил, его ждали в Москве и под Курском. И все же, получив

сообщение, что не все еще готово, Жуков не разрешил начать наступление, и его, как пишет Штеменко,

«...пришлось перенести еще на несколько дней — до 29 апреля. Только к этому сроку все силы и средства могли быть приведены в полную готовность» (9, кн. 1, стр. 148).

Очень хочется мне напомнить здесь читателям, как генералу Петрову довелось начать операцию «Горы» — артиллерия тогда не вышла на огневые позиции, некоторые части еще пробивались по горному бездорожью на свои исходные рубежи, а Сталин жестко требовал: «Передайте Петрову, чтобы он начал свое выступление в срок, не оттягивая это дело ни на час, не дожидаясь подхода резервов».

Жуков, конечно же, имел большую свободу действий. Как представитель Ставки и как первый заместитель Верховного Главнокомандующего он не только устанавливал сроки, но и привлекал значительные силы с других фронтов и из средств РВГК.

Дальше я опять передаю слово генералу Штеменко как очевидцу, очень хорошо описавшему ход событий:

«Наконец настало 29 апреля. Мы расположились на НП командующего 56-й армией. В 7 часов 40 минут началась артиллерийская подготовка. 100 минут вся артиллерия фронта вместе с авиацией долбила оборону противника.

Но вот огонь перенесли в глубину, и пехота пошла в атаку, охватывая с севера и юга хорошо видную с НП Крымскую. Это был главный узел сопротивления. Враг оборонялся отчаянно.

Ожесточенные бои в полосе 56-й армии продолжались несколько дней. Противник часто и упорно контратаковал, особенно на правом фланге. Там ежедневно приходилось отбивать по шесть — восемь контратак. Среднесуточное продвижение войск не превышало полутора-двух километров.

На пятый день операции решено было ввести в бой особую дивизию Пияшева. Г. К. Жуков возлагал на нее большие надежды, приказал иметь с Пияшевым надежную прямую телефонную связь и поручил мне лично вести с ним переговоры по ходу боя.

Дивизию вывели в первый эшелон армии ночью. Атаковала она с утра южнее Крымской и сразу же попала под сильный удар неприятельской авиации. Полки залегли, произошла заминка.

Г. К. Жуков, присутствие которого в 56-й армии скрывалось под условной фамилией Константинова, передал мне:

— Пияшеву наступать! Почему залегли?

Я позвонил по телефону командиру дивизии:

— Константинов требует не приостанавливать наступление.

Результат оказался самым неожиданным. Пияшев возмутился:

— Это еще кто такой? Все будут командовать — ничего не получится. Пошли его... — И уточнил, куда именно послать.

А Жуков спрашивает:

— Что говорит Пияшев?

Отвечаю ему так, чтобы слышал командир дивизии:

— Товарищ маршал, Пияшев принимает меры.

Этого оказалось достаточно. Полковник понял, кто такой Константинов, и дальше уже безоговорочно выполнял все его распоряжения.

К исходу 4 мая в результате двойного охвата противник все-таки был выбит из Крымской. Мы тотчас же поехали туда посмотреть оборону немцев. Это был действительно узел, который не так-то просто развязать. Помимо густой сети траншей, ходов сообщения, блиндажей и более легких убежищ здесь с помощью новороссийского цемента были превращены в доты подвалы всех каменных зданий. Кроме того, подступы к станции прикрывались вкопанными в землю танками,

В последующие дни наступление протекало столь же трудно. Особенно тяжело пришлось нашим войскам в районах Киевского и Молдаванского. Овладеть этими пунктами так и не удалось. На рубеже рек Курка и Кубань, Киевское, Молдаванское и Неберджаевская все остановилось. Разведка донесла, что перед нами новая сильно укрепленная полоса, на которую сели отошедшие войска и подтянулись резервы противника. Это и была так называемая Голубая линия. Попытки прорвать ее с ходу к успеху не привели. Дальнейшее упорство с нашей стороны не имело смысла, и 15 мая операцию прекратили. Для прорыва новой оборонительной полосы следовало организовать другую операцию, а для этого требовались время и средства.

Представителю Ставки делать здесь было нечего. Г. К. Жуков, а с ним и все мы отбыли в Москву. Возвращались с нехорошим настроением. Задача — очистить Таманский полуостров — осталась невыполненной. Мы наперед знали, что Сталину это не понравится, и готовились к его упрекам. Но все обошлось относительно благополучно. Верховный ограничился лишь заменой командующего фронтом: вместо И. И. Масленникова был назначен И. Е. Петров, под руководством которого по истечении пяти месяцев советские войска очистили Таманский полуостров от врага» (9, кн. 1, стр. 148—151).

Не случайно Г. К. Жуков в разговоре со Сталиным сказал, что сколько он ни видел боев, а таких ожесточенных ему не приходилось видеть и что храбрость советских бойцов не знает границ!

Это высказывание маршала Жукова свидетельствует о том, какая мощная оборона была создана на таманском плацдарме и в каких условиях в дальнейшем пришлось вести бои генералу Петрову.

(Окончание следует)

ПУБЛИЦИСТИКА

ГЕОРГИЙ ШАХНАЗАРОВ,
доктор юридических наук



РЕАЛИЗМ И НОВАТОРСТВО

Выход в свет второго издания сборника произведений Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова — крупное явление в идейно-политической жизни нашей страны¹.

В книгу включены работы, публиковавшиеся на протяжении сорока лет. Она отражает и большой жизненный путь, пройденный автором, и движение теоретической мысли нашей партии на всех основных этапах послевоенного развития. Читатель найдет в ней яркие публицистические статьи молодого коммуниста, возглавлявшего в годы войны комсомольскую организацию в советской Карелии, выступления перед избирателями, рабочими, студентами, представителями советской интеллигенции, доклады, посвященные ленинским годовщинам, 60-летию СССР, 100-летию со дня рождения Ф. Э. Дзержинского, речи на пленумах ЦК КПСС, на различных совещаниях и международных конференциях, ответы на вопросы корреспондентов советской и зарубежной печати.

Уже один только перечень затрагиваемых в книге вопросов дает представление о том, насколько широка и масштабна деятельность КПСС по руководству советским обществом и защите интересов социализма на международной арене. В ней нашли глубокое освещение многообразные проблемы дальнейшего формирования новых общественных отношений, прогресса промышленности, сельского хозяйства и других отраслей советской экономики, повышения материального благосостояния народа, совершенствования социалистической демократии, коммунистического воспитания трудящихся, идеологической борьбы с классовым противником, защиты безопасности нашей Родины, развития сотрудничества с социалистическими странами, борьбы за разрядку и мирное сосуществование, за дело мира и прогресса на нашей планете. В своей совокупности материалы сборника дают четкие ответы на вопросы: на какой стадии исторического восхождения к своим коммунистическим целям находятся партия и страна, что предстоит сделать в ближайший период, как взяться за стоящие перед нами сложные и ответственные задачи.

Наиболее обобщенно и выпукло ответы на вопросы, волнующие каждого советского человека, сформулированы в речи Ю. В. Андропова на июньском (1983) Пленуме ЦК КПСС. Эта речь носит программный характер в прямом смысле слова, поскольку в ней раскрывается основное направление работы над новой редакцией Программы КПСС, которая должна быть представлена очередному, XXVII съезду партии.

¹ Ю. В. Андропов. Избранные речи и статьи. Издание второе. М. Политиздат. 1983. 320 стр.

В ней, как и в ряде других выступлений последнего периода, включенных в книгу, внимание концентрируется прежде всего на нерешенных проблемах, на необоюдности в полной мере использовать преимущества развитого социализма, могучий производственный и интеллектуальный потенциал, созданный за годы советской власти. Такова, можно сказать, сверхзадача сегодняшнего дня, на решение которой партия нацеливает советский народ.

1

Знакомясь с материалами сборника, нельзя не обратить внимание на то, что его лейтмотивом является значение теории для правильного выбора путей развития общественной практики, определения методов и средств решения проблем, возникающих в ходе социалистического и коммунистического строительства. Напоминая слова Ф. Энгельса, «социализм, с тех пор как он стал наукой, требует, чтобы с ним и обращались как с наукой, то есть чтобы его изучали»², Ю. В. Андропов подчеркивает, что ленинизм — это непрестанное творчество, анализ и обобщение социальных изменений, непрерывное самообновление революционной теории под воздействием революционной практики. «Только люди, не усвоившие этой истины, могут отказывать современному поколению революционеров в праве самостоятельно мыслить, пугают жупелом ревизионизма всех, кто пытается сказать новое слово в теории марксизма-ленинизма»³.

Важность такого подхода невозможно переоценить. Всеми своими успехами, достигнутыми за шестьдесят шесть лет после Октября 1917 года, наша партия и страна обязаны верности идеям марксистско-ленинского учения, творческому его развитию и применению. Точно так же можно с полным основанием утверждать, что неудачи, постигавшие на этом пути Советский Союз, как и другие страны социализма, были в большой мере следствием забвения тех или иных принципов науки о коммунизме.

При всем значении естественных наук, особенно в век научно-технической революции, нельзя не видеть, что сегодня успешное продвижение на новые ступени общественного прогресса в решающей мере зависит именно от творческого развития и умелого применения наук об обществе. От необоснованных решений в области экономики или политико-правовой системы общество может нести колоссальные потери. Да и само внедрение достижений естественных наук в жизнь требует рациональной организации производства, правильного выбора целей, точного определения социальных потребностей, создания соответствующих стимулов, то есть всего того, чем призваны заниматься политическая экономия, теория государства и права, социология, психология, другие общественные дисциплины. Вот почему КПСС уделяет огромное внимание всеобщему марксистско-ленинскому образованию кадров, видя в этом неперемное условие успеха всей нашей работы.

Приобрести научные знания, однако, еще полдела. Особенно важно уметь их применить на практике. Это сравнительно просто, коль скоро речь идет, скажем, о конкретных категориях экономической науки. И гораздо сложнее, когда дело касается фундаментальных понятий материалистической диалектики. Нечего греха таить, далеко не всегда мы умеем по достоинству оценивать их прикладное значение, протягивать прямую связь между ними и практическими задачами переживаемого момента. В этой связи особенно ценно, что в работах Ю. В. Андропова мы находим мастерское применение общих философских и политических идей к поиску правильных практических решений. Анализируя те или иные вопросы внутренней и международной жизни, автор постоянно обращает внимание на диалектику обществен-

² Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 18, стр. 499.

³ Ю. В. Андропов. Избранные речи и статьи, стр. 39

ных явлений, противоречивость социальных процессов. И в соответствии с марксистско-ленинской методологией отмечает необходимость не только искать пути преодоления этих противоречий, но и использовать заложенный в них потенциал для перехода к более высоким ступеням развития.

С этим связан и такой важнейший вопрос. Коренным условием успешного применения тех или иных научных идей является трезвая, объективная оценка существующего положения, глубокий и всесторонний его анализ. Малейшая неточность в такой оценке способна обернуться негативными последствиями большого порядка. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что большинство субъективных ошибок, имевших место в ходе социалистического строительства, связано с забеганием вперед, выдвиганием задач, для которых еще не сложились необходимые материальные и духовные предпосылки. И это объяснимо: люди, движения, политические организации всегда стремятся приблизить цель, которой они воодушевлены, ускорить движение к ней. Но, увы, на практике и благие намерения, как известно, могут приводить к отрицательным результатам.

«Видеть наше общество в реальной динамике, со всеми его возможностями и нуждами — вот что сейчас требуется»⁴. Отмечая, что некоторые положения Программы КПСС не в полной мере выдержали проверку временем, так как в них были элементы отрыва, забегания вперед, неоправданной детализации, Ю. В. Андропов подчеркивает необходимость дать в новой редакции Программы реалистический анализ существующего положения и ясные ориентиры на будущее, которые увязывают опыт жизни с конечными целями Коммунистической партии.

Давая именно такую, реалистическую оценку состояния советского общества, автор указывает, что мы находимся в самом начале этапа развитого социализма. И, следовательно, предстоящий период, который займет длительное время, должен быть периодом планомерного и всестороннего совершенствования развитого социализма. Это не просто констатация, а важнейшая исходная посылка для определения перспективы по всем направлениям экономического, социального и политического развития страны. Отсюда следует вывод о необходимости строго соблюдать экономические законы социализма, в первую очередь закон распределения по труду. Любые попытки волевым путем превысить возможную в социалистических условиях степень социального равенства, форсировать уравниловку, забегать вперед, к коммунистическим формам распределения, без точного учета трудового вклада каждого в создание материальных и духовных благ могут породить и порождают нежелательные явления.

Из оценки этапа, на котором находится советское общество, вытекает необходимость подтянуть все сферы общественной деятельности, приспособить их к новым условиям. Речь идет о неизбежных глубоких качественных изменениях в производительных силах и производственных отношениях, в сознании людей, во всех формах общественной жизни, то есть как в базисе общества, так и в его надстройке.

У нас создан гигантский производственный потенциал, выросли квалифицированные и опытные кадры рабочих, специалистов, руководителей народного хозяйства, мощное развитие получила наука, занимающая передовые позиции по многим ключевым направлениям. Дело теперь за тем, чтобы использовать все эти возможности для форсированного роста производительности общественной жизни и на этой основе резко поднять жизненный уровень народа.

Общие теоретические выводы ведут к постановке конкретных задач. В числе наиболее важных из них — укрепление плановой, произ-

⁴ Стр. 245.

водственной, трудовой дисциплины. Но суть дела в том, как толковать это понятие. В обыденном сознании понятие дисциплины нередко сводится к самому простому, элементарному ее требованию — соблюдению трудового распорядка. Это безусловно серьезное требование, но далеко не единственное. Что толку, если люди приходят точно в срок к своему рабочему месту, а затем простаивают по несколько часов из-за того, что нарушается график подвоза сырья и материалов или их в течение рабочего дня отвлекают на всякого рода летучки и совещания? Что толку, если человек ни на минуту не покидает свое рабочее место, но выпускает некачественную, бракованную продукцию? Что толку, если на предприятии не допускаются прогулы, но плановые задания не выполняются, конструкторская мысль испытывает застой? Наконец, что толку в выполнении и даже перевыполнении плановых заданий, если сами планы составлены неграмотно, не учитывают современных требований и возможностей трудового коллектива, не нацеливают его на всесторонний технический прогресс?

«...суть социалистической дисциплины,— отмечал Ю. В. Андропов в выступлении перед ветеранами партии,— в полной отдаче каждого на своем рабочем месте. Конечно, такого положения добиться труднее, чем вылавливать на проходной опоздавших. Но именно здесь главное и основное. Многое тут, естественно, зависит от хорошо поставленной идеологической, политико-воспитательной работы. Но эта работа должна обязательно опираться на современную организацию труда, разумную расстановку людей, четкое материально-техническое обеспечение, совершенствование многообразных форм и средств морально-го и материального стимулирования. Словом, только... сочетание духовных, материальных и организационных факторов может дать высокую культуру труда — самую надежную гарантию порядка и дисциплины на производстве»⁵.

Таким образом, дисциплина и в более широком смысле — культура, производительность труда здесь связываются как с комплексом организационных и экономических мер, так и с задачами воспитания коммунистического сознания. Высокий экономический эффект может быть получен лишь в результате сознательного, добросовестного отношения людей к своему делу, а последнее в огромной степени зависит от гармоничного сочетания интересов личности и коллектива, личности и общества. Одна из важнейших задач совершенствования нашего народнохозяйственного механизма, подчеркивает автор, состоит в том, чтобы обеспечить точный учет интересов и потребностей различных социальных групп, добиваться их оптимального сочетания с интересами общенародными и использовать, таким образом, как движущую силу советской экономики.

Разумеется, когда речь идет об интересах, то имеются в виду не только материальные потребности, как они ни важны сами по себе. Не хлебом единым жив человек — эта народная мудрость особенно значима применительно к советским людям, воспитанным партией в духе активного отношения к действительности, видящим в своем труде не только источник средств существования, но также вклад в великое предприятие партии и народа — строительство коммунизма. Вот почему задачи экономического прогресса решаются партией в неразрывном единстве с активизацией идеологической жизни нашего общества. Июньский Пленум ЦК КПСС нынешнего года, выступление на нем Ю. В. Андропова, доклад К. У. Черненко, решения Центрального Комитета дают четкие ориентиры работникам идеологического фронта, обязывают оценивать эффективность всей работы в этой области по ее практической отдаче делу воспитания нового человека, развития инициативы трудящихся, создания атмосферы творческого горения и искания, без которой невозможно решение стоящих перед стра-

⁵ «Правда», 16 августа 1983 года.

ной многообразных задач. Это в равной мере относится к политическому просвещению и пропаганде, литературе и искусству и, конечно, к нашей науке, от которой ждут глубоких исследований и хорошо обоснованных практических рекомендаций.

Не меньшее значение, чем воспитательная работа, в современных условиях приобретают политическая активность трудящихся, их непосредственное живое участие в делах своего трудового коллектива, района, области, республики, всего Советского государства.

В сборнике вопросам демократии уделяется огромное внимание. И это понятно: демократия — не только одна из целей социализма, но и могучее средство развития народной инициативы, движения вперед во всех областях жизни нашего общества. Социализм демократичен по самой своей природе, подчеркивает Ю. В. Андропов, ибо он не может существовать, развиваться, не вовлекая в активное политическое творчество, в управление обществом и государством многомиллионные массы трудящихся.

Социалистическая демократия в нашей стране получила за последнее время дальнейшее всестороннее развитие. Важнейшим событием в этом плане стало принятие Конституции СССР 1977 года — Основного закона общенародного Советского государства. Расширились и обрели новые гарантии социально-экономические права и политические свободы граждан. Приняты многие законодательные акты, обеспечивающие повышение роли Советов народных депутатов, общественных организаций, трудовых коллективов, укрепление социалистической законности, усиление народного контроля. Усиливается борьба против злоупотреблений властью, бюрократизма, волокиты, таких антиобщественных явлений, как алкоголизм, взяточничество и т. д.

Следует подчеркнуть, что в подходе к вопросам совершенствования политической системы социализма в СССР автор верен принципу строгого реализма. «Мы не идеализируем того, что сделано и делается в нашей стране в этой области. У советской демократии были, есть и, надо полагать, еще будут трудности роста, обусловленные материальными возможностями общества, уровнем сознания масс, их политической культуры, да и тем, что наше общество развивается не в тепличных условиях, не в изоляции от враждебного нам мира, а под холодными ветрами развязанной империализмом «психологической войны». Совершенствование нашей демократии требует устранения бюрократической «заорганизованности» и формализма—всего, что глушит, подрывает инициативу масс, сковывает творческую мысль и живое дело трудящихся. С такими явлениями мы боролись и будем бороться с еще большей энергией и настойчивостью»⁶.

Здесь обращается внимание на один из самых существенных недостатков, проявляющихся на практике. Это формализм. Разрыв между словом и делом особенно опасен тем, что создается внешнее впечатление полного благополучия. Должностные лица, которые привыкли действовать формально, никогда на словах не посягают на соблюдение тех или иных принципов демократии. Напротив, иной деятель готов произносить на этот счет прекрасные речи, составлять отчеты о том, сколько проведено собраний, совещаний, какое количество предложений трудящихся принято к рассмотрению, какие даны ответы на письма и т. п. А за всем этим нередко пустота, сотрясение воздуха. И понятно, что подобная практика вызывает у людей апатию, нежелание участвовать в общественной жизни, проявлять инициативу. К сожалению, это не абстрактная картинка. В результате опросов, проведенных на ряде предприятий, установлено, что часть трудящихся проявляет пассивность, безразличие к общественной жизни именно потому, что не верит в соответствие слов и дел. Выступит человек на собрании раз-два и, если видит, что ничего не меняется, махнет рукой

⁶ Стр. 242.

и уйдет, как говорится, в личную жизнь. Вот почему принципиальное значение имеет линия ноябрьского (1982) и июньского (1983) Пленумов ЦК КПСС на решительное искоренение формализма, всестороннее развитие активности советских людей, критики и самокритики, учет общественного мнения, расширение гласности. «Мы должны объявить настоящую войну такой практике, когда наши демократические нормы и установления не подкрепляются делами... Исключительно важно добиться, чтобы слова никогда не расходились с делом, а суть дела не подменялась формой. Это, если хотите, один из важнейших резервов совершенствования нашей социалистической демократии во всех звеньях государственной и общественной жизни»⁷.

В связи с проблемами развития политической системы социализма возникает вопрос о судьбе социалистической государственности. И здесь недопустимо забегание вперед, необходима точная расстановка временных вех. В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что нужно крайне осторожно обращаться со словами «коммунизм», «коммунистическое». Злоупотребление ими может вести только к инфляции этих важнейших для нас понятий. На нынешней стадии развития еще рано говорить о введении коммунистического общественного самоуправления, которое возможно только в условиях полного коммунизма, когда будет обеспечено изобилие материальных благ и достигнут высочайший уровень сознательности людей.

Вместе с тем важно отчетливо видеть направление развития политической системы, господствующую здесь тенденцию. Диалектически рассматривая этот вопрос, Ю. В. Андропов подчеркивает, что идея Маркса, Энгельса, Ленина о народе, не знающем над собой иной власти кроме власти собственного объединения, проявляется в деятельности Советов, работе профсоюзов и других общественных организаций, в жизни трудовых коллективов, в развитии всей политической системы нашего общества. «И дело совсем не в том, чтобы выискивать ее отличия от идеала коммунистического самоуправления,— таких отличий уже в силу исторической дистанции, отделяющей нас от второй фазы коммунизма, можно указать немало. Гораздо важнее другое, а именно то, что эта система функционирует и совершенствуется, находя все новые формы и методы развития демократизма, расширения хозяйских прав и возможностей рабочего человека на производстве, во всей общественно-политической практике — от депутатских комиссий и народного контроля до постоянно действующих производственных совещаний. Это и есть действительное социалистическое самоуправление народа, которое развивается в ходе строительства коммунизма»⁸.

Активизация всех элементов нашей политической системы, подготовка и проведение назревших качественных изменений в базисе и надстройке выдвигают крупные задачи перед КПСС как руководящей силой советского общества и государства. Чтобы успешно справиться с ними подчеркивает Ю. В. Андропов, партия должна постоянно совершенствовать формы и методы своей собственной работы. Речь идет о дальнейшем развитии внутривнутрипартийной демократии, повышении творческой активности и инициативы коммунистов, о правильном распределении функций органов партии и государства, об укреплении связей партийных организаций с массами трудящихся.

Как нетрудно видеть, отличительная особенность авторского подхода к проблемам теории и практики развития советского общества — стремление охватить их в комплексе. Подъем экономики необходим как предпосылка решения всех других наших задач. Такой подъем невозможно обеспечить без организаторской и воспитательной работы и всестороннего развития политической активности советских людей. Все эти направления сопрягаются и находят общий знамена-

⁷ Стр. 292.

⁸ Стр. 243.

тель в развитии инициативы, способной обеспечить выход нашей страны на новые рубежи социального, экономического и научно-технического прогресса. Здесь все неразрывно соединено между собой, пронизано общей научной идеей, заботой о благе нашего народа, каждого советского человека, увеличении могущества социалистической Родины.

А это имеет, естественно, не только внутреннее значение. Начиная с 30-х годов, еще тогда, когда Советский Союз только-только становился на собственные ноги, пример социализма в области организации народного образования и здравоохранения, обеспечения всеобщей занятости, системы социального страхования и по многим другим направлениям оказал огромное воздействие на борьбу рабочих за свои права в странах капитала. И можно не сомневаться, что использование всех возможностей, заложенных в развитом социалистическом обществе, не только обеспечит повышение уровня и качества жизни нашего народа, но окажет влияние на весь ход мирового революционного процесса.

2

В деятельности КПСС, ее Центрального Комитета значительное место занимают вопросы международной политики. Это объясняется не только тем, что наша партия, верная ленинским заветам, всегда была партией интернационалистов, считала своим долгом оказывать всемерную поддержку революционному рабочему движению, народам, борющимся за свое национальное и социальное освобождение. Существуют глубокие объективные причины, обуславливающие постоянно возрастающее значение международного фактора. Они связаны с форсированным процессом интернационализации хозяйственной и всей общественной жизни человечества, на которую указывал еще Ленин. В современных условиях, как никогда в прошлом, положение каждой отдельной страны, ее развитие зависят от хода событий на мировой арене. И это общее правило особенно верно, когда речь идет о Советском Союзе с его гигантским объемом международных связей, влиянием и авторитетом в мировых делах, ответственностью за судьбы мира и дела социализма.

На первом плане для КПСС, Советского государства были и остаются укрепление дружбы и сотрудничества со странами социализма, содействие упрочению и повышению мощи мировой социалистической системы. В этой связи возникает комплекс экономических и политических задач, решение которых требует надежного научного обоснования с позиций марксизма-ленинизма. В сборнике Ю. В. Андропова мы находим принципиально важные мысли на этот счет.

Исходным пунктом для решения марксистами многообразных проблем, связанных с международными отношениями, является ленинская теория национального вопроса. В соответствии с ней КПСС строила свою национальную политику, которая привела к замечательным результатам. На месте бывшей Российской империи, где существовали все виды национального гнета и несправия, вражды и отчуждения между различными нациями, сложилось социалистическое государство, в котором нации пользуются полным равноправием, укрепилась их дружба, сформировалась новая историческая общность людей — советский народ. Развитие наций и их сближение — таковы две фундаментальные идеи ленинской теории, прошедшие испытание не только в СССР, но и в Чехословакии, в других странах социализма.

В докладе «Шестьдесят лет СССР» Ю. В. Андропов отмечает, что, оценивая по достоинству достижения на этом важнейшем направлении социалистического и коммунистического строительства, партия в то же время отнюдь не считает, что все задачи здесь решены раз и навсегда. Дело не только в том, чтобы углублять и развивать дальше про-

цесс сближения советских наций. Дело еще и в том, что всякое ослабление внимания к вопросам национальных отношений может быть чревато негативными последствиями. Чтобы своевременно видеть и решать конкретные вопросы, возникающие в сфере межнациональных отношений, необходима хорошо продуманная ленинская национальная политика. В докладе дается подробная характеристика мер, которые в этой связи должны проводиться в экономике, в социальной и культурной сфере, в области идеологической и воспитательной работы.

«Наш опыт,— указывал В. И. Ленин,— создал в нас непреклонное убеждение, что только громадная внимательность к интересам различных наций устраняет почву для конфликтов, устраняет взаимное недоверие, устраняет опасение каких-нибудь интриг, создает то доверие, в особенности рабочих и крестьян, говорящих на разных языках, без которого ни мирные отношения между народами, ни сколько-нибудь успешное развитие всего того, что есть ценного в современной цивилизации, абсолютно невозможны»⁹. Эта ленинская характеристика безусловно применима к отношениям между нациями как внутри страны, так и на международной арене.

Вместе с тем вполне понятно, что формирование нового типа международных отношений имеет принципиальные особенности по сравнению со строительством многонациональной социалистической страны. Здесь речь идет об отношениях между суверенными государствами и суверенными партиями, которые ответственны прежде всего перед собственными народами.

Отсюда вытекает ряд важных выводов, забвение которых способно приводить к ненужным осложнениям и трениям. По-настоящему интернационалистская политика требует обязательного учета не только общих интересов социалистических государств, но также потребностей и возможностей каждого из них. Как отмечает Ю. В. Андропов, система отношений в мировом социалистическом содружестве должна обеспечивать практическое единство действий и координацию политики в решении кардинальных вопросов современности и в то же время оставлять определенный простор для политики, направленной на обеспечение специфических интересов каждой страны.

В настоящее время строительство нового типа международных отношений достигло высокого уровня. Создана прочная его материальная база в виде системы социалистического международного разделения труда. Накоплен большой опыт согласования действий в защите социалистических завоеваний, в борьбе за мир, в оказании помощи освободительному движению. Широкий размах получили культурные связи, сотрудничество в области идеологии. Сложилась и накопили ценный опыт коллективные организации братских стран — Совет экономической взаимопомощи и Организация Варшавского Договора. Но существуют возможность и потребность продвижения на более высокий уровень взаимодействия, кооперации сил в интересах каждой братской страны и всего социалистического содружества.

Анализируя пути развития мировой социалистической системы, Ю. В. Андропов указывает на проблемы, которые возникают в ходе этого исторического процесса. В ряде случаев они берут истоки в прошлом, связаны с различиями в уровнях экономического развития, что осложняет процесс стыковки экономики братских стран, требует оказания одними интернационалистской помощи другим. Сложности могут порождаться таким наследием прошлого, как национальное недоверие, усердно насаждавшееся эксплуататорскими классами и укоренившееся в сознании части людей.

Непростые проблемы могут порождаться и позитивными процессами. Так, расцвет национальной экономики и культуры, укрепление

⁹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 240.

суверенитета и независимости братских стран, рост их престижа вызывают, естественно, рост национальной гордости. Но на той же почве, на которой вырастают национальные чувства, патриотизм, отмечает автор, могут в определенных условиях появиться и уродливые всходы в виде национализма, который подчиняет все другие интересы нации, к тому же узко и неправильно понятые, ведет к ее обособлению, противопоставлению другим народам. Эта тенденция опасна, но она одолима, если вести с ней последовательную борьбу. Одолима потому, что общность социального строя и идейных устремлений, заинтересованность во взаимном сотрудничестве создают объективные предпосылки для все большего сближения и сплочения народов, вставших на путь социалистического развития.

В многообразной практике сотрудничества между социалистическими странами возникают те или иные противоречия, и суть дела в том, чтобы применялись правильные формы и методы их разрешения. Любые разногласия в конечном счете могут быть устранены, если во главу угла ставятся подлинно интернационалистский подход, забота об общих интересах и учет специфических потребностей каждой братской страны. «В области отношений между социалистическими странами,— подчеркивает автор,— требуется особый такт, внимание, терпеливая работа, товарищеские обсуждения. В отдельных случаях необходимо дать поработать времени, которое поможет разрешить некоторые проблемы лучше, чем открытая полемика»¹⁰.

Следует отметить, что на всем протяжении развития мировой социалистической системы империализм предпринимал попытки прямого посягательства на социалистический строй, организации контрреволюционных заговоров, экономической блокады, политического бойкота, идеологических диверсий. Одним из излюбленных приемов классовых противников социализма является использование различных провокационных методов с целью вбивать клинья в социалистическое сотрудничество, ссорить между собой социалистические страны, противопоставлять их Советскому Союзу. Опасность таких действий тем более велика, что в наше время от сплоченности братских стран в огромной мере зависит сохранение мира на земле; с полным основанием можно утверждать, что с подрывными акциями империализма против мировой социалистической системы неразрывно связано усиление военной угрозы.

Братские партии противопоставляют этим проискам твердую линию на укрепление и развитие всестороннего сотрудничества между странами социализма. Новым свидетельством этого явились решения пражского совещания Политического консультативного комитета Варшавского Договора, совещания руководящих партийных и государственных деятелей стран социализма в Москве 28 июня сего года. Как подчеркивает Ю. В. Андропов, политическое взаимодействие будет развиваться с учетом особенностей положения, а также специфических интересов отдельных государств. Совместно определяемый общий курс будет все более прочным сплавом мнений и позиций братских стран.

Другая важная тема, находящая широкое отражение в выступлениях Ю. В. Андропова, это тема борьбы за мир. Стержнем современного мирового развития является соревнование двух противоположных общественно-политических систем — капитализма и социализма. Коммунисты убеждены, что победа останется за социализмом, что исторический переход человечества к этому справедливому строю, начавшийся в октябре 1917 года, неизбежен. Но, как подчеркивали все советские руководители начиная с В. И. Ленина, спор между системами должен решаться путем мирного соревнования, а не вооруженной схватки. Этот тезис приобретает особое значение сейчас,

¹⁰ Ю. В. Андропов. Избранные речи и статьи, стр. 82.

когда за понятием войны стоят уже не пушки, танки и самолеты, а баллистические ракеты и ядерное оружие. Войны допустить нельзя никоим образом — такова твердая воля советского народа, и Генеральный секретарь ЦК КПСС авторитетно выражает ее во всех своих выступлениях на эту тему.

Известно, что вся милитаристская политика США и их союзников по НАТО основывается на лживом мифе о намерениях СССР, социалистических стран насильственно распространить свой строй, навязать его всему миру. Опровергая эти домыслы, автор неоднократно подчеркивает в своих работах невозможность экспорта революции. Социализм вырастает только на почве объективных потребностей развития каждой страны. Выбор строя — суверенное право народов. И в такой же мере их священное право — отстаивать свой выбор против империалистской агрессии, попыток экспорта контрреволюции.

В различных выступлениях и высказываниях последнего времени Ю. В. Андропов от имени советского руководства выдвинул ряд предложений, направленных на то, чтобы не допустить нового тура гонки вооружений, снизить уровень военного противостояния в Европе, а также между Советским Союзом и Соединенными Штатами. О доброй воле нашей страны и решимости сделать все для предотвращения ядерной катастрофы свидетельствуют новые важные мирные инициативы, изложенные в беседе Ю. В. Андропова с американскими сенаторами, в его интервью, опубликованном газетой «Правда».

Советский Союз искренне стремится к соглашению по жизненно важным вопросам ограничения гонки вооружений, но, разумеется, на взаимной основе, с учетом законных интересов обеих сторон. Наш народ, принеший самые тяжелые жертвы во второй мировой войне ради победы над фашизмом, никогда не допустит, чтобы его застали врасплох. Вот почему советские люди единодушно одобряют курс партии на укрепление обороноспособности, вооруженных сил, являющихся надежной гарантией безопасности страны, стоящих на страже мира.

* * *

Если попытаться найти краткое определение того, что отражено в различных материалах сборника, то, пожалуй, можно сказать так: это реализм и новаторство в подходе ко всем сложным проблемам развития нашей страны и современной международной обстановки. Наша партия, советский народ прошли большой и достойный путь, хотя не обошлось без ошибок и просчетов. Сейчас перед нами открывается возможность взять новые рубежи, сделать еще более богатой и насыщенной жизнь советских людей, показать добрый пример всему мировому сообществу. И в решении стоящих перед нами ответственных задач, в политической ориентации советских людей надежным подспорьем послужит книга, о которой идет речь.



В МИРЕ НАУКИ

Проблемой номер один называют в наше время проблему энергетических ресурсов человечества. Международные конференции и симпозиумы, сотни книг, тысячи публикаций в специальной периодике посвящены отысканию наиболее дешевых, технически доступных, экологически безопасных и обоснованно дальновидных ее решений. Этой теме посвящены статьи двух публицистов, которые мы публикуем сегодня.

Аркадий Удальцов рассказывает о земной энергетике, о необходимости объединения всех технических ресурсов, природных резервов, таланта ученых и изобретательности инженеров для ликвидации угрозы энергетического кризиса.

Ярослав Голованов показывает, что решение этой проблемы можно облегчить, если создать в околоземном космическом пространстве систему солнечных электростанций и транспортировать их энергию на Землю.

Несмотря на разный подход авторов к рассматриваемой проблеме, обе точки зрения можно подвести под один знаменатель: век беспечного, безоглядного использования энергетических богатств нашей планеты ушел в безвозвратное прошлое. Мы стоим сегодня на пороге новой энергетической эры, мы приступаем к реализации таких планов, которые еще вчера признавали слишком фантастичными даже самые дерзкие фантасты.

АРКАДИЙ УДАЛЬЦОВ



В ПОИСКАХ ЭНЕРГИИ

Впервые я почувствовал всю серьезность этой проблемы лет десять назад. ...Короткая, всего-то каких-нибудь метров двести—триста, парижская улица Бетховена в обычном нашем понимании вовсе не улица. По ней не проедешь на автомобиле. Половину длины ее занимает лестница, круто сбегаящая почти напротив Эйфелевой башни к Сене.

В вечерних сумерках, мгновенно окутавших город, я спускаюсь по этой лестнице, и мимо меня, как серые призраки, с сумасшедшим треском и с истинным безрассудством юности проносятся молодые парижские мотоциклисты. У каждого за спиной — милая парижанка. Они рискованно подпрыгивают на ступеньках, их длинные шарфы развеваются на ветру, а причудливые шлемы и очки придают фантастический — какой-то марсианский — вид. Энергия юности, помноженная на энергию их сверхмощных мотоциклов. Женщина с ребенком на руках прижимается к стене дома и посылает им вслед проклятья. Я понимаю ее. И все же, не правда ли, такой спуск — признак отваги. Но во имя чего?

Мой собеседник, встреча с которым произошла как раз здесь — на улице Бетховена, в здании киностудии, где он монтировал в то время фильм о поисках Атлантиды, — прославленный путешественник, талантливый изобретатель, серьезный исследователь тайн океана капитан Жак-Ив Кусто не раз проявлял храбрость во имя познания.

Мы говорили с ним о многом (о гибели Средиземного моря под напором промышленности, морского транспорта и даже подводных охотников-рыболовов; о его «Голубом плане» спасения Средиземноморья; о книгах, фильмах и путешествиях; об экологическом движении во Франции) и наконец перешли к самому главному для

него: к тайнам океана. Магнитофонная лента дает возможность вернуться к беседе со знаменитым капитаном.

— Самое главное, что может дать океан людям, это электричество, — увлеченно говорит Кусто. — Две трети солнечной энергии попадают туда. Есть разные пути ее извлечения для нужд человека. Существует, во-первых, термическая энергия морей, источник которой — разница температур на поверхности и в глубинах. Второй способ — высвобождение энергии, накопленной водорослями и бактериями. Или вот еще явление, о котором очень мало знают, — когда пресная вода рек встречается с соленой водой: река при этом теряет энергии столько же, сколько давал бы на ней водопад 180-метровой высоты. И потом не забудьте — над океаном дуют ветры, причем есть такие районы, где они постоянны. Это фантастическая энергия!

Я не понимал тогда: ну зачем, зачем лезть в океан, преодолевать неслыханные научные и технические трудности, если есть нефть, уголь, газ, если залить лишние литры бензина в бак автомобиля — дело, как говорится, плевое?

Мой собеседник горячился:

— Жаль, что люди, обосновавшиеся на Земле, не верят в силу морей и океанов. Море для них штука слишком сложная. Между тем количество солнечной энергии, поглощаемой океаном, эквивалентно сорока шести миллионам ядерных электростанций средней мощности.

Мне кажется эта цифра сомнительной. Кусто быстро приводит расчеты, поясняет. Получается, что океан воистину гигантская кладовая энергии. Только вот как взять ее, да и зачем?

...Десять лет. За это время мое журналистское досье по проблемам энергетики успело превратиться из тоненькой подборки в несколько толстых папок, и совсем недавно сюда легла заметка:

«В Бразилии создается первый в мире город, энергетические потребности которого почти целиком будут удовлетворяться за счет энергии Солнца и ветра.

Здесь ведется строительство первых ста домов необычной конструкции. Крышу им заменят плоские солнечные коллекторы — нагреватели воды для бытовых целей. Четыре ветряных двигателя приведут в действие генераторы мощностью по 20 киловатт. Центральную площадь городка займет здание, напоминающее строения из фантастических фильмов, — его стены и крыша будут облицованы пластинами, начиненными фотоэлементами, преобразующими солнечное тепло в электроэнергию. Его предназначение — снабжать жителей электроэнергией в безветренные дни. Эту задачу будут решать также несколько вспомогательных генераторов, приводимых в действие двигателями внутреннего сгорания, работающими на техническом спирте.

Горючее для последних — технический спирт — будет вырабатываться на перегонном заводе небольшой мощности. Сырьем для него служат клубни широко культивируемого в этих краях тропического растения маниоки.

Отходы перегонного производства и бытовой мусор будут служить в свою очередь сырьем для биогенератора газа. Его производительность составит 200 кубометров газа в день, что достаточно для удовлетворения потребностей жителей городка».

Пожалуй, в последнее десятилетие пришло окончательное понимание того, что одним из главных факторов, определяющих уровень жизни, является возможность широкого использования энергии. Но именно в это десятилетие мы стали свидетелями того, как в развитых капиталистических странах разразился энергетический кризис. Казалось, технический прогресс повернул вспять. Вспомним о велосипедах, конных экипажах, извлеченных из сараев и появившихся на улицах западных городов. Разумеется, причины кризиса кроются во множестве политических и экономических факторов, но сразу же все активно заговорили и об истощении запасов химического топлива, и о ненадежности, даже опасности дальнейшего развития электростанций с использованием ядерных реакторов.

Несколько десятков лет назад величина ежегодного потребления ресурсов казалась несопоставимо малой по сравнению с имеющимися запасами топлива. И хотя вопрос об истощении в будущем этих запасов возникал, думали, что он относится к весьма и весьма отдаленному будущему. И вот тревога стала нарастать.

Академик П. А. Капица писал:

«Сейчас ни у кого не вызывает сомнения, что уровень материальной культуры человечества в первую очередь определяется созданием и использованием источни-

ков энергии. Именно она многократно увеличивает могущество людей... Опасность глобального энергетического кризиса сейчас полностью осознана (дискуссии ведутся больше о сроках его наступления), и поэтому энергетическая проблема для техники и науки стала проблемой номер один».

Номер один...

КОНФЕРЕНЦИЯ В НАЙРОБИ

Итак, человечеству нужна энергия. Много энергии, во всех ее видах. И если мы хотим прогресса, а мы его хотим, то обязаны смотреть на мир «новыми глазами», видеть то, чего не замечали вчера.

Нетрадиционный подход к проблеме...

Давайте спросим себя: где растут бананы? Ну разумеется, где-то на юге, ответит каждый. Таков традиционный образ мышления.

Но вот парадокс. Северная страна Исландия на своей промерзшей земле благодаря использованию бесплатной геотермальной энергии выращивает не только бананы, но и дыни, помидоры, яблоки. А недавно здесь были заложены первые кофейные плантации!

Так, может быть, дальнейший прогресс человечества и каждой страны в отдельности как раз и связан с нетрадиционным взглядом на мир окружающий. на ежедневные проблемы? Может быть, только такой подход обеспечит нас в будущем достаточным количеством машин, материалов и продовольствия, ну и, конечно, достаточным количеством энергии, ибо, как мы уже выяснили, все от нее. На производство любых предметов, окружающих нас, вот от того газетного киоска, что виден из окна, вместе со всей его начинкой до этого яблока, лежащего на столе, затрачена энергия.

Именно нетрадиционный взгляд, нетрадиционный подход и к глобальным проблемам планеты, и к удовлетворению повседневных запросов и нужд человека продемонстрировала конференция ООН по новым и возобновляемым источникам энергии, которая состоялась в столице Кении Найроби, где мне довелось провести несколько дней в дискуссиях об энергетическом будущем планеты.

Конференция в Найроби — явление исключительное. Впервые в истории человечества представители практически всех стран мира собрались для того, чтобы определить, на что могут рассчитывать наши потомки, каковы они — новые и возобновляемые, или, как их еще называют, нетрадиционные, альтернативные, источники энергии. Новые по отношению к старым ископаемым, прежде всего углю, нефти, газу, а возобновляемые — значит, практически неограниченные в своих запасах.

Попробую с самого начала сформулировать основной вывод, к которому пришли участники конференции, дать своеобразную квинтэссенцию тех сотен докладов, которые были прочитаны в Найроби.

Прежде всего — о запасах нефти. Материалы конференции в Найроби говорят об этом предельно откровенно:

«Из маловажного источника энергии, которым она являлась в начале века, нефть превратилась в источник, на долю которого в середине 70-х годов приходилось уже около половины всего мирового потребления энергии. Удобство ее использования, транспортировки и переработки, низкая стоимость добычи, а также иллюзия о ее практически бесконечных запасах привели к такому переходу к использованию нефти, который явился беспрецедентным в истории с точки зрения его быстроты и масштабов... Вскоре стало ясно, что добыча нефти как основного глобального источника энергии, вероятнее всего, достигнет своего пика еще до 2000 года».

Далее конференция подчеркнула: масштабы мирового потребления энергии растут невиданными темпами. Годовое потребление первичных энергоресурсов достигло колоссальной цифры — 10 миллиардов тонн так называемого условного топлива (у. т.), к 2000 году ожидается удвоение этой цифры, к 2020-му она возрастет до 30 миллиардов. Таким образом, уже в ближайшие двадцать лет должно быть произведено 300 миллиардов тонн у. т., тогда как во всем мире до настоящего времени в общей сложности было добыто всего около 210 миллиардов тонн у. т. Специалисты, собравшиеся в Найроби, отметили, что если исходить из разведанных запасов топ-

лива, то можно полагать, что их хватит человечеству лет на семьдесят—девяносто. Но коль скоро разведка откроет новые месторождения (а она, вероятнее всего, это сделает), то названный период можно увеличить до ста сорока — ста пятидесяти лет.

И наконец главный вывод участников конференции: без альтернативных источников нам уже не обойтись, их разработка и широкое внедрение — задача века.

Один из таких альтернативных источников — Солнце.

— Ну и ну! — скажет проникательный читатель. — Это Солнце-то новый источник? Солнце, подарившее Земле жизнь?

Скажет и будет прав и не прав одновременно. Давайте перенесемся в Армению, где в году бывает 328 солнечных дней. 328 дней на Ереван и его окрестности буквально обрушиваются потоки даровой энергии.

Но это только для древних Солнце было богом, для нас оно лишь традиционное светило. Только в древности на стенах египетских пирамид высекали надписи, свидетельствующие, что фараоны ведут свой род от могучего бога Солнца Ра. И это только в древности в той же Армении воздвигали в честь языческого бога храмы неземной красоты. Один из них, восстановленный во всей своей первоизданной устремленности к небу, гимн Солнцу — Гарни стоит теперь, как и тысячу лет назад, вблизи Еревана. Храм, в котором сам становишься немного язычником.

А почти рядом с Гарни (какое значение для Солнца имеют несколько десятков километров?), в поселке Мерцаван, создается тоже солнечный... нет, не храм, а обыкновенный жилой домик. На берегу деревенского пруда выросло двухэтажное здание — дом на одну семью с укрепленными на крыше, под стеклом панелями гелиоприемников, улавливающих энергию, даруемую нам Солнцем. Разработанный институтом Армгипросельхоз совместно с московским Институтом высоких температур АН СССР «солнечный домик» позволяет экономить около 50 процентов обычного топлива.

Сооружение это, с одной стороны, довольно сложное и пока довольно дорогое, а с другой — нельзя же забывать те самые 328 солнечных дней. Солнечная Армения! Но вот что удивительно: такие же дома мне довелось видеть в северной стране — Швеции. Даже в этих сравнительно холодных краях Солнце поставляет на Землю энергию, достаточную для постоянного рентабельного отопления и горячего водоснабжения. При внедрении соответствующей технологии, конечно. Технологии сложной. А раз так, не проще ли, как и прежде, применять для этих целей уголь, нефть, газ?..

Проще, разумеется. И все-таки человечество заговорило о поисках новых источников обеспечения жизни на планете. И не только потому, что запасы традиционного топлива иссякают. На повестке дня наше здоровье. Пыль, сажа, угарный газ, сернистый ангидрид, окислы свинца — опасный этот перечень продуктов сжигания топлива, кажется, можно продолжать до бесконечности.

Строятся дорогостоящие фильтры, пытаются установить в выхлопных трубах автомобилей нейтрализаторы, но все это в конце концов лишь полумеры. Экологически оправданное решение: отказ от минерального топлива как такового. Или на первых порах хотя бы частичная замена его альтернативными источниками энергии.

И климатологи обеспокоены. В атмосфере Земли возрастает концентрация углекислого газа. Газ этот пропускает солнечный свет, но поглощает тепловое излучение Земли. В результате возникает «парниковый эффект», «тепловое загрязнение» окружающей среды. Подъем температуры может, как считают многие ученые, оказать непоправимое воздействие на климат Земли, вызвать в одних местах засуху, в других привести к излишней увлажненности почвы, что неминуемо скажется на производстве продовольствия.

В последние годы метеорологи разных стран приходят к выводу: во всеобъемлющей системе погоды на земном шаре что-то расстроилось. Климат на Земле начинает меняться. И не в лучшую сторону. К последствиям этого процесса, по мнению специалистов, следует отнести многие факты. На Британских островах, например, вегетационный период уменьшился приблизительно на две недели. Уже сейчас во многих странах урожаи зерновых не увеличиваются, участились засухи. В Перу, где теплые массы воды оттеснили от побережья холодное течение, улов анчоусов сократился на 55 процентов, между тем муку из анчоусов в Перу и Аргентине употребляют на корм скоту.

Для волнений, видимо, есть причины. Все чаще в тех или иных районах планеты возникают необычные, экстремальные метеоситуации. Капризы погоды приобретают характер крайностей. 1964 год — в Индии утрачивают свою регулярность муссоны. 1968 год — на Исландию надвигаются льды. 1972 год — ураган, самый мощный за последние сто лет, опустошил обширные районы Нижней Саксонии. 1973 год — снежная буря уничтожила посевы пшеницы на больших площадях в Канаде. 1975—1976 годы — самый жаркий и сухой период в истории Англии: 16 месяцев (480 дней) без единой капли дождя. Тот же 1975-й — заморозки губят кофейные плантации Бразилии. 1978 год — в Северном Ледовитом океане масса айсбергов возрастает втрое — прибавьте к этому небывало морозную зиму 1978/79 года и небывало теплую 1982/83-го у нас.

Но какие бы морозы ни бушевали в последние годы, все большее число ученых считают, что атмосфера скорее не охлаждается, а нагревается. Причиной тому грандиозные изменения, произведенные человеком. Сейчас, как утверждают метеорологи, вся наша деятельность по производству и потреблению энергии становится все более важным фактором в климатическом балансе Земли. Именно поэтому на конференции в Найроби звучали голоса, требующие конструирования экоэнергетики, то есть энергетики, опирающейся на использование преимущественно экологически чистых источников.

Итак, есть понимание настоящего, есть тревога за будущее. Что предлагается взамен? В чем проявляется нетрадиционный подход к проблеме? В том, что взоры специалистов обращаются сегодня не к одному (в крайнем случае двум, трем) господствующему источнику получения энергии, а сразу ко многим, или, точнее, ко всем доступным. В том числе к использованию гидравлической, ветровой, геотермальной, ну и, конечно, солнечной энергии.

Академик Н. Н. Семенов и член-корреспондент АН СССР К. И. Замараев в статье «Плюс энергия Солнца» сообщают: «Нам бы сейчас хотелось остановиться на возможностях Солнца. Это не только важный, но и экологически чистый источник энергии, ибо при его использовании нет никаких вредных выбросов, не происходит и дополнительного нагрева Земли.

Известно, например, что в солнечных лучах, падающих в Средней Азии на квадрат территории со стороны примерно в 70 километров, содержится столько энергии, сколько в 600 миллионах тонн нефти. Причем только в пустыне Каракумы уместится около 60 таких квадратов. Конечно, не все солнечные лучи удастся утилизировать — неизбежны потери. Однако даже при 80 процентах этих потерь «урожай» в 1300 миллиардов киловатт-часов — планировавшаяся годовая выработка электроэнергии в СССР в 1980 году — мог бы быть собран в Средней Азии с квадрата со стороны примерно в 65 километров. При современном уровне развития техники постепенное освоение площадей такого масштаба под энергетические поля представляется хоть и весьма сложной, но в принципе инженерно разрешимой задачей».

Приведу еще высказывание академика Ж. И. Алферова:

«...человечество стремится получить в свое распоряжение такой источник энергии, который не иссякал бы со временем, позволял бы черпать ее во все возрастающих количествах, был бы безопасен и удобен. При этом большие надежды возлагаются на управляемую реакцию термоядерного синтеза. Но позвольте, эффективный термоядерный реактор уже создан самой природой! Его ресурс составляет многие миллионы лет. Он безопасен, поскольку «вынесен» далеко за пределы среды нашего обитания, точнее, на 149 миллионов километров от Земли. При этом удачно решена проблема «транспортировки» энергии, которая поступает практически во все уголки нашей планеты. Ясно, что речь идет о Солнце».

Запомним высказывание специалистов и вернемся на конференцию в Найроби.

СТОИТ ЛИ БРОСАТЬ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР?

В затемненном зальчике, расположенном по соседству с гигантским главным залом Центра конференций, вспыхнул экран, и со ступеней японской верфи начал медленно сползать, омытый брызгами традиционного шампанского, современный танкер «Шинайтоку Мару» водоизмещением 1600 тонн и длиной 66 метров. Вот он весело покачался на волнах, затихли звуки берегового оркестра, и... Но что это? На двух его мачтах стали разворачиваться и, как бы повинувшись ветру, плавно менять форму

два гигантских, нет, не паруса, а два гигантских ячеистых планшета, которые все время меняли ориентацию в пространстве.

И все-таки это были паруса, сделанные из брезента и синтетических материалов, заключенные в стальные рамы и разбитые на секции. Они то сворачивались, то увеличивались в размерах, достигая оптимальной ориентации и площади по отношению к направлению и силе ветра. Управление парусами автоматически осуществляет новейшая электронно-вычислительная система. Подгоняемый ветром парусник (а как его еще иначе назовешь?), снабженный запасным дизельным двигателем, стремительно заскользил в открытое море. Вот он, нетрадиционный подход. Вот сэкономленные тонны и тонны горючего. Вот возврат к прошлому на новом, компьютерном, витке развития науки и техники.

Корабль XXI века.

...За окном тихо падает первый московский снег, и не верится, что где-то там за экватором, в далекой Кении, я получил эту солидную кипу докладов технических групп, над составлением которых в течение двух лет работали эксперты — виднейшие ученые многих стран мира: «Доклад технической группы по энергии Солнца», «Доклад технической группы по энергии ветра», «Доклад... по энергии океана», а также по энергии биомассы, геотермальной энергии, древесному топливу, нефтеносным сланцам, торфу, тягловой силе скота.

Да, да, тягловой силе скота. Ибо то, насколько непоправимо быстро растались мы, дети машинного века, управляющие автомобилями и тракторами, с верным другом и помощником человека — лошадью, свидетельствует о нашей неадаптивности.

Теперь мы начали писать об этой нашей неразумности в газетах, говорим о неоправданном пожирании горючего для сельских перевозок, которые с успехом можно было бы совершать, а с учетом плохих деревенских дорог даже с большей эффективностью, на обычной крестьянской телеге. На обычной? Нет, говорится в докладе, улучшенной конструкции, с надувными шинами, на современных подшипниках. В этом суть найробийской конференции — не упустить ни одну мелочь. Перейти от одного господствующего к взаимозаменяемым и дополняемым друг другом источникам энергии. Изжить существующие привычки: если перевозки — то только на автомобиле, если автомобиль — то только бензин, если электроосвещение или отопление — то только от одной централизованной системы.

Сегодня важно уловить главное: мир ищет энергию. Ищет упорно, настойчиво, изобретательно.

В подтверждение лишь бегло перечисляю, о чем говорилось на конференции: о новейших конструкциях небольших высокоэффективных гидроэлектростанций и мельниц; о методах получения электроэнергии за счет геотермальных систем; о крупных ветроэнергетических установках и маломощных, но высокоэффективных ветряках, качающих воду для полива полей; о солнечных фотоэлектрических системах, преобразующих солнечную энергию непосредственно в электричество; о солнечных термоэлектрогенераторах и водонагревателях; о системах самонаводящихся на Солнце установок; об опытах по биологической переработке отходов в биогаз, используемый для отопления и приготовления пищи; о методах производства сжиженного водорода как способе консервации солнечной и ветровой энергии и о его применении в качестве топлива для транспорта; и о многом, многом другом. Не в перечислении суть. Суть в другом. В комплексном подходе. Для истинного прогресса в энергетике нам придется теперь максимально эффективно использовать все ресурсы, дарованные природой. В том числе и те, о которых мне говорил когда-то капитан Кусто. В Найроби были представлены проекты электростанций, использующих энергию приливов и отливов, мощные ветроэнергетические установки, работающие в открытом океане, электростанции, применяющие его термальную энергию.

Все — в действие! Экспериментировать, добиваться дешевизны и широкого внедрения — таков девиз сегодняшнего дня.

Есть и еще один подход к хотя бы частичному и временному решению проблемы — это экономия энергии. Экономия во всем, и прежде всего благодаря экологически продуманному образу жизни и производству промышленной продукции.

Еще тогда, десять лет назад, Жак Ив Кусто говорил мне:

— Опасность сейчас в том, что многие люди считают: как только наука и тех-

ника делают нечто возможным, надо автоматически претворять эту возможность в действительность,— в то время как следовало бы иметь выбор, выбирать такие технические решения, которые совместимы с сохранением окружающей среды, всей нашей экологической системы. Всеобщее распространение автомобиля, например, вещь, на мой взгляд, плохая, потому что автомобиль должен служить только для определенных перевозок, а что мы видим в жизни? По какой бы автомагистрали вы ни ехали, вы обязательно встретите легковые автомобили, в которых сидят всего двое, а то и один человек. С экологической точки зрения это же катастрофическое явление! Катастрофическое в смысле растраты энергии и в смысле отравления атмосферы. Общественный транспорт гораздо более экономичен и гораздо меньше загрязняет среду. Хотелось бы надеяться, что дальнейший технический прогресс пойдет по пути развития именно общественного транспорта как гораздо более экологически разумного по сравнению с тем, какой мы имеем сегодня. Или возьмем другой пример. Электроника сейчас становится все меньше по размерам, происходит ее миниатюризация. Люди, стало быть, имеют возможность делать необыкновенные вещи из очень небольшого количества материала и требующие немного энергии. Телефон, например, потребляет очень мало энергии, а позволяет поддерживать связь хоть со всем миром. Вот это разумный прогресс. А когда телефон совместится с телевидением, когда можно будет и видеть человека, с которым говоришь, тогда не всякому захочется лететь в самолете, чтобы встретиться с ним. Это будет означать экономию и энергии и материалов. Так что прогресс, по-моему, необязательно в том, чтобы производить больше стали, больше электроэнергии. Нет, гораздо более передовой, гораздо более мудрый технический прогресс состоит в том, чтобы научиться делать вещи очень сложные и практически необходимые из очень малого количества материала и с очень малыми затратами энергии. Тут нужен выбор, чтобы мы могли говорить «нет» одним формам развития и говорить «да» и максимально поощрять другие — экологически рациональные. Разве не могли бы правительства пойти, например, на такую простую меру, как запретить производство предметов, которые выбрасываются на свалки? Сейчас делают бритвенные лезвия, которыми пользуются обычно только раз. Это же расточительство! Или зажигалка, которую, как только та опустеет, можно выбросить, потому что она дешевая, или всевозможная тара и экстравагантная упаковка. На все тратится громадное количество энергии!..

И это тоже нетрадиционный подход, нетрадиционный взгляд на проблему, хотя, честно сказать, мало что изменилось за десять лет. По-прежнему мчатся по автострадам мира автомобили, где сидят один-два человека, по-прежнему мы выкидываем на свалку массу всевозможных коробочек из-под зубной пасты, духов и крема, на производство которых тратится громадное количество энергии, по-прежнему наши дома строятся без надлежащей теплоизоляции, что могло бы сэкономить до 70 процентов энергии, расходуемой на отопление, по-прежнему ярко сияют в ночи окна громадных учреждений, когда в них трудятся две-три уборщицы.

Так чем же все-таки станут отапливаться наши дома в будущем?

МИР ИЩЕТ ЭНЕРГИЮ

В сущности, с этим вопросом я и пришел в Институт высоких температур АН СССР — институт, который как раз помогал в создании того самого «солнечного домика» в Армении. Хотелось разобраться во всем этом обилии мнений и точек зрения, обстоятельно побеседовать со специалистами.

Мой собеседник — видный советский ученый, директор института академик Александр Ефимович Шейнцлин — был одним из руководителей московского международного симпозиума «Значение новых и возобновляемых источников энергии в решении глобальных проблем энергетики» Институт, которым он руководит, занимается важнейшими проблемами «большой энергетики» Таковыми, как исследование физических свойств веществ при высоких и предельных температурах, создание перспективных для дальнейшего развития энергетики магнитогидродинамических (МГД) установок, разработкой крупных сверхпроводящих магнитных систем. И в начале беседы я задал ему вопрос:

— Что заставило вас и других ученых-энергетиков обсуждать такие на первый взгляд несерьезные проблемы, как использование ветряных двигателей и гео-

термальных вод, применение солнца для обогрева жилищ, создание электростанций, использующих энергию приливов и отливов океанов?

— Не забудьте,— заметил ученый,— что наш институт занимается работами по прогнозированию комплексного развития энергетики.

— Я это как раз и имел в виду. Значит, и ваши расчеты показывают, что запасы нефти, газа и угля столь малы, что уже в ближайшем будущем нас ожидают тяжелые времена? Именно поэтому ученые стали срочно заниматься так называемыми возобновляемыми и нетрадиционными источниками энергии?

— Давайте сначала договоримся о терминологии,— сказал А. Е. Шейншлин.— Принцип деления источников энергии на возобновляемые и невозобновляемые ясен из самих названий. Хотя при строгом подходе выяснится, что они не так уж однозначны. Например, мы считаем уголь, нефть и газ невозобновляемыми лишь постольку, поскольку сегодняшний темп их использования в миллионы раз превышает возможный темп образования. В то же время уран является невозобновляемым источником энергии уже в самом строгом смысле этого слова. Понятие нетрадиционных источников энергии менее определено. Сюда следует отнести те резервы, которые сегодня не используются в сколько-нибудь заметном масштабе, хотя принципиальная возможность их применения доказана. Например, нетрадиционные возобновляемые источники энергии — Солнце, ветер, волны, приливы и отливы, тепловая энергия океана, биомасса. И невозобновляемые — нефть, получаемая из битуминозных песков и горючих сланцев, геотермальная энергия, ядерная энергия с применением реакторов-размножителей. Теперь о самой проблеме. Суть ее заключается в том, что стремительное развитие производительных сил в большинстве стран мира привело к резкому росту потребления энергии. Речь идет не только об электроэнергии, но и о первичных ее источниках — о топливе разного рода. Пока потребности не выходили за рамки привычных, которые можно было легко удовлетворить за счет ископаемого топлива, всем все представлялось вполне благополучным. Если даже где-то не было нефти, ее можно было дешево купить в других странах. Но поскольку рост производительных сил шел необычайными, можно сказать, невиданными доселе темпами, в ряде стран начал ощущаться дефицит первичных источников энергии. Поэтому на Западе уже сравнительно давно заговорили о существенной нехватке такого удобного для многих целей и задач топлива, как нефть.

Я заметил, что одним из первых сигналов, свидетельствующих о наличии уязвимых мест в системе мирового энергоснабжения, явилось наложенное странами — членами ОПЕК эмбарго на вывоз нефти и резкое возрастание цен на жидкое топливо.

— Да, это было лет десять назад,— согласился мой собеседник,— но кризисные ситуации в системе энергоснабжения капиталистических стран назревали значительно раньше. И наступило время, когда цена на нефть стала невиданно большой — свыше двухсот долларов за тонну.

Ученый подчеркнул, что сведение энергетического баланса в первой половине XXI века все-таки задача не из легких. Вовлечение нетрадиционных источников безусловно расширит сырьевую базу энергетики. В некоторых случаях эти источники принципиально столь велики, например солнечная энергия, что могли бы покрыть потребности человечества на многие, многие столетия.

— Если этот источник — Солнце — столь беспределен и так экологически чист, то что мешает его широкому применению? Почему мы должны заниматься одновременно океаном, ветром, геотермальными водами и многим другим — не лучше ли сосредоточиться на чем-либо одном? — спросил я.

— Важно не просто располагать источником энергии, а знать, сколько будет стоить единица энергии, полученной от него,— сказал А. Е. Шейншлин.— Именно потому, что эти источники нетрадиционны, технология их использования еще не отработана, а это, в свою очередь, не позволяет провести надежный технико-экономический анализ альтернативных путей энергоснабжения. Главная задача энергетиков состоит в том, чтобы удовлетворить потребности в энергии с наименьшими суммарными народнохозяйственными затратами. Но есть и еще одна причина, согласно которой целесообразно заниматься одновременно развитием многих новых, нетрадиционных источников энергии. Дело в том, что распространяются они по территории нашей страны и мира неравномерно. Возможно, для данного района окажется более выгодным черпать энергию от какого-то местного нетрадиционного источника, имею-

щего худшие экономические показатели, чем перебрасывать энергию в том или ином виде на большие расстояния. Что касается солнечной энергии, то она является рассеянным видом энергии. В этом несчастье. Мы можем получить с квадратного метра поверхности Земли лишь несколько сот ватт тепла. Этот рассеянный вид энергии надо собрать, чтобы потом использовать для практических целей. Предстоит научиться концентрировать солнечную энергию, что стоит пока очень дорого. Ведь надо расположить на больших площадях земли какие-то технологические установки — скажем, зеркала, устройства из полупроводников, фотоэлементов. И сами эти установки и земля стоят весьма не дешево. Вопрос вопросов стоит так: насколько технико-экономически перспективно использование солнечной энергии. Именно это и обсуждают ученые. Пока я убежден, что солнечная энергия для производства электричества неконкуренгоспособна с теми методами, которые существуют сейчас. Я подчеркиваю, для производства электроэнергии, причем для производства в больших масштабах. Для локальных же целей, где-то в горах, в пустыне, где необходимы автономные источники энергии, она уже сегодня применима. Но сказанное вовсе не означает, что в этой области не нужно работать. Может быть, через десятки лет будут найдены способы дешево решить проблему. Сегодня же наш институт, в частности, концентрирует свою работу на создании систем солнечного теплоснабжения, реализует большую программу по проектированию жилых домов с солнечным отоплением и горячим водоснабжением. В более далекой перспективе могут оказаться рентабельными и солнечные электростанции двух типов: либо работающие по тепловому циклу, либо с прямым фотопреобразованием излучения Солнца в электроэнергию. Энтузиасты внедрения фотопреобразователей обещают в ближайшее десятилетие удешевление этих установок чуть ли не в десять раз, что радикально изменит отношение к ним энергетиков.

— Какие же из нетрадиционных источников энергии вам представляются сегодня наиболее перспективными и эффективными?

— Конечно, наиболее эффективный путь использования нетрадиционных источников энергии — создание атомных электростанций с реакторами-размножителями. Эти работы интенсивно ведутся в Советском Союзе и в ряде других стран — Франции, США.

— А есть ли какие-то пределы, ограничения в развитии атомной энергетики? — Поинтересовался я.

— Что касается современных АЭС на тепловых нейтронах, использующих энергию урана, то я уже говорил: запасы этого топлива не беспредельны. И здесь есть ограничения. Если же иметь в виду реакторы-размножители, реакторы на быстрых нейтронах, термоядерную энергетику, то в этом направлении еще многое предстоит сделать и в отработке самих реакторов, и в организации топливного цикла. Но в любом случае путь для широкого внедрения атомной энергетики открыт.

— В наш век почти поголовной автомобилизации и, как выясняется теперь, в век быстро уменьшающихся запасов нефти, — продолжал я, — нам надо затронуть еще и проблему перевода биомассы, или, скажем, ископаемых сланцев, в жидкое топливо. По расчетам шведских ученых, десять процентов территории этой страны, используемой для выращивания биомассы, может обеспечить шведов независимо от других стран источником горючего. Или вот другой, совсем уж нетрадиционный способ, о котором мне довелось узнать в ФРГ, — перевод всевозможных отходов на топливо. В одном лишь бытовом мусоре, ежедневно выбрасываемом гражданами ФРГ, заключено, по расчетам западногерманских ученых, ровно столько энергии, сколько будет выработано в этой стране всеми существующими и запланированными атомными электростанциями. Да и вообще мы ведем такую упорную и не всегда успешную борьбу за изыскание новых источников энергоснабжения, а не лучше ли пойти совсем иным путем: заняться эффективным энергоснабжением? Исследования показали: действенная энергосберегающая политика может обеспечить к двухтысячному году прирост тридцати процентов энергопотребления.

— Внедрение новых источников энергии и энергосберегающая политика, — заметил А. Е. Шейндлин, — это не взаимоисключающие направления. Что бы мы ни делали для расширения ресурсной базы энергетики, всемерно возможная экономия энергии — веление времени. Но она не самоцель. В конечном итоге нужно осуществлять те мероприятия, которые обеспечивают наибольшую суммарную экономию

средств. Например, можно, конечно, снизить расходы тепла на отопление жилищ за счет улучшения тепловой изоляции, но на это ведь надо затратить средства, и немалые. Где оптимальное решение — на это могут дать ответ лишь технико-экономические расчеты. Сказанное относится и к проблеме переработки отходов. Конечно, в них содержится энергия. Но в каких случаях ее использование окажется целесообразным, решит в конечном итоге экономика. Например, некоторые крупные механизированные животноводческие фермы уже сегодня экономически оправданно переводить на энергетическое самообеспечение, извлекая энергию из отходов животных. Или возьмите большинство тропических стран, где рост зеленой массы происходит достаточно быстро и обильно. Там она уже дает много энергии, а может давать еще больше.

Мой последний вопрос:

— Если бы мы очутились сегодня в середине двадцать первого века, то чем, на ваш взгляд, отапливались бы наши дома, с применением каких энергетических источников мы готовили бы пищу, какое топливо использовалось бы на транспорте?

— Во всех случаях, которые вы упоминаете, я надеюсь, человеку середины двадцать первого века будет служить энергия электрическая, полученная на атомных и солнечных, а возможно, и термоядерных электростанциях. Во всем объеме энергопотребления доля электроэнергии составляет сегодня около двадцати пяти процентов, а к двухтысячному году она должна, по прогнозам, возрасти до сорока. Думаю, что эта тенденция сохранится и в следующем столетии. Возможно, что посредником между электростанциями и потребителем явится какой-либо искусственный энергоноситель, например водород, о котором сейчас много говорят. Это вещество, получаемое на первичной энергостанции из простой воды, можно будет транспортировать по трубам, что обойдется дешевле, чем транспортировка электроэнергии. Водород обеспечит все потребности человека, которые сегодня покрываются природным газом или нефтью. Он может применяться как топливо для автомобилей и самолетов. Таким энергоносителем, вероятно, станут в будущем и другие синтетические вещества, изготавливаемые на основе водорода. А может быть, человечество откроет принципиально новые источники электроэнергии, о которых мы сейчас и не подозреваем. Кто думал каких-нибудь пятьдесят лет назад, что сегодня во всем мире будут успешно работать атомные электростанции?..

ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ

Я размышлял над последними словами, сказанными ученым: кто думал пятьдесят лет назад, что сегодня будут успешно работать атомные электростанции? Удастся ли нам сказать то же самое через те же пятьдесят лет о станциях солнечных? Ну не нам, так нашим потомкам?

Нетрадиционный взгляд на наше будущее — это, кроме всего прочего, подчеркнут еще раз, и разумное движение вперед многими путями, а не только одним, сколь бы заманчивым ни казался он сегодня.

Конечно, сейчас трудно говорить о широком промышленном применении солнечной энергии за счет систем зеркал или солнечных батарей, ну а если удастся создать «энергетические плантации», засаженные каким-нибудь быстрорастущим растением, из которого можно было бы получать высококалорийное газовое топливо практически в неограниченных количествах? Что тогда?

В наши дни много говорят и пишут об атомной энергии.

Действительно, запасы ядерного горючего — урана и тория — достаточно велики, даже если их использовать только на 1 — 1,5 процента, как сейчас на атомных электростанциях с реакторами на медленных нейтронах. Если же учесть, что, по-видимому, к началу XXI века основным станет реактор-размножитель, где использование применяемого сегодня топлива будет идти полнее в 20—30 раз, то эти ресурсы энергетики значительно возрастут. Так что, имея в виду ядерное горючее, а в далекой перспективе — термоядерную энергетику, ресурсы можно считать практически неисчерпаемыми. Во всяком случае, на целый ряд столетий. Но тут возникает вопрос: а не опасно ли полностью переключиться на атомную энергетику?

Именно этот вопрос я и задал в свое время, беседа о многих экологических проблемах, крупнейшему советскому специалисту в области энергетики академику Михаилу Адольфовичу Стыриковичу. Вот его ответ:

— Вопрос об опасности ядерной энергии широко дискутируется в зарубежной печати. Там возникают крестовые походы против нее. Но сегодня даже наиболее ярые оппоненты ядерной энергии не говорят о загрязнении атмосферы или гидросферы в процессе нормальной эксплуатации атомных станций. Подчеркиваю: нормальной. Для всех ясно, что при современных методах ядерной технологии ядерная энергия является наиболее чистой, практически не загрязняющей атмосферу. Если говорить о захоронении отходов, то следует сказать, что, несмотря на значительные успехи в разработке методов захоронения, этот вопрос не снимается с повестки дня. Однако нельзя забывать, что отходов на АЭС примерно в миллион раз меньше, чем золы на обычных электростанциях. Такое количество отходов можно захоронить даже при самых строгих мерах предосторожности.

Есть два основных опасения, которые рассматриваются.

Конечно, можно говорить о возможности крупной аварии с выбросом радиоактивного содержания реактора, которое рассеется по окружающей местности, и при этом пострадает некоторое количество людей, находящихся вблизи от станции. Ни один ученый не скажет, что такая авария не может произойти нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах. Однако для ее возникновения необходимо, чтобы, по-первых, взорвался прочный металлический корпус реактора, во-вторых, чтобы защитная оболочка, окружающая помещение, в котором находится этот корпус, не удержала продуктов взрыва (а она рассчитана как раз на такое удержание) и сама разорвалась, и, в-третьих, чтобы три последовательные системы, поглощающие вырвавшийся пар, отказали. Расчеты показали, что статистическая вероятность такой аварии при наличии, скажем, ста крупных атомных электростанций равняется одной крупной аварии в десять тысяч лет. Расчеты показали также, что если к 2000 году половина всей энергетики США или Японии будет состоять из атомных станций современного типа, как это и предполагается, то вероятность погибнуть в результате такой аварии среди американцев будет много меньше, чем вероятность погибнуть от удара молнии, а среди японцев — в сотни раз меньше, чем возможность умереть в результате землетрясения или тайфуна. Но общественность гораздо острее реагирует на эмоции, чем на цифры, и поэтому даже такая вероятность аварии многими рассматривается как недопустимая. А между тем подсчеты показывают, что современные меры предосторожности делают атомную энергетику более безопасной, чем другие виды энергии.

Так что если говорить о термоядерной энергетике, то ее освоение, конечно, решит все энергетические сложности планеты, ибо запасы термоядерного топлива практически неисчерпаемы. Но по мнению многих ученых, с которыми мне довелось обсуждать эту тему, путь к широкому и практическому применению термоядерной энергетики тернист, и сегодня нельзя оставлять без внимания естественные, природные, возобновляемые источники энергии. Уже сейчас ряд стран, например Австрия, получает за счет их использования до 50 процентов необходимой энергии. (Здесь имеется в виду и малая гидроэнергетика местного значения.) В целом же на планете, как утверждают итоговые материалы конференции в Найроби, эта величина равна 15 процентам и должна возрасти к 2000 году до 25 процентов. Чувствительная прибавка в мировом энергетическом балансе!

В ряде стран приняты законы, обязывающие (именно обязывающие!) разрабатывать и внедрять новые источники энергии.

Многие специалисты утверждают, что потребуется около семидесяти лет — они называют это переходным периодом — для того, чтобы человечество привыкло к комплексному и равноправному применению традиционных и альтернативных источников энергии. Но путь этот видится им нелегким, требующим активных усилий всего мирового сообщества. И, как заявила в Найроби советская делегация, поддержанная большинством участников конференции, для этого необходим прочный мир на нашей, в сущности, такой маленькой планете.

Нам есть о чем рассказать, когда речь заходит о внедрении новых и возобновляемых источников энергии. И прежде всего о гидроэнергетике.

Ее развитие в современном понимании началось у нас лишь после революции, а сейчас по масштабам и техническому уровню гидроэнергетики и гидроэнергетического строительства СССР относится к наиболее развитым странам мира. Но ученые снова и снова задают вопрос: как более полно и эффективно использовать водные ресурсы?

И отвечают: освоение гидроэнергии основных рек должно идти и идет у нас по пути строительства каскадов гидроэлектростанций, что облегчает организацию строительно-монтажных работ, а в ряде случаев только каскад гидроузлов и может решить задачи комплексного использования рек для выработки гидроэнергии, ирригации, водоснабжения и водного транспорта. Все мы знаем наиболее крупные каскады комплексного характера, построенные в европейской части СССР,— Волжский, Камский, Днепровский.

Советская гидротехническая наука и практика проектирования достигли уровня, который позволил приступить к строительству уникальных гидроэлектростанций и гидротехнических сооружений в самых сложных природных условиях. Каменно-земляная Нурекская плотина высотой 310 метров, арочная Ингурская плотина высотой 271 метр, арочно-гравитационная Саяно-Шушенская плотина высотой 242 метра, арочная Чиркейская плотина высотой 233 метра стоят в ряду наиболее высоких плотин мира. Большинство уникальных сооружений построено и строится в сложных инженерно-геологических условиях, в районах повышенной сейсмической активности.

Накоплен у нас и кое-какой опыт строительства малых ГЭС мощностью от нескольких десятков киловатт до нескольких мегаватт с напорами всего в несколько метров. Большое количество таких станций было построено в 30—50-е годы. Сейчас интерес к ним возродился вновь, особенно в удаленных районах страны для замены дизельных энергоустановок.

Последовательное освоение гидроэнергетических ресурсов, прежде всего восточных районов страны, является в перспективе генеральной линией освоения возобновляемых энергетических ресурсов.

Это гидроэнергетика. Ну а еще?

Государство наше обладает значительными энергоресурсами морского прилива, составляющими около половины мирового технического потенциала. Но похвалиться здесь мы можем пока лишь опытной Кислогубской приливной электростанцией, построенной много лет назад.

Возможности широкого использования солнечной энергии в стране нашей, конечно, сравнительно ограничены. Хотя как тут не вспомнить опыт таких северных стран, как Швеция или, скажем, Канада, с одной стороны, и солнечную Армению — с другой.

Солнечная энергия, видимо, сможет найти у нас применение уже в скором будущем для теплоснабжения децентрализованных потребителей в южных районах страны и электроснабжения мелких удаленных объектов, что при соответственном развитии обеспечит к концу века, как считают специалисты, экономию органического топлива в размере нескольких десятков миллионов тонн условного топлива в год.

К настоящему времени в СССР построено около 30 экспериментальных объектов с системами солнечного теплоснабжения. В ряде научных учреждений ведутся работы по созданию экономичных систем солнечного отопления. Разработаны установки для солнечного кондиционирования воздуха в помещениях в условиях сухого и жаркого климата. Наши специалисты предложили новую идею организации водоснабжения отгонных пастбищ за счет строительства в пустыне гелиокомплексов, которые будут включать в себя солнечный опреснитель, источник воды с солнечным водоподъемником, дом для пастухов с солнечным теплоснабжением и электроснабжением, гелиотеплицу для производства овощей и ванну для выращивания хлореллы, используемой как кормовая добавка скоту. В отдельных районах страны организуются сегодня крупные геотермальные сельскохозяйственные комплексы.

Теперь о ветре.

Развитие научно-исследовательских и практических работ в этой области началось с первых лет существования советской власти. В 20-х годах Н. Е. Жуковским и его учениками была разработана теория идеального и реального ветродвигателей, исследованы нагрузки, возникающие на ветроколесе, испытаны различные конструкции быстроходных ветродвигателей. В 1930 году был создан Центральный ветроэнергетический институт. В 1931 году в Крыму была построена и пущена в эксплуатацию самая мощная в мире для того времени стокиловаттная ветроэлектрическая станция, успешно проработавшая до 1942 года.

В последнее время у нас вновь проявляется интерес к использованию ветровой энергии. Назову районы с большими ресурсами энергии ветра: Крайний Север, южная Черноморо-Азовская зона, Арало-Каспийская зона, побережье Балтийского моря и

тихоокеанское побережье. Здесь наблюдаются наиболее высокие скорости и повторяемость ветра, и можно уже сегодня широко внедрять ветроэнергетические агрегаты.

Перечисление можно было бы продолжить. Но чаще все это опытное, экспериментальное, не доведенное до широкого промышленного внедрения. Не отстать бы, не упустить бы время!

Напомню, что в «Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года», утвержденных XXVI съездом КПСС, записано предельно четко: «...увеличить масштабы использования в народном хозяйстве возобновляемых источников энергии (гидравлической, солнечной, ветровой, геотермальной)».

Политбюро ЦК КПСС на своем заседании в апреле 1983 года рассмотрело проект энергетической программы СССР на длительную перспективу, в которой также подчеркнута необходимость поиска новых источников энергии.

Сегодня еще трудно четко представить энергетическую систему, которая ожидает наших потомков. Но совершенно ясно, что наука движется по пути овладения новыми обильными и безвредными для человека источниками энергии. Новая энергетика будет скорее всего многоплановой и взаимозаменяемой по своей структуре.. Такой путь развития энергетики представляется сегодня наиболее надежным.

Человечество должно объединить все технические ресурсы, весь талант и способности ученых для наступления на одну из главнейших проблем столетия, затрагивающую каждого из нас.

Мы ведь и не заметили, как век, в котором можно было безрассудно, безоглядно владеть дарами недр Земли, ушел в прошлое, ушел раньше века XX. На пороге новая эпоха. То тут, то там сверкнет на ярком солнце ее неотвратимое будущее. Как тот «солнечный домик» в Армении, выросший рядом с древним храмом Солнца — Гарни.



ЗВЕЗДНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Фридрих Энгельс писал: «Если у общества появляется техническая потребность, то это продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов». Слова эти подтверждались не раз: паровой машиной, электрическим генератором, атомным котлом...

Последняя строчка заставляет задуматься. Случайно ли в этом коротком перечислении первое, что приходит в голову, — виды получения и преобразования энергии? Наверное, не случайно. Уровень цивилизации определяется сегодня уровнем энерговооруженности. Важность проблемы отражает энергетический календарь, менее точный в сравнении с астрономическим, но отмечающий вполне определенные этапы человеческой истории: век пара, век электричества, атомный век. И невольно люди задают себе вопрос, который задал себе один из основателей новой физики XX века, француз Луи де Бройль: «...позавчера мы ничего не знали об электричестве; вчера мы ничего не знали об огромных резервах энергии, содержащихся в атомном ядре; о чем мы не знаем сегодня?» Как назовут наше время: конец XX — начало XXI века? Пока спорим. Век термоядера? Век геной инженерии? Век ЭВМ? Космический век? А может быть, век Солнца?

Незаметно вошел в нашу жизнь и прочно за эту жизнь зацепился термин «энергетический кризис». Землянам не хватает топлива: угля, нефти, газа, горючих сланцев, леса, наконец. Сегодня угля не хватает Англии, нефти — США, газа — ФРГ, завтра мы назовем другие страны. Сегодня энергетический кризис еще можно объяснить политическим несовершенством мира. Но как мы объясним его завтра, когда политика будет уже ни при чем, когда все земные запасы будут исчерпаны? В разных книгах называют разные сроки прекращения добычи горючих ископаемых. Но и при самых оптимистических итог неотвратим: раз Земля конечна по своим размерам, значит, конечны и размеры ее энергетических ресурсов. В сроках мы можем ошибаться, в итогах — нет. Год от года мы потребляем энергии все больше и больше. За последние пятнадцать лет производство энергии на земном шаре удвоилось. В наиболее экономически развитых странах сегодня на одного человека приходится до 10 киловатт энергии всех видов. Завтра вырастет не только само потребление, но и количество потребителей. Футурологи прибрывают на электронно-вычислительных машинах темпы будущего роста. Получается для конца XX века 5,6 процента в год, для первого двадцатилетия XXI века — 3,3 процента. Это очень много. Оптимисты успокаивают: есть источники практически неисчерпаемые. Да, есть — тепло земных недр, энергия речных потоков, морских волн и приливов, наконец, энергия ядерного распада и синтеза. Но пока только один процент энергии из этих неисчерпаемых, а точнее возобновляемых, источников черпает человечество.

Геотермальные электростанции могут удовлетворять Исландию с ее гейзерами, может быть, разрешить энергетические проблемы Камчатки, где уже работает геотермальная электростанция мощностью 5 тысяч киловатт, но не более. Несмотря на то, что в любой точке земной тверди на глубине 10—15 километров мы имеем температуру в несколько сот градусов, мы не научились эту энергию использовать. Возникает масса трудностей. Теплопроводность горных пород мала, нагретую ими воду надо собирать с больших площадей. Как? Каким образом эти площади увеличить?

Гидроресурсы действительно неисчерпаемы. Но иметь не значит взять. Гидростанции рентабельны в горных районах. Прекрасный тому пример — целый каскад наших электростанций в Средней Азии, начало которому положила знаменитая Нурекская ГЭС. Но уже опыт сибирского гидростроительства показал, что стоимость получаемой энергии может быть соизмерима со стоимостью земель, которые мы теряем, получая эту энергию. В Сибири еще сохранились места нетронутые, необжитые, земли, в которые человек еще не успел вложить достаточное количество своего труда, но ведь мест таких на земном шаре не так много и с каждым годом их становится все меньше. Разумеется, очень заманчиво соорудить великие плотины на Конго или Ама-

зонке, но ведь такие плотины способны затопить территории столь гигантские, что эти искусственные моря изменят привычные нашему глазу очертания континентов.

Энергия волн, морских приливов и ветра, безусловно, тоже вечная, но она рассеяна и непостоянна. Несмотря на то, что этот потенциальный запас оценивается колоссальной цифрой в 200 миллиардов киловатт, несмотря на то, что приливные электростанции уже работают во Франции и у нас на Кольском полуострове, что наряду с уже работающими маленькими ветряками местного значения проектируются уже большие станции на энергии ветра, всем сегодня ясно: они проблемы тоже не решают.

Если аккуратно эксплуатировать урановую топку с учетом возможности восстановления одной части ядерного горючего в процессе сжигания другой его части (ядерные разноможители), то природных запасов должно хватить по крайней мере на ближайшее тысячелетие. Вопрос опять-таки количественный, а не качественный: а что делать через тысячу лет? Но есть и другая грань ядерной проблемы. Что делать в течение этой самой тысячи лет, куда девать радиоактивный шлак урановых топок? Сегодня нет ни одного предложения, которое удовлетворило бы нас полностью. Зарывать глубоко в землю? Но как изолировать такие захоронения от окружающего грунта и вод? Ведь земная кора живая, она все время движется, и часто движется вверх-вниз. Сбрасывать контейнеры на океанское дно? Опасно. Трудно предвидеть последствия разрушения хотя бы одного такого контейнера, скажем, при подводном вулканизме. Посылать радиоактивную отраву в космос? Не будем ли мы напоминать тогда хозяина, который успокаивается, сваливая мусор и отбросы у порога дома? Превратить в урановую помойку какую-нибудь планету Солнечной системы? Но не получится ли тогда, что доходы от урана станут соизмеримы с расходами на транспортировку его шлака?

Сколько помню себя в возрасте относительно сознательном, столько помню разговоры о «неисчерпаемых океанах энергии», которые даст человечеству термоядерный синтез. Даст, но когда? Листаю научно-популярные журналы 50-х годов. Уже изобретена магнитная бутылка, теперь мы знаем, как удерживать плазму, знаем, как не дать реакции угаснуть, ну, еще совсем немного, ну, право же, остались какие-то технические пустяки, ведь все принципиальные вопросы решены, в теории — полная ясность. еще немного, еще чуть-чуть...

Восхождение к термоядерному синтезу оказалось куда сложнее, чем мы могли предполагать. Совсем не надо думать, что физики многие годы топчутся на месте. Пытаясь решить глобальную задачу, они решили множество частных, обогатив этим соседствующие области знаний и техники. Проблема уперлась сегодня в нагрев ионов, которые должны иметь температуру не менее 100 миллионов градусов. Нагрев этот происходит при воздействии на плазму электрического поля. Энергия поля поглощается электронами, которые «не желают» делиться ею с ионами. Причем при росте температуры передача энергии происходит все хуже и хуже. Смогут ли физики преодолеть эти трудности? Надо думать, смогут. Уже во время первых экспериментов с установкой «Токамак» в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова при температуре плазмы около 3 миллионов градусов вспыхивал некий прообраз рукотворного солнца. Поток нейтронов удавалось засечь в течение всего трех сотых долей секунды: если вы крикнете, то до человека, стоящего в десяти метрах от вас, звук вашего голоса за это время не успеет дойти. И все-таки эта маленькая победа вселяет большие надежды. Надо подождать. Никаких сроков физики, наученные опытом прошлого, теперь не называют. В 50-х годах мы все (физики в том числе) были убеждены, что термоядерная энергия станет реальностью в ближайшие десять, ну, пусть двадцать лет. Прошло тридцать. Сколько еще ждать?

Солнце. Остается Солнце. У гелиоэнергетики всегда находились критики. Одним из них был человек, который посвятил всю свою жизнь проблеме преобразования солнечной энергии, — Тимирязев. «Когда человек будет утилизировать не часть, как теперь, а всю солнечную энергию, — писал Климент Аркадьевич, — тогда вместо изумрудной зелени лугов и лесов наша планета покроется однообразною, погребально-черною поверхностью искусственных поглотителей света». Несмотря на огромный прогресс в области преобразования солнечной энергии и создания новых солнечных батарей с высоким коэффициентом полезного действия, мрачные предсказания Тимирязева и сегодня не лишены основания. «Расчеты показывают, — пишет академик П. А. Капица, — что снимаемая с одного квадратного метра освещенной солнцем поверхности мощность в среднем не будет превышать 100 ватт. Поэтому, чтобы генерировать 100 мегаватт, нужно снимать электроэнергию с целого квадратного километра панелей.

Ни один из предложенных до сих пор методов преобразования солнечной энергии на Земле не способен оправдать капитальные затраты на такие сооружения в интересах энергетики больших мощностей».

В упомянутые уже 50-е годы почти одновременно физики США и СССР создали первые солнечные преобразователи энергии с кпд 4—6 процентов. С 1958 года, когда на орбиту вышел третий советский искусственный спутник Земли, на борту которого работали кремниевые солнечные батареи, началось время бурного развития этого вида электротехники.

И тем не менее...

В интересной книге Ф. Ю. Зигеля «Города на орбитах» приводится такой убедительный пример: для того чтобы от солнечных батарей мог работать двигатель автомобиля мощностью в 100 лошадиных сил, надо, чтобы площадь этих батарей составляла 800 квадратных метров. На Всемирном электротехническом конгрессе в Москве в июне 1977 года группа московских и ленинградских физиков представила объединенный доклад, в котором сообщалось, что на основе арсенида галлия в земных условиях возможно создать солнечный преобразователь с кпд 20—22 процента. Таким образом, с одного квадратного метра земной поверхности можно получить 200 ватт электроэнергии — в два раза больше, чем считает академик П. Л. Капица. Но все это опять-таки коррективы количественные. Принципиально проблема не решена. Она останется, даже если физики вновь удвоят кпд. Останется хотя бы потому, что энергетика будет зависеть от погодных условий. В Туркмении сегодня уже успешно работают гелиоэнергетические установки. А что делать туманному Альбиону, если он туманный? Надежность — обязательное требование к энергетике и сегодняшнего и завтрашнего дня.

И все-таки Солнце! Солнце, но не на Земле, а в космосе! Солнце может решить все наши проблемы. Давайте снова вернемся к расчетам.

По сегодняшним нашим сведениям, запасы нефти, угля и газа в пересчете на так называемое условное топливо оцениваются в 13 триллионов тонн. Цифра гигантская, но, повторяю, конечная. В то же время Земля получает от Солнца энергию, которая в пересчете на это условное топливо составляет более 100 триллионов тонн. В год! И запасы эти не оскудеют, по предположению астрономов, многие миллиарды лет.

Советский ученый, член-корреспондент АН СССР Н. С. Кардашев подсчитал, что если потребление энергии будет увеличиваться на 3 процента в год (эта цифра несколько занижена — не только сегодня, но, как я уже писал, и в XXI веке она будет больше, — но занизил специально), то к 2170 году будут потреблять энергию, которая составит один процент от энергии, посылаемой Солнцем на Землю. В 2240 году потребуется производить уже 5 процентов от солнечной энергии, в 2265 году — 10 процентов. Но если мы и сумеем столь сказочно увеличить свою энергетическую мощь, то возникает другая угроза. Такое количество энергии лежит уже у предела, так сказать, климатического. Тепловое загрязнение земного шара способно вызвать процессы еще непредсказуемые, но, безусловно, труднообратимые. Мы все можем перегреться, а потом, расплавив полярные льды, и утонуть. Специалисты считают, что в недалеком будущем для предотвращения кризисных последствий экологического характера и поддержания глобального равновесия потребуется до 40 процентов всех затрат общества. Об этом пишут академик В. С. Авдуевский, доктор технических наук С. Д. Гришин, доктор физико-математических наук Л. В. Лесков и кандидаты технических наук В. К. Аблеков и А. Ф. Евич в работе «Энергетика и космос». «Один из радикальных путей преодоления указанных трудностей состоит в переходе от «двумерной» индустрии на поверхности планеты к «трехмерной» — переносу значительной части энергетики, а также некоторых энергоемких и опасных производств в околоземное космическое пространство, — говорится в этой статье. — Именно таким представлял себе будущее человечества К. Э. Циолковский».

Да, опять остается лишь подивиться гениальной прозорливости К. Э. Циолковского, который писал: «...почти вся энергия Солнца пропадает в настоящее время бесполезно для человечества... Что странного в идее воспользоваться этой энергией!»

Надо отметить, что независимо от Циолковского и друг от друга почти все пионеры космонавтики думали и писали об использовании солнечной энергии за пределами нашей планеты. Фридрих Цандер отапливает и освещает Солнцем свой межпланетный самолет. Он собирается провести «исследования на пригодность для межпланетных целей аппаратов для превращения солнечной энергии в другие виды энергии». Француз Робер Эсно-Пельтри считает Солнце наиболее удобным источником света и тепла

для космических конструкций. Немецкий ученый Макс Валье тоже обогревал и освещал свой корабль солнечными лучами. Американец Роберт Годдард включал Солнце в систему пассивного терморегулирования пилотируемого космического аппарата. Специальные установки на Луне и планетах, использующие солнечную энергию, смогу дать, по мнению Годдарда, кислород и водород, необходимый межпланетным кораблям. Немец Герман Оберт думал о солнечном двигателе для лунного автомобиля и, как и Годдард, предполагал, что гелиоустановка на Марсе может давать жидкое топливо для ракет. Наш Юрий Кондратюк еще в 1918—1919 годах пишет об использовании внеземной энергии, а вслед за ним Оберт говорит об орбитальных электростанциях. Наконец, Константин Эдуардович Циолковский прямо указывает, что электрический ток можно получить с помощью «термоэлектрической батареи» или «обыкновенных паровых двигателей с холодильником», точно предрекая, таким образом, первые практические шаги в области космической гелиоэнергетики, предпринятые примерно через два десятилетия после его смерти.

Мечты пионеров космонавтики о транспортировке солнечной энергии на Землю из ближнего космоса приобретают сегодня черты реальности. «Космические солнечные электростанции, доставка сырья с Луны и разных планет — иных путей сегодня не видно, — пишет советский ученый-футуролог, доктор исторических наук И. Бестужев-Лада. — Человечество вынуждено идти в космос, чтобы остаться человечеством». Космические гелиосистемы разбираются на научных конгрессах. В частности, XXVI Международный астронавтический конгресс в Лиссабоне почти целиком был посвящен теме «Космос и энергия». Уже издано много специальной литературы на эту тему. Обсуждается не вопрос «строить — не строить», обсуждаются технические детали — как строить, чтобы было и недорого и эффективно.

Что же представляет собой (пока в мечтах) солнечная электростанция в космосе? «Идея таких станций сформулирована уже свыше 10 лет назад, — писал в 1983 году советский ученый, профессор МГУ, доктор физико-математических наук Владимир Александрович Ванке. — За прошедшее время она глубоко и всесторонне проработана учеными и инженерами многих стран». Собственно, вся эта проработка свелась к переносу нашего земного опыта в области гелиоэнергетики в космос. Никаких открытий тут не требовалось. И безо всяких расчетов было ясно, что солнечные электростанции в космосе в сравнении с земными получают ряд принципиальных преимуществ. Они способны использовать излучение нашей звезды, не профильтрованное земной атмосферой, во всей его полноте. Для них не существует практически понятия дня и ночи: очень быстро подсчитали, что солнечная электростанция в космосе будет находиться в тени Земли не более сотой части времени своей работы. Невесомость позволяет расположить поля солнечных батарей на беспредельных площадях и сделать чаши отражателей сколь угодно громоздкими, не боясь, что они разрушатся от собственного веса, как это случилось бы на Земле.

С другой стороны, не нужно опять-таки быть провидцем, чтобы понять, что любое строительство в космосе, тем более строительство крупногабаритное, — чрезвычайно дорогое и технически сложное дело.

Таким образом, все в конце концов сводилось к главной и на Земле нам с вами хорошо известной проблеме: как при минимальной затрате материалов и труда получить побольше энергии.

Эта на первый взгляд чисто экономическая задача находилась, однако, в прямой зависимости от решения множества уже чисто научно-технических проблем. Ясно, что уменьшение веса солнечных батарей, увеличение их КПД, новые средства доставки их на орбиту и т. д. — все это могло сократить расходы, сделать космическую солнечную энергетику конкурентоспособной с земной энергетикой.

Общая проблема логично распадалась на две основных: как собрать солнечную энергию и как, в каком виде ее транспортировать на Землю.

В решении первой проблемы довольно скоро определилось два пути. Первый предполагал непосредственное преобразование энергии солнечных лучей в электрический ток, так, как это делается на уже реально работающих космических аппаратах различного назначения, то есть с помощью солнечных батарей. Второй предусматривал концентрацию лучей Солнца специальными зеркалами, нагрев этими сконцентрированными лучами некоего теплоносителя — газа или жидкости, которые должны были вращать турбину, передающую свою энергию электрогенератору.

Первый способ выглядел и проще и дешевле. Однако и у турбинного варианта нашлись свои приверженцы. Надо сказать, что и сегодня трудно найти критерии, которые позволяли бы все эти проекты сравнивать. Вернее, наоборот — трудно сравнивать, поскольку критериев этих очень много. Проекты можно приравнять по мощности электростанций и смотреть, какая сколько будет «весить», то есть насколько она материалоемка, сколько времени потребует для осуществления строительства, какую бригаду монтажников нужно будет поднять в космос, как их там расселить, какие носители использовать для транспортировки грузов на орбиту и т. д. А можно идти от стоимости одного запуска транспортного корабля, стоимости одного килограмма груза на орбите — эти цифры положить в основу дальнейших сравнений. Сторонники строительства космических электростанций берут в своих расчетах, например, самые высокие кпд солнечных батарей, а противники — самые низкие. Сторонники закладывают в них полезные нагрузки еще несуществующих сверхмощных носителей, которые полетят послезавтра, противники — самые скромные вчерашние данные. Короче, каждый считает так, как ему выгодно считать, доказывая свою правоту.

Чтобы вы представили себе масштабы проектируемых энергосистем, приведу цифры из некоторых разработок. Почти все специалисты единодушны во мнении, что космические электростанции будут рентабельны только в том случае, если будут мощными. Границы их эффективности определяются величинами от 2,5 миллиона киловатт до 10 и даже 20 миллионов (на Земле нет электростанции подобной этим, максимальным по своей мощности). Посмотрим два «скромных» проекта станций мощностью 5 миллионов киловатт. В первом 52 панели солнечных батарей, каждая размером 750 на 1500 метров, крепятся к кабелю-волноводу длиной около 58 километров. Масса всей конструкции 18 тысяч тонн. Во второй 48 панелей 385 на 2000 метров, при длине кабеля 72 километра, с общей массой 19,5 тысячи тонн. Попробуй разберись, какой проект лучше.

Это станции маленькие. Есть побольше, скажем, мощностью 8,3 миллиона киловатт. Площадь солнечных батарей такой станции более 82 квадратных километров. Есть совсем большие, на 10 миллионов киловатт, в зависимости от кпд батарей их площадь колеблется в пределах от 90 до 180 квадратных километров, а масса всей конструкции — от 50 до 100 тысяч тонн. Есть проект, в котором протяженность солнечной батареи равна 2128 километрам. По данным фирмы «Боинг», разработавшей проект турбинной станции тоже на 10 миллионов киловатт, массы вроде бы сравнялись с батарейным вариантом — 60 тысяч тонн. Если попытаться как-то усреднить эти данные и с чем-то земным их сравнить, получим такую картину: если мощность Братской ГЭС — 4 миллиона киловатт, а Красноярской — 6 миллионов, то взвешенная солнечная электростанция на 5 миллионов киловатт потребует «укладки» в космосе около 50 квадратных километров солнечных батарей. Станция вдвое большая по мощности дает в расчетах площади солнечных батарей до 100 квадратных километров. Ориентировочный вес конструкции около 100 тысяч тонн. Монтаж ее потребует усилий 200—500 космонавтов. Таковы приблизительные масштабы этих сооружений. Именно сооружений, другого слова не придумаешь, — это и не машина и не здание. Во всяком случае, рассматривать это «нечто» в архитектурном плане невозможно. На Земле нет ничего подобного, нет единого рукотворного сооружения размером в 50—100 квадратных километров. Будем же привыкать к космическим размерам в космосе.

Вторая проблема взвешенной гелиоэнергетики, как я уже говорил, — транспортировка полученной энергии на Землю. Тут тоже есть различные точки зрения. Большинство разработчиков склоняются к тому, чтобы передавать энергию в виде электромагнитного излучения с длиной волны 10—12 сантиметров. Такие волны без существенных потерь проходят через атмосферу, не останавливают их ни облака, ни дожди, ни бураны. Так, в отличие от земной космической гелиоэнергетики является всепогодной. По существу, это радиоканал, а вы знаете, что климатические условия мало влияют на работу наших радиоприемников и телевизоров. На наших глазах сбывается, таким образом, давнее предсказание выдающегося советского ученого академика П. Л. Капицы, который говорил о том, что электроника повторит историю электротехники. Во времена своей молодости электротехника использовалась главным образом как средство связи (телеграф, световая сигнализация), а потом пришла в энергетику. То же будет и с электроникой. От передачи информации (радио, телевидение) она тоже придет в энергетику.

Таким образом, неотъемлемая часть орбитальных энергетических сооружений и

в батарейном и в турбинном варианте — микроволновая передающая антенна диаметром примерно 800—1000 метров. Для того чтобы энергетический луч не рассеялся, он должен быть узконаправленным, с углом расхождения не более одной угловой минуты. Чтобы луч попал на антенны приемной станции, требуется большая точность наведения. Ошибка допустима в пределах одной угловой секунды. Площадь приемной наземной станции для получения 10 миллионов киловатт колеблется от 50 до 130 квадратных километров, что значительно меньше площади многих искусственных морей, созданных ГЭС. Действительно, всегда возможно найти для принимающей станции кусок никому не нужной земли от 8 до 12 километров диаметром, чтобы решить проблему приема энергии из космоса. Если станция будет летать в плоскости экватора, то площадь наземных сооружений на экваторе должна иметь форму круга. Если строить их в умеренных широтах, где живет большинство землян, они будут иметь форму эллипса. Так, например, для приемной станции в Северной Африке, Техасе, под Сиднеем или Монтевидео потребуется площадка в виде эллипса размером 10 на 13 километров.

Впрочем, землю можно и не расходовать. Голландская фирма «Гидронамик» разрабатывает вариант создания в Северном море искусственного острова площадью в 100—200 квадратных километров для установки приемных антенн космической электростанции мощностью в 5 миллионов киловатт. Стоимость этого строительства оценивается в 15 миллиардов долларов. Специалисты считают, что подобные острова выгодно создавать в экваториальных районах Мирового океана или монтировать приемные антенны на тропических коралловых атоллах.

В последние годы все большее количество проектов связано с применением во внешней энергетике лазерной техники. Расчеты показывают, что лазер может лучше справиться с задачей транспортировки солнечной энергии на Землю, чем микроволновый передатчик. В этом случае уже не требуются ни солнечные батареи, ни зеркала-концентраторы. На орбиту выводится плазменная ловушка гигантских размеров, выполняющая роль магнитной бутылки, подобной тем магнитным бутылкам, которыми физики пользуются и на Земле, чтобы удерживать плазму. Сверхпроводящие соленоиды создают в ловушке магнитное поле, которое в свою очередь формирует поток плазмы, поглощающий солнечные лучи. Установке требуется рабочее вещество для плазмы — атомы щелочных металлов. Под действием ультрафиолетовых лучей Солнца эти атомы ионизируются и образуют поток плазмы, который проходит через сердечник магнетогидродинамического преобразователя, отдавая энергию ионизации во внешнюю цепь. Плазменный поток преобразуется в лазерный луч.

Лазерный вариант имеет ряд преимуществ перед микроволновым. Прежде всего коэффициент полезного действия при прямом преобразовании лазерной энергии в электрическую довольно высок и достигает уже сегодня 45 процентов. Лазерный луч энергетически насыщеннее, уровень его мощности может достичь сотен тысяч киловатт. Кроме того лазерная космическая электростанция, не имеющая никаких движущихся металлических деталей и разрушающихся под воздействием солнечных лучей материалов, может работать сколь угодно долго, в то время как эффективность солнечных батарей снижается под действием радиации Солнца примерно на 6 процентов за пять лет. Поэтому весь экономический анализ батарейных электростанций ведется из расчета, что срок их службы не будет превышать двадцать пять — тридцать лет. Приблизительно на тот же срок сохраняется отражательная способность зеркал-концентраторов в турбинном варианте. Кроме того, луч лазера уже, он не размывается, что может сократить площади наземных принимающих станций примерно в 100 раз, иными словами — уменьшить затраты на их сооружение. При лазерном варианте возможно даже сделать так, что солнечная энергия будет использоваться человеком до того, как успеет достигнуть Земли. Можно, например, создать самолеты, работающие на лазерной энергии. Луч лазера, идущий из космоса, постоянно будет накачивать в воздухе такой самолет энергией. Обычное химическое топливо потребуется только при взлете и посадке. Подсчитано, что такой самолет с лазерным двигателем мощностью 40 тысяч киловатт при дальности полета 5500 километров на высоте 9 тысяч метров израсходует только 4,8 тонны керосина вместо 29,5 тонны при использовании обычного турбореактивного двигателя.

Странное чувство испытываешь, когда знакомишься с подобными проектами и разработками. С одной стороны, нельзя не восхищаться человеческой смелостью. Ведь буквально несколько лет назад эти многокилометровые космические конструкции были

отданы на откуп фантастам. А сегодня они обсуждаются на научных съездах и рассматриваются в среде «деловых людей», которые предпочитают биржевые сводки фантастическим романам. С другой стороны, эти километры и тонны невольно вызывают ироническую усмешку и мысль: а может, все эти проекты — просто увлекательная игра для мужчин среднего возраста? Рассчитать можно, обосновать — тоже. Ну а реально сделать-то как? Как это все выстроить в космосе? И можно ли вообще обо всем этом говорить на нынешнем уровне развития космонавтики и ракетной техники? Оказывается, можно. Правда, и здесь информация весьма противоречива. Сторонники внеземного энергетического строительства настроены, понятно, более оптимистично и склонны к известному упрощению всех транспортных и строительных проблем. Их противники — пессимисты — ищут (и находят) в проектах различные узкие места, тычут туда пальцем и приводят другие цифры, опровергающие оптимистические прогнозы.

Но дело, в общем, не в том, кто прав, а кто ошибается. В принципе задача выполнима. И время монтажа, которое в разных разработках не превышает двух лет, и численность космонавтов-монтажников, которая оценивается цифрой от 150 до 500 человек, — все это величины относительно реальные. Трезво оценивая уже накопленный в космическом пространстве опыт, мы приходим к выводу, что время работает на нас, и все пугающие нас сегодня параметры заатмосферных проектов: вес конструкций, число стартов, количество монтажников и т. д. — имеют явную тенденцию уменьшаться, в этом, собственно, и состоит прогресс науки и техники. Для иллюстрации такого оптимистического вывода приведу несколько примеров.

Земные традиции заставляют нас с большой осторожностью относиться, например, к компактным надувным конструкциям. Между тем практика их эксплуатации в космосе показывает, что доверять им можно. Еще в 1960 году американцами был выведен на орбиту первый надувной спутник «Эхо». Чтобы раздуть его легчайшую, толщиной в сотые доли миллиметра оболочку в глубоком вакууме космоса, нужно было несколько пригоршней испаряющегося под действием солнечных лучей порошка. Радужная оболочка «Эхо» затвердела, и из скромного 70-килограммового шарика диаметром 67 сантиметров вырос огромный 30-метровый шар.

Одним из соавторов объединенного доклада на Всемирном электротехническом конгрессе, о котором я упоминал, был нынешний член-корреспондент АН СССР, Герой Социалистического Труда Н. С. Лидоренко. Через несколько лет он писал: «Помню, как, будучи еще совсем молодым человеком, я прочитал в «Комсомольской правде» статью академика Иоффе о великом будущем полупроводников. Мы видим, насколько верным оказалось это предсказание. Теперь на всех космических кораблях, станциях, аппаратах основным генератором электрической энергии являются полупроводниковые элементы... Механизм превращения солнечной энергии в электрическую во многом еще не ясен. Недавно советские молодые ученые разработали новую теорию фотоэффекта. Это вселяет надежду, что уже в ближайшие десятилетия эффективность солнечных батарей будет резко повышена. Тогда космические солнечные электростанции смогут стать в высшей степени рентабельными».

Как видите, даже специалисты, которые всегда являются самыми горячими патриотами своей области науки и техники, весьма осторожны: «механизм... во многом еще не ясен», «вселяет надежду», «смогут стать». И все-таки даже беглый просмотр характеристик солнечных батарей показывает: их вес за последние годы снизился в несколько раз. В ФРГ создана рулонная панель солнечных батарей, которые можно скатать в трубочку. Вес квадратного метра не превышает килограмма. Кремниевые солнечные батареи постепенно вытесняются более производительными (хотя и более дорогими), с фотоэлементами на основе сульфида кадмия, медно-индиевых селенидов, арсенида галлия. «Недавно, — пишет советский специалист доктор технических наук М. М. Колтун, — удалось получить тонкопленочные фотоэлементы с помощью одних только химических процессов... Один квадратный метр таких элементов весит всего 200—300 граммов». Если толщина солнечных батарей доходит до 100—200 микрон, то толщина пленок для создания зеркал-отражателей уже сегодня может быть доведена до 2,5 микрона с алюминиевым покрытием невидимой толщины в 0,1 микрона! Во время полета на орбитальной станции «Салют-6» советские космонавты Леонид Попов и Валерий Рюмин впервые получили сверхтонкую металлическую фольгу в космических условиях с помощью созданной в киевском Институте электросварки имени Е. О. Патона

установки «Испаритель». Причем они получили и гладкий лист, и гораздо более жесткий профилированный, гофрированный, более удобный для внеземного строительства.

Научно-технический прогресс охватывает не только области создания сверхтонких пленок и сверхлегких солнечных батарей. Очевидно, упростятся и облегчатся и все другие строительные элементы. Кроме того, кто знает, а может быть, и не придется все эти грузы тащить с Земли. Американец Брайан О'Лири считает, что строительство надо начинать с создания космического завода по переработке внеземных материалов, из которых на 92 процента может быть создана космическая солнечная электростанция.

Вовсе не обязательно в будущем посылать в космос и столь многочисленный отряд строителей. Конструкторы фирмы «Мартин Мариетта» разрабатывают, например, проект «космического паука», автомата, способного работать без людей, управляемого с наземного пункта. «Паук» должен «плести» алюминиевую «паутину» — спиральную конструкцию диаметром 180—300 метров и высотой 4,5 метра. Его создатели считают, что «паук» может «научиться» изготавливать и сооружения другого вида.

Короче, строить можно и сейчас, но год от года строить будет легче. И дешевле!

Где же разместится эта фантастическая строительная площадка в безбрежном океане пустоты? Для облегчения передачи энергии на Землю желательно, чтобы космическая электростанция вращалась с той же угловой скоростью, что и земной шар, то есть находилась на так называемой геоцентрической орбите. Если плоскость такой орбиты совпадает с плоскостью земного экватора, орбита называется стационарной. В этом случае станция как бы висит над какой-то заранее выбранной точкой земной тверди или Мирового океана. Геоцентрическая орбита довольно высока — около 36 тысяч километров. Поэтому в проектах космического строительства разбирается два варианта транспортировки стройматериалов. В первом можно сразу забрасывать строительные конструкции на эту высокую геоцентрическую орбиту. Казалось бы, оно проще, но расчеты показывают, что экономичнее создать некий перевалочный пункт. По второму варианту грузы доставляются сначала на низкую, высотой в несколько сотен километров орбиту, на которых летает большинство спутников, космических кораблей и орбитальных станций. Затем, используя космические буксиры, работающие с электрическими ракетными двигателями малой тяги, все эти грузы неспешно, с небольшим ускорением (не более одной тысячной или даже одной десятитысячной доли ускорения свободного падения, что тоже хорошо, поскольку гарантирует отсутствие деформаций от перегрузок) будут «оттаскиваться» вверх, на высокую геоцентрическую орбиту. Правда, у второго варианта есть и недостатки. Неторопливые космические буксиры будут дольше, чем хотелось бы, преодолевать неприятную зону радиационных поясов Земли. Интенсивное облучение фотоэлементов батарей и пленки солнечных зеркал может отрицательно сказаться на их характеристиках.

Так неужели это все-таки возможно уже сегодня? Конечно, много еще всяких частных нерешенных проблем, но в принципе — неужели это реальность? Стоп. Среди нерешенных проблем есть и такие, которые частными не назовешь. Давайте вообразим себе беседу оптимиста, сторонника немедленного строительства космических электростанций, и пессимиста, который считает, что делать этого или вообще не следует, или, во всяком случае, если и следует, то не сейчас. Послушаем, о чем они говорят.

Пессимист: На Земле транспортные расходы при любом энергетическом строительстве не превышают обычно нескольких процентов от общей стоимости объекта, а у вас они составляют едва ли не половину всего бюджета, отпущенного на строительство. Это явно убыточная стройка.

Оптимист: Не согласен! Есть все основания предполагать, что создание мощных ракет-носителей позволит снизить стоимость доставки грузов на космическую строительную площадку до 50—100 долларов за килограмм. Это равносильно тому, что стоимость одного киловатт-часа солнечной энергии из космоса, по существу, приравнивается к стоимости земного киловатт-часа. Серьезная конкуренция начнется с того момента, когда космический киловатт будет стоить порядка пяти центов.

Пессимист: Когда вы этого добьетесь — через пятьсот лет?

Оптимист: Думаю, что космическая энергия станет серьезно конкурировать с земной уже где-нибудь около 1995 года. Впрочем, американский специалист в области космической гелиоэнергетики Питер Глейзер считает, что уже сегодня космическая солнечная электростанция будет экономичнее земной солнечной электростанции. Но ведь вы же строите сейчас такие на Земле?

Пессимист: Строим, потому что это строительство ничем Земле не угрожает. Солнечная энергетика не создает перегрева, не отравляет атмосферу, не нарушает гидрорежим...

Оптимист: Помилуйте, но всеми этими преимуществами обладает и космическая солнечная энергетика!

Пессимист: Вы уверены? С первого взгляда вроде бы действительно обладает. Но давайте заглянем в глубь проблемы, используя те цифры, которые вы приводите. Широко опубликованные статистические данные свидетельствуют, что в последнее время за каждые двадцать лет количество энергии, потребляемое человечеством, удваивается. В Советском Союзе уже много лет назад годовой прирост энергопотребления равен 10 процентам, например. В США при том же росте, что сегодня, на ближайšie сто лет энергопотребление должно вырасти в 30 раз. Если удвоение каждые двадцать лет сохранится в будущем, то уже через двести лет человечеству потребуются в 1000 раз больше энергии, чем сегодня. Приходим к тому, о чем уже шла речь до нашего диалога: эта цифра составляет около процента от всей солнечной энергии, получаемой нашей планетой. Ту же цифру и те же сроки, как вы помните, называл и член-корреспондент АН СССР Н. С. Кардашев. Пусть эти потребности космическая энергетика удовлетворяет лишь на 10 процентов. Я специально занижаю эту величину, зная, что вы претендуете на большее. Но пусть только 10 процентов. Беру теперь довольно распространенную в разных проектах мощность одной космической электростанции, равную 10 миллионам киловатт. Ведь вы утверждаете, что космические станции тем выгоднее, чем мощнее. Вот я и беру такую, равной которой нет на Земле. Чтобы получить необходимые мне скромные 10 процентов, я должен построить на орбите 10 тысяч таких электростанций. Чтобы вывести на геостационарную орбиту строительные конструкции для постройки 10 тысяч станций, современные ракеты, работающие на углеводородных химических топливах, должны сжечь триллион тонн этого топлива. Для сравнения можно сказать, что углекислого газа во всей атмосфере Земли в 5 раз меньше. Представьте себе то количество продуктов сгорания, которое попадет в атмосферу во время этих бесчисленных космических стартов, и вы поймете, что вы удушите, погубите Землю!

Оптимист: Советские специалисты, авторы уже упоминавшейся статьи «Энергетика и космос», ставят перед строителями будущих космических электростанций три задачи: «Найти способы существенного снижения массы космической электростанции при сохранении той же полезной мощности; организовать доставку грузов на опорную околоземную орбиту с минимальным ущербом для окружающей среды; обеспечить оптимальный перевод этих грузов на геостационарную орбиту».

Пессимист: Замечательно! Но вы мне не ответили, что значит «с минимальным ущербом для окружающей среды». Так или иначе, но тысячи ракет должны сжигать миллионы тонн топлива, без этого вы ничего не постройте.

Оптимист: Построим. Американцы предлагают посылать лазерный луч на самолет и экономить таким образом керосин. Советские ученые рекомендуют направлять этот луч в космическую ракету. По их мнению, лазерные двигатели способны обеспечить получение достаточно больших ускорений и использоваться при старте с поверхности планет. Так, одна космическая электростанция, посылая на космодром лазерный луч, будет помогать строить другую станцию, не отравляя при этом атмосферу.

Пессимист: Хорошо. Давайте снова возьмем вашу «стандартную» электростанцию с мощностью 10 миллионов киловатт. Она сможет создать лазерный луч, который даст возможность ракете вывести на околоземную орбиту не более 10 тонн груза. Если космические монтажники будут получать с Земли строительные материалы столь миниатюрными партиями, ваше строительство затянется на многие годы, не говоря уж о том, что космодромы не выдержат столь чудовищной нагрузки: 5—10 тысяч космических стартов для постройки в лучшем случае одной станции.

Оптимист: Вы правы. Но вес полезной нагрузки можно увеличить, если посылать лазерный луч не сразу в ракету, а в специальный наземный накопитель энергии, который в нужный момент отдаст накопленную им энергию ракете.

Пессимист: Но авторы статьи «Энергетика и космос» подсчитали, что масса наземной лазерной установки, передающей эту накопленную космическую энергию, составит 100 миллионов тонн. Это циклопическое сооружение, сколько же оно будет стоить!

Оптимист: Дорого. Но ее создание безусловно окупится. Ведь эта установка не на один пуск, она может эксплуатироваться очень долгое время. Кроме того, почему мы не вправе ожидать прогресса в лазерной технике? Сегодня установка весит 100 миллионов тонн, но это не значит, что и завтра она будет весить столько же.

Пессимист: Ваш оптимизм замечателен, но я позволю себе привести данные научно-исследовательского совета Национальной академии наук США, который летом 1981 года пришел к выводу, что стоимость строительства космической электростанции будет непомерно дорогой — 10 тысяч долларов за один киловатт вырабатываемой ею энергии. Совет два года занимался подсчетами и подсчитал, что создание космической электростанции обойдется в 3 триллиона долларов и потребует работы в течение пятидесяти лет. А посему в ближайшее десятилетие средств на разработку таких станций выделять не следует. Совет считает, что станции эти в принципе не нужны, а конкурентоспособными с земными станциями они станут лет через сорок.

Оптимист: Тут трудно возразить. Не знаю, чем руководствовались члены совета в своих выводах. Создание первой космической электростанции мощностью 5 миллионов киловатт обойдется в 20 миллиардов долларов, транспортной космической системы включая буксиры с электрическими ракетными двигателями — в 24 миллиарда, наконец, эксплуатационные расходы за все годы работы — в 4,2 миллиарда. Получается не 3 триллиона, а в 60 раз меньше. Согласитесь, что расхождение довольно большое. Сейчас, когда стоимость гонки вооружений в США оценивается уже сотнями миллиардов долларов, это выглядит скромной суммой, даже если я ошибаюсь в несколько раз. Если довести стоимость одного космического киловатт-часа до примерно 3 центов, то к 2014 году, когда, по мнению Питера Глейзера, на орбите будут работать 60 космических электростанций, все расходы окупятся. Профессор МГУ В. А. Ванке также считает, что при предполагаемом ресурсе работы в тридцать лет расходы по созданию станции окупятся через два-три года ее эксплуатации.

Пессимист: Я чувствую, что мы никогда не договоримся, поскольку у каждого из нас свои цифры. На одной черно-белой доске вы играете в шашки, а я в шахматы, и одержать победу никто не сможет. Хорошо, вы построите свою электростанцию на орбите и начнете снабжать земной шар космической энергией. Пока мы ставили вопрос так: сумеете ли вы ее построить? Теперь я посмею сформулировать его более категорично: нужно ли ее строить?

Оптимист: Да как же не нужно, если космическая станция мощностью в 5 миллионов киловатт может сэкономить в год 8,4 миллиарда тонн нефти!

Пессимист: Тогда спрошу еще категоричнее: разрешат ли вам ее строить, даже если вы докажете, что это экономически выгодное предприятие? Ведь вы собираетесь транспортировать на Землю энергию в микроволновом диапазоне. Вам известно, как это повлияет на структуру ионосферы? Очевидно, неизвестно. Но как-то непременно появится а следовательно, может вызвать помехи во всей системе земной радиосвязи, в работе навигационных систем, радиолокаторов и т. д. К магнитным бурям, которые вызываются изменением солнечной активности, вы хотите добавить бури энергетические, бури стабильные, постоянные. Кстати, опытные проверки возможности подобных нарушений проводились, и выяснилось, что не учитывать их при разработке проектов космических электростанций нельзя.

Кроме того, микроволновое излучение может иметь и биологическое воздействие. Американские стандарты допускают предельное излучение в 10 милливольт на квадратный сантиметр. Советские — в тысячу раз меньше, так как они учитывают возможность влияния этого излучения на нервную систему. Но я говорю не о количественной стороне дела. Факт остается фактом: некое воздействие существует, недаром для выяснения степени такого воздействия сооружается специальная экспериментальная установка в Пуэрто-Рико.

Оптимист: Для передачи энергии и радиосвязи можно выделить взаимоисключающие частоты. Выделяем же мы частотные коридоры, например, для радиосигналов бедствия. Договориться всегда можно. Что касается биологического влияния, то, согласитесь, атомная энергетика для окружающей среды представляет несравненно большую опасность, чем космическая. А раз уж вы заговорили о стандартах, я вновь сошлюсь на профессора В. А. Ванке. Он пишет: «Даже в его центре (сверхвысокочастотного пучка.— Я. Г.) плотность потока энергии будет ниже, чем интенсивность солнечной радиации в летний безоблачный день. Кроме того, структура СВЧ-пучка такова, что его интенсивность быстро убывает к краям. На сравнительно небольшом расстоя-

нии от края приемной антенны плотность потока энергии оказывается ниже существующих стандартов на допустимый уровень длительного СВЧ-облучения».

Пессимист: Дело не только в опасности. Заряженные частицы ионосферы будут размывать, размазывать микроволновый луч, идущий из космоса, рассеивать энергию. Таким образом, или вы недоберете часть посылаемой энергии, или вам придется увеличивать площадь принимающих ее устройств. Энергетический пучок будет рассеиваться градом, снегом, дождем...

Оптимист: Могу вас уверить, что потери эти будут незначительны.

Пессимист и оптимист (хором): Предстоит еще очень много экспериментальной работы, прежде чем можно будет приступить к созданию солнечной космической электростанции!

Многие научные и технические проблемы, связанные с веземным энергетическим строительством, еще ждут своего решения. Однако ясно и другое: вне зависимости от того, как быстро станут реальностью «эфирные поселения» Циолковского, космические гелиостанции могут стать такой реальностью очень скоро, уже в нашем веке. А следовательно, уже в нашем веке начнется космическое строительство.

Бостонская газета «Крисчен сайенс монитор» писала, что подобное строительство «потребует столь же значительных усилий, какие пришлось затратить на создание систем для высадки человека на Луну». Кстати, вот мы вспомнили Луну. Кто знает, может быть, не с открытого космоса, а именно с Луны начнется история космической энергетики. Когда-то, еще на заре космической эры, известный советский ученый академик Н. Н. Семенов говорил, что именно на Луне заработает первая веземная электростанция, которая закроет своими солнечными батареями весь серебряный лик нашего естественного спутника. В те годы слова ученого звучали фантазией. Сегодня их можно было бы назвать одним из инженерных вариантов. Правда, экономисты утверждают, что создавать электростанцию на Луне менее выгодно, чем в открытом космосе. Называется даже точная цифра: энергия орбитальной электростанции будет в 8 раз дешевле, чем электростанции лунной, поскольку батареи орбитальной электростанции практически постоянно освещаются Солнцем, в то время как Луна периодически оказывается в тени земного шара. Но если мы и не будем получать с Луны энергию, она может пригодиться для других нужд: это не только великолепная астрофизическая обсерватория, но и настоящая кладовая ценнейшего сырья для будущей космической индустрии.

Мы так быстро ко всему привыкаем.. Наши дети уже не в силах удивляться телевидению. Кто знает, может быть, наши внуки будут воспринимать все, о чем я рассказал, как нечто само собой разумеющееся. Только жены их будут немного волноваться, когда наши правнуки улетят в космос со студенческими стройотрядами на монтаж очередной космической электростанции.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. ФРИДКИН,

доктор физико-математических наук



НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА

Весна 1982 года в Париже выдалась необычно ранняя и теплая. В апреле каштаны на Больших бульварах выпустили стрелки. По вечерам на город налетали теплые дожди, и от влажной весенней зелени кружилась голова. В четверг 8 апреля, вечером, я быстро шел вдоль улицы Ришелье, направляясь к метро у Пале-Руаяль, чтобы поскорее добраться домой: жил я в Латинском квартале. От волнения я не замечал, что почти бегу. Мне было отчего волноваться, и день этот я запомнил не случайно. Именно в этот апрельский день на мой рабочий стол в зале рукописей Парижской национальной библиотеки на улице Ришелье, 75 легли семь объемистых пачек документов, совсем недавно поступивших в рукописный отдел. Не потребовалось много времени, чтобы понять, что это собрание писем, рисунков, газетных вырезок и визитных карточек — материалы архивов князя П. Б. Козловского и Я. Н. Толстого, современников и друзей Пушкина. Здесь я нашел и прочел неизвестные письма Н. В. Гоголя А. П. Толстому, В. А. Жуковского и П. А. Вяземского П. Б. Козловскому, письма Виельгорских, Даргомыжских, братьев Тургеневых... И во многих из них рассказывалось о Пушкине. Я держал в руках пожелтевшие от времени листки разного формата, написанные разными почерками по-русски и по-французски. Как на старых фотографиях, в них застыли мгновения из жизни великих творцов русской культуры, имена которых знакомы нам с детства. Разве что многие из писем были старше самой фотографии: открытой Дагером и Ньепсом в конце 30-х годов прошлого века.

Архивы П. Б. Козловского и Я. Н. Толстого, живших долгие годы за границей, искали давно и безуспешно. Вот как, в частности, об архиве Я. Н. Толстого писал в конце прошлого века Б. Л. Модзалевский: «Толстой умер совершенно одиноким, а потому и имущество его пропало, по-видимому, бесследно. Об этом стоит пожалеть, так как среди него должно было находиться немало интересных... документов, которые он собирал, и писем многих замечательных людей».

Итак, это была находка. Вот почему я так хорошо запомнил этот день — четверг 8 апреля. В этот вечер я был последним, за кем закрылись двери зала рукописей. Ничего не поделаешь, рабочий день кончился, следовало уходить...

Эта находка была неожиданной и удивительной еще и потому, что я, физик, приехал в Париж отнюдь не в поисках этого литературного клада. Днем я читал лекции в университете Пьера и Марии Кюри и работал в лаборатории, а вечером почти все свободное время проводил в зале рукописей Парижской национальной библиотеки.

Я хорошо помню день, когда я впервые пришел в этот дом, поднялся на второй этаж и переступил порог небольшого зала рукописей. Сделать это было непросто. Потребовалась специальная бумага из университета, где значилось, что я являюсь «гостем-профессором и работаю в области физики твердого тела».

Просматривая в отделе рукописей каталог новых поступлений, я неожиданно нашел упоминание об архиве князя Козловского («Correspondance Concernant les Russes installe a Paris au XIX^e siecle»). В действительности этот архив оказался сложным переплетением документов и писем, адресованных П. Б. Козловскому и Я. Н. Толстому. И прежде чем рассказать о нем, я хотел бы коротко напомнить читателю то, что уже известно о самих адресатах.

Князь Петр Борисович Козловский (1783—1840), известный дипломат и популяризатор науки, один из образованнейших людей своего времени, был не только знаком с Пушкиным и его друзьями, но и написал по предложению Пушкина три популярных статьи по физике и математике для журнала «Современник». И хотя личное общение П. Б. Козловского с Пушкиным было непродолжительным (с декабря 1835 по июнь 1836 года), в эпистолярном наследии первого оно оставило заметный след.

Петр Борисович Козловский происходил из небогатого, но знатного рода. Одна из его сестер, Мария Борисовна Козловская-Даргомыжская, поэтесса, была матерью будущего знаменитого композитора А. С. Даргомыжского. Двадцатилетним юношей Козловский начал дипломатическую деятельность в русском посольстве при сардинском дворе Виктора Эммануила. После 1812 года он достигает высот дипломатической карьеры, участвуя в работе Венского конгресса, а впоследствии получив назначение полномочного министра при Вюртембергском и Баденском герцогствах. «Дней александровых прекрасное начало» было периодом формирования Козловского не только как дипломата, но и как личности. Неутомимый путешественник, энциклопедически образованный человек, друживший с Байроном, Гейне, Шатобрианом, с братьями Тургеневыми, а позже с Жуковским и Вяземским. Козловский был патриотом и просветителем, врагом тирании и деспотизма. Он сумел сохранить свое гуманистическое мировоззрение и в мрачные годы николаевского режима. Уйдя в отставку в 1827 году, он путешествует по Европе, живет в Париже и Варшаве, терпит нужду и осенью 1835 года возвращается в Петербург. К этому времени относится его сближение с Пушкиным и пушкинским литературным кругом, сотрудничество в пушкинском «Современнике». Находясь под огромным влиянием личности Пушкина, Козловский и сам влиял на поэта, вызывая у него интерес к популяризации естественных наук, к переводам на русский язык латинских поэтов. В незаконченном стихотворении Пушкин так обращался к Козловскому:

Ценитель умственных творений исполинских,
Друг бардов английских, любовник муз латинских...

В июне 1836 года П. Б. Козловский, получив назначение к фельдмаршалу И. Ф. Паскевичу в Варшаву, вновь покидает Петербург, на этот раз навсегда. Он скончался в Баден-Бадене 14 октября 1840 года. Ему суждено было пережить Пушкина и разделить вместе со всеми его друзьями тревогу и горечь январских дней 1837 года. В одном из дошедших до нас писем Вяземскому от 15 января 1837 года он писал из Варшавы. «Что делает наш Александр Сергеевич? Здесь разнеслись какие-то странные слухи; но стоустая клевета не знает ни границ, ни пространств. «Современника» нынешнего года я еще не читал; но надеюсь, что найду в нем тот роман «Капитанской дочери», о котором извещал меня Виельгорский...»

До настоящего времени о зарубежном архиве Козловского ничего не было известно. В Остафьевском архиве имеются некоторые документы, связанные с Козловским. П. А. Вяземский прилежно собирал этот материал и на закате своих дней намеревался его опубликовать, но свои планы ему не довелось осуществить.

...Жизнь Я. Н. Толстого (1791—1867) в известном смысле — прямая противоположность жизни П. Б. Козловского. В судьбе этих двух совершенно не похожих друг на друга людей одно только общее — дружба с Пушкиным.

Философ ранний, ты бежишь
Пиров и наслаждений жизни,
На игры младости глядишь
С молчаньем хладным укоризны.

Эти знаменитые «Стансы...» Пушкин посвятил в 1819 году своему приятелю Якову Николаевичу Толстому, одному из основателей литературного кружка «Зеленая лампа», блестящему офицеру, герою Отечественной войны 1812 года, адъютанту Главного штаба начинающему поэту, автору стихотворного сборника «Мое праздное время», в который вошло послание Я. Н. Толстого к Пушкину. Они познакомились в 1817 году, вскоре после окончания Пушкиным лицейя. Члены «Зеленой лампы» собирались попеременно то у братьев Всеволожских, то у Я. Н. Толстого. Дружба их была тесной и оставила глубокий след в их судьбе. Впоследствии Никита Всеволожский женится на племяннице Я. Н. Толстого — Екатерине Арсеньевне Жеребцовой. Многие из членов «Зеленой лампы» — декабристы. Сам Яков Николаевич — член «Союза благоденствия», где он общается с Николаем Ивановичем Тургеневым. Впоследствии Н. И. Тургеневу бу-

дет предъявлено обвинение, что он принял Я. Н. Толстого в члены «Союза...». После ссылки Пушкина на юг Яков Николаевич занимается изданием сборника стихов Пушкина, но безуспешно. В письме Я. Н. Толстому из Кишинева 26 сентября 1822 года Пушкин благодарит его за хлопоты и в стихотворном послании интересуется судьбой «Зеленой лампы»:

Горишь ли ты, лампада наша...

Я. Н. Толстой ответил ему тоже в стихах:

Ах! Лампа погасла:
Не стало в ней масла!

Б. А. Модзалевский отмечает связь между «Посланием к Петербургскому жителю» Я. Н. Толстого (Пушкин читал «Мое праздное время» не ранее конца 1822 года) и первой главой «Евгения Онегина», которую Пушкин начал 9 мая 1823 года. 23 апреля 1823 года Я. Н. Толстой берет отпуск для лечения и уезжает за границу. События 14 декабря застают его в Париже. Вскоре Следственная комиссия в Петербурге вызывает его для допроса, он не повинуется, и в конце 1826 года его увольняют со службы. Я. Н. Толстой становится эмигрантом. Он живет в Париже и терпит крайнюю нужду. Литературный заработок приносит ничтожный доход. Чтобы как-то просуществовать, Толстой играет в карты, торгует акциями, занимает деньги у приезжающих из России. Он пишет брату отчаянные письма. Вот отрывок из письма, написанного 8 сентября 1829 года: «Я должен покориться и остаток дней моих провести в изгнании... Неужели правда, что у меня навсегда отнята надежда увидеть моего друга и моих родных? Неужели осужден окончить дни мои в ужаснейшем одиночестве и в самой унижительной нищете?»

5 октября 1830 года Пушкин пишет в своем «Прощанье»:

Бегут, меняясь, наши лета,
Меняя все, меняя нас...

Годы эмиграции изменили Якова Николаевича. Он жаждал теперь одного: любой ценой заслужить прощение у царя. Он пишет литературные рецензии, в которых прославляет личное мужество Николая в войне с турками, сравнивает его с Цезарем. Его старания, видимо, замечают. Наконец судьба улыбается ему. В конце 1835 года брат фельдмаршала И. Ф. Паскевича предлагает ему написать биографию царского наместника в Польше. Через два месяца панегирик Паскевичу уже готов. Лесть была столь чрезмерной, что даже царская цензура сочла нужным ее умерить при переводе книги на польский язык. Князь Э. П. Мещерский и сам Паскевич начинают хлопотать о Толстом. Яков Николаевич пишет брату из Парижа 7 октября 1836 года: «Я получил от кн. Элима Мещерского письмо; он уведомляет меня, что его величество удостоил бросить взор свой на меня и что гр. Бенкендорф поручил ему известить меня, что вскоре я получу предложение быть употребленным в Париже». И вскоре царь «употребляет» Якова Николаевича. Он получает от Бенкендорфа официальное приглашение приехать, а также деньги на уплату долгов и на дорогу и 1 января 1837 года прибывает в Петербург. Из письма Бенкендорфа министру народного просвещения Уварову известно, что 29 января 1837 года «по высочайшему повелению» Толстой был назначен корреспондентом министерства народного просвещения в Париже с жалованьем 3800 рублей в год. В письме Бенкендорфа указывалось, что эти деньги должны пересылаться по третям главным казначейством в III отделение и уже оттуда Толстому. 29 января 1837 года умер Пушкин, а для друга его молодости началась новая жизнь... А еще 22 января, за неделю до кончины поэта, они дружески беседовали, вспоминали молодость, пушкинские «Стансы...».

В июне 1837 года Я. Н. Толстой выехал в Париж. По пути он проехал через Варшаву, где заручился обещанием Паскевича покровительствовать ему в будущем. Толстому предстояло прожить в Париже долгих тридцать лет. И это была самая бесславная часть его жизни. Литератор, когда-то подававший надежды, Толстой обрек себя на бесплодие. Он борется с Герценом, вынашивает планы создания «анти-Колокола», преследует Гейне. «Призрак коммунизма» бродит по Европе, и этот призрак не дает покоя Якову Николаевичу. Он следит за проникновением «революционной заразы» в литературные журналы и обо всем прилежно докладывает Бенкендорфу, а позже Орлову. Дослужившись до тайного советника, Я. Н. Толстой завершает свою бесславную карьеру. Он скончался в полном одиночестве, вдали от родины, в Париже 26 февраля 1867 года.

...Я листаю страниц писем, адресованных П. Б. Козловскому и Я. Н. Толстому. К некоторым приложены конверты с адресами. Большинство писем написано по-французски. Вот письмо графа Михаила Виельгорского из Петербурга, посланное Козловскому 20 октября 1836 года. Вслед за ним нахожу письмо Матвея Виельгорского тому же адресату, посланное 4 ноября 1836 года. В конце письма приписка, сделанная женой Екатериной Виельгорской. Она пишет: «Пушкин окончил очаровательный роман «Капитанская дочь» (название написано по-русски.— В. Ф.), который он опубликует в своем журнале. Действие происходит в Оренбурге во время Пугачева». Становится понятно, что известное письмо Козловского Вяземскому от 15 января 1837 года, в котором он писал о клевете, опутавшей Пушкина, является ответом именно на это письмо Матвея Виельгорского. Вот письмо Александра Арсеньевича Жеребцова, племянника Я. Н. Толстого, от 16 мая 1836 года, посланное Якову Николаевичу в Париж. Среди прочего он с гордостью сообщает, что его стихи скоро будут опубликованы в журнале Пушкина «Современник». Нахожу несколько недатированных коротких писем и записок Александра Ивановича Тургенева, адресованных Толстому. В одном из писем А. И. Тургенев пишет о брате Николае. Он пишет о том, что ныне брат находится под надежной защитой закона (в Англии.— В. Ф.). В письме чувствуется и беспокорство за брата, и гордость, не позволяющая за него просить. Судя по содержанию, письмо написано не ранее конца 30-х годов, уже после известной переписки А. И. Тургенева с Я. Н. Толстым, в которой Александр Иванович просил Толстого помочь снять обвинение с брата в том, что он принял Толстого в «Союз благоденствия». А на следующей странице вклеено изображение генеалогического древа Тургеневых, выполненное самим Николаем Ивановичем. Перелистываю несколько страниц и нахожу опубликованный Толстым в Париже перевод на французский язык стихотворения Пушкина «Черная шаль» («Le Schal Noir» par Al. Poushkin). Перевод выполнен в двух вариантах; один из них прямо подписан — Яков Толстой, другой инициалами — Г. Т. Где были опубликованы эти переводы, неясно. Между прочим, в письме М. Н. Лонгинову Толстой обещал прислать ему свой перевод «Черной шали». Вот еще некоторые находки: письмо Н. В. Гоголя, адресованное в Париж А. П. Толстому, письма В. А. Жуковского, адресованные П. Б. Козловскому¹, письма П. А. Вяземского Я. Н. Толстому и П. Б. Козловскому, письма князя П. В. Долгорукого, адресованные Штуберу (секретарю Козловского) в Париж, стихи и письма сестры Козловского Марии Борисовны Даргомыжской, письма ее сына композитора А. С. Даргомыжского. Интересны два письма Зинаиды Волконской, адресованные Козловскому в Варшаву и написанные в марте 1839 года. В одном из них она обращается к Козловскому как католичка и хлопочет о помощи польской церкви святого Станислава в Риме; в другом пишет о своем посещении Варшавы, о русских песнях, которые напомнили ей дорогую родину. Зинаида Волконская, с которой Пушкин встречался в Москве и которую назвал «царицей муз и красоты», и на чужбине оставалась русской до конца своих дней. В одном из томов нахожу заграничные паспорта Я. Н. Толстого в Англию, Германию и Бельгию, подписанные русским послом в Париже Киселевым, рецензию на его книгу 1840 года «Взгляд на русское законодательство».

Каким путем архив П. Б. Козловского слился с архивом Я. Н. Толстого? Какой оказалась судьба этих документов после смерти Я. Н. Толстого? На эти и многие другие вопросы еще предстоит ответить. Да и сам этот архив еще ждет тщательного изучения. В этом архиве я насчитал более тысячи документов. Здесь я хочу рассказать только об одном из них.

Итак, 8 апреля вечером я возвращался из Парижской национальной библиотеки и быстро шел вдоль улицы Ришелье. Перед театром «Комеди Франсез», напротив фонтана Мольера я остановился у витрины магазина, уставленной старинным оружием, пистолетами и ружьями. Это был магазин Лепажя, тот самый, в котором были куплены пистолеты Онегина. На них он дрался на дуэли с Ленским («Лепажя стволы роковые»). Над входной дверью «славный ружейный мастер» (так назвал Лепажя сам Пушкин в примечаниях к «Евгению Онегину») выбил дату основания фирмы: 1716 год. И в размышлениях о дуэли Онегина с Ленским я невольно вспомнил, что только сегодня в зале рукописей, разбирая архив, я нашел и прочел письмо Я. Н. Толстого, отправленное в Варшаву из Петербурга в самый день смерти Пушкина, 29 января

¹ Найденные письма Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского недавно опубликованы автором («Октябрь», 1983, № 2).

1837 года. В письме Я. Н. Толстой рассказывал князю П. Б. Козловскому о дуэльной истории и гибели поэта. Я вспомнил, как волновался, читая это письмо. Что чувствовал в этот день Толстой, друг юности Пушкина, и что отлилось у него на бумаге? Вот полный перевод этого письма с французского:

«Санкт-Петербург, 29 января 1837 года.

Я ждал, мой дорогой и милый князь, подходящего случая, чтобы написать Вам, так как вот уже более месяца, как я вернулся на милую родину, но так как этот случай не приходил, я больше не могу хранить молчание. Я могу Вам сказать, что я был совершенно доволен приемом, который мне был оказан, есть только одно обстоятельство, которое меня несколько огорчает. Это то, что наши литераторы иначе смотрят на вещи, нежели мы, жители Запада, и урезонить их совсем не просто: редактор Северной пчелы (Булгарин.— В. Ф.), например, находит, что мои статьи недостаточно вески, и ставит самого себя в пример; он не хочет понять, что тот, кто говорит слишком много, ничего не говорит, кстати, я надеюсь, что мои аргументы издали будут более убедительны, чем вблизи. Мое пребывание здесь было для меня очень полезно, и я имел случай разубедиться во многих вещах, которые мне представлялись с преувеличенной точки зрения, люди и вещи много лучше, чем их представляли, и, главное, люди прекрасны, тот, с которым у меня были самые непосредственные отношения, преисполнен чести и порядочности. Я не испытывал никакой трудности получить то, что я просил, теперь мне остается преодолеть одну, ту, которая происходит от перемены моего положения, трудность иерархическую и которую такой философ, как я, презирал бы. Но так как я должен поступить на службу, то мне надо также подумать и о чине, который мне дадут; иначе говоря, дело идет о том, чтобы сделать меня надворным советником вместо коллежского; впрочем, Вы можете себе представить, что я не буду браниться из-за такого пустяка, таким образом Вы можете считать мое дело законченным.

Через два месяца я сяду в коляску и приеду к Вам в Варшаву; я больше не надеюсь встретить там Фельдмаршала; если судить по тому, что он сделал мне честь сообщить, время моего отъезда совпадает с временем отъезда Фельдмаршала; но я все же проеду мимо Вас, так как я хочу посмотреть Вену, что мне предоставит удовольствие увидеть Вас, моего доброго и милого князя Козловского.

Город полон слухов о смерти знаменитого поэта Пушкина, убитого на дуэли его свояком бароном д'Антесом де Геккерном, который до своей женитьбы ухаживал за женой Пушкина. Пушкин, заметив это, имел с д'Антесом объяснение, следствием которого была женитьба последнего на сестре м-м Пушкиной; несмотря на это, наш поэт, у которого был вспыльчивый и ревнивый характер, продолжал преследовать д'Антеса, который, доведенный до крайности, кончил тем, что дрался с ним: встреча состоялась позавчера, Пушкин, смертельно раненный и лежащий на земле, все же захотел выстрелить, он ранил своего противника в руку, но сам через день скончался.

Я нашел здесь новое поколение племянниц и племянников, всех женатых, тех, которых я покинул детьми, т. е. в возрасте 15 лет, теперь им около 30, а в России 31 год — это почти что старость; я оказался в водовороте ужинов, вечеров и балов, которые несколько скрашивают некоторые вещи, к которым я еще не могу привыкнуть. Холод варварски влияет на мою хрупкую персону и часто заставляет меня сидеть дома, когда я намереваюсь куда-нибудь выйти, право, мне кажется, что кровь стынет во мне. Если Вам удалось уберечь от хищных таможенников шелковую материю, которую я Вас просил востребовать у них, пришлите мне ее, пожалуйста, с ближайшей оказией, и, главное, горюйтесь, чтобы Время, этот ужасный деспот, не предало ее той же участи, которой оно подвергает всех нас, так как если я не получу ее через месяц, она рискует пропасть. Напомните обо мне, пожалуйста, славному Фельдмаршалу и княгине, его супруге, и если Вы будете иметь случай выразить ему, насколько я был тронут их благосклонным приемом, которым они снизошли ко мне, этим Вы мне окажете большую услугу. Здесь я убедился, что я обязан его сиятельству моим полным оправданием и тому выгодному и уважаемому положению, в котором я с тех пор нахожусь.

Передайте мой привет г.г. Штуберу и Старинкевичу² и верьте в чистую и неизменную дружбу, которую питает к Вам навсегда преданный Вам сердцем.

Я. Толстой».

² Старинкевич — варшавский приятель Козловского.

Пушкин умер 29 января днем, в два часа сорок пять минут. Таким образом, письмо написано, по-видимому, вечером этого же дня, когда слухи о смерти достигли Толстой Толстой не скрывает то, что ему известно о покровительстве Паскевича, и о его роли в его «полном оправдании» Более того, он всячески хочет заручиться его дальнейшим покровительством. В письме Толстой пишет, что придет в Варшаву через два месяца, то есть в апреле, когда Паскевича там не будет Известно, что он выехал из Петербурга позже, в июне, и встретился в Варшаве с Паскевичем. Не с этим ли была связана отсрочка его отъезда? Можно предположить, кто был тем лицом, с которым у Толстого «были самые непосредственные отношения» в связи с его назначением, и кто «преисполнен чести и порядочности». Толстой не смеет в письме назвать его по имени Им не может быть князь Э П Мещерский, с которым Толстой многие годы близко общался в Париже. Скорее всего это шеф III отделения граф Бенкендорф. Именно от него Толстой должен был «получить то, что... просил». Психологически очень интересен отзыв Толстого, «жителя Запада», о Бугарине. Несмотря на все, что их отныне объединяет. Толстой презрительно отзывается о его болтовне. Он хорошо понимает свое преимущество перед Булгариным, когда пишет, что «аргументы издаека будут более убедительны, чем вблизи».

А теперь о Пушкине. Как будто между прочим Толстой сообщает Козловскому о дуэли и смерти Пушкина. А ведь для Козловского письмо Толстого, по-видимому, первое известие о гибели поэта. Вспомним что еще 15 января Козловский в письме Вяземскому спрашивает о Пушкине, обеспокоенный дошедшими до Варшавы слухами. Вряд ли Козловский мог получить из другого источника более раннее сообщение о гибели его друга. Письмо Толстого написано в день смерти Пушкина. Между тем сообщение это немногословно и сухо, ни одного слова скорби и сожаления. Более того, Толстой как будто разделяет мнение той части светского Петербурга, которая была на стороне Дантеса. По Толстому не Пушкин был «доведен до крайности», а Дантес. А ведь и недели не прошло с его последней встречи с Пушкиным. Можно только представить себе эту встречу. Они не виделись почти семнадцать лет. Позади остались молодые годы, несбывшиеся мечты, общие друзья («Иных уж нет, а те далече») свет «Зеленой лампы» олицетворявший надежду...

Конечно Толстой не доверяет почте, боится, ждет оказии и не дожидается ее. Об этом он сам пишет в начале письма. Но дело все же не в этом. Когда-то Пушкин в «Стангах» назвал его «философ ранний». Как будто вспоминая об этом, Толстой в письме называет себя философом («... такой философ, как я...»). Но автор письма уже другой человек, от прежнего философа не осталось и следа.

Горишь ли ты лампада наша...

Ах! Лампа погасла
Не стало в ней масла!

29 января 1837 года закончилась жизнь Пушкина. И в этот же день началась новая жизнь Толстого — на службе у царя.

Я снова и снова перечитывал письмо Толстого, стараясь хотя бы между строк найти то, чего в нем совсем и не было: отзвук того морозного петербургского дня, когда со всех концов города народ стекался к набережной Мойки, чтобы разделить общее горе и проститься со своим поэтом. И мне вспомнились горькие строфы из восьмой главы «Евгения Онегина»:

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С годами вытерпеть сумел,
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был фронт иль хват,
А в тридцать выгодно женат,
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осенью гнилой.

«Как листья осенью гнилой»... В один из воскресных дней я разыскал могилу Якова Николаевича Толстого на Монмартрском кладбище. Найти ее было нелегко. В нескольких шагах от торжественного памятника Гектору Берлиозу и скромного бюста Генриха Гейне, у которого на груди присела каменная бабочка, на земле лежала плита простого серого камня, вся засыпанная прошлогодними гнилыми листьями. Надпись на ней почти стерлась. Было тихо. Шум суетливых бульваров Клиши и Рошенуар сюда не доносился. Здесь не было никого, кроме одичавших кошек, гревшихся на нежарком апрельском солнце. И стоя у забытого всеми надгробия, я подумал, что этот день, 29 января 1837 года, невидимой чертой разделил жизнь Якова Николаевича на две половины. В первой половине были Пушкин, пушкинские послания и «Стансы...». А во второй не было ничего кроме вечного забвения.

Вот об этом дне и напомнило письмо, найденное мной весенним апрельским днем в Парижской национальной библиотеке.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВАЛЕРИЙ ОСИПОВ



ВОСПИТАНИЕ ТЮМЕНЬЮ

ПОДЗЕМНЫЕ ОКЕАНЫ

Я часто думаю о начале Тюмени... Как она появилась в нашей жизни? Ведь, казалось бы, еще совсем недавно мы так мало знали о ней. А теперь вроде бы уже и обойтись не можем без этих слов — Тюмень, Уренгой, газопровод...

Существует загадка Тюмени, тайна Тюмени, разгадать которую не так-то легко. В свое время мировая пресса назвала рождение тюменского экономического региона сенсацией века.

Так как же все происходило, как началось, какие силы привели в движение весь этот процесс?

Конечно, простые ответы: энтузиазм, мощь, забота — все это, как говорится, лежит под рукой. Но в наше время мало только простых ответов.

Появление Тюмени на всесоюзной, а потом и на мировой арене было стремительно, реактивно. Она возникла в нашем обиходе на космической скорости. И это было похоже на внезапное распрямление какой-то гигантской, гайной, ранее неизвестной пружины современного научно-технического бытия...

Так получилось, что в последнее время два города привлекали к себе мои литературные интересы чаще, чем какие-либо другие населенные пункты земли: Тюмень и Париж.

У одного моего знакомого висит дома на стене огромный план центра Парижа. Так вот, на этом плане нарисованы чуть ли не каждый переулок, чуть ли не каждый дом по обе стороны Сены между Большими бульварами на севере и бульваром Сен-Жермен на юге. Мой знакомый выучил по своей карте наизусть все сен-жерменские достопримечательности от Бурбонского двор-

ца до музея Клюни, он знает названия всех станций метро второго радиуса от Булонского леса до Венсенского леса, то есть от «Порт Дофин» до «Насьон», а сам в Париже ни разу не был...

В прошлом году летом, выходя по утрам из гостиницы «Стелла», расположенной на углу авеню Виктора Гюго и улицы Гюстава Курбе, и стоя на остановке пятьдесят второго автобуса, который мог отвезти меня и на Елисейские поля, и на площадь Оперы, и в Пасси, и в Отей, и даже в Севр, а от туда уж до Версаля рукой подать, — так вот, дожидаясь своего автобуса, я иногда даже слегка дергал себя за ухо, пытаясь, как говорится, удостовериться: со мной все это происходит или не со мной?

Усталый июльский Париж первой половины месяца был как бы окутан фиолетово-пепельной дымкой нетерпения, как бы подернут неким прозрачным лилово-сиреневым флером ожидания близкого начала ваккаций — времени летних отпусков. После 14 июля, дня взятия Бастилии, большинство парижан, бросив все дела, устремляются к морю или за город, в поля и леса. И поэтому в начале июля жизнь в городе начинается на глазах замедляться, замирать — окончив второй завтрак в два часа дня, народ не горопится возвращаться в свои конторы и офисы, все густо сидят в кафе и быстро, обсуждая отпускные маршруты, загородные прогулки, морские купания («Дело сделано. Бастилия взята, можно отдыхать») — так объяснял мне рассеянное июльское благодущие своих соотечественников хозяин гостиницы).

В эти дни парижане весьма охотно делают новые знакомства. В скверике Ламартина ко мне подсел однажды толстый бородастый человек. «Дойч?» — доверительно спросил он, глядя на мою бороду. «Нет, русский», — ответил я. «Советский?» — «Советский». — «Первый раз в Париже?» — «Нет,

не первый». «Имеете уже в Париже большую любовь?» — загадочно улыбнулся лостяк. «Да как вам сказать», — неопределенно пожал я плечами. «Да или нет?» «Нет». Мой собеседник смерил меня недоуменным взглядом. «О, понимаю! — вдруг хлопнул он себя ладонью по лбу. — Вам нельзя. У вас только героика — Сталинград, БАМ, Тюмень!»

Такие дела, как сказал бы, наверное, в подобной ситуации американский писатель Курт Воннегут, большой юморист и шутник. Приблизительно эти же слова в подобной ситуации мог бы произнести и Эжен — мой близкий друг, тюменский журналист и геолог, горячий поклонник Воннегута и внешнеюстью очень на него похожий. Впрочем, вы можете достать фотографию Курта Воннегута — одно лицо.

Можно было бы еще кое-что рассказать о «тайнах» Парижа в то лето прошлого года. Например, о большом, шоколадного цвета бульдого, который сидел за стеклом в витрине продовольственного магазина «Феликс Потен». Дожидаюсь своего автобуса, я каждый день наблюдал за ним. Всех, проходящих мимо его магазина, бульдог провожал свирепым недоброежелательным взглядом. Зато каждому выходящему из магазина покупателю с наполненной хотя бы наполовину фирменной потеновской сумкой он дружелюбно протягивал лапу.

В двух шагах от автобусной остановки, в кафе «Кромвель» ежедневно сидели за маленьким столиком прямо на тротуаре две голосистые, но, видимо, совершенно глухие старухи. На yelling улице, словно знаменитые пикейные жилеты из романа Ильфа и Петрова, они оглушительно обсуждали события мировой политики. «А Бразилия? — кричала первая старуха. — Куда они там смотрят в своей Бразилии?» «А что делается в Италии?» — надрылась вторая старуха. «А Греция? А Голландия? А Никарагуа?» «Рейган сошел с ума! Я напишу ему письмо!» «Цены растут как шампиньоны! Духи стали дешевле бензина. Я скоро продам свою машину и пересяду на велосипед!» — шумела на подружку первая старуха. «Мой старший брат бросил любовницу и занялся политикой! Он покупает теперь все газеты и говорит, что это намного дешевле!» — «О, я его понимаю!» — «Пиночет! Аятолла Хомейни! Фидель Кастро!» «А Маргарет Тэтчер? А Индира Ганди? А испанский король? А шведский король? — насаживаясь, кричали друг на друга голосистые французские старушки. — А Израиль? А Бейрут?»

Напротив кафе «Кромвель», на другой стороне улицы, в окружении многочислен-

ных ящиков и плетеных корзин восседал месье Филипп — устричный король авеню Виктора Гюго. Это восходящая звезда местного бизнеса и сферы обслуживания. Еще месяц назад месье Филипп был обыкновенным лоточником — с уныло обвисшими черными усами стоял себе с корзиной около входа в ресторан «Стелла» и продавал с рук редким гурманам по две-три устрицы. Но потом дела его неожиданно резко пошли в гору. Он построил около входа в ресторан сначала один прилавок, потом второй. Над прилавком начали расти горы корзин и ящиков. (Это было как бы наглядным примером периода первоначального накопления, расцвета частной инициативы и личного предпринимательства.) Теперь месье Филипп поставлял в ресторан крупные партии устриц, креветок, langoustes и прочей водно-панцирной живности. И уже никакой унылости не было в его фигуре, а черные усы выпрямились и пиками торчали в разные стороны на фоне агрессивно багровых щек. Впрочем, цвет лица месье Филиппа объяснялся не только успехами в торговле. Устричный король был истинным парижанином — на прилавке перед ним всегда стояла начатая бутылка вина, к которой он прикладывался каждые пять минут.

Мой интерес к месье Филиппу был вызван тем, что он безошибочно угадал во мне человека из России. Как-то я довольно близко подошел к его корзинам, не без удивления разглядывая их шевелящихся обитателей. Хозяин товара немедленно предложил мне купить два десятка креветок за половину цены. Я вежливо поблагодарил. Месье Филипп, цепко взглянув на меня и сделав торопливый глоток из бутылки, быстро вышел из-за прилавка. «Космос! — радостно воскликнул он по-русски. — Спутник! Гагарин!»

Через минуту мы уже стояли около стойки в кафе «Кромвель». Все дело было в том, что за два дня до этого в Париж вернулся из Москвы первый французский космонавт Жан-Лу Кретьен. Естественно, месье Филипп не мог не предложить мне выпить за совместный советско-французский космический полет. Отказаться было невозможно.

После второй рюмки выяснилось, что устричный король знает довольно много русских слов — детство месье Филиппа, оказывается, прошло в одном доме и даже на одной лестничной площадке с потомками русских эмигрантов. Мы прекрасно понимали друг друга. «Франция хочет и может торговать с Москвой! — вплотную приблизив ко мне свои багровые щеки, громко говорил

месье Филипп.— Почему Америка вмешивается в наши дела и запрещает нам продавать Москве оборудование для газопровода из вашей Тюмени?» «Вот это да! — подумал я про себя.— Уже второй человек в Париже говорит мне о Тюмени!»

Между тем месье Филипп уже почти щекотал меня своими длинными черными усами. «Я расширяю торговлю! — размахивал устричный король руками.— Я ставлю дело на широкую ногу! Я арендую двадцать озер под Парижем! Я каждый день отправляю два грузовика к морю и обратно! Они пожирают реки бензина! Но французы любят холодные устрицы! Мне нужен лед! Горы льда! Я постоянно должен иметь свежий товар, чтобы держать реноме своей фирмы! Я хочу купить сорок газовых холодильников! Но во Франции газ слишком дорог! Мне нужно сто газовых плит, чтобы варить свои креветки. Но сколько это возьмет денег? Мы ждем дешевый русский газ, а Америка старается посорить нас с Россией! Но задайте мне вопрос — зачем лично я должен сориться с Россией? И кто дал Америке право сдерживать мою коммерцию! Я надеюсь увеличить свои доходы и поэтому хочу иметь русский газ, а не американские ракеты!»

Такие дела.

Конечно, со своим знанием французского я не мог рассказать парижским знакомым о том, что есть Тюмень на самом деле.

А Тюмень — это, пожалуй, самый главный, самый яркий результат развития научно-технической революции в нашей стране.

В XX веке физика перевернула все представления человека об окружающем его материальном мире. В тюменских открытиях, как, пожалуй, нигде еще и ни разу в мировой геологии, был широко и прозрачно использован один из разделов физики — геофизика, наука, изучающая физические свойства Земли. С удивительной, я бы даже сказал, с поразительной талантливой быстротой здесь, в Тюмени, из всех геофизических методов исследований была выделена сейсмика как главный инструмент изучения предполагаемых нефтяных и газовых структур.

Практическая, производственная необходимость ускоряла решение теоретических задач не по дням, а по часам. В Тюмени в объеме предусмотренных затрат — в буквальном смысле этих слов — происходили революционные преобразования в геологии, совершались запланированные открытия.

...Сейсмика прощупывает земную кору с помощью искусственно возбуждаемых ударных волн, то есть используя взрывы и последующую регистрацию колебаний земной поверхности. Сейсмические волны, преломляясь и отражаясь от разных горизонтов геологических отложений, возвращаются на регистрирующие их приборы и выдают свою информацию о строении земной коры. Приборы (вернее, операторы, работающие на осциллографах) в свою очередь преобразуют, математически интерпретируют сейсмическую информацию в специальные карты, которые рекомендуют ту или иную степень перспективности обнаружения месторождений газа и нефти.

Но как было затащить громоздкие сейсмические станции в болота Западно-Сибирской низменности. (Месье Филипп, наверное, с ума сошел бы от счастья, узнав, что Тюменская область — это миллион квадратных километров болот и озер. Вот бы где развернулся его талант по отлову и выращиванию своего товара!)

Овладев сейсмикой, разведка газа и нефти в Тюмени на следующем этапе своего развития остановилась перед проблемой транспорта. Она была неразрешима. В целом свете не существовало таких видов транспорта, которые сумели бы преодолеть болота и трясины Западно-Сибирской низменности.

И тогда, чтобы дело не стояло на месте, нефть начали искать не там, где ее месторождения могли быть, а там, где их было легче искать, куда можно было бы затаскать сейсмическую технику, то есть на реках. Как в анекдоте, когда человек ищет не там, где потерял, а под фонарем — здесь, мол, светлее.

Так родилось речное сейсмондирование. Оно не привело непосредственно к промышленным открытиям, но стимулировало решение транспортных проблем. Оно вообще сильно двинуло умы вперед, так как, продвигаясь по рекам, пробуя сейсмику на прибрежных территориях, геологи сразу же засекли несколько аномалий, которые позволили конкретизировать, сузить, уменьшить район поисков, и утвердили геофизику в качестве основного поискового метода.

И тут на помощь науке пришла техника. Геофизике подставила свое могучее плечо вертолетная авиация. Ведь НТР — это не только совершенствование науки, но и параллельное совершенствование техники, не так ли?

В 60-е годы наша страна переживала бурное развитие гражданского самолето-

строения. Появились новые классы пассажирских машин. Одновременно возникали и новые типы вертолетов, ширилось их применение в народном хозяйстве: строительство труднодоступных объектов, монтаж высотных конструкций и т. д.

Развитие вертолетной техники стало яркой страницей практического переоснащения человеческого опыта. Применение вертолетов в нефтяной геофизике ознаменовало решающую ступень в промышленном становлении Тюмени. Сейсмика была переоснащена на вертолеты. Теперь уже на Западно-Сибирской низменности не существовало недоступных для геофизиков районов.

Сейсмические станции на вертолетах в десятки и сотни раз ускорили темпы разведки. Открытия следовали одно за другим. Появился нефтяной Самотлор, потом газовый Уренгой.

Я вспоминаю свой первый прилет на Самотлор. Тогда только на вертолете можно было попасть на это месторождение. (Кстати сказать, в Уренгой я прилетел когда-то первый раз тоже на вертолете. Этот вид транспорта постепенно становился для тюменских геологов чем-то вроде верблюдов для жителей пустыни — без него до нефти было не добраться.) Мы сели на огромный деревянный плот, который, как настоящий корабль, плавал на поверхности озера Самотлор. Геофизический вертолет завис над бревнами, и они как живые ходили у нас под ногами, повторяя наши шаги. А на плоту уже жили люди, хлопотали вышкомонтажники, поднимая в небо первую буровую, сутились буровики, пробую насосы, шланги, дизеля...

Люди. Разгадывая загадки Тюмени, отыскивая решения ее секретов, каждый раз неизбежно приходишь к этой загадке загадок, к этому секрету секретов. Ведь и наукой, и техникой, и сейсмическими станциями, и вертолетами распоряжались люди. Они развивали и двигали Тюмень вперед, помогая друг другу и поддерживая друг друга, но и одновременно сталкиваясь, конфликтуя, противоборствуя друг с другом.

ЛЮДИ ТЮМЕНИ

Сколько нелегких проблем — бытовых, житейских, личных, общественных, психологических, социальных — возникало в те времена, когда Тюмень становилась Тюменью, когда из заурядного областного центра она превращалась в символ нефтяного и газового края... Они возникали и решались, эти проблемы: в одних случаях хуже, чем этого хотелось бы, в других лучше.

А иные и вовсе не могли быть решены, оставив в человеческих сердцах горечь неудач и поражений, пепел несбывшихся надежд. Было и такое.

Тюмень порой предъявляла к людям, которые воздвигали ее, суровый жизненный счет. Иногда и трагический. Тюмени отдали свои жизни начальник Ханты-Мансийской разведочной экспедиции Евгений Сутормин, управляющий трестом Ямалгеофизика Вадим Бованенко, буровой мастер Андрей Тарасов. Я знал их лично, а с Вадимом Бованенко даже играл когда-то, в далекой молодости, в одной баскетбольной студенческой команде. Их именами названы улицы в новых тюменских городах. Их фамилии воплотились в названия тюменских месторождений — Суторминское, Бованенковское, Тарасовское. Они стали землей Тюмени и останутся ею навсегда. Своими делами и судьбами, своими биографиями они лепили и вылепили героическую биографию этого края и пребудут в нем навсегда. Как писал Маяковский, в пароходах, строчках и других долгих делах...

Люди Тюмени. Когда я вспоминаю встречи на тюменской земле, десятки лиц оживают в памяти. И уж, конечно, не по должностному рангу, а прежде всего по масштабу труда, вложенного в руководство нефтяной и газовой эпопеей, вспоминаются мне бывшие секретари Тюменского обкома партии Борис Евдокимович Щербина и Александр Константинович Протазанов.

Б. Е. Щербина, министр строящихся предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, сейчас главный «строитель» газопровода Уренгой — Западный Европа. Помню один наш давний разговор в Тюмени. Вернувшись из очередной поездки по области и переполненный свежими впечатлениями я вошел в кабинет первого секретаря обкома и, как говорится, с порога начал разговор о романтике, о преодолении трудностей... Борис Евдокимович молча смотрел на меня, а потом посоветовал писать о Тюмени, по возможности избегая высоких слов. Это был хороший урок.

А с Александром Константиновичем Протазановым мы однажды шли несколько дней и ночей на катере по Иртышу и Оби. И, естественно, много было разговоров о добыче нефти и газа. Я, конечно, опять, как всегда, нажимал на романтику (был такой грех в те годы), а Протазанов сдерживал, осаживал меня в моих слишком живописных литературных обобщениях, говорил о том, что романтика — это, конечно, замечательно, но есть в Тюмени серьезные, жесткие проблемы, решать которые не так-то

просто, а противоречия жизни не всегда удается преодолеть даже с помощью романтики. И это тоже было хорошим уроком.

Люди Тюмени. Геологи Тюмени.

Юрий Георгиевич Эрвье — Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, бывший начальник Главтюменьгеологии, ныне заместитель министра геологии СССР.

Лев Иванович Ровнин — тоже Герой Социалистического Труда и лауреат Ленинской премии, бывший главный геолог Тюменского геологического управления, ныне министр геологии РСФСР.

Фарман Курбанович Салманов — тоже Герой Социалистического Труда, тоже лауреат Ленинской премии, нынешний начальник Главтюменьгеологии.

Лев Григорьевич Цибулин — Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, главный геофизик Тюменского геологического управления.

Я знаю каждого близко уже не первое десятилетие, не раз встречал их на большой Тюменщине — от Салехарда до Нижневартовска, от Урентоя до Тобольска. Общение с этими людьми, да и не только с ними, но и еще со многими другими (Борис Савельев, например, Коля Мизинов, Леня Гиршгорн, Саша Брицдинский — каждый вложил в славу Тюмени свою долю возможностей и усилий), — так вот, общение с ними со всеми (и с руководителями крупных геологических подразделений, и с рядовыми геологами) всегда давало радостное ощущение личной человеческой причастности к большому делу, к генеральному направлению жизни — поиску и открытию не только природных, но и больших душевных богатств.

В характерах и натурах всех этих людей я неоднократно замечал некие общие закономерности — постоянно напряженный, сознательно культивируемый в себе, энергичный профессиональный темперамент, активнейшее созидательное начало, способность не принадлежать мелочам жизни нигде и никогда, властную жажду не подчиняться объективным обстоятельствам, а покорять их, одержимость делом и какую-то безоглядную, подвижническую растворенность в своем деле.

Все они научились в Тюмени максимально приспособлять академическую науку к первейшим нуждам практической геологии, выжимать из новой техники все до последней капли для извлечения полезных ископаемых из недр Земли; все они всегда четко и спорно работали с людьми, и особенно с молодежью, щедро доверяя ей самые от-

ветственные участки разведки газа и нефти, пробуждая тем самым главное качество молодости — желание своими руками добыть себе почетное и уважаемое место под солнцем.

На одной читательской конференции, посвященной Тюмени, зашла речь о правде жизни. Я начал рассказывать о своих тюменских друзьях. А потом подумал, что все эти закономерности, о которых речь шла выше, в практике открытия нефтяных и газовых месторождений действительно стали правдой жизни, законами жизни. Их замечали, поддерживали, насаждали, изучали, внедряли, их в буквальном смысле этого слова лелеяли, им учили широко и настойчиво. И постепенно, с годами они превратились в Тюмени в непреложно, твердо и повсеместно соблюдаемый кодекс профессионально-нравственной чести геологической работы.

Эрвье. Ровнин. Салманов. Цибулин. О каждом из них я мог бы, наверное, написать отдельную книгу — может быть, даже роман. Да вот не написал... Почему?

РОМАН, КОТОРЫЙ ГРЯДЕТ...

Давно это было. Без малого двадцать лет назад. Осенью шестьдесят четвертого.

В ту осень в компании двух тюменских геологов (вернее, геолога и геофизика) летел я на вертолете из Ханты-Мансийска в одну из местных разведочных партий. Спутники мои были народ веселый.

— Слушай, — сказал геолог, смерив меня глазами, как лошадиный барышник, с головы до ног, — а что, если мы тебя выдадим сейчас на месте за какое-нибудь высокое начальство из Москвы, а?

— Например, за начальника главка, — подхватил идею геофизик. — Или еще лучше — заместителя министра геологии...

— С какой целью? — поинтересовался я.

— Для повышения активности низового звена, — сказал геофизик. — Чтобы взяли дополнительные обязательства.

— Исключительно благородная цель, — подтвердил геолог.

Я рассмеялся. Несколько лет назад в Якутии, на алмазных месторождениях геологические весельчаки из Амакинской экспедиции уже выдавали меня однажды за представителя из центра.

Дело было в Мирном — будущем городе. Тогда это был еще маленький поселок — пяток срубов, десяток палаток. Геологические весельчаки, используя мою московскую экипировку, навалились на мест-

ных строителей: вот, мол, товарищ из центра, требует, чтобы в первую очередь закладывали дома для геологов. Я солидно кивал, изображая лицом невозможность каких-либо иных вариантов.

Модный пиджак из московского ателье сработал-таки на пользу алмазным геологам, они мне потом писали об этом. Но самому мне увидеть градостроительный бум в Мирном довелось много позже: на горизонте появилась тюменская нефть, Тюмень...

Рассказываю спутникам по ханты-мансийскому вертолету свою якутскую новеллу.

— Так это же просто замечательно,— улыбается геофизик.— Значит, у тебя уже есть опыт давления на низовое звено.

— Главное — меньше говорить,— развивает план будущих действий геолог,— говорить будем мы. А ты только кивай. И держи на лице выражение — план должен быть перевыполнен.

Целые сутки они выдавали меня в тайге за московское начальство, путаясь иногда в моих чинах и забывая, кто же я — начальник главка или заместитель министра? Низовое звено, польщенное прибытием высокой персоны, расчувствовалось и одно за другим брало повышенные обязательства: и пробурить еще одну скважину сверх плана, и снизить стоимость геофизической разведки, и повысить качество каротажных работ и т. д. и т. п.

Согласно договоренности на лице моем застыло «выражение» — иначе и быть не может. Но в конце концов мне стало не по себе, и я открылся...

Конечно, было много смеху. Были и обиды. Кое-кто из «низовой администрации» сделал даже попытку взять назад скоропалительно данные обещания. Но поздно, «драматургия» присутствия руководящего гостя сработала — скрытые резервы были выявлены и брошены на перевыполнение плана.

Оба эти случая (и в Якутии в Мирном, и в Тюмени в ханты-мансийской тайге) я неоднократно вспоминал потом — и когда писал сценарий фильма «Неотправленное письмо», и когда ставил в московском Театре драмы и комедии на Таганке пьесу «Только телеграммы», и когда возвращался к прозаическим жанрам, рассказам и повестям о Сибири и Севере. Вспоминались и многие другие похожие эпизоды (и более веселые и более трагические) из жизни геологов, горячков и строителей новых городов, свидетелем и участником которых приходилось бывать и на Кольме, и в Забайкалье, и в Саянах.

Но странное дело: ни разу — ни в драматургических и сценарных сюжетах, ни в прозе — не приходила мне мысль использовать эту заманчивую и почти гоголевскую фабульную интригу. И не только потому, что Чичиков — липовый миллионщик и Хлестаков — ложный ревизор, оба вроде бы уже давно отработали подобного рода интригу, хотя, конечно, нет запрещенных сюжетов, больше того — есть странствующие сюжеты, они веками кочуют по страницам литературных произведений.

И в Якутии и в Тюмени, побывав, как говорится (хоть и недолго), в шкуре высокопроизводственного начальства, я как-то наглядно, физически и почти осязаемо убедился в том, насколько занозиста она, эта «шкура», как неуютно чувствует себя в ней самозванец, каких гималайских высот ответственности, внимания к людям, понимания их нужд и забот и вообще — законов жизни, порой неписаных и незримых, требует от своего хозяина эта тяжелая, как костюм водолаза на суше, эта трущая и жмущая во всех местах, эта сшиггая из самых «кусачих» и шершавых житейских материй «спецодежда».

Не проводя никаких качественных аналогий между тем, что о Тюмени писал я сам (скорее упрекая себя за то, что количественно писал о ней мало), и тем, что писали (снимали в кино, ставили в театрах) другие, в то же время позволю себе — да простят меня коллеги — высказать следующие соображения. Герои многих современных произведений, которых авторы представляют нам как масштабных руководителей и решительно действующих капитанов производства, на самом деле, то есть в объеме существующего на страницах повествования человеческого, психологического и социального материала, не только таковыми не являются, но по упрощенно-плоскостному благополучию своего мироощущения не могут даже претендовать на реальное пребывание в сегодняшней современной деловой атмосфере.

По авторской прихоти такие герои произносят руководящие сентенции, настаивают на перевыполнении, изображают непреклонность и непоколебимость центральной идеи. Они энергично перемещаются в пространстве, охотно двигают людьми, гоняют механизмы с юга на север и обратно, издают приказы, подводят итоги, обобщают — одним словом, испытывают чувство глубокого удовлетворения... Но все это — как деньги, напечатанные с одной стороны ассигнации. Ценность подобного обозначения человека (личность-клише) невелика. Нет рабо-

ты души, нет душевных тайн, душевных мух, нет душевной драмы — ведь для того она и вошла когда-то в литературу в книгах наших великих предшественников, душа человеческая, чтобы не только торжествовать, наслаждаться, упиваться, но и мучиться и страдать в противоречиях жизни, в разрыве желаний и возможностей, в несовершенствах бытия. Героев некоторых сочинений авторы выдают за руководящее звено, за административную элиту, за персонажей, так сказать, первой служебной категории. А они нередко всего лишь беллетризованные самозванцы, люди не на своих местах, хлестаковы и чичиковы в проекции на современность.

Но авторов, создающих такие литературные манекены, видимо, не мучает профессиональная совесть (за произведенную ложь). Они продолжают гнать под обложки сочиняемых книг своих сановитых «петрушек», с ложной значительностью восседающих в административно высоких, но чужих креслах. «Петрушкам» уютно на высоте, а из общения с людьми они выходят с намыленной легкостью, без заноз, не слыша человеческой боли, не видя человеческой беды.

Нужно сказать, что в реальных жизненных ситуациях столь бестревожных и беспечальных деятелей почти не бывает. Во всяком случае, в Тюмени я их не встречал.

Жизнь современного делового человека сложна, напряженна и драматична. Ему приходится нелегко — зачастую от него требуют гораздо больше, чем дается возможностей для выполнения этих требований. Он ежедневно продирается сквозь диспропорции и неувязки планирования, он страдает от навязчивой опеки, он разрывается на части от несовместимости отраслевых и территориальных интересов. Он многое понимает, но далеко не все может. А ему говорят — надо, Федя... И современный деловой человек комбинирует, кооперируется, перебрасывает справа налево статьи бюджета, изыскивает, экономит, поглядывает по сторонам, что где плохо лежит, нарушая при этом законы, допустимо, несильно, но нарушая.. Тут разве до сердечного комфорта, до безоблачного уюта? Тут только поворачивайся, остерегайся, считай денежки, умеи жить с людьми, слушать их боль, видеть их беды. Ведь то, что спрашивают с тебя, ты и сам требуешь от других... Нет, не может быть у современного делового человека бестревожного, беспечального мироощущения, не может он жить без заноз и терний. Если только он человек со знаком плюс, а не минус, если он стремится произвести больше, чем

потребить, если он живет на белом свете для того, чтобы увеличивать количество общих материальных ценностей, а не уменьшать их. И если он по-настоящему болеет душой за свое дело, то, значит, и душа его, живая человеческая душа, тоже постоянно находится в работе, тоже постоянно стремится, страдая и мучаясь, преодолевать свои и общие несовершенства, сокращать разрыв между человеческими желаниями и возможностями, искать для себя и других правильный выход из противоречий бытия.

Я не буду называть имена и книги — это прерогатива профессиональных критиков. Названные литературные «болезни» одинаковы для многих произведений — и об открытии нефти и газа, и об иных областях нашей жизни. И пытаться составить какой-либо единый оптимистический рецепт на выздоровление здесь невозможно да и не нужно. Его, откровенно говоря, наверное, попросту и не существует. А существует жизнь, у которой и надо учиться.

Что же касается собственных литературных дел, то не в оправдание, а скорее в задание самому себе постараюсь так ответить на сакраментально поставленный в конце предыдущей подглавки вопрос — почему?

Да, я многое видел на Тюменщине, хорошо знаю таких людей, как Эрвье, Ровнин, Салманов, Цибулин. И о каждом из них мог бы написать роман, но не написал. Почему?

Может быть, потому, что не знаю, как надо писать роман о Тюмени.

А может быть, потому, что, хорошо зная настоящих создателей и «авторов» Тюмени, опасаясь, что персонажи, которые выйдут из-под моего пера, будут всего лишь литературными самозванцами, всего лишь бледной копией живых людей, будут только выдавать себя за тех, кем они стать не смогут. А может быть, просто не хочу, чтобы нечто от меня не зависящее... Впрочем, нечто — это уже от лукавого. Это уже другая песня.

Конечно, какой-нибудь роман, «как у людей», набросать было бы можно. И давно. Но роман о Тюмени, на мой взгляд, должен быть таким, каких еще не было.

Может быть, это будет роман, появление которого в литературе прозвучит с такой же силой, как появление самой Тюмени в нашей жизни? Может быть, этот роман станет самым ярким результатом развития нашего литературного опыта в эпоху нового научно-технического бытия, как стала самым ярким итогом развития НТР в нашей стране сама Тюмень?

Рождение Тюмени многое изменило на карте.

Может быть, предполагаемый роман о Тюмени будет нести в себе такой нравственный заряд, который изменит соотношение нравственных величин? Хотя сделать это (если это только вообще можно сделать) может роман и не о Тюмени, а о чем-нибудь совсем другом.

Кем должен быть автор романа, о котором идет речь? Участником абсолютно всех тюменских событий? Летописцем тюменской хроники? Центральным действующим лицом?

Жизнь уже создала, уже записала свою формулу рождения Тюмени. Литература еще не нашла своей формулы появления Тюмени. Какой она должна быть, эта формула? Затрудняюсь с ответом. Но ясно одно: загадка Тюмени, тайна Тюмени продолжает существовать. И литература будет разгадывать ее.

Иногда мне кажется, что автор предполагаемого Большого Романа должен заплатить за создание такого романа какую-то очень дорогую цену. Может быть, даже пойти на немалые жертвы. А скорее всего совершить литературный подвиг во имя будущей большой книги о Тюмени. Естественно, масштаб и форму такого деяния, такого свершения, такого акта творческого самосожжения прогнозировать трудно. Но по ожидаемому нравственному итогу, как мы уже говорили, хотелось бы именно чего-то похожего, чего-то на уровне подвига самой Тюмени.

Конечно, во всех этих рассуждениях есть, очевидно, немалая доля фантазии. Но если говорить о реальных вещах, то некоторое приближение к разгадке тайны Тюмени мы как будто уже наметили, когда вспоминали о людях Тюмени. Так вот позволю себе небольшое отступление. Читатель, вероятно, еще не забыл, как в самом начале нашего разговора рядом с именем американского писателя Курта Воннегута я упомянул имя своего тюменского друга Эжена, геолога и журналиста (фамилию Эжена я и сейчас не назову, а почему это делаю, вы потом поймете и безусловно одобрите мои намерения).

Знаю я его давно, лет двадцать, не меньше. И все это время он жил в Тюмени и как бы одновременно в ней не жил. Его всегда можно было встретить в любой точке Тюменской области: сегодня в Тобольске, завтра на Ямале; вчера он работал оператором геофизической партии на Самотлоре, послезавтра — бурильщиком на Уренгое; зимой Эжен возит почту на оленях и собачьих упряжках по гыданской тундре, летом слу-

жит библиотекарем в красном чуме на полуострове Явай; весной кочует с ненцами, осенью рыбачит с хантами; в январе — каротажник, в мае — шофер, в августе — программист. Потом вдруг Эжен совершает тракторный маршрут в качестве экспедитора от Тарко-Сале до Надыма, потом идет пешком по тайге и тундре обратно. Одним словом, тюменский Максим Горький!

А во время войны Эжен воевал в кавалерии! А лет десять назад был чемпионом Ханты-Мансийска по теннису! Вот это биография, а?

Однажды летом часов так в шесть утра я шел по улице небольшого тюменского поселка Мегион, направляясь на пристань. Прохожу мимо общежития геологов и вдруг слышу знакомый храп. Заглядываю в открытое окно — Эжен спит на ближайшей койке. Я изловчился и потянул было к себе его сапог... Но не тут-то было! Эжен, не открывая глаз, хватя меня за руку, чихнул со сна, сел на кровати, зевнул, почесался и говорит как ни в чем не бывало: «Привет, откуда ты взялся, пошли завтракать...»

Однажды в Салехарде часов так в одиннадцать вечера подхожу к стоянке такси, стоит одинокая машина, шофера нет, открываю дверь — на заднем сиденье спит Эжен. «Здорово!» — толкаю его в бок. Эжен сел, чихнул, почесал в затылке «Привет,— говорит,— откуда ты взялся, поехали в гостиницу ужинать».

Одним словом, как вы уже, надеюсь, поняли, Эжен является совершенно уникальной по своей экзотичности и живописности личностью.

Как человек, предельно освобожденный от многих оседлых житейских условностей и бытовых слабостей — мелкой собственности, например, или постоянного места жительства, — Эжен в определенном смысле этого слова как бы экранировал в своей судьбе то, что можно было бы условно назвать вольным духом Тюмени и отчасти ее загадкой и тайной. Как журналист он, наверное, не написал и десятой (а может быть, и сотой и даже тысячной) доли того, что знает о Тюмени. Виной тому скорее всего общеизвестная журналистская лень. Много разговоров, много шуток, много баек, воспоминаний, ретроспекций, а машинописных листов мало. Осудим за это Эжена, пожурим за то, что он редко баловал человечество печатными публикациями из своего тюменского опыта.

Зато Эжен очень талантливо жил в Тюмени. Его роскошное кочевое бытие между Уралом и Енисеем, на берегах Ледови-

того океана от Таймыра до Ямала, а также в бассейнах рек Обь, Иртыш, Таз, Пур, Вах, Конда, Сосьва, Полуй, Аган и т. д. еще ждет своего возвышенного и трепетного летописца.

А может быть, Эжен и сам напишет о своей жизни на Западно-Сибирской низменности. Он знает о Тюмени все, везде побывал, все видел — нефть, газ, пожары на буровых, фонтаны, морозы, болота, половодья, разливы... Он испытал в Тюмени многие страсти, через его душу и сердце прошли надежды, увлечения, любовь (теперь понятно, почему я не называю его фамилию?), вера, разочарования, он многим пожертвовал ради Тюмени...

Такой человек мог бы написать Большой Роман о Тюмени... Он совершил свой жизненный подвиг на Тюменщине, собрал огромный фактический материал. Разбуди его ночью, спроси о любом месторождении (в каком году, в каком месяце, какого числа открыли) — наизусть ответит, только от зубов будет отскакивать.

А подвиг литературный?

Впрочем, когда на горизонте нашего внимания появляется такое объемное и фосфоресцирующее понятие, как подвиг, тут надо о многом подумать.

Мы только призываем литературу совершить подвиг, а люди Тюмени свой подвиг уже совершили.

ДА'АРТАНЬЯН ИЗ ТЮМЕНИ

Вообще-то я возвожу на себя напраслину, когда сетую на то, что мало писал о Тюмени — я напечатал о ней довольно много всякого рода сочинений. Но все это был в основном документальный жанр за исключением пьесы «Только телеграммы» в Театре на Таганке и повести «Имя на карте», страдавших, очевидно, теми же самыми недугами, в которых я упрекал прозу других литераторов, писавших о Тюмени.

И вот размышляя над причинами преобладания документалистики в своих тюменских работах, я сделал одно наблюдение.

О Тюмени сейчас безусловно написано больше документальной прозы с реальными именами, адресами и событиями, чем прозы чисто художественной, так сказать, вымышленной. И в этом отражается, на мой взгляд, определенная закономерность развития литературного процесса.

Вспомним бурный расцвет деревенского очерка задолго до того, как стали появляться книги, принесшие с собой сам этот громкий и в чем-то даже одиозный термин — деревенская проза. Овечкин, Радов,

Винниченко, Дорош... Не они ли начинали на ниве изящной словесности ту самую тропинку, по которой потом пошли писатели, расширившие эту тропинку до широкой дороги современной литературы о деревне? Конечно, книги Астафьева, Белова, Распутина и других литераторов, пишущих о деревне, были не механическим продолжением документального деревенского очерка. Они рождались в новой атмосфере и стали следующим самостоятельным этапом углубления нашего художественного зрения. Но смотрелись бы они, очевидно, совсем по-иному, если бы в диалектике развития нашего гражданского отношения к проблемам деревни им не предшествовала овечкинская плеяда.

А документальные произведения Сергея Сергеевича Смирнова о Брестской крепости? Разве они не внесли в свое время весомый вклад в перестройку нравственного предполья литературы о войне накануне широкого наступления военной прозы новой волны? Нет никаких сомнений в том, что представители этой волны проделали свой путь через «минные поля» предыдущих литературных традиций, среди которых наибольшую опасность представляла неизбежность помпезного изображения войны. Но безусловно и то, что документальные книги С. С. Смирнова тоже обеспечили иное восприятие новой военной прозы, чем это было раньше, до них.

Разумеется, разговор не сводится к очевидности хрестоматийной истины: публицистика, мол, начинает бой, который потом выигрывают большие жанры, романы и повести. Суть дела, вероятно, заключается в том, что в свое время на одном из участков нашего литературного фронта произошла некая существенная передислокация жанров. Документально-художественная проза (ее можно называть еще литературой свидетельства), поддержанная мощным взрывом читательского интереса, решительно покинула отводившийся ей ранее второй, «запасной» рубеж и смело вышла на передовые позиции, заняв место рядом с романом, повестью, рассказом.

Причины, объяснявшие эти жанровые перемены, имели, естественно, общественную подоплеку. Эстетика достоверности, отражая растущее в мире нравственное значение фактической информированности человека, предъявляла к литературе новые требования. И формула «так было на самом деле», разворачиваясь в повествовательный ряд, удовлетворяла органическую потребность читателя в знании единственно возможной реальности событий. Неоп-

ровержимость документальности исключала варианты толкования событий с точки зрения некогда широко бытовавшей субстанции — так должно было быть.

Суть дела заключалась именно в нравственном характере фактической достоверности. Документальный жанр в поисках точки отсчета новых жизненных и художественных ценностей выдвигал категорию фактической достоверности как еще одну грань реализма в литературе.

Конечно, документальная достоверность не могла претендовать на то, чтобы исчерпать или заменить собой реализм. Реализм неисчерпаем. Но если, скажем, мифологизирование как прием художественной типизации настойчиво расширяло свой плацдарм в литературе, то, очевидно, и документальность как способ эстетического обобщения, как метод отбора явлений жизни, имеющих возможность стать фактами литературы, тоже имела право на подобный плацдарм.

Литература, как известно, постоянно учится и у жизни и у самой себя. Успехи документальной прозы благотворно влияли вообще на прозу, заставляя ее внимательно ориентироваться на новый уровень читательских интересов и вкусов. В литературе широко утверждались такие жанры, как роман-репортаж, роман-путешествие, повесть-хроника. И это было органично для развития художественного процесса искусства слова. Литература — одна из самых оперативных и быстро самообучающихся форм общественного сознания. Рывок одних жанров способствовал видоизменению и обновлению других. И «проза вообще» брала у документальной литературы высокую актуальность, проблемность, ангажированность. Идеология и политика уверенно входили на страницы чистой беллетристики, перестраивая ее эстетику и художественные принципы.

Вообще явление политизации литературы, на мой взгляд, еще недостаточно оценено нашей критикой, а это явление между тем уже дало в мировой художественной практике высокие образцы большой прозы, оперирующей жгучими проблемами современной политики. С какой-то профессионально затянувшейся скорбью присяжных плакальщиц мы которые годы все проводим и проводим некие уходящие формы жизни, как бы сознательно удлиняя эти во многом уже «ряженные» проводы, сулящие нам бестревожное, незатейливо-обрядовое беллетристическое кумовство. А новые формы жизни уже не просто заглядывают в окна нашего литературного депар-

тамента — они иногда просто снисходительно поглядывают на нас сверху вниз. Может быть, это и прозвучит резко, но не пора ли нам (кумовья и сваты в литературе ох надоели!) передать некоторые функции этих «ряженных» проводов куда-нибудь в более орнаментальное ведомство, что ли, например в ансамбли песни и пляски в стиле кантри и ретро?

Все эти экскурсии в совсем близкую историю нашей литературы, которая, собственно говоря, и историей-то еще стать не успела, оставаясь по-прежнему ее, литературы, живой практикой (одна из особенностей художественного процесса в эпоху НТР — ускоренный темп развития жизни стирает грани между настоящим и прошлым, все сегодняшнее — уже вчерашнее, а все вчерашнее — еще сегодняшнее), — так вот, все эти экскурсии в недавнее прошлое, очевидно, дают наиболее правильное объяснение преобладанию в литературе о Тюмени документального жанра.

Документальная литература, следуя нравственной природе, изначально заложенной вообще в литературе как наиболее передовой форме общественного сознания, спешила зафиксировать реальность тюменских событий, оставить будущему достоверную хроникальную Тюмени. Создавая фактически неопровержимую картину первых лет нефтяной и газовой Тюмени, документальная литература как бы предвосхищала этим упреки из будущего, как бы показывала и доказывала, что хорошо усвоила уроки недавнего времени, от которого нам порой оставались лишь свидетельства, сделанные в нормативном ключе — так должно было быть. Разворачивая повествовательный ряд в единственно возможную реалистическую категорию «так было на самом деле», документальная литература о Тюмени (в соавторстве с самой жизнью) выходила на ту новую грань реализма, с высоты которой становился возможным отбор явлений, претендующих на то, чтобы, будучи фактами жизни, одновременно стать и фактами искусства, литературы. Документальный жанр своим правом на подобный отбор, распознавая в мозаике тюменского бытия новые, устремленные в будущее жизненные и одновременно художественные ценности, как бы завершал, дорисовывал уже начатые самой реальной действительностью картины, как бы собирал в единую, новую, гражданскую, социальную символику (как это сделали в свое время книги Овечкина и Смирнова) разбросанные в пространстве и времени документальные портреты и

образы, обладавшие благодаря своей первородной органике и фактической достоверности высокой нравственной силой неопровержимости.

Естественно, литераторы, работавшие в документальном жанре, то есть сознательно предпочитавшие именно этот жанр всем остальным, шли на известные потери в своем творчестве, лишаясь такого сильного изобразительного инструмента, как вымысел. Как говорится, становились на горло собственной песне.

Но может быть, эти потери как раз и были началом тех самых жертв, которые нужно было принести во имя разгадки тайн Тюмени и в осуществление того самого литературного подвига, наградой за который будет Большой Роман о Тюмени?

Кстати, о подвиге и о людях Тюмени, совершивших и продолжающих совершать подвиги на ее земле. Тут мне хочется рассказать о человеке, которого я назвал д'Артаньяном из Тюмени.

Очевидно, нет необходимости лишний раз говорить о том, что образ д'Артаньяна — естественно, с определенной долей условности — напоминает нам прежде всего о подвигах. И в самом деле, кто еще совершил больше подвигов, чем д'Артаньян? На счету у Геракла, например, их было всего десять или двенадцать. А подвигам д'Артаньяна нет числа. Он совершал их каждый день. И не по одному на день. Это и снижало ему любовь читателей. Он, собственно говоря, для того и жил, чтобы совершать подвиги. Он искал их везде, на каждом шагу и, очевидно, просто не представлял своей жизни без этого.

Все это говорится вовсе не для того, чтобы провести прямую, несложную и как бы непосредственную параллель между Тюменью и д'Артаньяном. Тут все гораздо неожиданней. А главное — документальней.

Почти двадцать лет назад познакомился я с Юрием Георгиевичем Эрвье. Он работал начальником Тюменского геологического управления в те самые годы, когда были сделаны все основные тюменские открытия. Его иногда называли геологом номер один, маршалом геологической разведки, Наполеоном сибирской нефти.

Поражала необычность его внешнего облика: белая, как ранний снег, седая голова, сильно загорелое, темно-коричневого цвета, немилосердно едубленное солнцем лицо; очень густые, кустистые, крупные брови; подбородок — уютном, а в антрацитово жарких, дерзких глазах бушевал какой-то неутраченный мальчишеский вызов, какое-то постоянное приглашение к

драке, к поединку: а вот я сейчас один нападу на вас всех, защищайтесь!

Не помню уж, на какой день знакомства я задал Юрию Георгиевичу вопрос о его фамилии. Он усмехнулся — видимо, этот вопрос ему задавали часто. И выяснилось, что Эрвье — это фамилия его деда, приехавшего в Россию еще в прошлом веке из Франции, из Гаскони, с родины д'Артаньяна! (Сам-то Юрий Георгиевич родился и вырос в Тбилиси, работал в геологических экспедициях в Средней Азии, на Украине, в Забайкалье, служил в армии, воевал, был делегатом партийного съезда и только в середине жизни попал на Западно-Сибирскую низменность.)

Конечно, не только родословная и дед, выходец из Гаскони, соединили в моем сознании эти два слова — Тюмень и д'Артаньян, да и не сразу они соединились. Сначала мы долго летали с Юрием Георгиевичем по всей Тюменской области — Сургут, Мегион, Нижневартовск, Нефтеюганск, Тарко-Сале, Уренгой, Тазовский, Газ-Сале, Салехард, Новый Порт, Харасавей, Ханты-Мансийск, Уват, Горно-Правдинск... Потом, на следующий год я снова приехал в Тюмень и еще через год и еще...

Сколько бы раз я ни приезжал в Тюмень, сколько бы раз ни встречался с Эрвье в Москве или во многих других городах от Киева до Хабаровска, всегда и везде вокруг него были какие-то очень веселые, очень шумные, очень задиристые люди, всегда и везде около него как бы пульсировало, как бы аккумулировалось какое-то невидимое, но сильно ощущаемое магнитное поле энергии и деловитости.

И все они, его товарищи и друзья — геологи, геофизики, буровики, вертолетчики, горняки, строители, с кем он искал и нашел нефть и газ на огромной Западно-Сибирской низменности, с кем замерзал в лютые пятидесятиградусные морозы на полуострове Ямал, проваливаясь под лед на Иртыше и Оби и на сотнях других рек, болот и озер, все они — Ровнин, Салманов, Цибулин, Быстрицкий, Сутормин, Подшебякин, Бованенко, Юдин, Морозов, Савельев, Токарев, Рогожников, Абазаров, Шмелев, Кавалеров, Урусов, Шиловский, Карамов, Тарасов, Григорьев — все они, настоящие, упрямые, умелые, целеустремленные люди, своей сплоченностью и надежностью действительно всегда были похожи на веселое, шумное мушкетерское войско из романов Александра Дюма. Все они своими делами, своими характерами и поступками, своей инициативой и решительностью на разных этапах поисков и раз-

ведки нефти и газа создавали Тюмень такой, какая она есть сейчас.

И незримый, гвардейский, прекрасный и яростный мушкетерский дух всегда и везде витал над ними, навечно отметив их судьбы знаком Тюмени — знаком сурового и мужественного труда, знаком товарищества и дружбы, знаком верности высоким идеалам и целям жизни, знаком подвига.

И он, Эрвье, всегда был среди них лидером — первой шпагой, рыцарем без страха и упрека.

Ну и как же тут было не соединиться этим двум словам — д'Артаньян и Тюмень, как тут было не назвать его, Юрия Георгиевича Эрвье, д'Артаньяном из Тюмени? Конечно, в этом соединении есть большая доля условности, в реальной жизни эти два слова рядом существовать не могут, по законам очевидности они несовместимы. Все правильно. Но мне всегда казалось, что в слиянии этих слов заключен какой-то важный смысл, какая-то большая интернациональная идея о родстве всех людей и мест на земле, что в соединении этих двух слов — невоплощенная, но дерзкая правда жизни, молодое приглашение к поединку, к противоборству, какая-то неиссякаемая, неутоляемая, неистребимая жажда подвига.

Вполне допускаю, что здесь есть преувеличение — некоторый перебор прилагательных и метафор, некоторый переклест страстей. Но в конце-то концов, д'Артаньян из Тюмени — это всего лишь образ, литературный образ, который никакой социальной и паспортной общности со своим конкретным прототипом не имеет. Он создавался и по законам совершенно случайных совпадений, и в то же время по законам вневременных, но никогда не умирающих ассоциаций, по законам похожести друг на друга во все века и эпохи всех сильных, отважных и смелых людей. Это, может, и не совсем удачный образ с точки зрения изысканного и безошибочного вкуса, но он почему-то дорог мне. Он принимает вместе со мной все замечания в адрес своего несовершенства и неуклюжести, но все-таки почтительно просит не лишать его права на экспериментальное существование.

Потому что литература — она ведь состоит из образов. В одних случаях менее удачных, в других более. И право на эксперимент имеет каждый, кто стучится в двери дома, в котором живет мудрый гений метафоры, не тяжелым костылем веры, а легкой тростью сомнений.

Да, литература в значительной степени оправдывает свое назначение тем, что при-

общает читателя к образному мышлению, к метафорическому познанию и постижению окружающего нас мира. А мы порой забываем об этом. Мы зачастую гоним по страницам своих сочинений голую тенденцию, заставляя ее обливаться потом тщетных усилий в поисках художественного итога. А итог — вот он, стоит рядом, но, как всегда, выше наших механических, плоскостных усилий, и чтобы обрести его, надо подняться к нему по причудливой лестнице образа, составленной из крутых ступенек метафор.

Я уже оговаривал: не провожу никаких аналогий между своим отношением к тюменской теме в литературе и отношением к этой проблеме других авторов. Но хочу заметить, что давно уже не видно внутри этой проблемы никакого поступательного движения... Документальные подступы к Тюмени взяты. Пора завязывать «уличные бои», пора пробиваться к центру города, в котором должны храниться многие главные, заветные литературные тайны Тюмени. (Призыв этот обращаю в том числе и к себе.) Пора идти на приступ цитадели, приставляя к ее стенам те самые лестницы, поднимаясь к ее бойницам по тем самым ступеням.

Но если в бой не будут введены штурмовые калибры, если не будут подтянуты из тылов резервы главного командования, тогда лучше и не начинать. Тогда вместо приступа надо сразу трубить отбой.

Только обрушив на крепость весь арсенал художественных возможностей (традиции, новаторство, эксперимент, опыт классики), но талантливо, с прицелом на создание новой, современной классики, можно надеяться на то, что она поднимет белый флаг.

Только тогда начнет Тюмень раскрывать литературе свои секреты и тайны, и это, безусловно, станет серьезным, заметным броском нашей литературы вперед.

КОВРИГИН, ИДУЩИЙ ПО МЕРИДИАНУ

Размышляя над судьбами тюменской темы в литературе, я обещал не называть имена и книги, переложив эту обязанность на плечи профессиональной критики. Но одно имя все-таки назову.

Полтора десятилетия назад я заведовал отделом очерка и публицистики в еженедельнике «Литературная Россия». Однажды знакомые писатели привели ко мне молодого человека с бледным и, что называется, вдохновенным лицом. Оно было как

бы опрокинуто внутрь себя. Хозяин его, присутствуя в редакционной комнате, одновременно вроде бы и не присутствовал в ней, находясь где-то далеко, в каких-то одному ему известных и доступных высоких сферах.

Звали молодого человека Александр Проханов. Знакомые писатели представили мне его как способного литератора, готового сотрудничать в еженедельнике, ездить в командировки, выполнять оперативные задания редакции. Сам Проханов говорил мало, больше слушал, изредка спускаясь на землю со своих заоблачных высот. Выяснилось, что по образованию он авиационный инженер, но сейчас его главным образом интересуют русские народные песни. О них он и хотел бы написать.

Новый автор поехал в Псковскую область. Через неделю он вернулся и привез относительно неумело, но удивительно сочно написанный очерк. Живопись слова, стихийные прорывы в исторические и философские обобщения, проникновенное ощущение природы — все это было через край. Очерку дали соответствующее материалу название: «Красное солнце русской народной песни не закатилось бы...» — и отнесли начальству.

Очерк не напечатали, начальство погрело его в своих архивах, а я на свой страх и риск (задание-то было не выполнено) послал Проханова в новую командировку — на русский Север, в Архангельскую область, в город Каргополь.

Второй очерк тоже не напечатали. Проханов поехал в третью командировку... Он ездил так целый год, написав за это время чуть ли не целую книгу очерков, нисколько не обеспокоиваясь при этом судьбой своих отвергнутых сочинений. В отличие от других авторов его будто бы и не интересовало, напечатают его или нет. Для него главным было ездить, смотреть, впитывать жизнь.

У него была стойкая уверенность в себе и редкое для молодого литератора спокойствие по отношению к превратностям первых шагов начинающего.

И в конце концов печатать начали. Сначала опубликовали «Красное солнце...», а за ним и все остальное. Потом он стал корреспондентом «Литературной газеты», писал повести и рассказы, выпускал книги.

Теперь Проханов известный журналист и писатель, автор нескольких романов. Передо мной лежит последний — «Время полдень», о котором летом этого года была дискуссия в «Литературной газете». В нем есть глава о Тюмени и вставная новелла,

действие которой происходит на безымянной буровой, но как будто тоже где-то на Тюменщине.

За годы своей профессиональной литературной работы Александр Проханов, как и полагается, нажил свои писательские минусы. Он стал писать во многом суше, рациональнее, доходчивее (в смысле информативнее), а главное — очень быстро. Из его прозы ушло (не до конца, но ушло) то самое состояние — и здесь, и одновременно не здесь; ушла земная заоблачность. А из его романов ушел он сам — тот молодой Саша Проханов, который год мог писать и не печататься, который пел в течение целого вечера народные песни, записанные на Псковщине, рисовал русские лубки... Все это, я уверен, в нем самом осталось, а вот из его прозы ушло. Его романы четко продуманы, умело организованы и даже, мягко говоря, заорганизованы. (Большой ли это грех — планировать живую стихию своих книг? Наверное, небольшой.) Может быть, ему просто не хватает времени для более свободной, более раскованной работы над своими книгами? Как журналист он ездит по всему миру — Афганистан, Кампучия, Ангола, Никарагуа... И о каждой стране по возвращении — роман. Хорошо это или плохо? Наверное, хорошо.

Сейчас Александр Проханов весьма заметная фигура на нашем литературном горизонте. У него как у профессионала появилось много великолепных качеств — оперативность, подвижность, нацеленность на главные проблемы жизни, многообразие тем. Вот и в романе «Время полдень» он как бы проходит в образе своего героя Ковригина по меридиану от Казахстана до Крайнего Севера, в том числе и по Тюменской области. И о каждой остановке в пути — глава романа или вставная новелла.

Герои этих новелл и глав — люди разных профессий. Сталевары, колхозники, ученые, геологи, лесорубы, хозяйственники. Между собой они ничем не связаны кроме того, что всех их по очереди посещает главный герой. А некоторых и не посещает. Но это не имеет значения, так как суть сюжета, фокус идеи состоит в том, чтобы показать страну в глобальном разрезе с юга на север, то есть показать, как живут и трудятся здесь люди.

Выбираю ту главу, в которой речь идет о Тюмени. Но, собственно говоря, Тюмени как таковой в моем понимании этого слова там нет (а может, и не должно быть?). Есть тюменский город Сургут, в котором главный герой встречается и много разговаривает с представителями творческой

московской интеллигенции. Есть выступление главного героя на диспуте об архитектуре, о будущем Сургута.

Все, о чем идут разговоры, могло бы происходить и в любом другом новом городе страны, если изъять из текста слова «нефть» и «газ». Так же как и в новелле, действие можно перенести на буровую и много южнее и много севернее — «покушение» на социальный анализ от этого ни ослабится, ни усилится. Событийная канва нигде не затрагивает генеральной сути происходящих именно на этой земле процессов, хотя персонажи и обсуждают немаловажные вообще для всего человечества вопросы. Но только обсуждают. Нет действия... Тюмень же родилась на белый свет в результате действий, а не разговоров, в результате свершений, а не обсуждения свершенного. Действий порой резких, решительных, на грани вызова всем и всему, на грани риска. Люди, делавшие Тюмень Тюменью, брали на себя колоссальную ответственность, рисковали миллионами рублей, десятками жизней, и своими в первую очередь.

И в то же время названные отрывки, да и весь роман, оставляют впечатление. Какое же? Энциклопедичность. Геополитизм художественного мышления. Парад метафор. Выставка достижений авторского стиля. Передвижной вернисаж модных, но глубоких, по-настоящему острых проблем. Человек и техника. Техника и природа... Проханов, точнее, его герои предпринимают попытку построить некое триединство «человек — техника — природа», составные части которого должны не враждовать, а жить в мире, дополняя и обогащая друг друга, взаимно эстетизируясь. Вообще-то это звучит. Особенно там, где один из героев говорит, что технику можно покорить искусством... Но, бывает, герои романа делают весьма наивные умозаключения, напоминающие знаменитую реплику персонажа детских мультипликаций кота Леопольда, с которой он обращается к своим маленьким друзьям — мышатам: ребята, давайте жить дружно...

Детских. Взрослые же, реальные отношения внутри триумвирата «человек — техника — природа» выглядят, как мне кажется, несколько жестче, резче, приземленнее. Хотя это не исключает теоретической возможности выносить вопрос на суд читателей так, как это сделано у автора, — с романтической приподнятостью.

Это хорошо, что Проханов умеет порой возвышенно абстрагироваться от мелочей жизни. Правда, бывает при этом и такое,

что живая мысль его иногда напрочь вылетает из земного бытия, зигзагами мечется в пустых и мертвых межзвездных пространствах. Самая сильная сторона его дара — живопись словом — вдруг хватает за шиворот самим же автором выстроенную эстетику повествования, и они вместе кажутся куда-то под откос, в чертополох буйных сравнений и сопоставлений, жонглируя при этом по дороге здравым смыслом, картинами природы, внутренними монологами — всем, что под руку попадается.

Странная получается история. Текст вроде бы вызывает иногда внутренний, этический протест, а читать интересно... И я ловлю себя на противоречивости собственных ощущений: начинаю во здравие, а продолжаю... Или наоборот. Чем это объяснить? Талантом автора, который рисует жизнь так, что описания ее нельзя оценить однозначно? Да и не хотелось бы этого делать, однозначно.

Но, вероятно, все-таки необходима некоторая определенность. Что ж, попробуем начать приближаться к ней. Роман Александра Проханова «Время полдень», как мне кажется, в целом все-таки угнетен тяжеловесной рациональностью замысла. Очень метко сказал об этом в «Литературной газете» Владимир Гусев: в романе слышится дребезжание... И действительно, составные части романа, новеллы и главы, подогнаны друг к другу молотком авторского произвола, они не сцеплены единой художественной тканью. Прогуляться по меридиану — это ведь не самая главная забота и необходимость большинства людей. Подобный ход скорее от журналистики, чем от литературы. А художественность и вообще все то, что делает литературу литературой, рождается из органики бытия, из человеческого естества, из реальных насущных потребностей жизни, из ее неизлеченных нужд, нерешенных противоречий, из ее беды и боли, из ее драмы.

Каков же итог? Читать роман «Время полдень» неудачей автора? Конечно, нет. Тогда, значит, удачей? Думаю, что наиболее правильный ответ на поставленный вопрос мог бы выглядеть так... На многих страницах Проханов писал свою книгу распахнуто, наотмашь, эмоционально и талантливо преодолевая собственный рациональный, неталантливый замысел. Преодоление это развивается волнообразно, зигзагами. Вверх, вниз; вверх, вниз... Иногда роман беззащитен и уязвим даже перед благожелательно настроенным читателем, не говоря уж о тех, кто заведомо не принимает подобную прозу.

Но зато автор вышел к нам в предельном откровении всех своих плюсов и минусов, действительно распахнутый настежь, как бы говоря: вот я какой — нате, берите меня со всем, что есть, казните или милуйте, но по-другому я не могу... И это не худшее качество. Искренность в литературе — начало истинности. Относительной истинности, конечно. Но кто из нас может претендовать на обладание истинной абсолютной? Проханов искренне считает, что именно такое построение: именно такой книги должно быть сделано именно таким образом. И разве он не имеет права на это?

Подбивая итог, становясь на горло противоречивости собственных ощущений да и справедливости ради выхожу на окончательно определенную интонацию: значительность новой работы Александра Проханова несомненна, роман «Время полдень» заслуживает того интереса, который вызвал Художественные поиски автора, его эксперимент в области сюжета и фабулы идет по восходящей линии, а созданный им образ главного героя, ученого-экономиста Ковригина, несмотря на умозрительность некоторых мотивов его поведения, надеюсь, займет подобающее ему место в ряду заметных персонажей литературы последних лет.

И все-таки еще один вопрос из серии противоречивых. На столбовой ли дороге развития нашей современной литературы находится роман «Время полдень»? Думается, что да... Но в какой разряд дорожных указателей следует его отнести? Призывающих следовать прямо? Сделать поворот?

На мой взгляд, Проханов принадлежит к той категории писателей, которые не то чтобы изобретают новые дорожные знаки, а постоянно тревожат внимание «водителей», напоминая о том, что впереди пересечение с другой дорогой... С какой? Проселочной? Автострадой?... А может быть вообще предстоит пересадка на принципиально иной вид транспорта? Вертолетный, например? Или ракетный?..

Но все эти сложные ассоциации — они из области воображения. Реальность же нашего разговора о творчестве Александра Проханова много яснее и проще. Я не случайно предпринял столь глубокий рейд в историю нашего знакомства. Проханов прошел серьезный путь в литературе от первых проб пера до книг, вызывающих внимание читателей и критики. Он выработал свои принципы и следует им. Его дарование раскрылось и в прозе и в публи-

цистике. Как и все дарования, оно имеет и светлые и притемненные стороны. В данном случае светлых сторон намного больше. Это бесспорно.

И я убежден, что писателю именно такого диапазона и мастеровитости, может быть, и был бы по руке и по перу тот самый Большой Роман о Тюмени, о котором мы говорили. Ну если и не сразу по руке, так ведь есть же еще время. А Проханов показал, что зря его не теряет, что он идет вперед, что умеет на ходу набирать классность ремесла.

Но, может быть, я напрасно зову его под тюменские знамена? Может быть, у него уже сложен зачин своей и только своей новой песни? Все может быть... Не Проханов, так другие придут под знамена Тюмени. Придут обязательно. Потому что знамена эти, говоря языком военных приказов, овеяны славой. Они всегда были в руках людей, умеющих хорошо делать свое дело.

В ДОРОГУ!

Июньский (1983) пленум Центрального Комитета КПСС серьезно поставил вопрос о необходимости глубоких качественных изменений в производительных силах нашего общества. «В сфере экономической, — говорил на пленуме Ю. В. Андропов, — ключевая задача — кардинальное повышение производительности труда. Мы должны стремиться достичь в этом плане высшего мирового уровня... Сейчас, в условиях научно-технической революции, эта задача приобрела особое значение — как для нашего внутреннего строительства, так и в международном плане».

Международный авторитет Тюмени велик. Именно высокой производительностью геологического труда были поражены в свое время специалисты во всем мире, когда между Уралом и Енисеем одно за другим с минимальными промежутками во времени вставали в строй действующих месторождения, на открытия которых в капиталистических странах уходили десятилетия.

Но нет пределов для совершенства. Газ и нефть Тюмени могучими потоками вливаются в экономику страны. А на новые перспективные газонефтеносные площади Западно-Сибирской низменности снова выходят отряды геологов. Растут задачи и планы, увеличиваются энергетические потребности народного хозяйства. Их надо обеспечить новыми открытиями, и делать

это требуется еще в более короткие сроки, чем раньше, еще энергичнее и быстрее.

Сибирская нефтяная геология всегда была передовым цехом геологической службы страны. Здесь планы по приросту запасов, по производительности на один буровой станок, по сейсморазведке, по вышкормочным работам перевыполнялись не просто на десятки, но иногда и на сотни процентов.

На фоне деятельности некоторых отраслей нашей экономики, в которых (чего там греха таить) наблюдалось не только отставание, но и срывы государственных планов, работа тюменских геологов с ее постоянно, традиционно высокой производительностью труда всегда являла пример огромной нравственной силы, обладавший неопенимым воспитательным значением. Да, именно так это и было. Тюмень всегда была ярким положительным примером для подражания, она всегда воспитывала, всегда вольно или невольно адресовалась к лучшему в человеке, была упреком тем, кто забывал о долге перед страной, народом, перед самим собой в конце концов. Она будоражила, привлекала к себе внимание, не давала успокоиться, она была (да простят нам это старомодное слово) действительно маяком в масштабе всей страны. Она звала за собой и только одним фактом своего физического существования делала ненужными все абстрактные лозунги (выше! быстрее! шире!), потому что сама была осуществленным, воплощенным, исполненным лозунгом.

Мне не раз приходилось убеждаться в том, что даже обыкновенный устный рассказ о Тюмени и в большой официальной аудитории, и в маленькой частной компании вызывает у людей не только чувство удивления или восхищения, но и интерес к тайным пружинам успеха того огромного государственного свершения, которое произошло на тюменской земле.

Как же все это было? Как произошло? Как удалось на гигантской территории огромного, поросшего непроходимой тайгой, затянутого болотами и хлябями пространства, называемого Западно-Сибирской низменностью, вызвать к жизни все эти новые силы, вырвать у земли ее тайны, построить города и трубопроводы, создать новый экономический район, значению и звучанию которого нет равного в мире?

Много раз обо всем этом думал и я, делая попытки охватить скрепами общей фабулы, надежным кольцом единого замысла все известное мне о Тюмени. И

много раз передо мной возникал некий библейский сюжет, разбитый на семь глав... На семь дней творения. И не создатель, не бог-отец был главным действующим лицом этого сюжета, а Геолог. Вот он появляется посреди первобытного, первозданного хаоса, посреди болот, топей и хлябей Западно-Сибирской низменности. До него здесь еще не ступала нога человека. Он первый. Вокруг него небытие тайги, небытие жизни. И только от него, геолога, зависит, останется эта земля мертвой и дальше или на ней начнется новая жизнь. Он должен дать новое назначение этой земле, должен вырвать ее из вековых кислых болотных сумерек таежной глухомани, он должен закончить доисторическую эру этой земли и начать на ней историческую эпоху.

В его руках «божественный промысел», «божественная» функция сотворения нового, современного индустриального мира из хаоса вод и недр. Он должен сотворить мир. А он не бог-отец. И не бог-сын. И даже не бог-дух святой. Он просто человек. Ему труднее.

Но он все-таки приступает.

День первый. Сейсмика.

День второй. Вертолеты.

День третий. Бурение. Первые проявления газа и нефти, но отнюдь не в промышленных количествах, отнюдь...

День четвертый. Нужны деньги. Нужны новые ассигнования на расширение районов разведки, на выход к Ледовитому океану и так далее... И бурение, бурение, бурение. По всей Западно-Сибирской низменности. И первые, уже промышленные проявления газа и нефти.

День пятый. Хождение в Москве по высоким инстанциям, споры, доводы, аргументы — гром и молнии! Обломанные в схватках рога и сбитые о пороги высоких инстанций копыта — и доказательства, доказательства, доказательства промышленного значения тюменских месторождений. И победа — новые фонды, новые лимиты, новые средства!

День шестой. Самотлор.

День седьмой. Уренгой. Вот он!

Как написать обо всем этом? Какими словами? Как сложить сюжет? Или довериться свободному дыханию самой жизни, естественному течению событий? Как и традиции соблюсти и новации произвести?

Ведь, согласитесь же, дорогой читатель, весьма затруднительно конкурировать с тем самым уже разошедшимся широким тиражом сюжетом, в котором речь шла о семи днях творения. Вот и сидишь и ломаешь

голову: писать роман «как у людей», или еще раз махнуть в Тюмень, встретиться с геологами, посмотреть новые карты и планшеты, а потом «прошвырнуться» от Тобольска до полуострова Ямал, покувыркаться на тракторах и вездеходах в болотах и озерах, посидеть в палатках и вагончиках со старыми знакомыми, потолковать о жизни, работе — смотришь, и появится сюжет не хуже того самого, о семи днях...

Тем более что в Тюмени скоро опять соберутся писатели и читатели на большой разговор о литературе и о том, что она, литература, должна еще сделать, чтобы книги помогали в работе и жизни людям. Первый такой разговор — Всесоюзная творческая конференция — несколько лет назад в Тюмени уже состоялся. Будем надеяться, что и новая встреча читателей и писателей пройдет не без пользы.

Значит, опять собираемся в Тюмень? Где мой старый, потертый походный рюкзачок?.. Вот и Юрий Георгиевич Эрвье недавно звонил, звал с собой в Тюмень. «Слушай,— говорит,— что-то ты в Москве уж очень давно живешь. Пора в дорогу!»

Значит, снова в Тюмень?.. Зову с собой всех пишущих. Вылезайте, ребята, из-за письменных столов, из домов творчества. Айда в Тюмень! Места на Западно-Сибирской низменности хватит всем.

И может быть, все вместе мы разгадаем наконец секрет Тюмени, загадку Тюмени. Потому что самая главная тайна Тюмени — это тайна ее положительного примера, тайна ее воздействия на героическое начало в человеке. И чем больше людей будет писать о Тюмени, тем громче будет звучать этот положительный пример, тем сильнее будет воспитание Тюменью.

Это тот самый случай, когда литература может концентрированно, направленно влиять на производительность работы человека. Потому что стремление учиться у других делать лучше то, что ты сам пока делаешь хуже,— одно из главных качеств добротной человеческой природы. Убежден в этом. На этом держится мир. Этим он движется вперед.

И каждому, кто поедет в Тюмень, я желаю найти там своего д'Артаньяна — свой образ событий и свершений, которые происходили и происходят на тюменской земле, свой символ труда, любви, товарищества, дружбы, справедливости, мужества и отваги.

И может быть, все вместе так или иначе мы одолеем наконец Большой Роман о Тюмени. Как это будет происходить, разберемся на месте.

Главное — торить дорогу.



ЖИЖИ ОЕ ОЬ ОЗ РЕ ИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Алла Марченко. «Соразмерно пространству своего изумления». — **Б. Рунин.** Утренний свет. — **Руслан Киреев.** Эффект отсутствия. — **Александр Каменский.** С чем рифмуется сад.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Валентина Елисеева. Возвращение.

Литература и искусство

«СОРАЗМЕРНО ПРОСТРАНСТВУ СВОЕГО ИЗУМЛЕНИЯ»

Александр Эбаноидзе. ...Где отчий дом. М. «Молодая гвардия». 1982. 479 стр.

Однотомник Александра Эбаноидзе, вышедший в издательстве «Молодая гвардия», открывается романом «...Где отчий дом». «Брак по-имеретински» «завдвинут» в конец книги. Вскользь говорит о нем и автор послесловия — известный грузинский прозаик Реваз Джапаридзе.

С точки зрения издательской тактики, раскладка понятна: новинка есть новинка. Однако тех, кто незнаком с первым романом Эбаноидзе, считаю нужным предупредить: читая однотомник в порядке, предложенном издательством, вы познакомитесь с двумя разными произведениями, но рискуете не заметить, что это, в сущности, диалогия, что романы связаны и общим предметом /«...маленький клочок грузинской земли в Верхней Имерегии», и общим чувством, и общей «длинной мыслью».

«...наш дом, стоящий на припеке между четырьмя большими липами... походил на большой улей. Только улей этот был болен чем-то, он постепенно пустел, пустел, и вот теперь в нем не осталось никого, кроме единственной рабочей пчелки, хранительницы бычаев и обрядов, и она все ходит по комнатам в черном платье...».

Этот минорный аккорд — нечто вроде развернутого эпиграфа — кажется написанным специально для «Отчего дома», основная тема которого — раскол, распад семьи, затухание очага. А между тем дом, похожий на большой улей, дом, наполненный лишь шарканьем старческих ног, встречает нас

на самом пороге брызжущего веселостью «Брака по-имеретински». Вырезанный из ландшафта, он так многозначителен, что загораживает собою и горы, и реку, и деревню. Но в это самое мгновение сюжет делает крутой вираж: перебегает с теневой, минорной, на солнечную, мажорную, сторону. На попутном грузовике, в компании веселых старух «с рвущимися из рук воздушными шарами» Ладо Инашвили въезжает в родную деревню по другой дороге — открывающей то, что большой дом хотел заслонить: голубые виноградники на склонах, красные черепичные крыши, купы садов, темно-зеленые волны чая.

Один из рецензентов назвал первый роман Эбаноидзе сказкой, почти мифом. Мифология тут, конечно, ни при чем, а вот сказочный элемент действительно присутствует в романе, правда на правах той самой палочки ванили, которой, как уверяют кулинары, над ванильным тортом надо лишь слегка помахать. Присутствует он и в эпизоде въезда в деревню, равно как и в предшествующей ситуации выбора жизненного пути в момент кризиса, когда настоящее исчерпало себя, а будущее никак не начинается.

Критики, писавшие о «Браке по-имеретински», увидели в Ладо «кающегося горожанина», вступившего, «подобно множеству предшественников, на хорошо обкатанный большак город — деревня».

По-моему, это не совсем так. В отличие

от своих предшественников Ладо каяться не в чем. Город не только не перекармил его — не заметил, смел, как ворох платановых листьев, к окраине. Запихнул в каморку. Не принял в игру. Не от переизбытка жизни — пусть жадной, грешной и даже пошлой — бежит наш Пигмалион, а от дефицита ее. Нехватка жизни — вот что срывает его с места. Но и на возвращение никаких надежд он не возлагает. Это всего лишь порыв, движение доброго и отзывчивого сердца в ответ на письмо от отчего дома с горестным предупреждением: «...если хочешь застать меня в живых, приезжай».

Короче: традиционная ситуация — свидание с родной деревней — переосмыслена в первом романе Эбаноидзе явно не традиционно, я бы даже сказала, с сознательным намерением оттолкнуться от общего решения. Вот тут-то и приходит на помощь сказка, точнее наше воспоминание о сказочном прецеденте: кто поедет прямо, тот будет голоден и холоден, кто поедет в правую сторону, тот будет здоров и жив, а конь его будет мертв, а кто поедет в левую сторону, тот сам будет убит, а конь его жив и здоров окажется.

Как и положено доброму молодцу. Ладо выбрал правую сторону: доверился жизни и своему имеретинскому здравомыслию и имеретинской же беспечной мудрости. Главное — быть здорову и живу да поступать по совести, а там видно будет. За правильный выбор судьба и награждает его. По-сказочному, то есть с избытком (и намек и урок другим молодцам): дарует и первую большую работу, и первую любовь самой красивой девушки Имеретии.

А парикмахерские будки в избыточном для одного села числе! Три на единственной площади! И над ними автор помахал ароматической сказочной палочкой! Одна — странная, похожая на явочную квартиру из детективного фильма. Вторая — прокуренная, оклеенная картинками из «Советского экрана», аляповатая и все равно «жалкая, как нищета, рядающаяся в чужие обноски». И наконец — третья. Светлая. С чисто побеленными стенами и «большим трезвым зеркалом в котором все краски отражались ярче, чем они были на самом деле».

На первый взгляд — этнографическая подробность, имеретинский курьез. А на деле — поэтический кунштюк, композиционный фокус, позволивший Эбаноидзе у нас на глазах, не удаляясь за кулисы, проиграть все возможные варианты жанрового решения. Под кавказский детектив? Под кавказский неореализм? И т. д. Повествование

ведь еще на развилке, и у автора тоже есть возможность выбора.

Как и его герой, Эбаноидзе выбирает самый жизнелюбивый поворот. Будто «большое и трезвое зеркало», «Брак по-имеретински» отражает действительность с правильностью почти этнографической. Точность в сочетании с чувством меры и строго соблюдаемый режим экономии оправдали себя. Выполненная в слове модель Верхней Имеретии кажется куда более похожей на оригинал, чем сама Имеретия!.. Ничто не забыто и все поместилось, все равно и ровно освещено авторским вниманием — и блики на поверхности медовой и малахитовой речки, и, как говорится, борьба общественных сил.

«Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи...» Всю правду докладывает и «трезвое зеркало» Эбаноидзе: краски независимы от того, что отражается в этом зрячем стекле — лицо, пейзаж, интерьер или жанровая сцена, — оказываются ярче, свежее и чище, чем были на самом деле.

«...краснота этого лица собрана из множества точек: желтых, золотистых, коричневых и розовых, в сумме, общими усилиями дающих цвет настолько живой и интенсивный, что мне как человеку, имеющему отношение к искусству, невозможно было равнодушно смотреть на него».

«Вечерело. Солнце закатилось, и небо над нашей горой сделалось слащаво розовым. На вершине под розовым небом паслись крошечные коровы и овцы — можно было подумать, что это те самые коровы и овцы, которых Гулливер вывез из Лилипутии в кармане своего кафтана».

«Август был в разгаре. Потный, краснощекий, обещающий изобилие. Перед страдой народу в деревне стало больше. Люди свое отработали. Теперь они не спеша мыли кувшины для вина и латали плетеные сушильни для кукурузы, а в виноградниках вкалывало солнце».

Я уж не говорю о «скромных» имеретинских завтраках! Разглядывая разложенную Эбаноидзе деревенскую снедь, и не захочешь, а вспомнишь Кончаловского: «...поставить хорошо натюрморт — это уже полдела».

«На столе стояла славная свежая закуска: зеленая, помидоры и огурцы с грядки, дымящаяся кукурузная лепешка и молоденький сыр, стручковая фасоль под яйцом и умытая редиска. А также влажный, потный, студеной и стройный вместительный кувшин с вином».

Александр Эбаноидзе как бы отдал Ладо «глаза своего детства», запомнившего мир

таким же четко-красивым, каким, скажем, в памяти Гранта Матевосяна сохранился сад его деда: «...хорошо помню его сад, похожий на чистые и подробные акварели европейских натуралистов: красивые, ухоженные грядки, несколько кустов роз». Детское зрение необходимо Ладо прежде всего «по профессиональной линии». Ладо — скульптор, одержимый идеей «изваять образ... деревни... своего рода признание в любви — что-то, чтоместило бы ее сердечность, красоту, трудолюбие, ее легкий и лукавый нрав».

Автор, конечно, мог, вмешавшись в повествование, внести необходимые поправки в сделанную героем расстановку. Но не вмешался: он ведь тоже нуждается в средствах, чтобы создать идеальный портрет Имеретии в лучшие ее минуты, и ему также без интенсивной палитры не обойтись. Но «Брак по-имеретински» — это не только лирико-эпическое признание в любви родному краю. Это еще и роман о первой любви, которому также необходима способность «трезвого зеркала» сдвигать изображение в сторону яркости и красоты.

Истинно художественное произведение о любви, и притом о любви счастливой и взаимной, — редкость необычайная. Уж очень велико сопротивление материала. Уж слишком реальна опасность провала в сентиментальность. И в классике-то: раз, два — и обчелся. А в наше время... Возьмите сверстников А. Эбаноидзе — тех, о ком принято говорить, что они держат руку на пульсе современности: Матевосяна с «Похмельем», Маканина с «Отдушиной» и «Рекой с быстрым течением», Михальского с «Холостой жизнью». Во всех этих вещах в центре авторского интереса — мужчина и женщина. Но то, что происходит между ними, не имеет никакого отношения к любви. А ведь читатель во что бы то ни стало хочет верить, «что бывает любовь на земле». И не в эпоху Ромео и Джульетты, и даже не во времена «дамы с собачкой». А сегодня. Здесь. Сейчас. А ему говорят: «Есть дама, есть собачка, где-то рядом ходят Гуровы, а любви не будет» (В. Михальский, «Холостая жизнь»).

Беллетристика, естественно, заполняет вакуум, но читатель уже научился отличать синтетическую литературу от настоящей. А настоящая, серьезная и строгая проза проблемами любви не занимается, у нее заботы другие.

Эбаноидзе нарушил неписанный закон. Не разрывая с традициями «изящной прозы», написал о любви.

В театральной практике есть такой прием: короля играет не сам король, а его окружение. Нечто аналогичное мы видим и в «Браке по-имеретински». Ладо, поглощенный большой работой и борьбой с напастями ремесла, не замечает своего состояния. Уже «больной любовью», он и рассуждает, и мыслит, и действует как совершенно здоровый. И лишь его зрение — слишком праздничное и чересчур доброе — выдает его «высокую болезнью» — так (когда не понять, что это — слепота или, наоборот, сверхзрячесть) умеет смотреть лишь любовь.

Читатели, те давно догадались, что в «Браке по-имеретински» главное — любовь, а вот критика не позволила себе опуститься до подобного простодушия. Роман был зачислен в ряд произведений на сельские темы.

В соответствии с принятыми в «строгой прозе» установлениями был истолкован и момент «облавы на жениха», в котором, как мы помним, участвует вся деревня, включая и бабушку Ладо — черно-серебряную Теброню: «...«ладонь» имеретинской деревни мигом становится напряженной и жесткой, как только общий любимец Ладо начинает борьбу за личную независимость» (В. Камянов).

«Когда Ладо предложил Нуце позировать, Бесо прикинул, сколь выгоден скульптор как жених... И началась «охота»... «общественное мнение»... на стороне Бесо... Обстановка вокруг Ладо накаляется» (А. Абу-Бакар, «Литературное обозрение»).

На мой взгляд, в романе Эбаноидзе война всех против одного, коллектива против личности имеет совсем другой смысл. Это не заговор общественной и даже патриархальной морали, это заговор любви — недаром в нем участвует сама имеретинская ночь, «беззвездная, свежая, пахнущая молодым вином, айвой и лопнувшими от зрелости, вывернувшимися наизнанку плодами инжира»... Окликая Ладо на все голоса, она повторяет то же самое, о чем знает «вся деревня»: «Никуда тебе отсюда не уйти». А вся деревня лишь переводит на язык здравого смысла то, что твердит Ладо его внутренний голос. Помните эпиграф к роману? «Что внутренний голос нам внятно твердит, то нам неизменной судьбою горит». Общественное мнение в данном случае является чем-то вроде античного хора: объясняет герою несказанное. И имеет на это право, ибо раньше, чем замороженный делом Ладо, разглядело в суতোлке деревенского быта «замысел его судьбы».

В конце романа «знаменитый Гамрекели», учитель Ладо, говорит о его скульптурной группе «Акробаты»: «В них есть то, что кто-то назвал «травестией невинности»... Тебе удалось сыграть в то, что десять лет назад было для тебя серьезом». Эти слова без всякой натяжки можно отнести и к «Браку по-имеретински»: тридцатилетний Александр Эбаноидзе легко и изящно сыграл то, что десять лет назад для двадцатилетнего Ладо Инашвили было «серьезом».

В новом романе Эбаноидзе «...Где отчий дом» разрыв между временем действия (1979—1981) и временем написания (1981) минимален, материал не успел остыть, перезаживания — утратить первоначальную остроту. Но, думается, «серьез» и главной думы и общего настроения объясняется не только этим.

В предисловии к рецензируемому одному А. Эбаноидзе пишет: «Старый терпеливый дом на горе, окруженный постаревшим виноградником. Дом моих предков. Отсюда видно далеко, пока хватает глаз... Неспешным шагом отвыкшего от круч горожанина я могу без труда добраться отсюда до любимого места, описанного в моих двух романах». Без этой подсказки даже внимательный читатель вряд ли узнал бы знакомые по «Браку...» места: селенье на склоне горы, медовой речку, дремучее ущелье. смуглый зной ежевичной поляны. Старое выцвело, а новое: цинковые кровли, железнодорожный мост — не вписывается в ландшафт, в его простую и ясную гармонию. Как и тринадцать лет назад, на имеретинской земле хозяйничает август. Но как не похоже это «насекомоподобие» на нашего прежнего знакомого — краснощекоего, потного земле-дела!

«...с соседних гор... в ущелье свисали дорожки и тропки, похожие на обрывки веревок... в одичавших, разросшихся кущах на месте заброшенных дворов краснели обомшелые черепичные крыши: нестерпимо сверкали оцинкованные кровли двух новых домов, и на старой пустоши белела полуразвалившаяся известковая печь... Внизу по ущелью петляла речка... изящный железнодорожный мост соединял обе стороны ущелья. Августовский зной точно живое многорукое существо, обнимал землю. Избыток солнца хинной горечью отставался на грядках в поздних огурцах прожигал язвы в больных филлоксерой виноградных листьях». (Разрядка моя.— А. М.) В «Браке...» и бедный июньский завтрак — умытая редис-

ка! — смотрелся щегольским натюрмортом; в «Отчем доме» щедрые дары имеретинской осени выглядят бесхозной, бесформенной грудой: «...стол завален айвой, грушами, инжиром, хурмой, виноградом, гранатами, каштаном, кизилом, жареной кукурузой».

Но, может быть, причина всех этих грустных перемен — время? Как-никак, а целых тринадцать лет прошло! И А. Эбаноидзе лишь фиксирует приметы «уруна» и «порухи», принесенные в имеретинский «земной рай» процессом урбанизации? Не без этого, конечно, но главное, как мне кажется, в другом.

Изменилось пространство авторского изумления (Вл. Одоевский) и соразмерно ему — соотношение «ближнего плана» и «дальней перспективы»: они как бы поменялись местами и в центре нового изумления оказался зараженный неведомой порчей дом. Тот, что в «Браке по-имеретински» был отодвинут на периферию повествования законом краткого праздника жизни. Впрочем, для одной из героинь «Отчего дома» — Тани Махотиной — он еще продолжается. Но это не настоящий праздник. Это грузинское ревю, срежиссированное куплетистом Джано Джанашиа (он же Сардион Гачечиладзе) в качестве эффектного финала к их курортному роману по незамысловатому — фабрикуется в кино — рецепту: «...нужно взять красотку килограммов на шестьдесят (по режиссерскому плану эта роль отведена Тани Махотиной.— А. М.), бурдюк вина лятров на десять, погрузить все это в машину и, посыпав розами и календулой, отправиться в горы. В горах нужно найти живописное место... Найдя такое место, к вину и красотке добавить барашка... Очень хорошо, если под рукой найдется приятная компания. Затем костер: пламя должно быть умеренное, не жаркое, но и не дымное, а главное — первобытное»...

Постановка с участием непрофессиональных актеров удалась на славу. Московская мечтательница улетает в дождливую столицу, так и не сообразив, что вместо настоящей Грузии ей подсунили подделку — суррогат.

Танино путешествие в страну чудес окончилось, но наше продолжается. Меняются гды Додо Турманидзе передает нас Джано Джанашиа, затем роль проводника берет на себя русская жена его младшего брата Доментия, чтобы в последней главе уступить ее мужу... Глава Доментия обрывается на середине — его смерть в результате несчастного случая. Оборванный

маршрут продолжает автор. Он-то и выводит нас к уже знакомому (по «Браку...») ущелью, а мы не узнаем его. Неприбранная, почти непригожая, словно бы уставшая «держатъ фасон» — нет-нет, это совсем не та Имеретия, в которую мы сразу влюбились после первого путешествия! Ни легкости, ни беспечности, ни лукавства. Серьезное, трудное, невеселое житье-бытье. Да не промахнулся ли автор? Целил в курортную дешевку, а одним махом побиваюм и свой собственный образ, созданный в «Браке по-имеретински»? Не промахнулся. Точно выбранная — пошлая — мишень выводит из-под удара этот роман. Имеретинская антидиллия («...Где отчий дом») не уничтожает, а дополняет имеретинскую же идиллию, как два портрета одного человека, сделанные в самую счастливую и самую грустную пору его жизни. Разумеется, никто из героев-рассказчиков второго романа и не подозревает о миссии, возложенной на них автором. И Додо, и Джано, и Доментий, и Поля, а до них Тая Махотина рассказывают себя. Именно себя, а не о себе. Это не совсем исповедь, но и не вполне история: и исповедь, и история, и думанье вслух. Почти все отведавшее под роман время автор раздал героям, не заботясь о том, сойдется ли узор, состыкуются ли пять разных повестей в романе, не прервется ли при таком мягком креплении нить связанного повествования. Как правило, сюжет, передаваемый по эстафете и обрастающий по мере движения разными точками зрения, усложняет наши первичные представления и о ситуации в целом, и о каждом втянутом в него персонаже. В романе «...Где отчий дом» этого не происходит: калейдоскопичность обслуживает не авторскую мысль, а пущенную на самотек жизнь, то есть не усугубляет момент условности, а, напротив, снимает его. Отягощенные каждый своей отдельной ношей, герои «Отчего дома» толкуются, топчутся каждый вокруг своего кольшкка, сталкиваются, соприкасаются, отталкиваются — непроницаемые друг к другу, глухие к ультразвуковым излучениям не своего горя. Оттого-то и не устанавливаются ожидаемые, привычные для калейдоскопического романа диалогические отношения между исповедами — историями-монологами. И это куда нагляднее, чем слово, прямое или авторское, и даже поступок, показывает, как далеко зашел разлад: уже не просто расхождение во взглядах, чувствах и т. д., а нечто вроде дивергенции.

Дивергенция — слово классическое, прош-

ловекое, дарвинское, но объяснить происходящее с героями «Отчего дома» так, как это сделала бы великая классическая литература, свято верившая, что яблочко от яблони недалеко падает, Эбаноидзе не решается: опыт не позволяет. И потому вообще воздерживается от объяснений. Только констатирует факт: никто из сыновей Большого Георгия: ни Маленький Георгий, ни Джано-Сардион, ни даже младший, Доментий, — не унаследовал ни его страсти к земле, ни хватки, ни ремесла. Да, Доментий в отличие от старших братьев остается при доме и земле. Но в качестве кого? Вроде как разнорабочего. Его дело — вольное и безответное, для души, не для пользы — на стороне находится. Оттого-то и дом, возведенный руками Большого Георгия для всего своего рода, остается без хозяина задолго до того, как погибает «брат Доментий» — чудака, «исусик», святая душа.

Еще более диковинные плоды вырастают на крепком и выносливом родословном древе Сато и Эраста Турманидзе: цирковая «штучка» Додо да красавец Одиссей, король приморских кабаков, которому его саксофон «и мать заменит, и отца, и целый белый свет». Эти яблочки-ягодки в такую даль откатились, что отчий дом видится им лишь в одной ипостаси — доходного дома, в котором даже воспоминания детства негде спрятаться.

Сами герои — внутри своих «повестей» — до конца не сознают меры одиночества. Вынесенный в начало эпилог (действие приурочено к весне 1981 года) не оставляет читателю никаких иллюзий: это уже та степень отчуждения, когда нет нужды маскировать ее суррогатами родственных чувств. Джано, правда, еще пытается делать хорошую мину при плохой игре — все-таки актер, — но Поля со свойственной ей простоватостью открыто заявляет, что «не рада» даже случайной, ни к чему не обязывающей встрече с братом покойного мужа.

Чужие. Чужее чужих. И тем не менее роман закрываешь с чувством отнюдь не пессимистическим, наоборот, с надеждой, что жизнь свое возьмет истоит за себя, что старый дом на горе дождетс лучших времен, что прошлое не исчезает, а затаивается в настоящем, чтобы превратиться в будущее. Именно эту — «катарсисную» идею тайно несет в себе эпизод, которым кончается роман: «...машина остановилась, смолкла, сдалась, по дверцу утонув в глинистой жиже. Подойдя к ней, через залитые водой стекла можно было увидеть не-

молодого мужчину за рулем — он плакал, повалившись на баранку, — и утешавшую его красивую женщину, умело скрывающую свой возраст; а на заднем сиденье между угловатыми, испуганно притихшими девочками, вытянувшись в струнку, сидел мальчик лет шести — лохматая головка на тонкой шейке, тугие загорелые щеки и большие глаза, с недетским вниманием смотрящие на мир....»

С немолодым мужчиной (это Джано), равно и с его супругой (это Додо) яснее ясно: они навсегда завязнут в глине своего

настоящего; ничего не обещают и расплывчатые, невнятные лица их дочерей: пустоцветы, выросшие на переуваженной благоденствием грядке. И только Буба.. Нетнет, недаром эти иные глаза глядят на вас сквозь бессмыслицу утратившего «нить жизни» существования с недетским вниманием. Глядят. Правда, ему всего лишь шесть лет и он сын Додо и Джано. Но ведь мы уже знаем: яблоко от яблони ох как далеко падает...

Алла МАРЧЕНКО.



УТРЕННИЙ СВЕТ

Павел Шубин. Стихотворения. М. «Художественная литература», 1982. 303 стр.

С чувством ностальгической грусти и ощущением неожиданно пахнувшей на меня молодости прочел я этот однотомика, автор которого ушел от нас более трех десятилетий назад. Да, миновало много лет, за это время пришло в литературу и утвердилось не одно поколение поэтов, а стихи Шубина, как оказалось, живы и поныне. Больше того, читая его однотомика, я с радостью обнаружил, что иные из них не только сохранили свое былое звучание, но и как бы вобрали в себя нравственный опыт последующих годов, приобрели дополнительную сущность. А кроме того, убедился в том, о чем подозревал и раньше: внутренняя обязательность и эмоциональная свежесть — свойства не только фронтовой лирики Павла Шубина, но во многом и его довоенного творчества.

Книга живо напомнила мне, как в сороковом году едва мы познакомились, он, в ту пору недавний москвич, а в память о годах учебы и по поэтическим привязанностям все еще ленинградец, прочел свой только что написанный «Утренний свет»:

Мы в сад входили От незримых дел
Он, словно улей целый день гудел:
Дрались жуки, за мухой сгряз летел,
Шли муравьи войной в чужой предел...

Стихи поразили меня тогда завидной непосредственностью и полной раскованностью чувства при гочной наблюдательности и строгой классичности. Помню, я долго носил в памяти эти счастливые строки, все собираясь списать «Утренний свет» полностью, да так и не собрался — наши встречи были случайны и редки.

Мог ли я тогда предполагать, что пройдет немного времени — и судьба сведет нас в редакции фронтовой газеты, причем уже

надолго — до самого конца второй мировой войны! Сколько раз там, на фронте, читая по просьбе товарищей вслух эти светлые стихи, проникнутые столь взыскуемой нами человечностью и полнотой бытия, Шубин вносил успокоение в наши смятенные души. А читал он превосходно, с той простотой и скромностью, с тем уважением к поэтическому слову и с тем чувством авторского достоинства, которые начисто исключают какую бы то ни было крикливость или позу.

Даже по одному лишь «Утреннему свету» можно заключить, что Павел Шубин еще до войны обрел поэтическую зрелость и заявил себя убежденным сторонником, так сказать, пришивинского мироощущения в литературе. Младший современник, частый гость, а к тому же и земляк глубоко почитаемого им автора «Лесной капели», Шубин тоже остро ощущал в жизни природы ее творческое начало, неисчерпаемую созидательную мощь, естественную логику вечного обновления. Уроженец раскинувшегося в придонских степях села Чернава, он никогда не забывал в стихах о своей исконной деревенской закваске, но вместе с тем — и это особенно хочется подчеркнуть в наши дни — доверчиво и жадно тянулся к городской культуре.

Кровными узами связанный с землей и с простыми заботами сельского труженика, Шубин в то же время был далек от поэтизации косной патриархальности. И, странное дело, когда теперь, в 80-е годы, читаешь стихи Шубина 30-х годов, посвященные прощанию с босоножим детством, с полынными степными просторами, с домовитым запахом хлеба и дыма, в них находишь порой более глубокое понимание объективного хода истории и непреложно-

сти ее социальных велений, чем в лирике иных нынешних поэтов, все еще идеализирующих былую деревенскую отсталость.

Чувство восхищенной близости к природе вовсе не было связано у Шубина с каким бы то ни было консерватизмом. Оно носило скорее философско-артистический, нежели заповедно-охранительный характер. Во всяком случае, то, что для некоторых современных стихотворцев, тоже расставшихся в юности с деревенским укладом ради городского существования, стало источником драматизма, для Павла Шубина уже тогда было социально-психологической потребностью и закономерным переходом жизни в новое качество. Гармоничное сочетание в ранней лирике Шубина этих двух начал — сельского и урбанистического — радует своей зрелой простотой.

Наверное, этой зрелости способствовало и то обстоятельство, что в стихах Шубина с самого начала прослеживается и другая эмоционально-тематическая координата. Я имею в виду его столь же обостренное чувство родной истории.

Вспоминая сейчас свои бесчисленные фронтовые разговоры с Павлом, преимущественно ночные, я берусь утверждать, что его стремление проникнуть в прошлое своего народа, глубоко осмыслить становление русской национальной культуры, и присущая ему жажда понимания настоящего как творимой на глазах истории, — что сама эта тенденция его мышления сложилась в результате по-юношески восторженного приобщения к Ленинграду, к его дворцам и памятникам, улицам и площадям.

К тому же именно Ленинград за десять лет превратил пятнадцатилетнего паренька из-под Ельца в широко образованного молодого поэта, чьи обширные познания в области российской истории и российской словесности во многом еще до войны предопределили саму его поэтику и круг образованных ассоциаций.

И надо же было так случиться, что майор Шубин, будучи призван в армию, попал не куда-нибудь, а именно на Волховский фронт, то есть «под стены» города своей юности, но теперь уже не торжественно-прекрасного, а величественно-сурового, блокадного, обреченного на девятьсот дней невиданных жертв и героического сопротивления врагу. Нет ничего удивительного в том, что тема борющегося Ленинграда вошла во фронтовую лирику Шубина не по долгу службы, а по зову сердца.

Впрочем, историзм шубинской лирики проявился не только во вдумчивом осмыслении подвига, вписанного в анналы вели-

кой войны ленинградцам. Два года, проведенные поэтом на Волховском фронте, не могли не воскресить в его воображении и образы, связанные с Ледовым побоищем, с новгородской вольницей, с торговым путем наших пращуров из варяг в греки. Подобные реминисценции не только свободно, но, я бы даже сказал, неизбежно вписывались Шубиным в эту ширящуюся стихотворную панораму ожесточенной битвы, которую вели советские войска на древней русской земле.

И все же, несмотря на обилие исторических и фольклорных вкраплений, эти стихи Шубина и сейчас очень современны. Среди них читатель книги найдет несколько истинных шедевров военной лирики. К их числу я бы отнес, например, балладу о раненом шофере, который с честью выдержал поединок с немецким асом и довел до места назначения свою трехтонку со снарядами:

Крутятся под «мессершмиттами»,
С руками перебитыми,
Он гнал машину через грязь,
От Волхова до Керести,
К баранке грудью привалясь,
Сжав на баранке челюсти...

Виртуозно владея метрическими и ритмическими возможностями современного стиха, его фонетическими эффектами и разнообразием интонационных оттенков, Шубин в самом главном ориентировался на традиции русской стихотворной классики с ее четкой композиционной и строфической дисциплиной, полнозвучной рифмой, неизменной смысловой ясностью. Тут следует заметить, что его осведомленность по части богатств отечественной поэзии была феноменальной. Насколько я знаю, он держал в памяти едва ли не все ее достижения.

Случилось так, что на Волховском фронте собралась довольно большая группа стихотворцев разных возрастов. Тогда еще никто из нас не знал о существовании танкиста Сергея Орлова, как и пехотинцев Давида Самойлова и Александра Межирова, которые воевали где-то рядом. Но имена таких ленинградских поэтов, как Всеволод Рождественский, Александр Гитович, Анатолий Чивилихин или Владимир Лившиц, были известны читающей публике и до войны. Иной раз в дни затишья все они собирались у нас в редакции «Фронтовой правды». Так вот, свидетельствую: даже в такой компании Шубин выделялся своими профессиональными познаниями. Ему всякий раз предлагались труднейшие испытания такого рода. Но едва кто-либо начинал читать вслух специально для такого слу-

чая припасенное стихотворение, допустим Каролины Павловой или Случевского, не говоря уж о Державине или Иянокентии Анненском, как Павел подхватывал и наизусть дочитывал малоизвестный текст до конца.

В его лице я тогда впервые столкнулся с феноменом абсолютной поэтической памяти — редким аналогом абсолютного музыкального слуха. Как бы там ни было, хорошие стихи своих товарищей по призванию Шубин почти безошибочно запоминал с первого прочтения. Словом, нет ничего удивительного в том, что, несмотря на молодость, к концу сорок второго года он стал общепризнанным «старшиной поэтических сил» Волховского фронта. Разумеется, этому способствовала и его редкостная популярность в частях.

Такие стихи Шубина, как уже упомянутый «Шофер», где напряжение заурядного, казалось бы, боевого эпизода передано с удивительной экспрессией, а главное, с огромным уважением к будничному героизму рядового воина, с полным пониманием всей тяжести его каждодневных усилий, физических и нравственных, — такие стихи наполняли сердца простых бойцов искренней симпатией к поэту.

Наша солдатская лирика знает немало стихотворений, ставших по праву хрестоматийными и прочно вошедших в литературный обиход благодаря своим очевидным поэтическим достоинствам. «Я убит подо Ржевом» Твардовского, «Землянка» Суркова, «Давно мы дома не были...» Фатьянова, «Перед атакой» Гудзенко. «Ладожский лед» Межирова, «Его зарыли в шар земной...» Орлова... К подобным стихам, где отчетливо выражена психология самоотверженности и воинского долга как высшего веления совести, я бы отнес и «Подмига» Шубина. Этот внутренний монолог бойца, вся воля которого сконцентрирована на последнем броске к острым вспышкам огня «оскаленной» вражеской амбразуры, и сейчас поражает страстью и искренностью:

Мне б только
Вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод,
Всадить ее,
Врезать, как надо,
В четырежды проклятый дзот,
Чтоб стало в нем пусто и тихо.
Чтоб пылью осел он в траву!
...Прожить бы мне эти полмига,
А там я сто лет проживу!

Хорошо помню тот августовский день сорок третьего года, когда Павел вернулся в редакцию из-под Мги, где шли тяжелые

бой, и молча протянул мне листок с этими исполненными яростного наступательного порыва и мрачного ожесточения строчками, которые были написаны его четким и аккуратным почерком. Стихи эти и поныне каждый раз поражают меня той сжатой энергией, с какой передано в них душевное состояние человека за полмига до поступка, могущего стать главным и последним в его жизни.

Надо сказать, что передовая сразу и по достоинству оценила это стихотворение. Когда оно на завтра появилось в газете, бойцы вырезали, а то и переписывали его. Оно давало им основание гордиться и собой и своим поэтом, чья слава на нашем фронте к тому времени приобрела почти легендарный характер. Ведь Шубина, помимо всего прочего, любили и как автора «Волховской застольной», которая хотя и не была еще опубликована, но уже при каждом подходящем случае привычно распевалась во всех блиндажах и землянках:

Будут навеки в преданьях прославлены
Под пулеметной пургой
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой...

Даже после освобождения Ленинграда от блокады мне не раз доводилось слышать эту песню далеко от тех мест. «Волховскую застольную» пели потом и в войсках, сражавшихся в Заполярье, и даже на 1-м Дальневосточном фронте. Она как бы сопутствовала автору, который после Волхова вместе со своей газетой исколесил весь северный театр военных действий — от Лодейного Поля на Свири до Мурманска, а когда страна отпраздновала победу над Германией, пересек Россию из конца в конец — от Баренцева моря до Тихого океана.

Вспоминаю, что перед отправкой на Дальний Восток, когда наш редакционный поезд стоял в резерве в Ярославле, Павел написал новые слова на мотив старинного вальса «На сопках Маньчжурии» — слова, которые тоже приобрели популярность в частях. У меня в памяти сохранилась лишь одна строфа

Там, за дымкой голубой,
Небо родины над тобой,
Спи, товарищ мой,
Смолкли выстрелы,
Отгремел твой последний бой...

Это и прощание с теми, кто ценой своей жизни разгромил немецкий фашизм, и одновременно предвидение грядущей битвы с Японией, и попытка представить себе далекий неведомый, но памятный отцам театр военных действий. Вообще география

войны сказались на творческой биографии Шубина. Тут о многом говорят даже места написания его стихов — лес близ станции Малая Вишера Октябрьской железной дороги, лес возле разъезда № 9 под станцией Неболчи, разъезд Мурманские Ворота, станция Кола в Заполярье, Ворошилов-Уссурийский и т. д. Все это стоянки нашего редакционного поезда. Но кроме того под стихами Шубина мелькают многие другие названия населенных пунктов и городов: Мясной Бор, Папоротно, Кириши, Чудово, Новгород, Петсамо, городки в Северной Норвегии Киркенес и Эльвинес, наконец — Харбин, Хобей, Порт-Артур. Волховские болота, карельские леса, скалы Заполярья, сопки Маньчжурии...

Меняется природа, меняется характер войны, меняется система исторических ассоциаций. При всем том в большинстве фронтовых стихов Шубина, даже самых батальных и повествовательных, слышна пронзительная личная нота, ощущается движение души поэта, присутствуют его мысли о родных краях, о любимой женщине, о сыне, о собственной судьбе:

В эту полночь, когда пред нами
Поле в злобном кипит огне,
Ты о ком там грустишь, на Каме?
Обо мне иль не обо мне?
.....
А сынишку в руках качая,
Чтобы помнил отца мальцы,
Ты ему про меня ночами
Говоришь иль не говоришь?..

Он был поэтом лирическим по преимуществу, а значит, его личность прямо ли, косвенно ли, но обязательно выражала себя в стихах независимо от того, чему они посвящены. Конечно, в однотомнике Шубина фронтовые переживания преобладают над всеми прочими и эмоционально и количественно. Но, читая эту книгу, каждый почувствует, что имеет дело с человеком, жившим даже там, на войне, жизнью, исполненной высокой интеллектуальности и духовности. С человеком светлой мечты, тонкой душевной организации и неистребимого стремления к добру. Таким он был до войны, таким же, несмотря на все ее ужасы, вернулся с фронта.

Может быть, вот эта наиболее существенная черта его самоуглубленной и в то же время остро нуждающейся в признании натуры нигде не проявилась с такой отчетливостью, как в стихотворении «Соседу за стеной», начатом в сороковом, а завершено лишь в сорок шестом году. Судя по тому, что оно бесконечно дорабатывалось, стихотворение это много значило для Павла. Там, на фронте, он лишь

однажды попробовал прочесть его вслух, но потом, несмотря на просьбы товарищей, никогда больше этого не делал. .

И все не так, как понимаешь ты.
Он будет жить, дворец моей мечты,
На курьих ножках, на собачьих пятках,
Пока играет солнце в светлых прядках
Ее волос, пока слеза дробинкой
Бежит из глаз широких с голубинкой.
И все не так, как понимаешь ты...

В обстоятельном вступлении к книге исследователь творчества Шубина А. Коган справедливо отмечает, что главной душевной заботой поэта было стремление «найти и сохранить поэзию в жизни, не пренебрегая самой жизнью». Да, Шубин дорожил драгоценными бликами утреннего света, без которых тускнело его романтическое в своей основе видение мира. И не вина поэта, если эпоха обязала его надолго отвернуться от дворца сказочной мечты, чтобы пристальнее взгляды в крошечную мглу войны. О ней он написал много, куда больше, чем вошло в однотомник.

На первый взгляд такое отношение к фронтовому наследию поэта может показаться даже неправомерным. У меня сохранилась вышедшая в 1943 году маленькая книжечка стихов Шубина (третья в его жизни). На ней дарственная надпись, сделанная на упомянутом выше разъезде № 9. Более половины напечатанных в ней стихотворений я в рецензируемом сборнике не нашел. И должен признаться, первой моей реакцией было чувство несогласия, даже протеста. Как же так, думал я, неужели можно было пренебречь стихами, созданными под непосредственным впечатлением от кровопролитных боев у Мясного Бора при наступлении 2-й ударной армии на Любань? Тем более что эти стихи тогда же вошли в книжечку, самый выпуск которой был чрезвычайно знаменателен: ведь она увидела свет в блокадном Ленинграде! Не так уж много поэтов удостоились подобной чести. И если Павел Шубин вошел в их число, значит, чем-то его стихи, такие, как «Мы идем, Ленинград!» или «Партизанская», могли облегчить участь жителей осажденного города...

Но потом я понял, насколько прав был составитель однотомника — сын поэта А. Шубин, отказавшись от включения в книгу стихов хотя и проливающих свет на те или иные обстоятельства, однако мало что говорящих о самосознании автора. Честность поэзии в том, чтобы выплеснуть в стихах свою жизнь до дна, пусть даже они будут негромкими. К такому выводу Шубин пришел еще до войны. «Не рассуд-

ка дар скупой, не разгульных чувств запой — каждый стих — судьбы веленье, плод случайности слепой».

Составитель, будучи физиком, а не литератором, тем не менее подошел к своей задаче со всей взыскательностью истинного ценителя поэзии. Он был озабочен не столько соображениями полноты готовящегося издания, сколько желанием утвердить па-

мять об отце как о Поэте. В каждом стихотворении он искал прежде всего «судьбы веленье». И потому при отборе руководствовался критерием выразительности и неповторимости, а не соображениями, связанными с тематикой.

Это стремление мы должны оценить по достоинству.

Б. РУНИН.



ЭФФЕКТ ОТСУТСТВИЯ

Валерий Алексеев. Прекрасная второгодница. Повесть. «Юность», 1983, № 2.

Говорят, о литературном произведении надо судить не по тому, чего нет в нем, а по тому, что в нем имеется. Универсальная вроде бы формула. На все случаи жизни годная.

На все — да не на все. Проза Валерия Алексеева, например, не то что опровергает ее, но заставляет усомниться в ее всеобщности. Впрочем, вынося в заглавие рецензии холодновато-нейтральное слово «отсутствие», я имел в виду не только элемент эстетический, то есть умение автора недоговорить, остановиться, расчетливо смолкнуть в самый напряженный момент. Умение, которое В. Алексеев демонстрировал и в прежних своих работах. Мы ведь так и не узнаем, чем же закончилась история с Наташкой (повесть «Последний шанс «плебей»). Какую месть задумал Фарафонов («Выходец с Арбата»). Насколько серьезны отношения героини «Игры в жмурки» с новым ее поклонником. Не узнаем, и нас это несколько обескураживает. Мы-то как привыкли? Коль скоро проза назидательная — а автор именно так назвал свой последний сборник, — то никаких подвохов в ней, никаких недосказанностей. Ясность полная. Она в книгах В. Алексеева есть, такая ясность, но лишь в назидательном пафосе произведения, а не на уровне, скажем, интриги или характера.

Вроде бы частность. Но как раз этими «частностями» и жила до сих пор проза В. Алексеева — жила именно как проза, как художественная структура. Я бы даже острее сказал: писатель компенсировал с помощью проверенных эстетических приемов эстетическую же недостаточность приемов назидательных. Именно это и определило не совсем обычное для рецензионной практики обстоятельство, что наш разговор начинается не с того, о чем это, а с того, как это.

И все же, повторяю, слово «отсутствие»

имеет в данном случае более широкий смысл. Что скрывается за молчанием московской девятиклассницы Сони Мартышкиной — «прекрасной второгодницы»? За ее упорным нежеланием до конца объясниться со своим «куратором» Игорем Шутинвым? Пока речь идет о математике или физике, она еще внимает ему — куратор как никак! — стоит же заговорить о вещах отвлеченных, замыкается в себе или насмешничает.

Соня Мартышкина демонстративно отсутствует — в школе, дома, при встречах с друзьями. Вернее, с другом, ибо кроме «куратора» Игоря Шутинова, у нее нет никого. «Золотко мое, что бы я делала здесь без тебя», — прорывается у нее. Только однажды прорывается, да и то в записке, которую она написала ему и бросила из окна. То есть и здесь — отсутствие...

Что это? Уж не имитация ли сложности. Не пытается ли автор выдать вздорную и недалекую девчонку, озлобленную к тому же (так временами кажется), за натуру противоречивую и глубокую?

Приглядимся к Соне повнимательней.

С каким тайным нетерпением ждет она возвращения из загранкомандировки старшего брата Игоря — Константина! Как приставляется к нему! И как серьезно забирает девицу вывезенная из тропиков таинственная статуэтка, которая то ли действительно «вызывает состояние, близкое к восторгу», то ли является изящной безделушкой и ничем кроме. Безделушкой, которой дурачат публику.

С загадочным божком этим связана в повести... нет, не фантастическая линия, линии нет как таковой, — пунктир. Фантастический пунктир, так скажем.

Это угончение фантастического начала, столь широко присутствовавшего в прежних повестях В. Алексеева, показательно и симптоматично. Причем симптоматично

не только для автора полусказочных повестей «Кот — золотой хвост» или «Удача по скрипке», но и для текущего литературно-го процесса в целом.

Смотрите, что происходит. Такие убежденные реалисты, как, скажем, М. Роштин, начинают мифологизировать свою прозу (я имею в виду рассказы «Канистра» и «Лифт»), а записные фантасты или вовсе отказываются от условности, или обходятся пунктиром, намеком. Этот встречный процесс достаточно сложен и заслуживает, может быть, специального разговора. Сейчас я хочу лишь объяснить, почему в одном случае говорю о мифологизации, а в другом — об условности.

Миф — это все же сгущенная реальность, концентрат, которого в природе нет, но который приготовлен из материалов натуральных. А условность? Это, что ни говори, продукт лабораторный. Работая с ним, надевают белые перчатки, и упаси бог, чтобы влетела пылинка с улицы. Улица — там, эксперимент — здесь, и окна задраены намертво.

Кому-то, возможно, в этом послышится негативный оттенок, но его нет. Я уважаю писателей, которые работают в этом жанре, я глубоко чтю его родоначальника Владимира Одоевского, но в то же время нельзя не видеть разницы между той и другой фантастикой. Между фантастикой Одоевского и фантастикой Гоголя.

Так вот, Валерию Алексееву, писателю во многом «условному», в лаборатории душно стало. Распахнул окна. Двери раскрыл. Но инструмент остался прежним, и это не могло не наложить на повесть своего отпечатка.

Прежде всего лабораторность предлагаемой ситуации — в расстановке действующих лиц. Тут все выверено, все рассчитано, каждая фигура на своем месте и работает так, чтобы вы сразу видели, кто тот, а кто этот. Сугубо положительный брат Костя, самоотверженно поехавший в экзотический Шитанг осушать болота, и сугубо отрицательная Ирочка, ехать в экзотический Шитанг отказавшаяся... Добрый и безвольный папа и импульсивная, но тоже добрая мама Преданная сестренка Ника-маленькая. Младший брат Игорь, не по возрасту умный в речах и инфантильный в поступках. Отчим Сони Георгий Борисович, который...

Стоп! Вот уж Георгия Борисовича не обозначишь двумя словами. И клеточку-ячейку для него не вдруг подберешь. Не какая-то там пылинка залетела с улицы — человек вломился. Неудобный, шумный,

смешной, наивный, с его занесенным сугробами «Запорожцем» под окном и умением «любить и просто так, без отдачи». Редким умением. Редчайшим. В повести, во всяком случае, им больше не наделен никто. Все чего-то взамен требуют, даже сугубо положительный брат Костя, этакий обаятельный скромняга, по-хозяйски расположившийся в центре нарисованного автором семейного портрета. Ну что ж, он это право — право на центральное место — собственным горбом заработал.

А Георгий Борисович, отчим? Каковы его права? Неизвестно. Он о них знать не знает, исключая права заботиться о жене и дочери, пусть даже дочь эта неродная. И одевает ее, как королеву, и водичку «Байкал» чуть ли не на подносе подает, она же с ненавистью (показной ли, нет — этого мы до поры до времени не знаем) цедит сквозь зубы: «Захлебнись ты своим «байкальчиком». Георгий Борисович поворачивается и уходит с виноватым видом. Не оскорбленным — виноватым. Сокрушается: «Губит себя мне назло... демонстративно не хочет учиться».

Этот ворвавшийся «с улицы» громкоголосый человек портит классически разыгрываемую партию. Он портит ее уже тем, что самоуправно выходит на первый план, спутав, а то и разорвав центральные сюжетно-смысловые связи. Соня — Игорь... Соня — Ирочка... Соня — Костя... Все эти ниточки, которые столь искусно протянул автор, начинают вдруг испуганно трепетать, как это бывает, когда вместо ожидаемой мушки в паутину впархивает воробей.

Георгий Борисович — Соня... Вот что стало лично для меня полюсами, и не какая-то ниточка между ними, а поле высокого напряжения. Оно, поле это, просто не может не возникнуть, поскольку заряжены полюса, как это и должно быть, по-разному. А остальные герои? Остальные не заряжены никак. Нейтральные тела... Нейтральные, однако не бесполезные — без них слишком быстро произошел бы ряд.

Сейчас он происходит под занавес. Это когда «прекрасная второгодница» говорит: «Мне пора... Папа будет беспокоиться». Причем без всякой иронии говорит, всерьез — прежде мы от нее ничего подобного не слышали (раз, правда, прочли: «Золоток ты мое...» — помните?). Вообще не слышали ее человеческого голоса — только наmeshка, только вызов, в лучшем случае издевательская вежливость. Даже с двухгодовалым племянником Иваном не особенно церемонится: «Зачем проснулся?» «...кто

же ее раздражает? — пытается понять кандидат в медалисты Игорь Шутинов. — Может быть, я? А может быть, вообще все люди?»

Может быть. Ибо какие люди окружают ее? Ее да и нас с вами тоже? Хорошие? Плохие? Разные. Разные люди, то есть один и тот же человек может быть одновременно и хорошим и не очень хорошим, а Соня Мартышкина «убеждена, что мир исчисляется только целыми, а дроби — это нечто незаконченное, недосчитанное, дефективное».

Мы-то с вами знаем, что это не так, и грамотный Игорек знает, знает и честно старается переубедить свою подопечную, но та слушать не желает: «Не докажешь ты мне ничего».

Почему? Он ведь очень умно говорит, кандидат в медалисты, да только Соня Мартышкина словам не верит. Ей поступок подавай. Поступок! Вот тогда она, может быть, и соизволит прервать свое затянувшееся отсутствие. Тогда может быть, вернется сюда, и вернется не затем, чтобы «возле рынка в чулочном ларьке» торговать, а чтобы жить.

Игорь на поступок не тянет. Он способен хорошо вычислять (не зря чуткая Нина-маленькая дарит ему калькулятор), но действовать не способен.

Кто же способен? Брат, герой Шитанга? Да, это поступок — укатить в Шитанг; но не слишком ли торжественно говорит о нем Костя? «Это святое, Гошка, пусть они любят это так же, как я... Не дадим в обиду Шитанг». Уж не иллюстрирует ли себя Костя (воспользуемся его собственным выражением)?

Соня чувствует это, но пока что не отдает себе в том отчета. Лишь интуитивно угадывает, что не там ищет она настоящее.

Где же тогда? Где искать?

А этажом ниже — вот где. В собственной своей безалаберной квартире. Там, где

нянчит двухгодовалого Ивана ее смешной и неловкий на слова отчим.

«Папа будет беспокоиться». Это прозрение. Вот только Игорь при всех своих выдающихся аналитических способностях толкует ее слова превратно. Считает, она сказала это ради Кости.

Пишу это, а сам так и вижу, как внутренне протестует автор. Он ведь свою героиню к Косте подталкивает, к романтическому герою (рецидив той самой условности), в то время как сердечко ее потянулось наконец — пока что безотчетно — к чудаковатому папе Мартышкину, наделенному великим даром «любить без отдачи».

В конце повести Соня Мартышкина не столь загадочна, как в начале. Земнее. Понятнее. Теплее. Это «эффект отсутствия» перестает действовать. И пусть «прекрасная второгодница» еще не окончательно возвратилась из своего холодного далека, первый, самый трудный шаг сделан.

Откликнулась... Повернулась... Или, если быть точным, полуобернулась, и это опять-таки жест симптоматичный, из того же ряда, что и упомянутое выше уточнение фантастического начала в прозе, которую мы называем условной. Подобно «прекрасной второгоднице» медленно поворачивает она лицо... К чему?

«К жизни» — так и норовит сорваться с пера, но мы придержим это определение. Ибо братья Шутиновы — это не жизнь разве? Ирочка — не жизнь? Не жизненные (по-своему) рассуждения Игоречка? Как же сбрасывать все это со счета? Отворачиваться совсем? Видеть одни лишь вечные ценности (например, умение «любить без отдачи») и не видеть другого? Тогда ведь снова — неполнота, снова — отсутствие каких-то пусть и не главных, но существенных сторон. Вот почему мне столь дорог алексеевский полуоборот. Он, по-моему, свидетельствует о стремлении к панорамному видению мира. Стремления, которое не может не быть плодотворным.

Руслан КИРЕЕВ



С ЧЕМ РИФМУЕТСЯ САД

Д. С. Лихачев. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Л. «Наука». 1982. 343 стр.

Дм. С. Лихачев. Служение памяти. «Наш современник», 1983, № 3.

Имя Дмитрия Сергеевича Лихачева обла- дает не только огромным авторитетом, но и особым обаянием. Когда-то он был известен преимущественно как исследователь культуры Древней Руси. Затем еще и как

глубокий истолкователь различных аспектов теории и практики всеобщего литературного процесса. Подлинная универсальность познаний закономерно обусловила выдвижение Д. Лихачева на пост председа-

теля редакционной коллегии «Литературных памятников» — самого, пожалуй, фундаментального из современных серийных изданий.

Проникнутые духом историзма, работы Лихачева всегда прямо и непосредственно соприкасаются с глубинными запросами современной культуры. Именно с этих позиций ученый вступает в контакт с историей: видит прошлое из наших дней, отчетливо слышит нынешнее эхо давних событий, обрывов, размышлений.

Потому столь органична в восприятии Лихачева вечная взаимосвязь «литература — реальность — литература» (так называлась недавно вышедшая книга его историко-литературных этюдов). Потому лихачевские «Заметки о русском» были восприняты с таким жадным интересом и стали неотъемлемой частью нашего общественного сознания.

Подлинный талант всегда неожидан. Новая книга Д. Лихачева называется «Поэзия садов». Такое заглавие не поэтическая вольность. Оно вполне отвечает сути предмета: речь в этом обширном исследовании идет именно о садах и парках. Казалось бы, что за дело литературоведу до садовых стилей? Может быть, это просто чудачество, которому предаются ради отдохновения от привычных и порядком утомивших трудов?

Ничуть не бывало. В своей новой работе (ее подзаголовок — «К семантике садово-парковых стилей») Д. Лихачев рассматривает сады и парки как особую форму художественного сознания человечества, глубоко родственную и поэзии, и живописи, и архитектуре, и театру, и многим иным видам и жанрам искусства. Но вместе с тем как совершенно автономную и ни с чем не сравнимую по синтетичности область творчества. Садовому ансамблю могут служить все искусства, но при этом его палитра, его пластика, его динамическая зрелищность опираются на живую природу, а люди тут не только зрители, но и прямые соучастники эстетического действия.

Во вступительной части исследования Д. Лихачев определяет смысл сада как мечтательного образа человеческой фантазии: «Сад — это подобие Вселенной... Но сад — книга особая: она отражает мир только в его доброй и идеальной сущности». Со всеобъемлющей, многоязыковой эрудицией, которая позволяет точно и исчерпывающе рассказать «все о садах», автор раскрывает исторический смысл и художественно-эстетические оттенки «книги сада» в разные времена. Делается это мастерски. «Поэ-

зия садов» — образец научно-художественной прозы. В чем тут состоит научность, подробно объяснить не нужно: четкая систематизация колоссального материала, строгая аргументация, безукоризненная доказательность обобщений, которые опираются на доскональное и всестороннее знание исторических фактов.

Художественность лихачевского текста не всегда постигается сразу. Автор вовсе не стремится к внешней беллетризации, широко вводит научную терминологию, дает массу ссылок и цитат — словом, остается в привычных жанровых рамках научного исследования. Но он не просто излагает факты и делает выводы, а воссоздает целостный облик, духовный строй и зрительные формы каждого садового стиля. Отдельные аргументы становятся мазками выразительной исторической картины, которая и раскрывает реальное осуществление стилевых принципов, а с ними определенную философию жизни, представления о возвышенном и прекрасном.

Вот, к примеру, одна из первых в книге «научно-исторических картин» — повествование о древнерусских монастырских садах. Ему предшествует тончайший анализ семантических особенностей западноевропейских садов средневековья, которые были, по сути дела, сложными символическими структурами, являясь аллегориями жизненных закономерностей и красоты мира. В садах монастырей Древней Руси иной была не только символика, но и вся, так сказать, драматургия зрелища. Цветы, деревья, травы для создателей этих садов «принадлежали к первому ряду в иерархии эстетических и духовных ценностей». Монастырские сады не имели утилитарного значения — им надлежало манить к себе птиц, услаждать зрение, радовать душу, словом, создавать ощущение нерушимого блаженства, воспевая мудрость и гармонию мироустройства.

Д. Лихачев не просто излагает все эти положения (что, впрочем, и само по себе очень важно, ибо убедительно итожит огромный и малоизученный исторический материал), но как бы приходит вместе со своим читателем в эти сады. Минуя ограду, символически отделявшую эти райские кущи от всяческой греховности, мы оказываемся в садах, «где нет труда, где обилие всего, где поют птицы и цветы не только украшают, но и распространяют благоволение». Читая текст, мы явственно видим эти сады, ощущая их возвышенную поэзию.

Средневековая эстетика садов отводила человеку роль умиленного созерцателя

всемирной гармонии. В отличие от этого «в садах Ренессанса воплотилась преобразованная природа с преобразованным в ней и освобожденным человеком. В садах Ренессанса главным стал человек в подчиненной ему и его разуму природе». Реализацию этих коренных художественно-философских перемен Д. Лихачев видит прежде всего в новой пространственной системе и архитектуре: сады получили большие перспективные развороты и их геометризованные контуры вобрали в себя идею разумной и логичной организации природы. Характерно, что в этих садах изначально намечались определенные видовые точки, откуда вся зрелищная композиция раскрывалась наиболее полно и законченно: ренессансные сады не растворяли в себе человека, но служили своего рода портретом его воли, вкусов, власти над миром.

В садах Ренессанса наряду с прочими украшениями и декоративными деталями устанавливались античные статуи, посредством чего, как отмечает Д. Лихачев, давала себя знать «историчность сознания» творцов сада, ибо статуи для них были как бы овеществленными воспоминаниями о прошлом. Тут уместно, наверное, сказать и о новом оттенке категории времени. Средневековый сад символизирует вечность, поэтому для него нет ни прошлого, ни будущего, — автор же ренессансного сада осознавал себя в определенном хронологическом ряду. Быть может, сами пышность и архитектурное красноречие типичного сада этой эпохи в какой-то мере связаны с чувством быстротечности жизни и отсюда со стремлением прожить ее как можно более насыщенно и празднично.

В начале книги Д. Лихачев говорит о зыбкости общепринятых определений стиля — Маньеризм, Барокко, Рококо и т. д. Некогда представители формальной школы в искусствоведении пытались свести сущность художественных стилей к искусственному набору формальных признаков. Такой метод давно обнаружил свою несостоятельность, особенно очевидную при попытке определить образно-поэтическую суть видов искусства. А ведь к этому более всего стремится Д. Лихачев в своей книге и потому постоянно выносит на первый план черты художественной философии, только в этой связи рассматривая архитектурно-композиционные, пластические и иные особенности садовых ансамблей. А поскольку делает это опытный литературовед, то неожиданно он раскрывает в новом для себя материале такие черты и качества, которые обходили или недостаточно фиксировали историки

изобразительных искусств. Так, главным отличием «садового Барокко» Д. Лихачев считает появление «иронического элемента», моментов игры, маскарада, метафоры. Кустам и деревьям придают формы статуй, ваз, зверей; сами статуи прячут в кустах и деревьях, появляются обманные перспективы, никуда не ведущие аллеи, фонтаны-шутки и т. д. Словом, Барокко в «зеркале» садов предстает таинственным, полным загадок, парадоксов и гротескности. Нечто сходное встречалось и в литературе той же эпохи (должно быть, это и бросилось в глаза автору книги), а вот живопись XVII века, будучи занята иными проблемами, лишь косвенно соприкасалась с эстетикой подобного рода.

Сады Классицизма, напротив, по своей поэтике и архитектонике составляют нечто общее с живописью того же стиля. Знаменитый парковый ансамбль Версаля, созданный во второй половине XVII века Ленотром (рассказ Д. Лихачева об этом ансамбле принадлежит к числу самых сильных и впечатляющих «исторических картин» книги), закономерно вызывает в памяти работы Пуссена и Лоррена. Объединяющим началом тут оказываются идеалы разума и спокойного величия, особая классическая страстность. Причем исходной основой для них служит рационализм картезианского типа, который был философской почвой и версальской стилистики и близких ей композиций.

Динамический хаос, зыбкая смутность, клочущее внутреннее напряжение в образах садов Барокко и строго упорядоченная ясность классицистического Версаля составляют два основных аспекта в мировосприятии и образном мышлении своей эпохи. В их сосуществовании Д. Лихачев обособно усматривает новое для той поры качество человеческой культуры — многозначность и разноплановость.

Впрочем, в одном Барокко и Классицизм — в их «садовых» вариантах — близки и даже едины (причем качество это оказывается рубежной гранью во всей истории и поэтике садов): ранее сады создавались как аналогия прекрасному миру — теперь они становятся подчеркнуто-самовольной моделью вселенной, которая свободно переиницируется в соответствии с определенными эстетическими концепциями и принципами.

Замечательным примером такого «переиницирования» были сады, созданные по замыслу и при прямом участии Петра I. В книге Д. Лихачева практически впервые раскрыт их широкий программно-эстетиче-

ский смысл. Чаще всего эти сады рассматривались как одна из прихотливых забав государя, строго выдержанная в духе голландского Барокко. При этом причудливо-небрежный разброс аллей, лабиринтов, скульптур, фонтанов и иных парковых деталей, казалось бы, таил в себе сложную и разностороннюю поэтическую семантику, которая на свой лад создавала идеальную картину государства российско-го. Эта картина включала в себя и элементы классического образования, мифологические образы, бюсты знаменитых мужей. Но они не представляли собой особых, инородных вкраплений, а, по мысли Петра, были неотъемлемой составной частью новой российской культуры. Вся же Россия в целом, как ее отражали петровские садовые ансамбли, представляла и как торжественно-величавый образ, и как блаженная земля свободных душевных радостей и отдохновений, и как грандиозная морская держава, символика которой на тысячи ладов раскрывалась в сюитах фонтанных каскадов...

Подробнее, с исчерпывающим знанием предмета рассказав о садах Рококо и Романтизма в Европе и России (особо останавливаясь при этом на их «пейзажности», которая давала огромные возможности «для выражения в природе человеческих чувств, для слияния природы с личностью человека»: таковы были шутивно-иронические маскарады и театрализации в рокайльных садах, символика мимолетности жизни, культ меланхолии и отшельничества в садах Романтизма, сочетание в них игровых и нравоучительных моментов и т. д.), Д. Лихачев с особым вдохновением трактует тему «Пушкин и „сады Лицея“». Относительно краткая эта глава по сути дела является поэтическим сердцем книги. Для начала автор восстанавливает общую топографию и мельчайшие детали царскосельских садов, где «смуглый отрок бродил по аллеям». Научная строгость реконструкции вовсе не мешает воспоминаниям и переживаниям чисто автобиографического свойства.

«По старым фотографиям и по личным впечатлениям,— замечает, например, Д. Лихачев,— пишущий эти строки знает, что даже тогда, когда золотая на Екатерининском дворце в Царском Селе не было, а капители, вазы, кариакиды были грубо окрашены в желто-коричневый цвет, созерцание садового фасада дворца через черные полутора-столетние стволы и зелень лип доставляло редкостное эстетическое наслаждение»... Вообще, к слову сказать, вся петербургская часть книги соединяет в себе строгую научную объективность с глубоко личными вос-

поминаниями и переживаниями (порой связанными с непоправимыми разрушениями и необоснованными новациями) старого петербуржца-ленинградца, что придает «Поэзии садов» особый колорит.

Дав исчерпывающее представление о том, как выглядели царскосельские сады в начале XIX века, автор затем вскрывает взаимодействие поэтики этих садов с лицейскими стихотворениями Пушкина. Получается своего рода литературоведческая fuga с вариациями: ощущение свободы, вольности и наслаждения, которое внушали поэту окружающие его сады, рассматривается Д. Лихачевым в многосложных переходах от стихотворного текста к «тексту» пейзажному. Заключительный вывод: «Царскосельские сады научили Пушкина сладости воспоминаний, связали поэзию Пушкина с постоянными реминисценциями прошлого и научили его ценить вольность» — подготовлен всей предыдущей аргументацией.

Позволю себе здесь небольшое отступление, связанное с другой недавно опубликованной работой Д. Лихачева — я имею в виду его статью «Служение памяти» («Наш современник», 1983, № 3). Живое и острое восприятие искусства прошлого, которое пронизывает книгу «Поэзия садов», получает философско-историческое обоснование на страницах упомянутой статьи. «Память вовсе не механична. Это важнейший творческий процесс, именно процесс и именно творческий... Память противостоит уничтожающей силе времени», — пишет Д. Лихачев в этом кратком трактате об исторической памяти человечества в ее нравственных и художественно-эстетических аспектах. Именно в этой связи автор статьи цитирует знаменитые пушкинские строки:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Святые слова! Они воспринимаются как поэтическая формула памяти, и недаром Д. Лихачев приводит их как бы на ходу, среди михайловских рощ, когда им овладевает «стихия пушкинских воспоминаний».

В рецензии на книгу о садах уместно сказать о «любви к отеческим гробам» в особом плане. Давно пора отдать себе отчет в том, какое огромное место в нашем вечном диалоге с прошлым занимают кладбища. Ведь только беспмятные ничтожества не почитают могилы своих предков. Места захоронения олицетворяют собою и увековечивают высокую человеческую нравственность; тут само время отчеканивает жизнен-

ные итоги целых поколений. О формах кладбищенской архитектуры и скульптуры необходимо написать — глубоко, серьезно и обстоятельно, и книга Д. Лихачева о поэзии садов может послужить тут прекрасным образцом и примером.

Идет в этой книге речь и о «темных аллеях» русских усадебных садов, а также и о самых общих закономерностях и особенностях истории садово-паркового искусст-

ва. Книга Д. Лихачева, пожалуй, впервые в современной русской литературе раскрывает эти закономерности и особенности. Она учит читать, любить, понимать сады, их красоту и их смысловую структуру. Сочинения подобного рода позволяют увидеть силу и великолепие человеческого творчества в новых и неожиданных аспектах.

Александр КАМЕНСКИЙ.



Политика и наука

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Р. Райт-Ковалева. *Человек из Музея Человека. Повесть о Борисе Вильде. М. «Советский писатель». 1982. 336 стр.*

Потрясенная, дочитываю последние горестные строки документальной повести о человеке, ставшем для французов легендой. И вместе со скорбным чувством невозполнимой утраты испытываю глубокую признательность автору, открывшему для русского читателя имя героя.

Десять лет отдала Райт-Ковалева этой книге, терпеливо, по крохам собирая письма, дневники, воспоминания, штрих за штрихом создавая портрет Человека из Музея Человека.

Нет, нет, это не игра слов, не нарочитая их связь. Кажется, сама история позаботилась о том, чтобы Человек, проявивший в тяжелую годину самое прекрасное, что несет это имя, остался навечно в парижском Музее Человека: здесь его мемориальный кабинет, здесь, в вестибюле, его портрет и под ним строки из приказа генерала де Голля: «Борис Вильде. Оставлен при университете, выдающийся пионер науки, с 1940 года целиком посвятил себя делу подпольного Сопротивления. Будучи арестован чинами гестапо и приговорен к смертной казни, явил своим поведением во время суда и под пулями палачей высокий пример храбрости и самоотречения».

Есть слова, не теряющие свой изначальный смысл, не меркнущие даже при частом употреблении. «Самоотречение» — из их числа. Проявляясь с наибольшей полнотой в экстремальных ситуациях (слово это чаще всего сопрягалось для нас в годы Великой Отечественной войны с именами героев), самоотречение предполагает не одновременную вспышку, не случайное озарение, а жизненную философию, следование ей в делах малых и больших, нерасторжимость слова и дела. Проследив шаг за шагом жизненный путь Вильде, автор ведет нас

к этому выводу, вызывая в благодарной памяти имена людей, объединенных духовным родством — самым надежным из всех человеческих связей — в одну семью героев, обессмертивших себя подвигом высокого самоотречения.

О природе его — очень точно и емко у Сент-Экзюпери, в его размышлениях о предназначении человека. Если все помыслы о себе, читаем мы на страницах «Военного летчика», все деяния — для себя? Итог — полное духовное обнищание. Нравственное банкротство. Одни потери. Никаких приобретений. Человек превращается в ничто. И если от него требуют, чтобы он умер в интересах чего-то, кого-то, ничто откажется. Главное для него — жить. Никакой порыв любви не может вознаградить его за смерть... Умирают за свой дом, но не за стены. Умирают за собор, но не за камни. Умирают за народ, но не за толпу. Умирают во имя любви к Человеку. Умирают только за то, во имя чего живут.

Как близки эти мысли своей жизненной позицией, идейной убежденностью тому, что читаем мы в предсмертных записях Бориса Вильде. Они велись в фашистском застенке в Париже, велись в форме диалога с самим собой. Перед лицом смерти автор диалога бесстрашно и бескомпромиссно анатомирует свое душевное состояние, проследившая все движения внутреннего «я», докапываясь до самых глубин его, не тая ни сомнений, ни молодую жажду жизни, вдруг сокрушающую все, казалось бы, незыблемые построения, ведущие к безоговорочному принятию конца.

«Прокурор пришел познакомиться со мной. Обещал, что потребует смертного приговора и своего добьется. На меня это не произвело никакого впечатления. И толь-

ко потом, думая о его словах, я сам удивился своей невозмутимости. И вовсе не потому, что не поверил его угрозам. Совсем напротив. Но мне показалось, что все это никакого значения не имеет. А ведь я люблю жизнь. Господи, до чего я ее люблю! Но смерти я не боюсь. В каком-то отношении расстрел станет логическим завершением всей моей жизни...»

Исповедь без надежды, что кто-то ее услышит, честное признание без тени самоутешения. А по ночам все настойчивее стучались в мозг и сердце мысли о невосполнимых потерях, что несет смерть, все ожесточенней становился спор с самим собой. Кто же прав? Кто настоящий из двух ведущих свой неумолчный диалог? Оба настоящие, приходит к выводу Вильде, решив назвать их просто: «я»-1 и «я»-2. Так рождаются в тюрьме, в камере смертника, поистине потрясающие по искренности и величию человеческого духа записи.

Вникая в суть спора, убеждаешься, сколь прав Вильде, признав оба «я» настоящими, отражающими его мир, его мысли, его душевный настрой. Ибо его диалог не свидетельство некой раздвоенности личности, ее смятения и потерянности, а второе «я» — не коварный друг-враг, толкающий первое к отступничеству. Спор с собой, свойственный человеку... Кто же не испытывал борьбы, порой мучительной, перед принятием какого-либо важного решения, даже и весьма далекого от проблем жизни и смерти? А здесь она стояла у порога.

Борис Вильде вел свой диалог, как и его далекий товарищ по антифашистской борьбе Юлиус Фучик свой репортаж, буквально с петлей на шее. Молодой, полный сил, красивый человек, внешне удивительно схожий с Маяковским, Борис Вильде хотел жить, любить, путешествовать, видеть небо, траву, лица женщин... Все существо его восставало против ухода из этого мира, которому он неустанно отдавал себя.

— Неужто ты так дорожишь жизнью?

— А ты? Только честно.

— Инстинкт силен, но я умею мыслить и силой воли смирять свое животное естество, свою чувственную природу.

— Животное естество? С каких это пор ты относишься к своей плоти с таким пренебрежением?..

И на какие-то мгновения природа взбунтовалась... Радости жизни! Недавнее прекрасное, теперь уже невозвратимое прошлое. Дружеские застолья, музыка, живопись... Возможно ли всем этим жертвовать! Возможно ли уйти от всего, что несла с собой духовная жизнь: от книг, которые ни-

когда уже не прочтешь, от новых удивительных открытий в избранной тобой науке — лингвистике! Смириться с тем, что никогда не увидишь Венеры Боттичелли, солнца Гогена, человечности Родена?

Вопросы, вопросы — и один из самых тяжело ранящих:

— А твоя жена?

Тут необходимо прервать диалог и обратиться к страницам, рассказывающим о любви Вильде и Ирэн, их первой встрече, возникшем крепнущем чувстве, прогулках по Парижу, радости узнавания в любимой единомышленника по вере, по идеям, которым служишь. Эти страницы помогают читателю глубже понять, какой силы преодоления требовал ответ на мучительный вопрос: «А жена? Сможешь ли ты принять разлуку с ней?» «Знаю, что мне от нее оторваться невозможно, — читаем мы в дневнике. — Но разве эта любовь исчезнет вместе с жизнью? Если так, то и жить не стоило бы... любовь есть единственная реальность, постигнутая нами в этом мире, она реальнее и жизни и смерти».

Временами диалог, подобно двум рукавам одной реки, сливаясь, переходит в монолог-размышление. Возвращение к прошлому заставлял Вильде задуматься — понял ли он до конца предназначение человека, осознал ли, что весь путь его становления этап за этапом вел к очеловечиванию?

Любовь в ее высоком гражданственном значении привела Вильде в ряды борцов с фашизмом, и теперь, в тюрьме, он вправе написать: «...я понял, чем может стать любовь. Правда, я страдал в тюрьме, но ведь я всегда норовил найти самое трудное. Зачем искать легкой смерти? У меня есть гордость».

Мимоходом оброненная фраза: «...я всегда норовил найти самое трудное». Но ничего не обходит стороной автор этой удивительной повести-документа. Борис Вильде скромнен, он ничего не рассказывает о своем участии в Сопротивлении. Об этом знают другие. Он лишь упоминает о процессе очеловечивания. Что же стоит за этими строками? Как раскрыть тайну подтекста?

«Когда знаешь про человека, кем он стал, что сделал не для отдельных людей — для всего человечества, — пишет Райт-Ковалева, — становится особенно трудно отбирать из вороха милых подробностей детства и отрочества то, что влияло на становление характера, определило вкусы и наклонности, словом, сформировало этого человека». Задача поистине гигантская, и повесть убеждает, сколь успешно справился автор с ней,

создав на основе подлинных фактов, бесспорных свидетельств художественное произведение, в котором воспоминания о герое и сами документы собрались «в один световой пучок, сфокусировались в одной точке, одним неколебимым лучом легли на его портреты, письма, стихи»...

Но прежде чем произошло это чудо преобразования фактов, эпизодов в живой образ, автору предстояло день за днем, год за годом вести неустанный поиск, требовавший терпения, профессионального мастерства, помноженных на сознание гражданского долга перед светлой памятью павших.

Вспомним запись в дневнике Вильде о любви как силе действенной, не исчезающей вместе с жизнью. Пророчески звучит эта мысль, переплавленная в повести в образ героя. Обретая как бы второе дыхание, он входит в наше сознание зримой и поистине действенной силой высокого нравственного примера для живых.

И та просветленность чувств, и особый душевный настрой, что рождает книга о Человеке, тоже не могут исчезнуть бесследно. Имя же героя невидимыми нитями связывается в нашем представлении с именами тысяч других наших соотечественников, обессмертивших себя в борьбе с фашизмом.

Соотечественников? Да, да! Он был русским, и родиной его была русская деревенька под Питером.

Не просто складывалась судьба Вильде, бросавшая его в чужие города, далеко за пределы родной страны. Родители? Вот строки, повторяющие ответы из вида на жительство, заполненного матерью Вильде:

«Я, Мария Васильевна Вильде, урожденная Голубева, русская, православная, родилась в Петербургской губернии, Ямбургского (ныне Кингисеппского) района, село Ястребино. Отец, Василий Федорович, и мать, Пелагея Андреевна, крестьяне... Семья мужа русская, православная... Муж служил на железной дороге. Жили на станции Славянка, 30 минут езды от Питера. Там родились и дети — Раечка и Борис, метрики выписали в Петербурге. Муж умер в 1913 году».

Запомним название села — Ястребино. Оно вновь всплывет, когда Бориса разделят с родиной многие и многие версты, всплывет при обстоятельствах самых неожиданных.

Первый этап скитаний — Тарту, куда переехала Мария Васильевна с детьми после смерти мужа в чашии помощи от живущих здесь родственников.

Нашел ли Борис Вильде в буржуазной Эстонии свою родину? Самое памятное тех

лет — бегство в советскую Россию, куда неустанно рвался он всей душой. В бурю, на утлой лодочке плыл он по Чудскому озеру к заветной цели. И когда она была близка и он преодолел страх смерти, потому что видел впереди родину, его обнаружили и вернули назад. Он был взят под надзор полиции, из университета исключен и сослан в глухой провинциальный город.

Чтобы понять, как шло становление личности Бориса Вильде, что имело в его жизни важное, а что не важное значение, следует прислушаться к голосу вдовы Вильде — Ирэн. «Единственное мое опасение,— пишет она автору книги,— чтобы Вы не слишком сосредоточились на юности Бориса в Эстонии... Он уехал отсюда еще совсем молодым, да и тамошняя жизнь ничем не помогла ему стать самим собой. Правда, и во Франции он по-настоящему не нашел бы себя, если бы не война... если бы он не включился немедленно в подпольную работу, которая открыла ему самому его истинную сущность...» Именно тогда он поднялся на ту духовную высоту, что открылась нам в его тюремном дневнике.

Я не стану приводить все волнующие свидетельства, на которых строит автор свое художественное, а по силе доказательств поистине научно обоснованное исследование жизни Вильде. Скажу лишь, что именно они, эти свидетельства, позволяют нам судить, сколь прочны были идейные узы, связывающие Вильде с его родиной, к которой он плыл в ту памятную для него ночь по разбушевавшемуся Чудскому озеру.

Не могу обойти молчанием один лишь как будто незначительный факт. «Веймарский вестник», 8 января 1932 года: «Проблема культуры в Советской России. Первым мероприятием Нового года был диспут между Иваном Ястребинским (Ленинград) и Зигфридом Марисом (Веймар) на весьма актуальную тему «Проблемы культуры в Советской России». Докладчик, г-н Ястребинский, определил революцию как необходимое и желательное событие в России... Он подробно осветил ту историческую обстановку, которая привела к победе большевиков. Докладчик подчеркнул, что сотрудничество между Германией и Россией было бы чрезвычайно плодотворным...»

Через несколько дней Ястребинский выступает в Йенском университете... Но на этот раз газетное сообщение («Йенский вестник») не столь лояльно характеризует увлечение докладчика большевизмом.

Ястребинский... Ленинград... Вернемся назад, к тому виду на жительство, что привела я раньше. Родное село Бориса —

Ястребино. Неподалеку Ленинград. Так родился псевдоним, под которым «русский писатель Иван Ястребинский из Ленинграда» читал в Германии доклад о культуре в советской России. Отсюда, из Германии, писал он матери о толпах безработных, о том, что «сейчас везде плохо... кроме, конечно, России».

Мог ли думать Вильде, выбирая себе псевдоним для выступлений в Германии, сражаясь в рядах французского Сопротивления, в стране, ставшей его второй родиной, где так благодарно хранят память о нем (мемориальный кабинет в музее, улица Вильде в Париже),— мог ли думать он, что вернется в родное Ястребино, вернется в орбле героя, явившего под пулями палачей высший пример храбрости и самоотречения и вставшего в один строй с теми, кто в памяти народа остался вечно живым!

Решением Ленинградского облсовета взято под охрану все, что связано с памятью Бориса Вильде в селе Ястребино: дом Голубевых, школа, где учился Борис, могила его деда и отца — «как вновь выявленные памятники истории».

Книга заканчивается словом жив ой. Это так! Она вернула героя на родину живым. Он верил, что существует вечная жизнь — не в религиозно-мистическом значении этого понятия, а в том высшем смысле, который слит с верой в неизбежную извечную победу высоких нравственных законов, в бессмертие Человека, творящего их.

Свой диалог перед расстрелом Борис Вильде завершает убежденно и страстно: вечная жизнь существует!

Валентина ЕЛИСЕЕВА.



КОРОТКО О КНИГАХ



ТАТЬЯНА ТЭСС. Друзья моей души. «Известия». 1982. 271 стр.

«Среди богатств, которыми природа щедро одаривает человека, есть один дар, драгоценней которого, по-моему, нет. Это — дар прочной памяти». Эти слова — ключ к новой книге журналистки и писательницы Татьяны Тэсс, с которой читатель давно знаком по очеркам в газете, по книге «Хранитель времени» и другим сборникам рассказов.

Мемуарный жанр имеет много оттенков и граней. Воспоминания Т. Тэсс о людях искусства и литературы, с которыми связывали ее узы дружбы, не претендуют на полное воссоздание их образов и жизненного пути. Книга состоит из небольших новелл вольной композиции — эссе. Память автора высвечивает отдельные штрихи, детали, встречи, разговоры, мысли, высказанные в задушевной беседе. В непосредственности, живости, достоверности этих кратких воспоминаний, их неповторимости и заключается, думаю, ценность книги.

«Какая россыпь материала для тех, кто хочет видеть!» — приводит автор восклицание Эйзенштейна. То же можно сказать и о ее книге. Разве не интересно узнать о неповторимой библиотеке автора фильма «Броненосец «Потемкин», об оперной постановке им вагнеровской «Валькирии» на сцене Большого театра? Или прочитать рассказ о том, как, снимая трудные кадры, Роман Кармен с кинокамерой в руках перепрыгивал с крыши на крышу вагонов железнодорожного поезда? О «неозабоченности бытом» Фаины Раневской или Анны Ахматовой?

Порой одна новелла заключает в себе другую, не менее любопытную. Так, встреча автора с известной переводчицей Щепкиной-Куперник интересны сами по себе, но не менее интересны те воспоминания, которыми поделилась с Тэсс старая писательница. Эти как бы вставные новеллы перекидывают мостик в еще более отдаленное прошлое, устанавливая связь времен. В них мы встречаемся с А. П. Чеховым, другом Щепкиной-Куперник, с французским писателем Ростаном, чью пьесу «Сирано де Бержерак» она переводила, ее глазами видим молодого М. Горького.

Взгляд писательницы останавливается не на мелких бытовых подробностях, чем грешит иногда мемуарная литература, а на том, что составляет творческую сущность человека. Это прежде всего «одержимость де-

лом, которым занимаешься». «Как встаю рано утром, так и бегу в мастерскую. Минуту — и ту боюсь потерять», — признается старый скульптор Сергей Коненков.

Народный артист СССР М. Штраух, впервые воплотивший образ Ленина на сцене, через всю жизнь пронес молодую творческую одержимость. Тут приводятся сказанные о нем слова его друга Эйзенштейна: «Счастливы те, кто умеет сохранить этот энтузиазм на весь дальнейший ход творческой жизни».

Током высокого напряжения был заряжен журналист, редактор и политический деятель Михаил Кольцов. На вопрос автора о том, как он успевает заниматься столькими общественными делами, Кольцов отвечал: «Надо только, чтобы каждое дело, которым ты в данную минуту занимаешься, казалось тебе самым важным делом на свете».

Черты народности, гражданственности привлекают Татьяну Тэсс и в творчестве прогрессивных зарубежных художников, таких, например, как мексиканский художник Сикейрос, который украсил своими крупномасштабными фресками на историко-революционные темы стены зданий, смело вывел искусство из выставочных залов.

Татьяна Тэсс не только «предается воспоминаниям». Она стремится ввести читателя в мир творчества, показать, как «факты внешнего мира становятся частицами внутренней жизни художника», как рождаются художественные образы у писателя, поэта, композитора, художника, артиста, режиссера.

Жизнеутверждающая концепция Татьяны Тэсс, созвучная настроению «друзей ее души», пронизывает всю книгу. Заключительные слова книги кратко обобщают то, о чем стремилась рассказать Татьяна Тэсс: «О силе и правде искусства. О борьбе и счастье. О мире на всей нашей большой земле».

Ксения Бродер.



ИСААК ФРИДБЕРГ. Компромисс. Маленький роман. Вильнюс. «Вага». 1982. 262 стр.

Новая книга о современности. Что нас ждет: проблемы, которые действительно волнуют сегодня, или очередная вариация на темы вековой давности, где кавалергардские лосины заменены джинсами, а гусарский ментик — майкой фирмы «Адидас»?

Читатель романа И. Фридберга, столкнувшись здесь с проблемами, характерными именно для нашего времени, не почувствует себя обманутым.

То обстоятельство, что жизнь Михаила Дробахи с самого начала складывалась на редкость благополучно, как у многих его сверстников: школа, институт, работа,— это молодого человека, что называется, внутренне расслабило, поставив в какой-то момент перед болезненной проблемой. Неожиданно он обнаруживает в себе отрицательное качество — готовность к любым нравственным потерям, только бы жизнь шла по-прежнему — без заторов. Здесь основная тема романа и источник личной драмы героя. Нравственный компромисс, еще не осознанный, а лишь осознанный героем в самом себе.

Едва определившись как социальная личность, молодой инженер Дробаха попадает в тенета некоей административной интриги, которую его сослуживец Никола Разуваев определяет странным словечком «политес». Смысл «политеса» Дробаха до поры до времени не понимает, однако решения, которые могут иметь трагические последствия не только для него, но и для других людей, в первую очередь для профессора Рибокаса, он вынужден принимать немедленно. Кажется, сама душа молодого героя стала полем противоборства задатков характера открытого, честного и соблазнов, заложенных в потребительском отношении к жизни.

Лишь пройдя вместе с героем весь путь его духовных терзаний, начинаешь понимать, что вызваны они в конечном счете нравственным максимализмом юности, болезненно реагирующим на любую фальшь не только в окружающих, но и в себе самом.

Поведение своих героев в конфликтной ситуации И. Фридберг исследует с беспристрастием врача, ставящего диагноз, и в этом определено чувствуется бескомпромиссность позиции автора «Компромисса». Написан роман ярким, точным языком, он изобилует неожиданными метафорами, живописными образами, в нем много ненавязчивой иронии, доброго юмора.

«Компромисс» — вторая книга молодого писателя, больше известного пока как кинодраматург, автор сценариев картин «Гнездо на ветру», «Пожелай мне нелетной погоды» и других. Первая его книга — сборник рассказов «Тихие праздники», написанных, кстати, свежо, лапидарно, на хорошем дыхании, — увидела свет пять лет назад в том же издательстве, к сожалению, маленьким тиражом и прошла мимо внимания всесоюзной критики. А жаль...

Влюбленный в современность, И. Фридберг пишет о ней неравнодушно, порой с болезненной пристрастностью, но искренне и правдиво.

Владимир Кочетов.



ДАНИИЛ ДОЛИНСКИЙ. И небо, и земля. Стихи и поэма. М. «Современник». 1982. 127 стр.

Поэзия — способ соединения земли и неба. Еще этим занимаются летчики. Слово «летчик», кстати, придумал Хлебников. Во

все времена — поэты, а от начала нашего века — летчики: земля плюс небо.

Даниил Долинский закончил войну летчиком, на мирную землю ступил поэтом. Он входит в ту плеяду, которая строго и торжественно называется «поэты военного поколения». Он живет в Ростове-на-Дону. Там же вышло большинство его книг.

Подростком он бродил по улицам, распевая, как сотни других, «крутится-вертится шар голубой». В первый день войны кончилась юность и оборвалась беспечная песня. Юноши становились мужчинами — бойцами и поэтами. Пройдет немного времени, и поэт по-другому осмыслит популярную песенку:

Вертится, вертится шар голубой,
шар голубой, погруженный в бой...

В небольшом предисловии к книге Даниила Долинского «И небо, и земля» Владимир Жуков пишет: «Меня все время удивляло отсутствие в военной поэзии свидетельств чернорабочих военного неба. Неужели, думалось мне, погибли все, кто мог бы своими честными строчками вписаться в эту суровую повесть?» И выправду — из небесных ратников немногие вышли в поэты. Литые, крепкие стихи со строками: «Фронт — враги поднесли, а Россия — гнев, и волю, и автомат!» — Долинский мог бы написать, не зная неба. Но поэтические свидетельства духовного состояния ночного летчика может дать только поэт, с которым это было:

Хотят меня ножницы прожекторов
навек от земли отрезать...

Какой точный образ! При всей его поэтичности образ документален, как в кино.

Кстати, о кино. Поэтическое зрение Долинского обладает редкой емкостью, собранностью или, выражаясь языком кино, сфокусированностью, точным построением плана. Прочитав стихотворение «На войну», я вспомнил кадры из знаменитого фильма Чухрая «Чистое небо», где женщины и дети на вокзальном перроне встречают летящий мимо них навстречу бою и победе военный эшелон. И вот как кратко и зримо это передано языком стиха: «Впереди поездов — гроза... Позади поездов — глаза...» Может быть, точность и сосредоточенность поэтического зрения выработаны в боях, когда Долинский был воздушным стрелком.

Но не только в точности образа поэтическая сила Долинского. Уже двадцать пять лет зная его творчество, я отмечаю его пронзительную искренность. Мастерство приходит с годами, искренность — свойство коренное. Вероятно, поэтому большинство из нас, начинающих ростовских поэтов, тянулись тогда к Долинскому, тоже еще молодому. Искренность и душевность притягивали нас.

В одном стихотворении, вспоминая комсорга своего авиаполка, Долинский цитирует его присловье: «Коль слово взял ты на бюро, скажи, чтоб за душу брало!» Годы прошли, комсомольцы поседели... Но слова военного комсорга стали для Долинского поэтическим манифестом: «„Скажи, чтоб за душу брало!“ И это на повестке дня до самой смерти у меня!»

Я не касаюсь мирных стихов Долинского, его лирики, его поэмы «Золотой повод», по-

вестующей о днях Емельяна Пугачева. По изобразительной силе она близка к поэме Долинского «Актеры», которую в свое время Николай Тихонов называл жемчужной нитью и отсутствие которой в книге очень ощутимо. Зная практически все, написанное Долинским, смею утверждать, что если бы сборник был полнее, он только выиграл бы. И выиграл бы большой читатель, к которому так долго шел поэт. Тем не менее стихи Долинского, вошедшие в книгу «И небо, и земля», ярко и убедительно говорят о творческой зрелости поэта.

Петр Вегин.



ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ГДР. М. «Наука». 1982. 543 стр.

Академический труд «История литературы ГДР», созданный советскими и немецкими учеными, охватывает почти тридцатилетнюю историю литературы ГДР и является логическим и историческим продолжением пятитомной «Истории немецкой литературы», подготовленной и изданной в свое время Институтом мировой литературы. В этом труде с марксистско-ленинских позиций осмысливаются особенности и тенденции развития литературы, возникшей на освобожденной от фашизма немецкой земле, оцениваются ее художественные качества, ее вклад в сокровищницу искусства социалистического реализма.

Серьезным достоинством коллективного труда является то, что он дает представление о движении и литературе ГДР, о ее постоянном идейно-эстетическом обогащении значительными художественными произведениями, отражающими наиболее важные события в жизни республики и ставящими глубокие жизненные, социально-политические и эстетические проблемы.

Содержание, структура труда дают возможность основательно ознакомить советского читателя с процессами развития ведущих жанров литературы ГДР на разных исторических этапах, с творчеством наиболее ярких ее представителей. В главах, посвященных поэзии 50-х годов (автор — Н. Банникова), поэзии (Г. Ратгауз), драматургии (В. Миттенцвай), наблюдается стремление выявить конкретные черты, проблематику жанров, сильные и слабые стороны отдельных произведений. Следующее десятилетие характеризуется критиками как период активных творческих, эстетических исканий и новых художественных открытий (особенно это относится к прозе — статья Х. Плавиуса). Подчеркивается рост гражданственности поэзии и ее чуткости к философским проблемам эпохи, внимание к изображению новых конфликтов и новых героев в драматургии. Причем речь идет не только о достижениях, но и об известных утратах и недостатках в развитии этих жанров.

Литературный процесс первой половины 70-х годов характеризуется только в обобщающей главе (автор — Х. Хаазе). Проза анализируется интересно и обстоятельно. Но вот специальных глав, посвященных развитию отдельных жанров, почему-то в сборнике нет. Автор статьи подчеркивает, что именно в прозе этих лет с наибольшей остротой ставятся социально-нравственные

проблемы, волнующие современников. Выявляется роль личности, индивидуума в социалистическом обществе. Подчеркивается обращение ряда писателей к теме «Художник, искусство и общество», которое тесно связано, по мысли автора статьи, с выдвижением на первый план нравственных проблем, вопросов художественного мастерства, темы свободного и всестороннего развития человека при социализме.

Изучая историю литературы ГДР, авторский коллектив постоянно сопрягает литературный процесс с теми или иными общественно-политическими событиями, нашедшими отражение в художественных произведениях, но вместе с тем не забывает, что имеет дело с искусством, с художественным творчеством, со специфическими закономерностями его развития. Это сказывается прежде всего в очерках об отдельных писателях, где мы наблюдаем становление и развитие идейно-эстетических взглядов художников, индивидуальное преломление в их творчестве общих социально-политических проблем. Здесь хочется назвать главы о Франце Фюмане (Н. Павлова), Кристе Вольф (А. Русакова), Гюнтере де Бройне (И. Млечина), Вилли Бределе (С. Рожновский), Людвиге Ренне (П. Топер), Бертольте Брехте (И. Фрадкин), Фридрихе Вольфе (В. Девекин), Куба (А. Гинзбург) и других. К сожалению, некоторые главы о писателях написаны несколько трафаретно, обзорно. Вместо проблемного анализа творчества писателей авторы нередко ограничиваются пересказом содержания произведений.

Глава о литературоведении и критике (автор — К. Ярман) — толковая, методологически верная, но написана несколько общо. В ней, например, обходятся некоторые слабости современного литературоведения и критики ГДР (случай чисто социологического подхода к явлениям литературы, недооценка ее эстетических и художественных качеств и т. п.). Кроме того, в главе речь идет только о развитии германистики в ГДР, ни слова не сказано о с л а в и с т и к е, которая в наше время стала существенной и органичной частью литературоведения и критики в республике, достигнув больших успехов в изучении, скажем, советской многонациональной литературы и ее взаимодействия с литературой ГДР и других социалистических стран.

В заключение хочется отметить, что отдельные недостатки «Истории литературы ГДР» отнюдь не снижают высокой оценки этой книги. Коллективный труд, инициатором и ответственным редактором которого был покойный А. Дымшиц и редколлегию которого составили известные советские ученые-германисты Е. Книпович, И. Млечина, П. Топер, увенчался серьезным творческим успехом.

Вл. Борщуков.



И. И. ТИТОВ. «...С этой деревней знаком лично». Очерки истории села Алакаевка. Куйбышевское книжное издательство. 1983. 126 стр.

В начале мая 1889 года Ульяновы переехали в Самарскую губернию. На хуторе близ деревни Алакаевка, в 62 верстах от

губернского центра, семья провела пять летних сезонов (1889—1893); остальное время в эти годы жила в Самаре.

Самарский период жизни, как известно, стал для Ленина периодом подготовки к выходу на широкую арену революционной борьбы. Ленин усиленно изучает марксизм, критически перерабатывает опыт прошлого революционного движения, начинает последовательную борьбу против народнической идеологии.

Немалая часть исследовательской, научной и пропагандистской деятельности Владимира Ильича в 1889—1893 годы пришлась именно на летние месяцы, когда он жил в Алакаевке (по имени деревни так называли и отстоявший в четверть версты от нее хутор Ульяновых). Летом 1892 года Ленин пишет здесь рефераты, содержащие критику идеологии либерального народничества, которые читает потом в нелегальных кружках. Эти рефераты явились подготовительным материалом для книги «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». Еще пример: собранный и глубоко проанализированный Лениным большой материал о крестьянском хозяйстве послужил основой статьи «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни» — первой из сохранившихся ленинских научных работ. А. И. Ульянова-Елизарова вспоминала, что, изучая русскую деревню, Ленин «многое заимствовал... и из непосредственного общения с крестьянами в Алакаевке».

Алакаевка — одно из памятных ленинских мест (ныне здесь Дом-музей В. И. Ленина), и нас, конечно же, интересует ее история. В значительной мере интерес этот удовлетворяет насыщенная фактами, впервые опубликованными документами книга И. Титова. В нашей исторической литературе это, по существу, первая попытка обстоятельно исследовать связанную с Лениным историю Алакаевки. (К слову сказать, название книги — «...С этой деревней знаком лично» — взято из текста телефонограммы Ленина в Президиум ВЦИК от 9 января 1922 года с просьбой оказать помощь алакаевским крестьянам в покупке и получении хлеба, в снабжении семенами на яровой посе-)

Изучив в Государственном архиве Куйбы-

шевской области сотни дел (летописей, ревизских сказок, межевых книг, статистических таблиц и других документов), а также используя периодическую печать и мемуарную литературу, автор прослеживает жизнь крестьян Алакаевки с середины XVIII века до наших дней. С особым тщанием И. Титов ведет розыск всего, что касается семьи Ульяновых. А там, где настойчивый, пылкий поиск, там и находки. Так, автору удалось обнаружить неизвестный дотоле автограф Марии Александровны Ульяновой — ее расписку в получении окладного листа на земские сборы от 17 мая 1889 года — и схему строений усадьбы Ульяновых, позволяющую отчетливо представить, как она выглядела в 90-е годы прошлого столетия; к уже известным историкам сведениям о знакомых Ленину крестьянах автор книги добавляет некоторые новые данные, обнаруженные в архиве.

Интересуют И. Титова и алакаевские соседи Ленина — участники революционного движения А. А. Преображенский и Д. А. Гончаров; в книге даны их краткие биографии.

Дмитрий Александрович Гончаров знал семью Ульяновых еще по Симбирску (в гимназии он был одноклассником Александра Ульянова). Зимой 1889/90 года Гончаров привел в дом Ульяновых в Самаре и познакомил с Лениным А. А. Преображенского, который незадолго до этого, поддавшись народническим иллюзиям, приехал со своими единомышленниками в Самарскую губернию и поселился на хуторе Шарнеля (в трех верстах от Алакаевки), чтобы создать здесь земледельческую колонию.

К тому, что сказано в книге о Преображенском, уместно, пожалуй, добавить, что в одной из анкет, заполненных в 1920 году, А. А. Преображенский, отвечая на вопрос: «Если вступили в партию в подпольное время, то кем были введены в организацию?» — написал: «В. И. Ульяновым». И еще один факт: на Преображенского в 1930 году Секретариатом ЦИК СССР было возложено заведование Домом Ленина в Горках.

Вводимые автором книги в научный оборот новые документы расширяют наше представление о самарском периоде жизни Ленина.

И. Брайнин.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Ф. Энгельс. Развитие социализма от утопии к науке. 80 стр. Цена 15 к.
Ю. В. Андропов. Избранные речи и статьи. Изд. 2-е 320 стр. Цена 85 к.
Карл Маркс и современность. Сборник материалов. 223 стр. Цена 55 к.
Е. Ратнер. А главное — верность... Повесть о Мартыне Лацисе. («Пламенные революционеры») 351 стр. Цена 1 р. 20 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Б. Василевский. Для дерева есть надежда. Рассказы, повесть. 400 стр. Цена 1 р. 80 к.
Я. Гордин. Три повести. После восстания. Гибель Пушкина. «Мир погибнет, если я остановлюсь» 431 стр. Цена 1 р. 80 к.
И. Гренова. Кафедра. Повести 543 стр. Цена 2 р. 30 к.
Р. Киреев. Рая Шептунова и другие люди. 319 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ш. Андерсон. Избранное. Перевод с английского. 527 стр. Цена 2 р. 70 к.
И. Ольбрахт. Николай Шугай, разбойник. Роман-баллада. Перевод с чешского. 190 стр. Цена 2 р. 60 к.
Д. Чосич. Корни. Роман. Перевод с сербско-хорватского. 294 стр. Цена 1 р. 60 к.
А. Яньес. Перед грозой. Роман. Перевод с испанского. 382 стр. Цена 2 р. 40 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

И. Драч. Подсолнух. Стихотворения. 126 стр. Цена 55 к.
А. Казанцев. Пылающий остров. 544 стр. Цена 2 р. 30 к.
А. Киннадзе. Брод через Арагоа. Роман. 430 стр. Цена 1 р. 70 к.
М. Петров. Иван Иванович. Повесть. 222 стр. Цена 30 к.
В. Савельев. Время любви. Стихотворения, поэмы, 126 стр. Цена 55 к.

«СОВРЕМЕННОК»

И. Бехтерев. В том городке... Стихи. 63 стр. Цена 30 к.
А. Зверев. Раны. Повести, рассказы. 400 стр. Цена 1 р. 70 к.
А. Леви. Вежать от тени своей. Роман. 174 стр. Цена 90 к.
И. Лесков. Очарованный странник. Повести и рассказы. Составление и вступительная статья А. А. Горелова. 432 стр. Цена 2 р. 20 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Г. Бровман. Человек для людей. Образ коммуниста в русской советской литературе. Очерки, размышления, воспоминания 238 стр. Цена 65 к.
В. Маяковский. Сплошное сердце. Стихотворения и отрывки из поэм. Предисловие В. Смирнова. 63 стр. Цена 10 к.
Л. Фельден. Синяя книга сказок. Перевод со словацкого. 127 стр. Цена 60 к.
Я. Хелемский. На темной ели звонкая свирель. Хроника, состоящая из 3-х частей. 287 стр. Цена 1 р.

ВОЕНИЗДАТ

А. Анисимова. На короткой волне. Повесть. 271 стр. Цена 55 к.
Г. Березко. Избранные произведения в 3-х тт. Т. 3. Ночь полководца. Повесть. Сильнее атома. Роман. 464 стр. Цена 2 р. 10 к.
Вызов брошен. Повести. Перевод с английского. 416 стр. Цена 2 р. 90 к.

«РАДУГА»

Избранные произведения писателей Ближнего Востока. Романы. Рассказы. Перевод с арабского. 558 стр. Цена 3 р. 90 к.
Из современной ирландской поэзии. Перевод с английского. 216 стр. Цена 1 р. 40 к.
Я. Кемаль. Легенда Горы. Если убить змею. Разбойник. Повести. Рассказы. Очерки. Перевод с турецкого. 463 стр. Цена 3 р. 10 к.
К. Оэ. Записки пинчраннера. Роман. Перевод с японского. 315 стр. Цена 2 р. 10 к.

«ИСКУССТВО»

В. Белинский. О драме и театре. В 2-х тт. Т. 1 — 1831 — 1840. 446 стр. Цена 2 р. 20 к.
Г. Долматовская. Примечания к прошлому. Французское кино: отчет от военных лет. 287 стр. Цена 1 р. 50 к.
Достоевский и театр. Сборник статей. Составитель А. А. Нинов. 510 стр. Цена 3 р. 20 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Н. Бараташвили. Судьба Грузии. Поэма. Тбилиси. «Хеловнеба». 47 стр. Цена 90 к. На грузинском и русском языках
В дубрах Севера. Русские писатели XVIII—XIX вв. о земле Коми. Составление и вступительная статья З. Я. Немшиловой Сыктывкар. Коми книжное издательство. 334 стр. Цена 1 р. 30 к.
От «Рождения Ваагна» до Паруйра Севана. Антологический сборник армянской лирики. В 2-х тт. Перевод с армянского. Вступительная статья и составление Л. Мкртчяна. Ереван «Советакан грох». Книга 1. Древнейший период. Средние века. 383 стр. Цена 1 р. 70 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагадиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806. ГСП Москва К-6. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 29.08.83 г. Подписано к печати 19.10.83 г. А 04199.
Формат бумаги 70×108^{1/4}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ л.)
27,13 уч.-изд. л. Тираж 363.000 экз. (1-й завод 1—183.000 экз.) Зак. 3067.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1983, № 11, 1—272.